



**Дружба
народов**

8/2021



В номере:

Килограмм надежды и отчаяния

Роман Жени ДЕКИНОЙ «Кропаль» — это срез современного дна, история килограмма гашиша, преодолевающего путь от изготовителя в Чуйской долине к потребителю в Москве. Каждый из тех, кто пытается на запрещенном зелье заработать, уверен, что не делает ничего плохого — он просто попал в безвыходную ситуацию, и это его шанс на спасение, билет в лучшую жизнь. А на деле — всё оборачивается трагедией.

«В хоре тёмных звёзд и слепых чудес»

Поэтический космос Вячеслава ШАПОВАЛОВА простирается во времени и пространстве от первых слов Адама до молчания хвостохранилищ, хотя «мир теряет слух, одинок простор, термоядерный в небесах костёр». Любовь КОЛЕСНИК утверждает, что «Человек человеку труд». Вариации на тему бытия наших современников подхвачены верлибрами Айгерим ТАЖИ, которая верит, что «тропа ведёт к себе», и лирикой Анны ГЕДЫМИН, вспоминающей о драгоценных близких людях: «и мы, как прежде, в общем хоре/ Споём по одному».

Американский парадокс

«Многим наблюдателям представляется загадочной поддержка, которую оказывают BLM элитные круги, в их числе финансовые воротилы Уолл-стрит и Силиконовой долины; перспектива «экспроприации экспроприаторов», по Марксу, о которой грубо напомнила гильотина, поставленная активистами BLM перед домом миллиардера Джефа Безоса, не может их радовать; равно как и призрак «нового Коминтерна». ...Кадры из эйзенштейновского «Октября», где революционные матросы перелезают через какие-то ворота, ведущие к Зимнему дворцу, всем хорошо известны». В своем провокационно неполиткорректном по меркам новой этики эссе «Время (и бремя) чёрных?» культуролог Юрий КАГРАМАНОВ размышляет о новом витке расового вопроса в США, опираясь на опыт истории — американской, западноевропейской и российской — в том числе русского большевизма.

«Вы верите в литературу?»

«Советское общество — и писательское, в частности, — было ритуализировано и формализовано, — констатирует Олеся НИКОЛАЕВА. — Был у нас, условно говоря, поэт-интеллектуал — Арсений Тарковский, поэт-фронтовик — Александр Межиров, поэт-интеллигент — Давид Самойлов, поэт-лирик — Владимир Соколов, поэт-эстет — Александр Кушнер, поэт-бард — Булат Окуджава, поэт-лагерник — Анатолий Жигулин... А остальных в эти ниши не очень-то и пускали...» В этом номере — два портрета из будущей книги воспоминаний «Россия, Лета, Лорелея»: «поэта-формалиста» Семёна Кирсанова и «поэта-трибуна» Евгения Евтушенко.

Премиальное дело

«В титрах какого-то старого советского фильма (30-х годов) после имени одного персонажа стояло: «Орденосец». Звучало гордо. В начале 80-х, когда я этот фильм смотрел, это вызывало только усмешку. Орденов учреждено и вручено было уже столько, что они уже не означали почти ничего. За исключением, может быть, нескольких, вроде золотой звезды Героя. Они хоть что-то еще значили», — вспоминает Евгений АБДУЛЛАЕВ. И, возвращая нас на площадку современного литпроцесса: «То же самое случилось сегодня и с российскими литературными премиями, — призывает: — Не премиальте!»

Дружба народов



8'2021

**Независимый
литературно-художественный
и общественно-политический журнал**

**Основан
в марте 1939 года**

Адрес редакции:
117218, Москва,
ул. Кржижановского, д. 13, стр. 2,
журнал «Дружба народов»
Телефон (многоканальный):
8-499-519-02-12

**E-mail: dn52@mail.ru,
Сайт журнала:
<http://дружбанародов.com>**

Юридическая поддержка:
Congress Consulting.
Свидетельство о регистрации
№ 73 от 14.09.1990 г.
в Министерстве печати
и массовой информации РСФСР.
Свидетельство о регистрации
товарного знака № 288681.
Зарегистрировано в
Государственном реестре
товарных знаков и знаков
обслуживания РФ
12 мая 2005 г.



Отпечатано в ОАО «Можайский
полиграфический комбинат»,
143200, г. Можайск, ул. Мира, 93;
www.oaomrk.pf тел.: (495)745-84-28;
(49638)20-685

**Редакция не имеет возможности
рецензировать и возвращать
рукописи.**

**Во всех случаях полиграфического
брака в экземплярах журнала
обращаться в типографию, указанную
в выходных сведениях.**

**При перепечатке наших материалов
ссылка на журнал «Дружба народов»
обязательна.**

Сдано в набор 20.06.2021.
Подписано в печать 26.07.2021.
Формат бумаги 70 x 108 ¹/₁₆
Печать офсетная.
Усл.-печ. л. 22,4. Усл. кр.-отт. 23,1.
Уч.-изд. л. 21. Тираж 1200 экз.
Заказ 9043. Цена свободная.

Редакционная коллегия

Главный редактор Сергей
НАДЕЕВ
Ольга
БРЕЙНИНГЕР
Ирина
ДОРОНИНА
Ответственный секретарь Елена
ЖИРНОВА

Первый заместитель главного редактора Наталья
ИГРУНОВА
Галина
КЛИМОВА
Владимир
МЕДВЕДЕВ
Заместитель главного редактора Александр
СНЕГИРЁВ

Редакционный совет

Мария
АНУФРИЕВА
Сухбат
АФЛАТУНИ
Муса
АХМАДОВ
Ольга
БАЛЛА
Дмитрий
БИРМАН
Денис
ГУЦКО
Иван
ДЗЮБА
Ольга
ЛЕБЕДУШКИНА
Фарид
НАГИМ
Илья
ОДЕГОВ
Кнут
СКУЕНИЕКС
Сергей
ФИЛАТОВ
Ренат
ХАРИС
Вячеслав
ШАПОВАЛОВ
ЭЛЬЧИН

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Вячеслав ШАПОВАЛОВ. Покровитель стад. <i>Стихи</i>	3
Женя ДЕКИНА. Кропаль. <i>Роман</i>	7
Любовь КОЛЕСНИК. Человек человеку труд. <i>Стихи</i>	57
Ярослав КАТАЕВ. Рассказы	61
Александр КАН. Костюмер. <i>Рассказ</i>	90
О.КАМОВ. Песнь о Соколе. <i>Рассказ</i>	109
Айгюн МАМЕДОВА. Старик решил умереть. <i>Рассказ</i>	115
Анна ГЕДЫМИН. О драгоценных и не очень. <i>Стихи</i>	121
Пётр КАРЦЕВ. Грешенка. <i>Рассказ</i>	124
Сергей МАРКЕЛОВ. Воронка. <i>Рассказ</i>	152
Даур НАЧКЕБИА. Рассказы. <i>С абхазского. Перевод автора</i>	159
Андрей ВЕРЕЩАГИН. Два рассказа	167
Даша БЛАГОВА. Расскажите мне о змеях. <i>Рассказ</i>	174
Лада СЁМИНА. 29.4. <i>Рассказ</i>	180
Айгерим ТАЖИ. Синий виноград. <i>Стихи</i>	187

ДРУЖБА НА ВЫРОСТ

Лёнька СГИНЬ. Сдвиг. <i>Рассказ</i>	190
---	-----

ПУБЛИЦИСТИКА

Юрий КАГРАМАНОВ. Время (и бремя) чёрных? <i>О новом витке расового вопроса</i>	201
---	-----

КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

Олеся НИКОЛАЕВА. «Россия, Лета, Лорелея». <i>Два портрета из будущей книги ...</i>	210
--	-----

ЛИТЕРАТУРНЫЙ БАРОМЕТР

Евгений АБДУЛЛАЕВ. Не премиальте	241
--	-----

ПОДРОБНОЕ ЧТЕНИЕ

Андрей ПЕРМЯКОВ. Постапокалипсис без апокалипсиса (Ю.Гуголев. « <i>Волынщик над Арлингтоном</i> », 2019–2020)	244
--	-----

КНИЖНЫЙ РАЗВАЛ

Ольга БУГОСЛАВСКАЯ. Без анестезии (В.Ремизов. « <i>Вечная мерзлота</i> »)	251
Дмитрий АРТИС. Жизнь на обратную сторону (И.Купреянов. « <i>Стихотворения 2010-х</i> »)	254
Дмитрий СТАХОВ. Мемуары романиста (П.Алешковский. « <i>Секретики</i> »)	256
Геннадий КАЦОВ. «Менестреляный воробей...» (А.Габриэль. « <i>Чёт и вычет</i> ») ...	259
Александр ЕВСЮКОВ. Билингва любви и отчаяния (С.Овакимян. « <i>Созвездие эмигранта</i> »)	262

ПРАВИЛА ИГРЫ

Борис МИНАЕВ. Куклы Резо, или Проблема снятия	265
---	-----

КУЛЬТУРНАЯ ХРОНИКА

Язгуль ТИРКИШОВА. Мир, в который хочется войти.....	269
---	-----

НАША ВКЛЕЙКА. Художник Чары Хуммедов	после стр. 240
--	----------------

Вячеслав Шаповалов

Покровитель стад

Хвостохранилище

Задохнувшееся от натуги, в пересортице душ и тел,
в вековом затаясь испуге,
вот людское гнездо на юге, куда божий гнев долетел.
Из когда-то бронзовой лейки, бормоча «Иль алла вай дод!»,
на руки старушке-калеке
льёт водицу на диком берегу древний скрюченный садовод.

Пальцы горького винограда, молчаливая мощь лозы.
Долетают напевы ада
до газонов райского сада, до высот безмолвной грозы.
Где мертва живая ограда, где в тревожной дрёме жилищ
вянет утренняя отрада —
тишь отложенного джихада ты, прислушавшись, ощутишь.

Мчатся юные на мопедах из советских гаражных нор,
в помыслах об отцах и дедах
гаджетов поутру отведав, обналичивая приговор.
Им небесные шепчут скрипки, обещая власть и любовь,
невесомы, светлы и зыбки,
расцветают для них в улыбке лица стронциевых грибов.

Хмуρο дремлет в распадах светлых дух урановых родников,
оборотень мутаций и ветров,
царь невысказанных ответов, истлевающий рудокоп.
Обессиленные камни, смертный профиль гранитных крыл,
бессловесные сочиненья,
увяллённые сочлененья, апокалипсис медных жил.

Шаповалов Вячеслав Иванович — Народный поэт Киргизии, переводчик тюркской и европейской поэзии, заслуженный деятель культуры КР, доктор филологических наук, профессор. Автор 15 книг стихов, в том числе «Безымянное имя. Избранное XXI. Книга стихотворений» (М., 2021). Лауреат Государственной премии КР, Русской премии, премии РусПЕНа и др. Родился и живет в Бишкеке.

Оглянись на восход: полмира замерзающего тепла —
там целует тебя лавина,
там багровый огонь Памира, голубая Тянь-Шаня мгла.
И молчат на ветру одни лишь, надрываясь, — пришла пора! —
терриконы хвостохранилищ.
Этой тягости не осилишь. Звёзд неведомая игра.

И когда умолкнут навеки телевизоры и города,
и тогда возвратится в реки
истекающая из Мекки зачарованная вода —
осыпаясь, вздохнут ущелья, мир откликнется, одинок.
Нам, взывающим о прощенье,
что он скажет, в тиши пещерной осыпающийся песок?..

Покровитель стад

Вот селение посреди небес
в хоре тёмных звёзд и слепых чудес —
мир теряет слух, одинок простор,
термоядерный в небесах костёр,
а вокруг стада и морская гладь,
и века вокруг, ни вперёд, ни вспять:
мир Чолпон-Ата — не на русский лад
имя дал земле Покровитель Стад,
всех копытных бог, родников знаток.
Детский оберег, голубой платок —
между серых юрт притаилась быль,
плачет в сумерках молодой ковыль,
гроздь белых бус полетели вниз —
града летний груз, молодой кумыс,
не сосчитан год, неба синий свод,
моря синий свет, гул пчелиных сот,
шквал небесных вод, лодок белый ход,
гром подземных од, мгла земных широт! —
на земле нигде, ни в каких местах
так не таял ласково на устах
твой полынный сок, твой цветок-дурман,
светлый горький мёд, стронций да уран,
в тишине ночной под чужой луной
сладкий волчий вой, тёплый шёпот твой,
твой, терскей-трава, южных гор молва:
языков исчезнувшие слова
отзовутся молча — там, на скаку,
мой дрожащий голос допел строку.

Кочевой римейк

...Задыхаясь, спешишь у тяжёлых славянских корней,
дочь Песчаного Жуза, и губы исполнены дрожи.
В можжевеловой мгле твоих ласковых жёстких кудрей
был я скифом и гунном, все прочие прибыли позже.
В можжевеловом пламени чёрных смертельных зрачков,
чья ликующе-лютая гаснет в истоме зарница,
на пожарище этносов, эпосов и языков
я ласкаю твой кесарев шрам в рамке постмодернизма.
Только — ты, только сладостной воли смертельный мотив,
вскрик победы, как звёзды, пролившийся в звонкое тело! —
юрты возле реки отвернулись, глаза опустив,
и смятение сердец лишь река в тишине разглядела.
Глухо фыркает конь, сталь звенит и волхвует луна,
пахнет ветер костром и узорчатой пряной кошмою,
мы истерзаны будущим, в такт нам прогнулись луга
над озёрною тьмой с переливами волчьего воя.
Над прочитанной руной забывчивый книжник угрюм:
не Аллаха, не Будду — я плоть твою терпкую славил
и умолк. Стиснув зубы, допел мою песню уйгур,
и кипчак подхватил, и казах моих слов не исправил.
По Дороге Соломщика в мир, в золотые края
стон летит, сохнут слёзы, небесное облако реет,
и весь мир этот — ты, не дочитана книга твоя,
но угасшие руны перо оживить не посмеет! —
в зачарованной мгле загорается храм словаря,
оскорблённые пламенем, гибнут склоненья, спряженья,
табунов половодье и первого мира заря,
а потом — пепелище, утрата, мираж, отраженье.
Все слова — от Адама пришли, и кустарник пылал,
и над девством Лилит смысл утратило слово в заклетье,
то, что спел на рассвете, кого я в огне увидал —
позабуду легко — сожаленье вины не загладит.
Кочевая тропа, путь по звёздам — всё это в былом,
ну и пусть, я иного не ведаю и не желаю:
сколько мифов успело истлеть у судьбы под крылом —
но под смертной косой я лишь имя твоё вспоминаю.

На развалинах храма Артемиды

Синие волны Смирны ложатся на берег,
серую солью наслаиваясь на плитах,
нечувствительных к зною, заметному для обеих
половинок вселенной, в сером камне отлитых
исключительно для ощущения, что это
делалось исключительно для ощущения:
две ладони, две сердцевины света,
к коим мы не имеем видимого отношения.
Смуглое слово «Смирна» растворилось в сонорном
звуче Измир — и вышло из моря,
одетое пеной. В дури сановной
нет смысла искать сыновнего взора.
Смуглое солнце Смирны ложится на плечи,
перспектива камня дышит древней смертью,
смертная Смирна бессмертной волною плещет,
мёртвую страсть сменяет живое усердие.
Смирненские турчанки взором цвета инжира
отворяют ворота слову, которого, знаем,
нет в словарях: Измир... Ушедший из мира
вспомнит ли дорогу, беспамятством обуреваем?
Вспомнят ли дорогу чёрные генуэзцы,
серые крестоносцы, алые византийцы? —
на каменном амфитеатре надеяться неуместно,
что что-то из прежней бездны вернётся и возродится.
Что перед мёртвой вечностью наши упования,
споры бранчливых греков и чванливых турок! —
пускай уж себе Афродита из моря идёт, напевая,
пускай это пенье слушает глухой европейский придурок.
Всю ночь под сонными веками что-то билось, мерцало,
чем трусливей зажмуриваешься — тем ярче виденье:
море смотрится в неба честное зеркало,
сердце сражается с вечности мёртвой тенью.
О чём ты, жизнь, спросила, чего искала? —
ты знала ведь, знала: в ответ не услышишь ни звука!
Небо смотрится в моря честное зеркало —
и видит саблезубое лицо сельджука.

Женя Декина

Кропаль

Роман

Над долиной летел крупный орел. Его силуэт пропадал, сливаясь с горами, и внезапно появлялся снова, выделяясь на фоне прозрачного неба.

Солнце уже поднялось, горы сбросили с себя утреннюю полутьму, и раскаленный воздух застыл. Сугар молча вглядывалась в нависшую над ней стену скалы, и расселины, избороздившие поверхность, сами собой складывались в ухмыляющийся профиль Эрлика. Сугар старалась его не видеть, различить в глазнице дерево или камень, чтобы смотреть на них, и профиль рассеялся, но злобный Эрлик появлялся снова. И только орел на мгновение отвлекал от этой пугающей улыбки.

В голове сама собой зазвучала старинная песня. Про то, как в давние времена, когда горы эти были еще маленькими камушками, а река — влажным отпечатком копыта степной лошади, пробрался Эрлик в пещеру и осквернил сотворенного Кудаем человека, измазал его и наплевал. И у человека от этого по телу пошла шерсть, как у зверя, и пот стал вонючим. Кудаю пришлось брить и чистить человека, но совсем отмыть его он не смог. И так рассердился Кудай на Эрлика, что изгнал его. Эрлик летал по свету вместе с орлами и нигде не мог приземлиться. И устал он, и выпросил у Ульгения столько земли, чтобы можно было воткнуть в нее свой посох и усесться на нем, обратившись орлом. И пожалел Ульгень Эрлика, не знавшего отдыха сто дней и сто ночей, и дал земли ему, но Эрлик проткнул посохом землю, и вылезли из нее все гады и болезни человеческие. И Олгой-Хорхой.

Старухи говорят, что праотец-лысое-небо давно оставил проклятую долину, и дары Тэнгиза принимает теперь злобный Эрлик. Он изгнал из долины духов отцов и привел за собой Олгой-Хорхой. Все знают это. Только Тэнгиз продолжает чтить предков своих и носит им подарки. Он говорит, что, если бы все делали как он, праотцы вернулись бы в долину, но ему уже никто не верит. Даже старый кам ушел, когда праотцы в третий раз отказали ему в дожде.

Орел появился снова, и Сугар подумала, что если бы у людей были крылья, то муж ее, Эрдем, большой и сильный, перелетел бы пустыню за один день. И огромный безголовый червь Олгой-Хорхой, похожий на толстую кишку коровы, не проглотил бы его, как он проглотил ее отца, и мать ее, и братьев.

Декина Евгения Викторовна родилась в 1984 году в Прокопьевске Кемеровской области. Окончила Томский государственный университет по специальности «Современная литература и литературная критика» и сценарно-киноведческий факультет ВГИК. Лауреат Волошинского конкурса, лауреат премий «Росписатель», «Звёздный билет» и др.

Предыдущая публикация в «ДН» — 2021, № 2.

Орел исчез, и горы, темно-зеленые и безнадежно спокойные, снова нависли как тень. От этого небо над ними показалось страшно глубоким и пустым.

Сугар выбросила измочаленный конопляный побег, утерла лоб рукавом рубахи и сорвала новый. Эту нательную рубаху она берегла и надела только теперь, когда старая рубаха протерлась на груди до бесстыжих дыр. Эту рубаху отдала она мужу в их последнюю встречу и наказала, что, если не сможет он вернуться к ней, пусть подарит рубаху новой жене своей, и та пусть носит под нею его новых детей. Сугар говорила тогда, но думала, что если бы и вправду нашел Эрдем себе новую жену, то Сугар удушила бы его этой рубахой. Эрдем тоже знал это и улыбался, слушая слова старинного прощания. А потом Олгой-Хорхой сожрал его, большого и сильного.

Рубаху привез ей Тэнгиз. Вместе с ножом для убоя скота. По традиции он должен был перейти от Эрдема к Мунху, но Сугар продала его, чтобы купить детям еды.

Рядом промелькнула бритая голова Мунха. Сын бегал перед ней в высокой траве, полностью скрывавшей его. И Сугар на мгновение показалось, что он, обнаженный и загорелый дочерна, сейчас разгонится и тоже взмоет вверх, в это бескрайнее и пустое небо.

Заметив, что она смотрит, Мунх вернулся к матери. На губах его, спекшихся и растрескавшихся, выступила белесая пена. Весь он был покрыт бурой конопляной пылью и оттого казался загорелым. Он попытался устоять, уперев руки в дрожащие колени, но не смог и тяжело опустился на траву. Сугар присела рядом и принялась торопливо растирать его. Одной рукой она скатывала пыльцу, а второй — собирала катышки на широкий лист. Мунх лежал на земле и все так же часто дышал, не глядя на мать и не мигая. Морщился, когда она слишком сильно давила на его подрагивающее тело.

Сугар скатала похожие на пластилин катышки в маленький круглый комок и вздохнула. Мунх услышал ее печальный вздох и приподнялся. Она омыла его тело водой из старой мятой пластиковой бутылки, помогла ему встать и повела прочь от поля.

Дома мальчику стало хуже. Его била мелкая дрожь, и ему казалось, будто сквозь него проходит ветер, оттого тело колыхнется, как истертая, наброшенная на кол во дворе тряпка, которая раньше была маминой рубахой. У мамы было очень длинное лицо, растекшееся до самого пояса. Мама подошла и завернула Мунха в колючий куст. Он знал, что это не куст, а покрывало — оно знакомо пахло кислым молоком, но видел он все равно куст. Около куста бегало какое-то маленькое животное — суслик или брат. Оно влезло на топчан и заволокло на мальчика вытертый отцовский тулуп. Тулуп прибил куст к земле, как снежная шапка придавливает траву и деревья, и ветер больше не мог проходить через тряпку. Ветки куста сильно помялись и щекотались внутри. Они хотели прорасти сквозь тулуп, но не могли, потому что до весны было еще далеко, и это был уже не тулуп, а земля, стоптанная, как коровья тропа.

Подошла мама. Теперь у нее было уже нормальное, короткое лицо. Только немного грустное. Она поправила землю и потрепала брата по голове, тот улыбнулся и сполз с топчана.

Брат прошлепал к столу. Мунх тоже хотел пойти и поесть, но не мог, потому что кусты не ходят. Он лежал и слушал, как мама сняла с печи чугунный казанок и поставила прямо на стол. В комнате запахло жженым деревом и похлебкой.

Из-под стола вылезла маленькая сестренка. Мунх видел, как она замешкалась перед лавкой, пытаясь влезть то с правой, то с левой ноги, потом все же отложила соломенную куколку, которую держала в руках, и вскарабкалась. Потянулась к казанку. Мама прикрикнула на нее и принялась разливать еду в глиняные пиалы. Куски вареных корней шлепались в бульон — похлебка оказалась густой. Потом потемнело. Большое и теплое нависло над ним.

Мальчик подумал, что сейчас мама выльет пиалу ему на голову, потому что он куст, и тогда он уменьшится и станет плавать в похлебке, но она просто напоила его. От стука зубов о глину по телу пошли мурашки, горячее протекло в него и наполнило. Теперь Мунх дышал ровно и видел все правильно.

Он, кажется, заснул и проснулся оттого, что дверь резко распахнулась. Сестренка заплакала от неожиданности, а брат вскочил, и черепки, с которыми он играл, просыпались на пол.

На пороге стоял Тэнгиз. У него опять был другой костюм, теперь красный, но тоже «Адиас», и с лампасами. Это было красиво, но еще красивее переливалась толстая золотая цепь у него на шее. Сам Тэнгиз был страшный, но на него все равно никто не смотрел, все любовались костюмом и цепью.

Сугар торопливо поднялась и вытащила из-за притолоки тряпицу, в которую были завернуты собранные катышки. Тэнгиз сунул ей в руки толстые каменные четки — поддержать, смял катышки вместе. Получился комок размером с яйцо маленькой птички.

Тэнгиз забрал у женщины четки.

— Что ты мне даешь? Это мало.

Сугар умоляла подождать, но уже заранее знала, что не уговорить. И правда, Тэнгиз только разозлился.

— Я килограмм должен отправить, у Каиржана недобор, где я теперь возьму? Кобылу забираю.

— Нет-нет, Тэнгиз, без кобылы никак, дети у меня, Тэнгиз...

Сугар схватила его за руку, он отпихнул ее:

— Столько же до темноты Рустэму принесешь.

— Олгой-Хорхой, — простонала мать, но он уже вышел, громко хлопнув дверью.

Сугар вздохнула и села на лавку. Подумала и решительно поднялась:

— Пошли, — сказала она младшему.

Тот обрадовался и бросился к ней. Мунх резко сел, голова все еще кружилась, и он чуть не рухнул с топчана:

— Я пойду.

Сугар отмахнулась. Мунх спустился и оттолкнул от нее брата:

— Не смей его, я пойду.

Мунх, с трудом передвигая ногами, бегал по полю, потряхивая опущенной головой, как умаянный конь. Сугар поглядывала на него, всхлипывала, с остервенением терла меж ладоней верхушки конопляных побегов, собирая на лист катышки гашиша. Она слепила из них шарик. Не больше горчичного семечка. Она принялась тереть снова. Слева послышался шум. Она обернулась и увидела младшего, который тоже, раздевшись догола, бегал по полю. Она ахнула. Младший подбежал к ней, довольно улыбаясь:

— Я тоже помогаю! Я молодец?

Сугар схватила его за руку, развернула и звонко шлепнула по голой заднице:

— Ах ты! Ну-ка домой! Быстро!

Мальчик бросился прочь, на ходу подхватив одежду.

Сугар осмотрелась. Конопля стояла перед ней неподвижной стеной. Она заметалась и стала звать сына, но ответа не было. Она бросилась в заросли.

Мунх лежал на спине, держась обеими руками за грудь. Глаза его были широко открыты, язык опух и вывалился. Она упала на колени, потрясла его за плечи, но Мунх не двигался. Сугар приложила ухо к груди, чтобы услышать сердце, но уже не поднялась — было тихо.

Безголовый червь Олгой-Хорхой проглотил и Мунха.

Рустэм прижал Оуюн к себе. Хотелось раздеть ее и сделать своей женой, но надо было подождать. Тэнгиз обещал разрешить свадьбу после этой доставки. Оуюн была такой горячей, что Рустэм чувствовал — и она хочет, от этого было еще мучительней. Холодный ветер обдувал их, и тепло сохранялось только там, где они соприкасались — если бы не этот ветер, то Рустэм не смог бы сдержаться — лег бы с ней прямо здесь, у загона.

Собиралась гроза, на долину шла тяжелая черная туча, искрившая на горизонте, и воздух тоже отяжелел.

Рустэм нежно потрепал девушку по голове, получилось неловко, но она только плотнее укуталась в полосатую шаль и, пожившись, прижалась к нему. Хотелось успокоить:

— После свадьбы в Россию ходим. Ты же там не была... Там красиво. Особенно ночью — огни везде... высокие дома, асфальт.

— Подумаешь, асфальт. В райцентре тоже асфальт... Об него подковы в два раза быстрее стачиваются.

— А в России нет лошадей, там машины...

— Совсем нет?

Он помотал головой:

— И загонов нет — некуда лошадь ставить. Живут в коробочках узких, друг на друга поставят коробочки и живут. И машины в коробочках.

Она фыркнула:

— Глупые русские, значит.

— Почему?

— К машине бензин надо покупать! Дорого. А кобыла идет — сама себе еду ищет. Молния сверкнула особенно ярко, девушка вздрогнула и сказала тихо:

— Может, не пойдешь?

— Надо. У Тэнгиза проблемы будут.

— Шакал твой Тэнгиз! А ты вокруг него пляшешь!

— Он моя семья. У меня, кроме него, никого нет.

Девушка обиделась, отошла. Рустэм подумал, но не пошел за ней.

— И он мне жизнь спас, — добавил он вслед.

Но она и на это не обернулась. Рустэм хотел проститься на хорошем, но Оуюн давно пыталась настроить его против брата. И нужно было, чтобы она еще до свадьбы уяснила — Тэнгиз в его жизни будет всегда. Каждый день. Из года в год.

Рустэм отворил калитку и свистнул. К краю загона прискакала кобыла. Он вскочил на нее и, стукнув пятками по бокам, умчался вдаль.

Оуюн не ушла — стояла и всматривалась в темноту, освещаемую редкими всполохами вдали.

Полило.

Она тоже свистнула кобылу, но к ней подъехал Тэнгиз:

— Ты его зачем отпустила? Гроза на Пилораме!

— Я отпустила? — Оуюн разозлилась. — А зачем приказал?

— Кам из района только через неделю дождь обещал. Два барана взял.

— А накалал сегодня! И как теперь?

— Может, вернется...

Грохнуло вдали. Чуть погода молния прорезала небо, осветив жмушихся под навесом кобылиц.

— Э... Братишка...

— Братьев на такое не отправляют!

— А кого отправлять? — изумился Тэнгиз. — Никому не верю.

— Рыщешь, все рыщешь, высматриваешь, где бы еще чего урвать!

— Кровь у нас такая, добычи просит. Денег не заработаю — плохо мне, как голодный. Ничего, скоро всегда сытый буду. И деньги мне мешками принесут. И Рустэм заживет, и тебе перепадет, если он тебя не бросит.

— Не бросит.

— Ишь ты, — усмехнулся Тэнгиз. — Там русскую найдет себе, белую, или шорку, и все.

— Пф, — Оуюн усмехнулась.

Она с детства была первой красавицей, а потому и вообразить не могла, что можно предпочесть не ее.

— Русские белые все, как больные, а шорки страшные, на медведиц похожи.

— Разные бывают, я видал.

— Он не такой, это ты гарем хочешь.

— Я гарем не хочу. Я хочу ипподром.

— Чего?

— В России был, на картинке видал. Площадь такая круглая, а на ней лошади скачут.

— Загон?

— Сама ты загон. Наперегонки скачут, а все на деньги спорят, какая быстрее придет.

— Так ясно, какая. Я тебе и без спора скажу.

— Это ты знаешь, а русские табуна этого не пасли, они смотрят и угадывают.

Не угадал — давай деньги.

Оуюн искренне расхохоталась:

— Ой, дураки! Вот русские, а...

— Надо только в поле делать, и чтобы все подпаски в доле, а то расскажут, и мне тогда русские денег не дадут. Угадают все сразу.

— Ну ты придумал, а...

— Не я это, Рустэм.

Послышалось издалека конское ржание. Кобылы встрепенулись и дружно ответили.

Девушка, не дослушав, выскочила под дождь:

— Вернулся!

Кобыла Рустэма прискакала к загону. Оуюн бросилась к ней, впустила ее в загон, кобыла спряталась под навесом.

Девушка подошла к Тэнгизу. Тот закурил косяк, поднял на нее затуманенные глаза и спросил:

— Тебе лет-то сколько?

— Да пошел ты, — буркнула Оуюн и зашагала прочь.

Тэнгиз остался под навесом, задумчиво глядя в сторону гор. Меж двух заснеженных вершин была зажата третья, плоская, как столешница. Снега на ней не было, потому что она была гораздо ниже. Тэнгиз выдохнул дым, посидел немного и вдруг тихонько запел по-русски:

— Очень сильно пьяный Лама падал-падал с Пилорама... Ты прости, родная мама... Падал-падал с Пилорама...

Тэнгиз вспомнил, как они с Рустэмом хотели заработать свои первые деньги. Для Рустэма они, конечно, были не первыми — пацан постоянно побирался у дацана, а вот Тэнгиз попытался тогда впервые.

Летом они бегали купаться на реку — купанием это назвать было нельзя — так, окунались быстренько в ледяную воду и выскакивали на горячие колющие камни. Камни вонзались в кожу, иногда до кровавых точек, но остроты их они не

чувствовали — после реки кожа леденела, зато потом резко отогревалась, не только от жгучих лучей солнца, но и изнутри — будто внезапно растопили очаг в животе.

Тэнгиз почувствовал, что хочет искупаться — он с детства туда не ходил и мылся, как русские — в уличном душе нагретой солнцем водой. А в холода Тухай грела воду в очаге. Он вспомнил Тухай и ее упругие налитые бедра, за которые так удобно было держаться. Спаривалась она бешено и даже рычала от удовольствия, как животное, а потом снова становилась далекой и ворчливой. Жила рядом, не поднимая на него глаз, не заговаривая, и ни о чем не прося. Он хорошо платил ей и знал, что его едой она кормит своих детей и мужа с тоскливыми глазами. Муж ничего не умел, работы для него не было, поэтому он целыми днями просиживал у ограды и был для Тэнгиза кем-то вроде секретаря. Рустэм говорил, что было бы здорово завести доску с мелом прямо у входа, как у русских в школах, и записывать, кто приходил, кому что передать, но даже сам Рустэм читать не умел, поэтому смысла не было. Тэнгиз надеялся, что муж не знает о том, что Тухай делает для него абсолютно все, но, скорее всего, муж знал, оттого и смотрел вокруг взглядом подыхающего пса, ждущего путников с едой у пустого дацана. Иногда Тэнгизу становилось стыдно, особенно после того, как к нему заходил Рустэм и долго приглядывался к Тухай. Тогда Тэнгиз решал, что больше ее не будет. Но с другими надо было возиться, чего-то объяснять, врать или брать силой. Они могли оказаться нематыми, больными, слишком широкими там или просто не рычали, а тут все готово. И менять что-то Тэнгиз не хотел. Жениться он собирался позже и даже не думал о том, чтобы выгнать Тухай после женитьбы. Она была не отдельным человеком, а частью его самого, как отец или Рустэм. Тэнгиз вспомнил смерть отца, похороны и то оглушающее чувство пустоты, к которому никак не получается примериться. И неясно, как теперь быть — плакать, пить, драться или молиться — просто отпавший кусок, без которого больно и неловко жить.

Тэнгиз покурил еще. Не хотелось думать о том, что Рустэм в опасности.

Рядом с тем местом, где они обычно окунались, был обрывчик, а под ним банка — вода от подводного течения заворачивалась в здоровенную петлю. Рустэму эта петля никак не давала покоя — он бросал туда камешки, палки, а как-то кинул бездомного пса, прибившегося к нему. Пес бултыхнулся, мгновенно ушел под воду — будто река выпила его одним глотком. Пса выкинуло вверх через пару метров, живого. Он прокашлялся и, цепляясь когтями за осыпающиеся камни, выбрался на берег.

Рустэма это так впечатлило, что он все свободное время торчал у банки. Тэнгизу тоже было интересно, какие камни лежат на дне в этом месте и почему банка получается настолько мощной, но лезть и проверять ему и в голову не пришло. А вот Рустэм никак не мог успокоиться. Он даже заставил Тэнгиза помочь ему бросить в банку здоровенный валун, который они вдвоем подтащили к обрыву. Валун выплонуло тоже.

— Прыгать буду, — сказал Рустэм утром, и Тэнгиз ахнул.

— Давай, я тебе денег дам, а ты не будешь.

Рустэм не понял — Тэнгиз и так постоянно давал ему денег, и почему за это надо платить, ему было неясно. Пока они обсуждали это, придумали, что деньги давать должны те, кто придет посмотреть.

— А если ты умрешь? — не сдавался Тэнгиз.

— Богаче станешь.

На прыжок пришли посмотреть все. И все заплатили. Не деньги, конечно, — красивые черепки, лепешки, блестящие фантики от русских конфет. Но перед самым прыжком случилось страшное. Тэнгиз, стараясь встать поудобнее, якобы случайно столкнул в банку одного из сыновей Доржи, тот ухнул и выплыл через пару метров — мертвым. Тэнгиз и Рустэм достали его, но помогать было бесполезно — посреди лба у него был мясной пролом, из которого сочилось.

Все были уверены, что Тэнгиз толкнул мальчика случайно, и только Рустэм все сразу понял. По глазам прочитал, еще за секунду до удара, что Тэнгиз знает, что он сейчас делает. Тэнгиз и правда знал. Знал, что Рустэм умрет, знал, что он все равно прыгнет и отговаривать его бесполезно. Знал, что нет у него никого ближе после смерти матери, и как сделать, чтобы не прыгал — знал тоже. Сын Доржи в расчет не брался. На его месте мог быть его старший или младший брат, или другой нищий мальчик. Нищие вообще значения не имели, они и так умирали на каждом шагу, а вот Тэнгиза берегли и боялись — единственный сын большого человека, который если обозлится на тебя, то лучше сразу в банку.

Когда Рустэм сказал, что Тэнгиз убил, тот сначала даже засмеялся — убивают в бою, взрослые воины, а он так, спихнул пацана в воду, чтобы Рустэм не прыгнул. И чувства вины он тогда не испытывал. Отца боялся — это да. Все накопленные деньги они отдали Дорже, но отцу все равно пришлось много заплатить, чтобы Доржа не обижался.

Тэнгиз боялся, что отец выпорот его бичом, как он иногда делал, но отец почему-то подумал, что прыгать собирался Тэнгиз, а не Рустэм, и только для того, чтобы заработать.

— Клянись мне, что за деньги нищее мясо умирать будет, а мой сын умный, он продолжит мой род.

Тэнгиз поклялся. С тех пор рисковал всегда Рустэм, он и до этого рисковал, конечно, но теперь у Тэнгиза появилось объяснение — клятва. Тэнгиз не то чтобы был трусом, нет, он и дрался, если надо, и на зверя выходил, и в Россию к Фархату иногда ездил сам, но старался беречься. Рустэм тоже его берег. Случай с сыном Доржи так поразил, что он навсегда и безоговорочно привязался к Тэнгизу. Легкомысленный сирота, живущий только здесь и сейчас, никогда не думавший, шедший на еду, почувствовал в тот момент, что Тэнгиз с ним. Что он тот, кто сможет защитить его от него самого, от его любопытства, смелости и беспокойности. Он слушал его во всем, во всем спрашивал совета, и деньги все хранил у Тэнгиза. Правда и брал их сам — просто заходил и доставал, но покупать особо было нечего — так, на девочку или еду.

Тэнгизу странно было думать, что Рустэм женится. Да еще и на этой строптивой Оуюн, которая думает, что на что-то влияет. Нет, Тэнгиз не стал бы вредить ей — он не хотел, чтобы Рустэм был злой или грустный, но Рустэм и сам кинет ее, если она встанет между ними. У него тоже, кроме Тэнгиза, — никого.

Рустэм вышел из неглубокой штольни и посмотрел вверх. Небо не прояснялось. Он снова влез в штольню и задумался. Можно было рискнуть — дождь еще не успел как следует промочить камни, а если ждать, то лить перестанет, но по скользким скалам наверх ему не добраться. Рустэм торопливо снял со спины небольшой рюкзак, перевесил его вперед, под куртку, наглухо застегнулся, завязал капюшон и вышел в дождь.

Рустэм любил дождь. Несешься на своей Чёрной по бескрайней степи, ветер в лицо, трава хлещет по ногам, и ни черта не видно. Но от лошади к телу такой жар разливается, что сразу легко и спокойно. Чёрная не подведет. Тэнгиз, правда, хотел машину. Вроде как и под навесом сидишь, и едешь одновременно. И палочки чтобы непременно по стеклу елозили — воду смахивали. Рустэм машинам не доверял, но мечтал, что пригонит когда-нибудь Тэнгизу самую огромную и мощную, на манер тех, в которых русские лошадей возят.

Цепляясь за крупные, угловатые валуны, он полез наверх. Вскарабкавшись на обточенный ветром камень, скользкий от дождя, он чуть было не слетел вниз, но вовремя уцепился за чахлый кустик. Кустик вырвался с корнем, однако Рустэму этой поддержки хватило, чтобы сохранить равновесие. Внутри противно заглохло,

пришлось постоять и успокоиться. Он посмотрел вниз и весело пропел, подбадривая себя:

— Очень сильно пьяный лама падал-падал с Пилорама. Ах, прости, родная мама, не осталось даже шрама, весь погиб он без изъяна...

Эту дурацкую песню он сочинил еще в детстве, когда с Тэнгизом впервые сбежали в Россию. Детство Рустэм помнил смутно. Неприкаянные, болтались после Большого Мора с отцом по степи. Ни еды, ни воды. И только спотыкающийся оголодавший конь под тобой — маленькая точка в бескрайней степи. Отец прибивался к чужим стадам, батрачил, перепродавал, воровал, когда дела шли совсем худо. И когда его, как конокрада, вздернули на перекладине у райцентра, Рустэм остался один. Тэнгиз тайно таскал ему лепешки из дацана, а потом и вовсе уговорил отца взять к себе в подпаски.

И чем Рустэм ему отплатил? Увел единственного наследника в Россию! В Россию, где живут лжецы и трусы, где за все надо платить, а людей даже убить нормально не могут — держат в клетках годами, чтобы они сами сдохли. Рустэм вспомнил, как орал отец Тэнгиза, и его обвислые щеки резко вздрагивали, как у пса. Это был странный человек, и Рустэм старался держаться от него подальше. С одной стороны, он вроде бы был глуп и счастье находил только в своем бахвальстве. Бахвалился он всем: стадом, табуном, одеждой. И улыбка такая, что лицо у него становилось похожим на отполированный казан — и смешно, и бесит. Но, с другой стороны, дела он вел мудро и не жадничал лишний раз, в отличие от Тэнгиза, который вздыхал по поводу каждой копейки. Тэнгиз тоже унаследовал это бахвальство и терялся, когда Рустэм подшучивал над ним. Но Рустэм делал это редко — они были вместе так долго, что уже надоело.

Рустэм взбирался по камням все выше. Лез медленно и дышал уже тяжело. Наверх почти не смотрел, двигался на ощупь, по-звериному скалясь от хлеставших в лицо дождя и ветра. Почти вскарабкавшись на очередной выступ, Рустэм ощутил сильный удар в грудь и повис на руках. Ногами он еле успел нашарить опору. Посмотрел наверх. Над ним стоял горный козел и пялился. Рустэм не сразу сообразил, а потом засмеялся и прокричал с облегчением:

— Мать твою, гребаная козлина! Да я из-за тебя чуть не обосрался!

Козел не испугался. Стоял и смотрел вниз на зависшего под ним на крошечном уступе человека. Рустэм подтянулся было, но козел угрожающе проблеял и цокнул копытом. Рустэм удивился:

— Ты че это, козел? Пошел отсюда! — но козел не двинулся с места. Тогда Рустэм крикнул еще более сурово:

— А-ну! — и резко подтянулся.

Козел попытался боднуть, но не достал. Рустэм снова повис.

Подумав, Рустэм стал обходить козла, чтобы подняться правее. Козел шел поверху, не спуская с него глаз. Рустэму пришлось спуститься ниже, сделав приличный крюк, чтобы взобраться. Оказавшись выше козла, Рустэм посмотрел вниз. Небольшое стадо лежало в узкой природной штольне. Козел все еще не сводил с Рустэма взгляда.

— На тебе, козлина! — Рустэм вытащил из скалы увесистый булыжник и запустил в животное. Козел, легко перепрыгивая с камня на камень, поскакал к Рустэму. Стало страшно и весело от этого страха и нелепости происходящего. Козел — еда, и он гонится за человеком. И Рустэм бы вынул нож и прирезал бы его, но по мокрым камням козел двигался, как прилипший, а Рустэм даже равновесие удерживал с трудом:

— Мать твою! — и торопливо взобрался выше.

Козел не погнался за ним. Рустэм присел на камень и расхохотался:

— Козел напал! Никто не поверит...

Дождь теперь шел ниже Рустэма. Рустэм легко карабкался наверх, цепляясь руками и ногами. То рука, то нога соскальзывали по влажному камню, но он держался

устойчиво. Остановившись передохнуть под отвесной, почти гладкой стеной, он нащупал под курткой рюкзак и испуганно замер. Он расстегнул куртку, открыл рюкзак и успокоился — мешок с грузом был там.

Рустэм присел, развязал мешок, достал круглый, размером с перепелиное яйцо кусок плана. Слишком нервная доставка. Надо было завтра идти. Отщипнул немного, вынул из внутреннего кармана пачку «Беломора». Папиросы промокли. Он попытался выпотрошить беломорину, но не вышло. Мокрая папиросная бумага рвалась. Он выбросил пачку:

— Мать твою!

И посмотрел вниз. Где-то внизу шумел дождь, но из-за темноты и туч ничего не было видно. Будто он сидел на невысоком обрыве над рекой. Светало. Он вздохнул и полез выше.

Рустэм подтянулся и вскарабкался. Наверху росла трава и даже деревья. Он подошел к деревцу и сел под ним. Посмотрел на часы. Рано. Можно было поспать, но заснуть Рустэм не успел — из-за небольшого пригорка появился человек.

Он медленно приближался, опасливо оглядываясь. Рустэм хотел было встать, но от усталости лишь помахал рукой. Человек помахал в ответ и подошел.

— Здорово, Хорёк! Курить есть? — сходу выпалил Рустэм.

— Курить у тебя есть, — хитро улыбнувшись, ответил подошедший. Это был невысокий шуплый мужичонка, и впрямь сильно походивший на хорька. Хорёк стоял над Рустэмом и осматривался, хотя никого вокруг быть не могло. Видимо, это привычка — постоянно проверять обстановку.

— Папиросы вымокли, — ответил Рустэм.

— А с нашей стороны дождя не было. Две недели уже, — Хорёк быстрым движением вынул из кармана сигарету, протянул Рустэму, и пока тот принимал сигарету, он другой рукой уже достал и протянул ему зажигалку.

Рустэм закурил, и, поднявшись, принялся развязывать рюкзак. Дым попадал ему в глаз, и он шурился. Хорёк проверил товар — брусочек и отдельный кусочек размером с перепелиное яйцо.

Хорёк прибрал товар и достал из-за пазухи завернутые в газету деньги, сунул Рустэму. Рустэм тоже решил проверить, и пока он был увлечен разворачиванием газет, Хорёк бесшумно скользнул назад и, размахнувшись, толкнул его вниз. Рустэм, растеряв газеты, ухнул с горы. Хорёк торопливо сунул мешок с планом за пазуху, подхватил рюкзак Рустэма и подошел к краю.

Тело Рустэма, неестественно вывернутое, лежало совсем рядом, на камнях. Рустэм не двигался, и вокруг него темнело — скорее всего, умер, но высота была небольшая. Пришлось проверять — Хорёк чертыхнулся и принялся спускаться.

Умер, да.

Не глядя на лицо Рустэма, Хорёк подволок его тело к обрыву и спихнул. Бросил туда же и рюкзак.

Пекло так нещадно, что жухла на деревьях листва. Хорёк торопливо шел по дороге и вспоминал географичку. Не саму ее, конечно, а то, как поссорился с ней в шестом классе. Она заставляла учеников вести дневник погодных наблюдений. Его, конечно, никто не вел, староста рисовал в своем дневнике всякую ерунду, а остальные списывали с разницей в пару градусов, чтобы она не пропала — якобы в разное время дня все отмечали, и у кого-то градусник в тени, а у кого-то на солнце. Хорёк как-то решил отметить правильно и дать списать старосте, но тот списывать у двоечника отказался. Хорёк, упираясь, доказывал географичке, что в июле было сорок три, на следующий день сорок пять и даже пятьдесят два в конце месяца, но она не поверила — сказала, что в их широтах такой аномальной жары не бывает. Хорёк даже

пошел в библиотеку и прочел в энциклопедии, что действительно, до тридцати семи самое большое, но не могли же врать все градусники города? Это потом он узнал, что пятьдесят два бывает из-за угольной пыли. Черная мелкая взвесь накаляется в воздухе, греет, и жить невозможно, и дышать.

И сейчас от каждого его шага от дороги поднимался невысокий столбик черной пыли. Хорёк хотел не смотреть под ноги — от одного только взгляда в глотке начинало першить, а нос, казалось, забивается налипающей грязью, но все равно замечал — привык быть начеку с раннего детства — у щуплого тоненького мальчишки особенного выбора не было. Хочешь жить — умеи вертеться, как говорила ему мама. Мама сама пекла хлеб и варила такой борщ, что даже Мордаше ни разу не удалось повторить, хотя готовила Мордаша лучше всех баб в городе.

Надо было бы зайти к маме на могилку, чтобы она там, наверху, замолвила за него, кому следует, — убийство все-таки, но у кладбища Хорьку почему-то стало казаться, что за ним наблюдают, и он свернул. Ощущение это не пропало и в городе — из окон, из приоткрытых дверей сараев, даже из попадавших на пути прогнивших погребов на него могли смотреть.

Как и любой выросший здесь, на земле беглых каторжников, среди шахтовых провалов и заброшенных разрезов, Хорёк не боялся чудовищ, привидений или какого-нибудь там дьявола. Хорёк боялся людей. Он точно не помнил, когда зародился в нем этот страх, но чувствовал его как особенный спазм в затылке, где-то под ушами. Губы сами расползались в заискивающую улыбку, в горле возникал ком, который фиксировал это растяжение, и тогда нормально говорить не получалось. И даже если помассировать челюсть, улыбка не пропадала сразу. Это появилось еще в детстве, но избавиться от привычки Хорьку так и не удалось.

— Че, не рад? — спрашивал отчим угрожающе. — А ну, зубы покажи!

И Хорёк улыбался ему. За что тут же получал увесистый подзатыльник.

— Меня так воспитывали, и я так воспитывать буду, — повторял он поначалу возмущавшейся матери. — Пацан должен отцовскую руку чувствовать, тем более, он знает, за что...

Хорёк был тихим послушным ребенком, и за что — он понятия не имел. Но отчима это не останавливало, он полагал, что если и нет за Хорьком никаких провинностей, так это только потому, что отчиму пока не удалось его подловить.

Мама думала, что воспитательный метод подействовал, если и вправду был методом. На Хорьку ни разу не пожаловались, не позвонили из милиции, не пришли с жалобами.

Соседка думала, что отчима бесит чужой ребенок, который, каждый раз попадаясь на глаза, напоминает о прошлой жизни своей матери — о том, как она целовалась с другим, спала, рожала от него.

Хорёк ничего не думал, но, чтобы поменьше получать по башке, он старался не бывать дома. Посещал факультативы по химии, научился определять медь и бронзу, таскался по свалкам, находил и сдавал не только бутылки, но и металл. На вырученные деньги покупал еду. Особенно любил дешевое и сочное пирожное «ромовая баба» из «Сорок восьмого». Одежду воровал — раз в неделю уезжал в соседний городок на электричке, заходил во двор какой-нибудь многоэтажки и просто менялся — снимал с веревки влажноватое и чистое, а свое, грязное, вешал.

К двенадцати годам он в родителях уже не нуждался, да и в друзьях тоже. Тем более, после похорон литераторши отношение к нему в классе переменялось. А все из-за этой дурацкой улыбочки. Услышав, что литераторша умерла, Хорёк был так потрясен, что «показал зубы». И судорожные его попытки дышать и не расплакаться через эту улыбочку выглядели так, будто он смеется. И это заметили.

— Он смеется! — девчонки от ужаса даже плакать перестали.

Хорёк выскочил вон, плакал и бил себя по щекам перед зеркалом в туалете, слезы текли градом, но улыбочка так и не сошла. На кладбище его не взяли, выбрали семерых девочек, которые плакали громче других. Он потом сходил на ее могилку сам — литераторшу он любил. В пятом классе она поила его чаем после уроков и угощала невкусным овсяным печеньем. А на следующий год вообще подарила ему ручку с зеленым гелиевым стержнем.

В десятый Хорёк не пошел, хотя оценки позволяли. Пошел в фазанку. И уже там, скрываясь от дождя в заброшенном вентиляционном люке шахты 5—6, Хорёк оказался лицом к лицу (если то, что он увидел, можно было назвать лицом) с мертвым Мотей. Мотю называли «психическим» и жалели, хотя Хорёк знал его еще в те времена, когда Мотя был положенцем Фархата и работал почтальоном. Ничего «психического» Хорёк в нем не замечал — разве что тот постоянно торчал на могиле литераторши и смотрел как-то липко, будто бы ты его загипнотизировал и отвернуться он теперь не может.

К тому моменту, когда Хорёк его обнаружил, Мотя полгода как сбежал из дурки, его вяло искали и забыли. Хорёк тоже забыл, а теперь вспомнил.

Мертвое тело Моти, подсохшее на летнем сквозняке, пахло такой сладкой гнилью, что Хорька чуть не стошнило. Но он не убежал, а принялся его рассматривать. Поразила поза Моти. Видимо, он забрел сюда, побродил, а когда решил выйти, забыл, откуда пришел. Так и остался цепляться за решетку вентиляционного люка, смотреть на свет и звать на помощь. Так и умер. Как моль, которая летит на свет. А выход — вот он, всего через пару метров за углом. Казалось бы, чего с него взять, — «психический». Но Хорёк, глядя на него тогда, понял, почему мамка не уходит от пьющего отчима, почему повесилась молодая и красивая литераторша и почему сам Хорёк бежит в шестерках у Фархата.

Все живут по правилам. По идиотским правилам, которые они бог знает где взяли, может, и сами себе придумали. Наверняка сами. Больше убогую простоту правил этих объяснить было нечем. Знает Мотя, что выход там, где свет, — и прется туда, разбивая лицо о стальную решетку. И не будет он по сторонам смотреть, хоть палкой его к выходу гони. И все так. А Хорёк — нет. Хорёк умный. Хорёк дождетсЯ своего часа и облапошит их всех вместе взятых. На то он и Хорёк.

На широкой городской улице было безлюдно. С одной стороны дороги жались друг к другу двухэтажные каменные домики, с другой — тянулся длинный зеленый полуразрушенный барак — кобылятник — бывшее женское общежитие. За ним торчала круглая водонапорная башня красного кирпича и проржавевшие стойки огромных конструкций углеобогатительной фабрики.

На крыльце кобылятника сидела старуха в засаленном халате, она поправила треснувшие очки, рассматривая Хорька. Хорёк заметил ее и поспешно перешел на другую сторону улицы — в самое пекло. Старуха вдруг развернулась в сторону подъезда и пронзительно свистнула, вложив пальцы в рот, как заправский хулиган. Зачем она свистнула? Кого она позвала?

Хорёк прибавил шаг. Страх нарастал. Его никто не видел. Не мог видеть. Пацан пришел один. Выжить он тоже не мог. Никто не узнает. Никто ничего не узнает.

Миновал кобылятник, подошел к железнодорожной линии, на насыпь которой принято было валить мусор. Переходя через рельсы, по привычке задержал дыхание, — даже летом в нос бил вечный запах гнили. Какой-то старик снял с тележки, сделанной из остова детской коляски, жестяной бак и вывалил золу на насыпь. Серое облако поднялось и окутало Хорька, тот закашлялся, но ничего не сказал — волна страха почему-то снова накатила, хотя старик даже не смотрел в его сторону.

Хорёк остановился у деревянного двухэтажного барака, отдышался и постучал

в распахнутое окно. Оттуда высунулась Мордаша, разморенная, пышная. Обычно, глядя на нее, Хорёк испытывал острое желание тут же утянуть ее в койку, даже не для того, чтобы спать с ней, хотя и это тоже, а чтобы она обняла его крепко и долго гладила по голове и плечам. Но сейчас при мысли о том, что он коснется душного разморенного тела, пусть и приятного, становилось тошно.

— Чего?

Хорёк быстро протянул ей пакет:

— На, спрячь. И никому, поняла? А белый сюда давай.

Мордаша встревожилась:

— Ты чего задумал? Зайди!

— Неси, сказал, — ответил Хорёк грубо и осмотрелся.

Она вздохнула и неспешно скрылась. Появилась снова, протянула ему белый пакет. Пока Хорёк прятал пакет за пазухой, Мордаша осмотрела цветок на подоконнике, отщипнула с него высохший лист и бросила за окно.

Хорёк почему-то досмотрел, как сухой лист приземлится на землю, и только потом поспешил дальше — к длинным рядам разномастных гаражей. К Фархату. Постучал хитро — три коротких — один длинный:

— Открывай, свои.

Колян, крупный бритый мужик в спортивном костюме той же расцветки, что и у Хорька, чуть посторонился, пропуская его, и тут же захлопнул дверь.

В гараже висел сизый дым, но и он не перебивал запаха влажной плесени. Хорёк обошел большой сейф и оказался во второй половине. Тут стояли старый диван и небольшой столик, обитый линялой клеенкой. Посреди столика — пепельница — гигантская консервная банка из-под топленого масла.

На диване лежал Фархат. Каждый раз, когда Хорёк видел Фархата, он зажимался и «показывал зубы». Это невозможно было преодолеть — Фархат имел над Хорьком особую, животную власть. И это раздражало, потому что Фархат не был сильнее, быстрее или умнее, он вообще был довольно нелеп и похож на ребенка. Взять хотя бы эти его летние кожаные туфли. В городишке, пропитанном угольной пылью, никто не носил открытую обувь — стоило ноге припотеть, и набившаяся пыль превращала внутреннюю часть обуви в наждак. А Фархат хотел белые летние туфли с дырочками и носил. Правда, с носками. С черными. И ладно бы брюки купил к туфлям, так нет же. Носил со спортивным костюмом, и выглядело это так странно, будто он не из Москвы их заказал, а снял с кого-то им убитого.

Да, Фархат запросто мог убить. Но Колян тоже мог. И Хорёк только что убил, даже не дрогнув. Дело было не в этом, а в том поразительном ощущении, что самого Фархата убить невозможно. Он был как ящерица, от которой можно оторвать хвост, обрубить ей лапы, туловище даже, и все заново отрастет, и даже если не отрастет, если одна голова останется, то и она все равно будет смотреть на тебя как на еду и ползти к твоей глотке.

Как-то Хорьку приснилось, что связанного Фархата опускают в чан с кислотой, он булькает там, растворяется полностью, так, что даже веревки, на которой он висел, не остается. И когда все разворачиваются к выходу, прочь от чана, то натываются на Фархата, который стоит в дверном проеме, сложив руки на груди, и улыбается. Следующим утром Хорёк рассказал сон Фархату, прилюдно, чтобы польстить. Фархат улыбнулся снисходительно, а потом изрек очередную свою идиотскую мудрость:

— А знаешь, почему не сдох? Потому что я прав. И всегда был прав.

И поглядел «со смыслом». Все его шестерки сразу же поверили и закивали — типа тоже что-то там поняли. На самом деле ничего особенного Фархат о жизни не знал и ничего никогда не подразумевал, и вся власть его держалась только на биологии, но именно это и бесило.

До Мордаши Хорёк жил с Амёбой, биологичкой из фазанки, которая и рассказала ему про альфа-особей. Хорёк долго не мог поверить, что Фархат и вправду альфа. Низкий, коренастый, страшный как черт, с не раз ломанным носом и выпирающей челюстью, делающей его похожим на макаку. Альфа в представлении Хорька должен был быть высоким, статным и крепким, с точеным скуластым лицом, как Колян или как комсомольцы на мозаиках в доме физкультурника. Но Амёба разочаровала. Альфа — это как раз зверь, юркий, бесстрашный, живучий, с высокой приспособляемостью, и чем больше похож на макаку, тем больше альфа-генов. А точеные физкультурники — это бета-особи, идеальные солдаты, которые при определенных условиях способны заменять в стае альфу. Хорька, к слову, Амёба причислила к гамма-особям, тем, кто постоянно мутит воду в коллективе, но открыто выступить простив альфы не может — кишка тонка. На том они с Амёбой и расстались. И хоть извинялась она потом и плакала даже, но Хорёк все равно ушел, прямо посреди ночи встал и ушел. Не стерпел обиды.

Качайся всю жизнь, изучай единоборства, туши об себя сигареты, рви рубаху на груди, а победит все равно альфа. Нипочему. Просто такая комбинация генов. Впрочем, это касается открытого боя, а военную хитрость никто не отменял. Фархата нужно было обмануть, именно его нужно было обокрасть и нагнуть. Это будет честно. Получил фору при рождении — расплачивайся.

Заметив Хорька, Фархат даже не пошевелился:

— Принес?

Хорёк затараторил, захихикал и снова возненавидел себя за это:

— Он не пришел! Пацан этот не пришел! Я, как шоха последняя, лез в эту чертову гору, замерз как сука, ждал его там под дождем, а он не пришел! Убил бы нахер!

— Как не пришел? — Фархат резко сел. — Почему не пришел?

— А я знаю? Я тебе говорю, не пришел и все.

— А хрена ли ты вернулся? Топал бы в долину и спросил.

— Ага, с баблом твоим? Чтоб мне там нищие монголы башку отрезали?

— Гребаный компот! — Фархат подумал, но ничего придумать не смог. — Ну и хрена ли теперь делать?

— Не знаю, — Хорёк аккуратно выложил на стол тонкую пачку тысячных банкнот, перевязанных банковской резинкой.

Ему казалось, что если Фархат сейчас поднимется, подойдет вплотную и посмотрит ему в глаза своим фирменным взглядом, то он испугается и расскажет все сам. Расплатится и все отдаст.

Фархат сидел и молчал. Потом он резко хлопнул ладонью по дивану и поднялся. Хорёк закурил, чтобы не смотреть на него.

Колян обошел Хорька со спины, взял деньги и убрал в сейф. Кроме денег в сейфе лежали спичечные коробки, смотанные вместе скотчем.

— Колян, много там? — спросил Фархат.

— Четверть, — ответил Колян навскидку.

— Сука! — дернулся Фархат. — Надо подумать. Дай, дуну.

Колян вынул из сейфа коробок, плотно набитый гашишем. Он отщипнул кусочек, протянул Фархату, тот ловко зарядил бульбулятор и закурил. Колян подошел к пепельнице, взял немного золы, размесил ее вместе с гашишем и утрамбовал обратно в коробок. Коробок убрал в сейф.

Фархат откашлялся и сказал:

— Так. Пока делать ничего не будем. Ждем конца недели. На продажу еще хватит. Если они не объявятся, придется лезть.

Колян кивнул.

— В долину? — ужаснулся Хорёк. — А ты мне за эту ходку не заплатишь, я ж ходил...

— Ты ж не принес, — Фархат вышел на улицу и побрел вдоль гаражей.

— Но я ж ходил, — Хорёк догнал его.

— Ну и чё.

— Ну, я же свою часть работы...

Вдруг Хорёк остановился и замер. Навстречу им вывалилась полупьяная толпа во главе с недавно откинувшимся Солёным. А рядом еще и Рыжий. Солёный заметил Хорька и притормозил так резко, что на него налетел шедший за ним пацан. Перед Хорьком вдруг возникло на мгновение мертвое лицо Моти у вентиляционного люка.

— Оба-на! Какая встреча! — прокричал Солёный.

Хорёк метнулся в кусты. Все бросились за ним, но не толпой, а врассыпную, как спецназовцы, широко охватывая пространство.

Фархат подумал, что хорошо их научил, и что надо бы еще почитать чего-нибудь про тактику и стратегию. И что Хорька сейчас грохнут. Наверняка за долги. Покойся с миром, вечно голодный Хорёк.

Так. Нужно было обдумать, что делать с монголами. Но для начала проветриться. От конопли он соображал гораздо быстрее, но тело требовало движения. Не хотелось этим заниматься. Все эти разлагающиеся торчки, готовые убить за дозу, бабы, умоляющие купить их немытую промежность, тупые дети, обворовывающие родителей. Расстрелять бы их всех нахер.

Фархат вспомнил эту недавнюю историю в новостях, когда всех наркоманов якобы сначала пересадили на дешевые химические наркотики — спиды, а потом прислали отравленную партию. Торчков тридцать за ночь выкосили — и это только те, кого друзья не прикопали по-тихому. По телеку намекали, что это местная власть так с наркоторговлей борется — мол, устрашающая акция, но это было смешно. Эдакий американский боевик про крутых политиков. Какой-нибудь губернатор теряет сдолбившуюся дочь, вызывает к себе начальника полиции и говорит — я буду мстить, они за все ответят! Начальник полиции в ужасе, но у него от наркотиков тоже кто-то погиб, и он решает помочь. Они создают преступную сеть распространителей, и сотня внедренных агентов начинает популяризировать спиды, потом торговать ими полгода ради прикрытия, обращая сотни людей в новых наркоманов, чтобы в день икс те тридцать торчков сдохли. Смешно.

Нет у местной власти, которая каждый литр бензина считает, таких мощностей. И вообще, прикладывать столько усилий ради конкретных тридцати торчков, которые и сами сдохнут, — глупо. А убивать тридцать торчков ради того, чтобы напугать остальных и этим остановить распространение спидов — еще глупее. На кого расчет? Наркоман не перестанет оттого, что где-то там кому-то продали ядовитую партию и кто-то там от этого сдох. Он не перестал оттого, что его лучший друг только что сдох у него на руках. Он не перестал оттого, что его мать сдохла без лекарств, потому что он украл всю ее пенсию. Он не перестал даже после того, как ему загнившую руку по плечо оттяпали.

Если расчет на любопытных тупых детишек, то тем более не сработает. Наркотики — риск. Дети думают, что это для крутых и смелых. А теперь, после того, как появились отравленные партии, стало еще опаснее, еще интереснее.

Совершенно очевидно, что это какой-то наглый молодняк пытался сдвинуть старую гвардию. Причем молодняк не криминальный, не понимающий, как дела делаются, что это все сначала перетирается, предлагаются проценты, условия обговариваются. А тут сработали так, будто новый магазин открыли — у меня тоже есть плюшки, они дешевле и вкуснее, я налажу свою сеть поставок, и все купят у меня. Нет, дружок, это Россия. Никто с тобой конкурировать не будет. Или ты сразу ложишься

под систему, уважительно подставляешь зад и крепчаешь, или — извините, вы нам не подходите, поэтому умрите, пожалуйста.

Фархат и сам часто думал о том, как убрать наркотики совсем, но это было нереально. Если он запретит — его тут же грохнут — большая часть денег общака — это доля с наркоторговли. Если отдаст эту кормушку кому-то другому, чтобы не возиться, то опять начнется мак, химия и, главное, герыч, от которого спасения нет. И шесть лет впустую. Шесть лет работы над поставками дешевого гашиша, шесть лет незаметного вытеснения героина с рынка — терки с ментами, подставы, цены. Ребята, героин — это дорого, неудобно и опасно. Курите гашиш! И все равно полностью не убрать. Слаб человек. Не живется ему нормально — вечно водки подавай, сигарет, баб и прочей наркоты.

И, если теперь проверенный канал поставок оборвется, торчки перейдут на дорогой герыч. Больше поставок, больше краж, больше смертей. И еще лет пять на то, чтобы тупо вернуть все как было. Сначала дожидаться, пока вымрут героиновые торчки — обратно с героина на гашиш не пересаживаются; постепенно вырезать распространителей, выискивать, за что и почему, чтобы на сходке было чем крыть.

Нет, паниковать он раньше времени не станет, подождет. Тэнгиз никогда не подводил. Может, заболел или умер. Или курьер накосячил. Может, еще разрулится.

Он перешел железнодорожные пути, нагнал старика с тележкой, на которой дребезжали бачки из-под мусора. Старик остановился и почтительно поклонился. Фархат внимательно рассмотрел его и вспомнил. Этот старик, служивший в милиции, не раз ловил Фархата по мелочи, всегда с бандой. Фархат, которому к тому моменту было уже за двадцать, принимался рыдать и упрашивать дяденьку отпустить его домой, а то мамка выпорет. Старик отпускал самого мелкого, а от банды без Фархата вообще было ничего не добиться. Все они учились в школе для дураков, разговаривали плохо, в ответ на все — кивали и не могли объяснить, куда они лезли и зачем.

Они правда не знали. Фархат показывал, кого бить, совал им в руки ворованное и бежал первым. В детали был посвящен только Колян, которого Фархат на дело никогда не брал — оставлял стоять на шухере, если вдруг что. Через много лет внук этого старика вляпался по глупости — втаранился на мопеде в тачку Азика, владельца нескольких овощных палаток. Его поставили на счетчик, он прятался, в итоге счетчик раскрутился так, что старику грозила потеря дома. Старик отстреливался.

Фархат решил в пользу старика, дом ему оставили, а внука высекли. Азик грозился запороть пацана насмерть, но Фархат знал, что Азика с его протрузиями надолго не хватит. Так и вышло.

Фархат пожал старику руку. Польщенный старик улыбнулся. Фархату было приятно. В детстве он был влюблен в соседскую девочку Катю, которая долго внушала ему, что надо быть хорошим и только это дает человеку ощущение счастья. Ощущения счастья от встречи со стариком, конечно же, не было, но частично Катька оказалась права. Встретив какого-нибудь Хорька, с которым Фархат поступил плохо — не защитил, Фархат огорчался, а встретив старика, с которым поступил хорошо, — радовался. И на рынке радовался, что никто не дерется. И у магазина тоже.

Фархат вошел в магазин. В магазине сразу же воцарилась тишина. У прилавка собралась небольшая очередь, но все расступились, даже недовольная крупная бабка в цветастом халате и розовых резиновых тапочках отошла, пропуская Фархата. Все смотрели на него и молчали. И он молчал.

Ему нравилось, что его боятся. Нет, он понимал, что бояться они не его лично, а его положения, его власти, но все равно было приятно. Еще немного послушав тишину оробевшей очереди, Фархат взял стекляшку «Жигулёвского» и вышел.

Хотелось где-то присесть, но все лавки в городе давно пустили на дрова, а ножи сдали в металлолом. На крышке погребца за общественной баней оказалось занято.

Там плакала намалеванная школьница в короткой юбке. Фархат не обратил бы на нее внимания, но чем-то эта девочка напомнила ему Катю.

Фархат присел рядом с девочкой. Школьница торопливо утерла слезы и попыталась придать лицу доброжелательное выражение:

— Здравствуйте, Фархат.

Фархат усмехнулся — пигалица совсем, и та знает, кто он такой.

— А ты кто?

— Яна.

— И чего ревом, Яна?

— Парень меня бросил. Сказал, я конченная. При всех сказал... И с подругой моей теперь... — она снова разрыдалась.

Фархату было скучно, хотелось отвлечься. Он представил себе перепуганные лица малолеток и решил повеселиться, а заодно и сделать хорошее. Будет потом встречать эту Яну и радоваться.

Фархат приобнял ее:

— Не дело, — Фархат встал. — Пошли, перетрем с ним.

Яна вскочила, удивленно посмотрела на Фархата:

— Ты? Ты за меня вкупишься?

— А мы с тобой вроде бы на брудершафт не пили.

— Извините, — школьница помрачнела, но уже через несколько шагов взяла его под руку.

Фархат остановился, посмотрел на ее руку и, усмехнувшись, сказал:

— А ты скорая, я смотрю!

Она засмеялась от волнения, но руки не убрала:

— Ой, ну это же такой понт! С вами пройти! Нет, ну, если нельзя... Или если у вас девушка есть... — она испуганно отдернула руку.

Фархат улыбнулся и выставил локоть, чтобы она взялась. Она улыбнулась и подхватила его снова:

— У меня девки сейчас от зависти умрут... Вы же такой... Ну ваше прям!

— Я страшный как сто чертей, — протянул якобы недовольно Фархат, но ему было приятно.

— Причем тут внешность! Вами же все восхищаются! Мой брат мелкий мечтает, когда вырастет, стать таким, как вы!

— Ну и дурак, — искренне ответил Фархат.

Во дворе школы на детской площадке, состоявшей из пустой песочницы под покрившимся ржавым грибком и остова качели, пили пиво старшеклассники. Несколько парней в спортивных штанах, остроносых туфлях, черных майках и летних кепках-восьмиклинках. Заметив Фархата и Яну, подростки удивленно поднялись.

Фархат подошел, остановился, выбросил бутылку в кусты и, потянув спортивные за колени, чтоб не растягивать, уселся на край песочницы. Он ни на кого не смотрел. Так делал Колхоз на сходках, и оно всегда срабатывало. Типа я тут занят, а вы мне до такой степени мусор, что я даже и смотреть в вашу сторону не собираюсь. Яна встала рядом с ним и победоносно окинула всех взглядом. Фархат помолчал для солидности и тихо проговорил:

— Ну что, ребята, делать будем?

Подростки испуганно переглянулись.

— Ну?

Школьники молчали. Яна торжествующе улыбнулась.

— Пиво холодное?

Пацаны закивали, а стоявший ближе всех паренек протянул Фархату полторашку «Жигулёвского». Фархат отпил, передал Яне, она выпила тоже. Он собирался рассказать

про понятия и напомнить о том, как можно поступать с женщинами, но не успел, из-за угла школы появилась толпа. Они вели под руки уже изрядно побитого Хорька.

— Вон Фархат! — крикнул Рыжий, и толпа направилась к школьникам. Школьники попятились, но Фархат проговорил тихо:

— Стопэ! Я никого не отпускал.

Метрах в пяти толпа остановилась. Рыжий подошел к Фархату, присел рядом, но не на песочницу, а на корточки, и даже голову пригнул, чтобы оказаться ниже:

— Фархат, он детям дурь пихает. Братика моего мелкого подсадил, а он у меня знаешь, какой был. А у Солёного дочку, затаскалась девка. Да тут у каждого...

— Я же в том году еще запретил школьникам впаривать, — перебил Фархат.

— Вот и я о чем, — развел Рыжий руками, от этого чуть не сев на задницу. — А он говорит, что ты за него вкупишься.

— Я? — с угрозой в голосе спросил Фархат. — Писанись, что ты меня с ним видел.

Рыжий благодарно закивал, вскочил, широко улыбаясь, побежал к остальным. Подбегая, он подскочил, стараясь на лету пнуть Хорька в живот, но промазал и чуть не упал. Фархат усмехнулся. Школьникам смешно не было.

Толпа разошлась плотным кольцом вокруг Хорька, его поднимали и швыряли, снова поднимали и снова швыряли. Рыжий обернулся к школьникам:

— Ребзя, шнурок есть? Ну, от кроссовка? Обычный! Мы вернем, только это... — Рыжий жестом показал, что шнурок ему нужен, чтобы сделать удавку. Перепуганные дети не шелохнулись.

Фархат взял у Яны бутылку, отхлебнул пива и свистнул. Бьющие остановились и посмотрели на него:

— Он мне тут нахрен не сдался. Чтоб убрали за собой.

— Фархат, да не вопрос, — клятвенно приложил руку к груди Рыжий.

— И в сторонку хоть отойдите. Школа же. Еще бы в детский сад его притащили.

— Прости, сейчас мы...

Рыжий поволок Хорька к кустам, но далеко оттащить не удалось. Из-за угла школы выскочила вдруг та самая толстая бабка в розовых шлепанцах, которую Фархат только что видел в магазине. Она бросилась Рыжему наперерез.

— А ну! — прокричала она таким страшным голосом, что мужики расступились, а Рыжий, крепко державший Хорька за грудки, от неожиданности выпустил его.

Фархат, наблюдавший за ними, усмехнулся:

— Отобьет! Точно отобьет. Я такое видал уже. Баба как-то мимо шла...

Договорить Фархат не успел. То, что произошло дальше, поразило даже его. Бабка вдруг схватила Хорька за шиворот и как-то ловко толкнула вперед, будто подбросила вверх. Хорёк глухо шлепнулся на живот, баба оседлала его и, схватив за волосы, принялась лупить лицом об асфальт.

— Паскуда! Гнида поганая! Мразь! Конченная мразь! Ты мне за все ответишь!

Хорёк в ответ даже не стонал, а как-то глухо булькал. Мужики от неожиданности расхохотались.

— А я думал, она его того... Забрать хотела... Мамка или кто, — сквозь смех проговорил один из толпы.

— Не, это мамка его клиента, по ходу.

Фархат поднялся, и Рыжий, принявший это за проявление недовольства, подскочил к бабе и, раскорячившись, начал вытягивать из под нее Хорька:

— Школа же... Дети смотрят. В кусты, в кусты пошли. Там убьем. Отойти надо.

Бабка услышала его и обмякла вдруг. Задрав ногу, перевалилась на задницу, выпустила из-под себя окровавленного Хорька и зарыдала. Рыжий отдал обмякшего Хорька мужикам и попытался поднять бабку, но она не захотела вставать.

Фархат поморщился и развернулся к школьникам:

— Ну и кто тут Яночку обидел?

Школьники молчали и смотрели на то, как уносят Хорька в кусты.

— Я спросил, — с угрозой в голосе сказал Фархат.

— Он, — ответила Яна, указав на симпатичного паренька.

— А сам чего не отвечает? Западло с Фархатом разговаривать?

Паренек съезжился в ожидании удара. Но ударил не Фархат, а один из друзей, юркий и жилистый, тот самый, который первым сообразил протянуть Фархату бутылку.

Фархат похлопал паренька по плечу:

— Молодец, понятливый. Вечером в гараж заходи, сбегать кое-куда надо.

Паренек просиял и кивнул. Фархат обнял Яну за шею. Он прихватил и пиво, уводя Яну прочь. Яна обернулась — школьники провожали их взглядом. Только обидчик держался за нос.

В гараже Фархат раскурил косяк, откинувшись на спинку дивана. Яна сидела рядом и смущенно теребила подол юбки. Она спросила вдруг, чтобы заполнить гнетущую тишину:

— А как вы таким стали?

Фархат потрогал себя за нос:

— Это меня мудака один мордой об рельс постучал, царствие небесное... Там, у магазина...

— Да нее, — протянула Яна. — Я вообще.

— А, — Фархат выдохнул дым. — Я в школе для дураков учился. Ну и подфартило. Я с Макеной по малолетке в одной камере в СИЗО неделю кантовался.

— Нет, я Макену не знаю...

— Ты ж мелкая совсем.

Он поцеловал Яну в губы, усадил ее к себе на колени и полез под юбку. Девочка была свежая, аппетитная, ее трясло от возбуждения, она смешно и старательно отвечала на поцелуи. Фархат стянул с нее кофточку, расстегнул лифчик. Отстранился, чтобы заценить грудь, но случайно посмотрел ей в глаза и заметил, как сильно она испугана. И что трясет ее явно не от возбуждения. Он взял ее за подбородок и строго спросил:

— Ты целка, что ли?

Яна кивнула.

— Сука, — Фархат одним движением сбросил ее с колен. — И какого хрена ты тогда... Мокрошелка малолетняя! Пошла вон!

Яна испуганно вскочила, на ходу натягивая кофточку, и бросилась к выходу. Она дернула дверь, но дверь оказалась заперта. Она замерла, глядя на медленно подходящего к ней Фархата.

Он запер за ней дверь, вернулся на диван и лег на живот. От грязного дивана несло прелым табаком.

До сегодняшнего дня Рыжий Ванька был уверен, что, убив, Хорька, испытает радость и облегчение — отомстил за братишку, восстановил справедливость. Но вместо удовольствия — опять эта липкая боль. Смерть Хорька ничего не изменила — братишка уже в колонии. Вернется, чтобы тихо спиваться, клянчить мелочь, воровать, потом примется за старое и содлбится насмерть. Поздно.

Но плюс все же был — еще долго школьникам никто дурь продавать не посмеет. До нового Хорька. И, может быть, в этот просвет между хорьками успеет вырасти чей-нибудь еще братишка.

Ванька думал так, но все равно не легчало. Научиться бы, как Фархат. Тому убить — что зуб выдернуть. С заморозкой.

Или научиться не думать. Как Колян: Фархат сказал, Колян сделал. Не человек, а машина. И за грехи Коляновские перед Господом Фархат отвечать будет, сам говорил. А за грехи Рыжего кто? Убийство — это же как минимум десятка в аду, в кипящем котле. Молодец, хорошо день провел. Хотя если по понятиям рассуждать, то толпой вроде как и не убийство, а суд. И если за дело, то, может, и скинут хотя бы пятерочку. Или условно. Интересно, а в аду условно — это как? Сидишь в чистилище и пережидаете? Но чистилище — это же просто белое поле. Белое поле. И ничего вокруг. Это похлеще всякого ада получается — в аду хоть не один в котле варишься, а рядом кто-нибудь подкипает. Вместе полегче. Даже с чертом, который в тебя рогатиной тычет, лучше, чем одному.

Ладно, пусть уж десятка тогда.

Мама, учуяв, что он вздыхает на кухне, вырубил телек, поскрипела пружинами койки и побрела к нему. Он услышал, как шаркают по драному линолеуму ее старые тапки, приосанился и постарался «сделать лицо». Было невыносимо слушать это ее ковыляние — колени у мамы не гнулись с самых похорон. Врач сказал — застудилась. Она очень любила деда, долго не вставала с его могилы и не давала Ваньке себя поднять. После суда над братишкой дед пил всю ночь и к утру помер. Так что и тут Хорёк вышел виноватым.

Ванька приматывал матери к коленям капустный лист, растирал настойкой лопуха на спирту и даже ставил компрессы из желчи. Вставать она начала уже через неделю, но ходила теперь так, будто тапки у нее были чугунные.

Улыбнулся. Нет, не получилось. Поняла.

— Чё ты, Ванюш?

Ванька потер пальцем порез на старой клеенке и признался:

— Мы это... Хорька грохнули...

Она ахнула, вскочила, чуть не перевернув стул. Лицо ее в одно мгновение подтянулось, напряглось, и она стала похожа не на его вечно сонную маму, а на героя-стахановца с советского плаката.

— Мучили? — спросила она жестко.

Ванька не сразу ее услышал, он удивленно следил за изменениями ее лица.

— Мучили? — повторила она — Вы его мучили?

Ванька не понимал, что она хочет от него сейчас услышать. Расписывать собственной матери, какой ты жестокий мокрушник было невыносимо, но по тону казалось, что именно этого она от него и ждет.

— Ну так... Не сильно...

— Меня позвать надо было, раз сами не могли! — глухо проговорила мама. — Он бы у меня землю с червями жрал и кишки свои по асфальту собирал! Поломанными пальцами! Гнида поганая! Да я б ему своими руками каждую косточку пополам переломила!

Так ругались отличники в началке, чтобы и грозно, но при этом не матом. Ваньке почему-то стало очень стыдно за маму, но она не заметила — ее потряхивало от хлокотавшей внутри злобы.

— Мамань, ты чего, а? Мам...

Она посмотрела на него, хотела что-то сказать, но, взвизгнув, зашлась рыданиями. Ванька вскочил, сгреб ее в охапку и прижал к себе:

— Мамань, ну не плачь, мам... Все уже, порешили его. Нету больше гниды этой... Мам, ну...

Она высвободилась и, шаркая тапками, убрела к себе. Ванька хотел войти к ней, позвать пить чай с вареньем, но она уже достала и разложила на койке братишкины грамоты. Перебирала, бубнила под нос про чемпиона и лауреата, грозила кулаком невидимому Хорьку. Теперь это надолго.

Ванька тоже любил братишку, ему нравилось защищать его, решать его проблемы. Хотя какие там были проблемы? В детском саду девка какая-то суп на него пролила, поц карандаш зажалил, сдачу посеял — смешно даже, но для братишки все это было трагедией, а Ванька, взрослый и умный, разруливал в два счета. Потом братишка сботанился, начал побеждать в олимпиадах и конкурсах, куда Ваньке приходилось его возить.

Мама наглаживала рубашку и Ваньке, начищала и ему туфли, и они шли на трамвайную остановку. Ванька старался ступать аккуратно, чтобы пыль не прилипала к туфлям, но ремень жал, воротник душил, а братишка шел впереди, не оглядываясь, и болтал про задания. Ваньке все это было до фонаря, как если бы братишка щебетал ему на птичьем — за годы в школе он научился только прессовать ботанов, чтобы те ему списывать давали.

Они приезжали в какую-нибудь школу или ДК, брат шел решать, а Ванька — на охоту. Он несколько часов слонялся по коридору, а вместе с ним ждали пожилые женщины. Они дружелюбно поглядывали на Ваньку. Ванька любил сначала хорошенько рассмотреть всех, понять, кто из них учительница, сопровождающая ученика, а кто мамаша или бабуля. Нужно было выбрать самую добрую бабулю с сумкой потяжелее, встать рядом и минут через двадцать начать вздыхать. Бабуля сначала предложит присесть, потом поболтает немного, а потом, попривыкнув, критически осматривает тощего Ваньку и покачает головой:

— А ты чего, тормозок не взял?

— Нечего брать было... Голяк дома, — вздохнет Ванька, и бабуля тут же, всплеснув руками, начнет вынимать из сумки пирожки или бутерброды.

Как-то на олимпиаде Ваньке очень повезло — он съел бутерброд с соленой красной рыбой и три шоколадные конфеты.

После этого можно было идти курить. Бабули ворчали, но все уже было съедено, потому Ванька ничем не рисковал. Болтаться по чужим районам в таком ботанском прикиде было небезопасно, поэтому обычно Ванька выбирал лавку неподалеку от школы. Чтобы одновременно палить крыльцо и самому не палиться.

Братишка выходил задумчивым, будто все еще был там, в заданиях, шел молча, иногда резко останавливался и спрашивал у Ваньки:

— А, может, там так надо было написать, а? По-моему, я ошибся...

— Чё, вернемся? — волновался Ванька.

— Не, уже не дадут переправить, — вздыхал братишка и становился еще задумчивее.

— А если я с ними перетру? Скажу, что бабуля померла, например? А поц, мол, из-за этого напрягся, напортачил?

Брат охал, отмахивался и спешил к остановке. Ванька всю дорогу старался его растормошить, потому что задумчивость эта, как у «залипухи», Ваньку пугала. Про «залипух» рассказал ему Фархат. Он делил клиентов на «залипух» и нормальных. Нормальные покупали дурь не каждый день, просто чтобы поржать и расслабиться, и даже если сдалбливались до пяти доз в сутки, то потом все равно как-то прекращали. «Залипухам» Фархат не продавал. Принципиально. Это, конечно, не помогало, потому что они покупали через нормальных, но Фархата успокаивало:

— Видишь, рожа какая?

— Стрёмная? — не понял Ванька.

Фархат поржал. Они пили перед магазином, на единственной лавке, и у входа терлись пацаны, вроде как в очереди, но на самом деле просто кучковались от нечего делать и пялились на Фархата.

— Он же залипает, чё, не видишь?

Ванька пожал плечами:

— Не.

— А на того позырь. Видишь? Вот еще смотри. Не тот, а лысый. Ниче не замечаешь?

— Пьяный вроде. Или спать хочет.

— Во ты олень слепошарый! — Фархат хохотнул. — Рожа заливает у него. Слушал-слушал и залип. Тупо сидит и пялится. Ничего не слышит.

— Задумался типа?

— Ну, типа того. Чем чаще заливает, тем быстрее сдолбится.

— Почему это?

— Да вот хрен знает. Мне Ушур сказал, я еще малой был, а потом сколько проверял — в натуре.

Мнению Ушура Ванька тоже доверял, тот был настоящим шаманом и зря не болтал. А для того, чтобы не доверять мнению Фархата, надо было быть полным идиотом.

После того разговора Ванька стал внимательнее следить за братишкой и даже рассказал ему про «залипух», но тот пожал плечами:

— Наркотики меня не интересуют.

Не интересовали они его до старшей школы. А потом он влюбился в какую-то смазливую дуру и болтался за ней. Пацаны предупреждали Ваньку, но он отмахивался:

— Пусть покобелирует маленько. Чё, он у меня в армию девственником пойдет?

Дура шарилась со своими из шараги, те терлись с Хорьком, и Ванька чухнулся, только когда мамка недосчиталась зарплаты. Ванька бил братишку, запирали, но тот свалил из дома и уже через пару дней попался. Хотел ограбить кабинет информатики. Спрятался в школе, собирался ночью спустить друзьям компьютеры через окно, но окна оказались забиты гвоздями, пришлось оглушить сторожиху и взять ключ. Бабка оказалась больная и чуть не умерла от удара.

Выносить мамины причитания было невозможно, и Ванька ушел. Сидел на крышке погреба под окном Хорьковского дома, слушал музыку в телефоне. Как назло, попадались только тоскливые мелодии, а кнопка перелистывания у Ваньки давно сломалась. Он копался в настройках и искал другой способ переключить.

Солёного он не заметил, хотя тот махал ему с дороги, а потому подошел уже раздраженным.

— Слышь, у меня тачка накрылась, по ходу клина словил.

— И чё? — спросил Ванька, все еще глядя в телефон.

— Ничё! Хорька на моцике везти?

— Значит, на моцике.

— Ага, я ща такой с трупакон в люльке и на отвал?

Ванька промолчал. Подумав, Солёный спросил:

— Слышь, мож, прицеп присандалить?

— Или так, — равнодушно пожал плечами Ванька.

Прямо над ними внезапно раздался странный протяжный стон, больше похожий на вздох. Они подняли головы, но заметили только мелькнувший силуэт женщины в проеме окна.

— Чё все режут-то ё-моё! Задрали, капец!

— Это баба евошня, — пояснил Солёный. — Ну так мне чё?

— Капчо! На моцике поедем.

Из дома вышла опухшая от слез Даша в галошах на босу ногу и в плаще. Ванька, конечно, видел ее раньше, но старался не разглядывать — она носила сарафаны на тонких бретельках, и ее большая грудь непристойно колыбалась. За разглядывание груди чужой бабы легко было схлопотать, а Ванька рисковать не любил.

Даша обесцвечивалась и делала химическую завивку, а сейчас волосы отросли, и оттого ее голова была похожа на одуванчик, с которого сдули верхушку. Лицо казалось по-детски смешным то ли из-за прически, то ли из-за пухлых щек. Мамка почему-то называла такие щеки «брылями».

Даша, привалившись к стене, с укоризной смотрела на Ваньку. Ванька торопливо уставился в телефон. Она, похоже, продолжала смотреть, но теперь Ванька не поднимал головы, боялся, что она заплачет или начнет обвинять, тогда ему придется объяснять про братишку, и они поссорятся.

Гремя прицепом, подъехал мотоцикл. Даша молча обошла прицеп, не сводя взгляда с большого брезентового свертка, лежавшего в нем, и села позади Солёного. Ванька забрался в люльку.

Они обогнули дом, неровный ряд ржавых гаражей, старую кочегарку и понеслись по пыльной проселочной дороге между полем картошки и полем ржи. Прицеп подпрыгивал на кочках, дребезжал, и Ваньке, сидевшему в люлке вполоборота, приходилось придерживать сверток рукой.

На горизонте показались симметричные, как египетские пирамиды, насыпи. Они образовывали длинный коридор, ведущий к угольному разрезу. Отсюда разрез был похож на след от гигантского сверла. Будто бы бог хотел просверлить землю, начал уже, но передумал и ушел. По спиралевидному следу ползали крохотные «БелАЗы», отсюда похожие на толстых неторопливых жуков с оранжевыми головами.

В конце коридора мотоцикл замер. Ванька заворуженно смотрел, как к ним медленно ползет один из «БелАЗов», увеличиваясь в размерах и будто ускоряясь. Он был гигантским, как дом, и Ванька испугался, что водитель не заметит их и раздавит. Он привстал в люлке и замахал руками. «БелАЗ» притормозил. Солёный слез с мотоцикла и вскарабкался по лесенке к кабине, о чем-то поговорил с водителем.

Вернувшись за руль, Солёный хотел пересказать разговор Ваньке, но тот ничего не слышал из-за гула огромного двигателя. Мотоцикл ловко проскочил между двух насыпей и оказался в колее от белазовского колеса. В конце колеи они остановились и выбрались. Пока Ванька вытаскивал сверток из прицепа и волок его к подножию крайней насыпи, Солёный пытался вытащить мотоцикл из колеи.

Даша немного постояла над свертком и бросила сверху горсть щебня. Позади гудел приближающийся «БелАЗ». Он медленно вполз в свою же колею и, докатившись до них, вывалил на тело Хорька кузов камня. Женщина отошла недостаточно далеко, и ее обняло поднявшееся облако пыли. Ванька рванул к ней, схватил за руку и хотел отвести к мотоциклу, но она резко вырвалась и, закашлявшись, пошла сама.

Мотоцикл остановился у дома Даши. Она медленно слезла и побрела к подъезду. Ванька тоже выбрался.

— Ну, ты это... — начал он и замялся.

Даша, не оборачиваясь, отмахнулась. Мотоцикл уехал, а Ванька так и остался стоять.

Когда дверь подъезда хлопнула, Ванька осмотрелся, вздохнул, присел на крышку погребка, размял кисти рук так, что хрустнули костяшки. Вокруг было тихо, а в голове пусто.

Он по инерции побрел к гаражам. Стукнул — три коротких, один длинный. Колян выглянул, сначала осмотрелся и только потом впустил Ваньку внутрь.

— Здорова, — протянул Фархат с дивана.

— Коробок? — спросил Колян.

— Не, — Ванька покачал головой. — Плюшку заряди.

Рыжий сел на диван, в ногах у Фархата. Тот протянул ему косяк. Ванька торопливо раскурился и задержал дыхание.

Фархат усмехнулся:

— Ломает, что ли?

— Не, — Ванька помотал головой, наконец, выдохнул: — Бабу Хорьковскую видал. Ревет.

Фархат вздохнул:

— Из грязи родился, в грязь обратился... Ни хера не загадка, ё-моё... — добавил он и усмехнулся.

Он поднялся и, сделав пару приседаний на месте, заходил перед диваном.

— Хорёк мне носил.

— Да? — изумился Ванька. — А мы его... Того...

— Да хрен с ним... Нифига он мне не принес... В долину лезть надо... Завтра в ночь... Че же там случилось? Мож, менты?

— Монгольские?

— Сам ты монгольский! У них и ментов-то нет, поди. Наши. Тэнгиз не подводил никогда...

— Ты зови, если чё. Я тоже сходить могу.

— Забей, Колян сходит.

Фархат торопливо вышел из гаража, хлопнув дверью. Ванька вопросительно посмотрел на Коляна, — но тот пожал плечами — дела какие-то срочные, видимо.

Ванька тоже вышел, оставаться с Коляном он не любил. Вроде бы и относился к нему хорошо, но тот всегда молчал и вздыхал, а оттого Ванька начинал болтать сам и быстро уставал, не понимая, о чем еще рассказывать.

На улице неожиданно быстро стемнело. Ванька еще постоял, но Фархат так и не появился, и Ванька побрел домой. Мама, наверное, уже успокоилась.

Проходя мимо дома Хорька, он заглянул в Дашино окно. В комнате тускло горел свет, а Даша сидела на кровати в ночной рубашке и тупо смотрела перед собой.

— Залипла, — подумал Ванька и остановился.

Он вспомнил, как она стояла, привалившись к стене, и смотрела на него, и как потом выдернула руку. Тогда надо было извиниться. Сразу же. Ладно, лучше поздно, чем никогда.

Однако когда Даша открыла дверь и изумленно на него посмотрела, Ванька почувствовал себя настолько глупо, что простоял молча, наверное, целую минуту, а может, и две. Стоял и бренькал щеколдой, пока Даша не остановила его руку. Ванька опомнился и выдохнул:

— Ну, ты это... спать ложись... И... извини!

— Чаю будешь? — спросила она на удивление спокойно.

— Буду, — с облегчением ответил Ванька. — А то сушняк такой, что капец...

Он разулся и прошел на кухню — замер на пороге:

— Как тут у тебя...

— Как?

— Как в мультике, — улыбнулся Ванька.

На окне висели розовые занавески в мелкий цветочек, подшитые кружевными оборками, на полочках — одинаковые баночки с крупами и макаронами — одна к одной, под ними — накрахмаленные салфеточки. На столе — кружевная скатерть в тон занавескам и крохотная хрустальная вазочка с конфетами.

Даша поставила перед ним чашечку с блюдцем. Он улыбнулся.

— Чего?

— Бабуля моя чай с блюдечка пила. Мы с мамкой недавно это вспоминали, я мамке решил на днюху сервиз подогнать. Пусть тоже... С блюдечка...

— Может, лучше водки?

— Давай.

Она убрала чашку и поставила перед ним стопку. Себе поставила тоже. Достала

из холодильника початую бутылку и крупную масленку с крышкой. В масленке оказались крошечные бутерброды на специальных вилочках.

Ванька восхищенно посмотрел на нее:

— Ну ты, блин, ваще! Как в ресторане! Такое жрать жалко.

— Тебя звать-то как?

— Иван, — ответил он серьезно. — Ну, Ванька, в смысле. Рыжий. А тебя?

— Даша. Хорёк Мордашей звал. Помянем, — она выпила.

Ванька вертел стопку в руках. Посмотрел на бутерброды, но ни пить, ни закусывать не стал. Сказал, набрав воздуха:

— Ты прости нас, но... Мы же его за дело, спускать такое нельзя... — Он замолчал и повертел стопку в руках, поставил подальше от края. — Он же детям толкал... Он же брата моего... Такой пацаненок был! Умный, капец! Он мамке моей говорил: «Погоди, мамка, школу кончу, институт, задипломируюсь, и будешь ты у меня...»

Рыжий осекся и замолчал. Даша плакала, но не всхлипывая, а так, беззвучно роняя слезы на скатерть. Ванька потянулся через стол и погладил ее по голове. Она не убрала его руки. Тогда Ванька встал, подошел вплотную и обнял. Даша уткнулась ему в живот и зарыдала. Ванька присел перед ней и проговорил тихо:

— Ну, не плачь. Говно он был, а не человек, и нечего из-за него... Хотя и любовь там...

Она вдруг отстранилась, вытерла слезы:

— Да не любила я его! Он же... тьфу! — она поморщилась.

— А чего тогда?

— Да я же всю жизнь... Как подстилка малолетняя, от одного к другому... Замужем была, так он сел — подельника зарезал, я к другому — а тот пьяница оказался, бил меня, а потом вообще наркоман, полдома повытащил, и я уже на Хорьку согласная была, а он же... Он же мерзкий... И того нет! А теперь я уже старая! И ни шиша у меня нет, ни мужика, ни ребеночка... А я красиво хотела... Хотя один разочек, самый маленький, чтоб красиво... Я же в Большой театр мечтала, хоть одним глазком, хоть уборщицей бы туда... Ну чем я виновата? Ну за что меня так, а?

Ванька Рыжий крепко прижал ее к себе:

— Да чего ты? Ну? Разнюнилась! Уж такая вот у нас житуха. Ты молодая еще. И красивая, вон какая красивая, ну?

— Красивая, ага, ври больше...

Рыжий вскочил:

— А знаешь что? — он заметался, соображая, что бы ему сделать, сообразил, побежал к выходу, но вернулся, хлопнул водки из горла. — Ща! Ща, погодь, все будет!

Он выскочил вон. Даша в недоумении встала, постояла, соображая, что теперь делать, и принялась убирать со стола. Стопочки сполоснула, натерла полотенцем и аккуратно поставила на полочку, бутылку в холодильник...

Он влетел с выломанной веткой от куста желтых роз, протянул ей. Даша посмотрела на его довольное лицо, на оцарапанную шипами руку, на эту кривую ветку и усмехнулась. Он побежал в комнату, заметался там:

— Музыка, музыка у тебя есть?

Она вошла с вазой, в которой была ветка, и поставила ее на телевизор:

— Зачем?

— Во дура! Танцевать будем!

Она кивнула ему на кассетный магнитофон, стоявший в углу.

— Херасе, древний какой!

Из магнитофона, будто подтверждая его слова, раздалось: «Владимирский централ, ветер северный...»

Рыжий выдернул кассету, перевернул ее и включил снова: «Мурка, ты мой котеночек...»

— Нет, так не пойдет. Ты ищи благородную, а я ща, я — пять сек, — он выскочил вон.

Даша погладила пальцем бутон желтой розы и присела перед магнитофоном. Цветы ей иногда дарил муж, но сейчас казалось, что это было в какой-то даже не прошлой, а позапрошлой жизни, вспоминать о ней не хотелось. В праздники муж приходил поддатый, долго не мог кончить, злился и прижимал Дашу так, что на теле оставались синяки. Он вообще был довольно грубым и неумелым, но его Даша любила сильнее, чем всех последующих. И не потому, что он был каким-то особенным, просто он был первым, и потому с ним она ни в чем не сомневалась. Она чувствовала, что это по-настоящему, что все правильно и хорошо, даже если плохо. Вот она выросла, вышла замуж, у них родятся дети, потом появятся внуки. Но все пошло неправильно, он сел, оказался не тем и не навсегда, и теперь сомнения терзали постоянно — а этот навсегда? Это — тот? Она присматривалась и замечала носки, запах изо рта, грубость, немытую посуду, и все это будто бы жило вместе с ними, влезало в ее мечту и разлагалось там. Прекрасная семья с детьми и внуками, с носками, матом и запахом изо рта.

— Разведенки всегда так, — сказал ей как-то на это Хорёк.

К нему она испытывала странную физиологическую брезгливость, хотя от него ничем особенно не пахло, — но он и улыбался как-то гнусненько, и хихикал мелко. Зато у него всегда водились деньги, он был хитер и умел ее успокоить — рассказывал, как вот-вот солидно заработает, они уедут туда, где «нормально» и можно растить детей. И ради этого «растить детей» Дашка терпела; но и тут вышел обман. Все зря.

Вернулся Рыжий быстро. Торжественно вошел с коробкой конфет «Птичье молоко» и бутылкой дешевого вина.

— Подержи, — передал Даше трофеи, чинно снял олимпийку, но, не найдя, куда ее повесить, бросил у порога, стянул кроссовки, посмотрел на ноги. — Блин, носок дырявый... ну ниче, мож, мне жарко, — он снял носки.

Даша улыбнулась — вот и носки.

— Чё ты ржешь? К тебе мужик пришел при всем параде, а ты в ночнушке. Одевайся красиво, как там у баб положено.

Он забрал у нее бутылку и конфеты, прошел в комнату и уселся на диван. Даша появилась в летнем шифоновом сарафане, чуть смущенная и тихая:

— Ну, ты ваще прям! Красотка! Как эта... Как ее? Мерлин Монро!

Она отмахнулась.

— Да я по натуре тебе говорю, у тебя даже прическа похожая!

Чинно встал, протянул руку:

— Как там правильно? Разрешите пригласить вас на медляк.

Она улыбнулась.

— Чего?

— Хорошо все, — она положила руку ему на плечо.

Ванька боялся наступить ей на ногу, а оттого просто раскачивался на месте, бережно прижимая Дашу к себе.

Проснулся он поздно. Даша уже сидела за столом и, подперев голову руками, смотрела, как он спит. Улыбалась.

— Доброе утро, — Ванька прошлепал босыми ногами по дощатому полу, подошел сзади и обнял ласково. Она поежилась в его объятьях, хотела что-то сказать, но Ванька протянул руку и взял со стола бутербродик:

— Дашка, женюсь!

— Ишь ты, скорый какой! Даже фамилию не спросил, а уже женится!

— А на кой мне твоя фамилия? Все равно сменишь.

— Ага, заливай!

— Чего заливай? Я серьезно тебе предлагаю. Распишемся? Только чтоб все по чести, платье там, фата, ох у меня мамка это дело любит! Она тебе чего-нибудь там подарит! Подушки какие-нибудь... Или тазики...

Она встала и посмотрела на него серьезно:

— Не надо так шутить.

— Да я шучу, что ли? Да я мамкой клянусь! — Ванька уселся и принялся есть.

Даша, растроганная и смущенная, села напротив, но через пару секунд встала.

И снова села.

— Ты чё мельтешешься? Сядь, поешь. Вкусно, капец!

— А, была-не была! — Даша прошла к тумбочке, порылась в ней и вынула сверток. Положила перед Ванькой. Тот с интересом посмотрел на пакет:

— Халва?

— Сам ты халва! Это Хорёк мне вчера дал, чтоб припрятала.

— погоди, я че-то спросонья не врубаюсь, — он подвинул к себе пакет и ахнул.

— Хорёк вчера дал мне на сохранение. А теперь это куда девать, я не знаю.

Ванька взял кирпич в руки, взвесил, понюхал:

— Он даже не бодяженный еще. Это знаешь, сколько стоит... Тут Большой театр домой заказать хватит... погоди, я че-то не врубаюсь, Фархат мне вчера сказал, что Хорёк ему нифига из долины не принес, а он, значит, принес...

Она пристально посмотрела на него:

— Но не отдал. Он давно говорил, что надоело ему по горам скакать, пора уже на старости лет устаканиться.

— Устаканился... — Рыжий невольно улыбнулся, отодвинул стул, заходил по комнате, съел еще бутерброд:

— И чего с ним делать?

— Продать.

— Фархату? Он придет и заберет. Не будет он платить.

— И что? Пойти и самим в руки ему отдать? — возмутилась Даша. — Тут раз в жизни перепало, и то...

Рыжий сел:

— Погодь, давай обмозгуем. Тут продавать нельзя, это однозначно... Слушай, надо уехать и там продать, а?

— Куда уехать?

— В Москву! Куда ж еще? И отмазка есть. Типа там свадебное путешествие.

В поезде было жарко, курить запретили, и Ванька маялся от безделья. Он беспрестанно посматривал на часы в ожидании очередной станции, на которой можно было бы выкурить сразу две, а то и три сигареты — впрок. Даша вязала, сидя на нижней полке. Ванька свешивался и придумывал, чего они купят, когда продадут «это». Дашка возражала — слишком роскошно, вызовет подозрение. Ванька пытался спорить, мало ли, может, у нее от Хорька приданое осталось, но сам понимал, что Даша права. Светиться нельзя.

Можно было поесть, но сегодня до обеда Ванька ел уже дважды — Даша долго разворачивала фольгу, резала овощи, раскладывала все это по пластиковым тарелочкам, а потом отмывала тарелочки в туалете и вытирала прихваченным из дома полотенцем. Больше ничего не происходило. Спать тоже не хотелось.

Неожиданно Ванька почувствовал явный табачный запах — фраерок с боковушки пришел из туалета и влез на верхнюю полку. Ванька, не спускаясь, неуклюже развернулся лицом к проходу.

— Слышь, ты в туалете покурил?

— Зачем в туалете? — удивился фраерок. — Пятьдесят рублей проводнице сунул, она посторожила.

— В смысле? На стреме постояла?

Фраерок почему-то заулыбался и протянул Рыжему руку:

— Матвей.

— Еврей, что ли? А я Иван, — перебил сам себя Рыжий.

Матвей Рыжему понравился. Он водил его курить за свои, поил на халяву пивом и слушал истории Рыжего о пацанах, по которым тот уже успел соскучиться, о мамке и брате. Даша сердилась и пыталась уговорить болтливого мужа, но Ванька ее намеков не понимал.

— Курнуть бы... Пиво не лезет, — пожаловался Матвей вечером и отвернулся в окно.

Ванька поворочался, соображая, а потом все же отправился в туалет, сняв с верхней полки увесистую спортивную сумку. Поставив сумку на мокрый унитаз, Ванька вынул из нее трехлитровую банку ароматного смородинового варенья. Из банки он, стараясь не заляпаться, достал пакет с планом и, размотав его над раковиной, отщипнул маленький кусочек. Потом долго заматывал план обратно в пакет, обклеивал скотчем, пока, наконец, не утопил его в банке. Застегнув сумку, Рыжий ахнул — весь пол, раковина и даже зеркало оказались заляпанными густым смородиновым вареньем. Рыжий попытался растереть капли ногой, но от этого они растеклись так, будто по полу тащили труп. Повесив сумку на крючок двери, в которую уже кто-то стучал, Рыжий начал лить воду на зеркало и в раковину, случайно промочив висевший у унитаза рулон туалетной бумаги. Что делать с полом, он не понимал. Наконец, сообразив, вынул из-за унитаза половую тряпку и вытер пол, а потом еще долго полоскал тряпку в раковине.

Матвей, заметив потного, промокшего Ваньку, усмехнулся:

— Ты там стирал, что ли?

— Личинку откладывал, — хохотнул татуированный мужик с нижней боковушки.

— Пошел ты, — беззлобно ответил Рыжий и шепнул Матвею: — Я курить достал.

По перрону Казанского вокзала сновали грузчики с низкими широкими тележками, осматриваясь, брели испуганные приезжие, встречали их шустрые москвичи. Вдоль стен люди с чемоданами и баулами ждали начала посадки.

Даша, выскочив на перрон, тут же заскочила обратно и, схватив Рыжего за обе щеки, чмокнула в губы. Ванька робел. Подхватив сумки, он наконец вышел на перрон. Как в ледяную воду шагнул. Осмотрелся, продолжая держать в руках большой китайский баул и спортивную сумку.

— Поставь, — Даша попыталась взять у него баул.

— Ага, поставь! Москва же, уведут, оглянуться не успеешь.

— И куда дальше?

— Разберемся, — ответил Ванька, но голос его звучал неуверенно.

Вдруг рядом залаяла собака. Рыжий обернулся. Крупная овчарка рвалась из рук державшего ее полицейского. Второй полицейский направился прямо к ним.

Ванька, отшвырнув китайский баул, но не выпуская из рук увесистую спортивную сумку, рванул в подземный переход. Полицейский бросился за ним. Ванька завилал, пытаясь сбросить хвост, пробежал мимо стеклянных ларьков, вломился в какие-то тяжелые двери, хотел перескочить попавшийся на пути турникет, но створки неожиданно захлопнулись, и он растянулся на бетонном полу. Банка в сумке негромко звякнула. Разбилась. Запахло черной смородиной.

Полицейский надел на него сверху и скрутил руки за спиной. Щелкнули наручники.

Рыжий лежал между створок пронзительно пищущего турникета, щекой на бетонном полу, и видел ноги. Множество бегущих куда-то ног.

— Из грязи родился, в грязь обратился, — почему-то вспомнилось ему.

Зареванная Даша сидела перед отделением. Сначала она хотела куда-то пойти — поискать комнату или гостиницу, но на нее странно смотрели встречные хачи, и цыганка попыталась с ней заговорить. Перед отделением было спокойнее. Даша понимала, что Ваньку уже не выпустят, но участковый сказал ждать. И она ждала.

Когда Ванька вышел из отделения, Даша не сразу его узнала — не ожидала, что он появится. И только когда он присел рядом, бросилась на шею и расплакалась:

— Ванечка, как же это так? Как они тебя отпустили?!

Ванька сплюнул на землю и улыбнулся.

— А не было там нифига. Ограбили нас, Дашуня. То ли эти вытащили при обыске, то ли в поезде еще.

— Как? — Даша не могла поверить.

— А вот так вот, — Ванька сел рядом и хлопнул ее рукой по коленке. — Никогда не знаешь, где найдешь, где потеряешь.

И засмеялся.

— Подожди, но там же в сумке все было, там же банка...

— Ну. Разбитая банка с вареньем, и все. Ни шиша. Сперли. Матвей, поди, рожа еврейская. Стал бы меня еврей на халяву поить...

— Да какой он еврей, у него волосы белые!

Помолчали.

— Да и хрен с ним. Главное, выпустили, — добавила Даша.

— Ну, — Ванька прижал ее к себе.

После перекура Рыжий заснул так крепко, что можно было и не волноваться, но Матвей решил перестраховаться. На ужин он угостил всех в купе кока-колой, в которую замешал изрядную порцию снотворного. Сладкая газировка у него была всегда. В детстве мама внушила, что несколько глотков способны предотвратить приступ эпилепсии, и ему реально помогало. Потом врачи сказали, что это бред собачий — максимум скачок сахара в крови, как следствие — повышение давления, что как раз должно приступ усилить. Но врачи много чего говорили неправильного — например, про то, что мороженое нельзя после удаления аденоидов.

В любом случае сейчас газировка помогала только отерочить приступ минут на десять. Но этого обычно хватало — лекарство успевало подействовать или удавалось покурить травки, если приступ настигал в безопасном месте. За прошлый год Матвея накрыло только однажды. Но так позорно, что, приходя в себя, он первым делом подумал о том, что лучше б сдох. Реально.

Это случилось в начале января, в редакции городской газеты, где Матвей уже полгода работал курьером. В редакцию его устроила бабушка через какую-то свою ученицу, которая то ли замужем была за редактором, то ли сама там работала.

Матвею в редакции нравилось: он приходил к обеду, как и главный, дожидался его, пил чай, забирал корреспонденцию, прогуливался по центру — разносил, потом снова пил чай с корректором и верстальщиком и шел домой. Его ценили за исполнительность, ответственность и за бабушкин вишневый компот, который он таскал в редакцию трехлитровыми банками. Бабушка радовалась успехам, а когда Матвей жаловался на низкую зарплату, она совала ему в карман мелкую купюру и говорила:

— Ничего, Матюша, всем сначала побегать приходится, повысят потом. Главное, трудись как следует.

После праздников его и вправду собирались повесить до менеджера по работе с клиентами — нужно было вежливо отвечать на звонки и принимать платные объявления. Даже зарплату с главным уже обсудили. Прошлый менеджер поддавал, а с перепою хамил. Его надо было убрать.

Матвей уже предвкушал собственный кабинетик и пошучивал, что все теперь будут заседать у него, но тучный верстальщик отвечал, что в его будку не поместится, и они смеялись, а сухопарый корректор неодобрительно качал головой. Он тоже пил бабушкин компот, но всегда из маленькой кофейной чашечки, крохотными глотками и запивая крепким черным чаем. Верстальщик щедро мазал батон сгущенкой и наливал компот в большую пивную кружку. Корректор закатывал глаза, глядя на это, а верстальщик хохотал и предлагал ему батон.

У Матвея это была первая нормальная работа, и все эти люди очень ему нравились. Нравилось, как корректор, вычитывая гранки, фыркает и бубнит себе под нос:

— Ну кто так пишет? «Вообщем!» Господи-ты-боже-мой... Вообщем! Сил на вас нет!

А верстальщик весь день играет в компьютерную игру, иногда отрываясь на верстку платных объявлений, ждет номер, жалуется, что вот все уже домой, а ему еще верстать и верстать, но на самом деле он залихватски распихивает все материалы по полосам и уходит всего лишь минут на двадцать позже.

Матвей представлял себе, как «делает карьеру» — смеется с ними изо дня в день и постепенно растет в должности. Непременно до главного. Что-то в них было другое, во всей этой редакции, что-то особенное, умное, чего не было в его друзьях. Оно было в бабушке и частично в маме. Мама, правда, высшего образования не имела, но все же работала продавцом в книжном. В канцелярском отделе.

Матвей после школы окончил шарагу, во время учебы барыжил вместе с Кугой — перепродавал краденые сотовые, ноутбуки, иногда наркоту, но это удавалось редко. Временами менты падали на хвост кому-нибудь из местных барыг, принимались пасти, и тогда барыга находил «чистенького», типа Куги или Матвея. Бывало, конечно, устав от хвоста или спалившись, барыга подставлял «чистенького», но Матвею пока везло. После наркоторговли у них с Кугой появлялись свободные деньги. Тогда они мотались в столицу — купали на вокзале технику за бесценно, желательно у цыган, а потом отвозили в родной городишко и продавали.

Матвей собирался подкопить телефонов и открыть точку на рынке, постепенно наторговать на аренду киоска в магазине, а потом купить франшизу салона связи, как в свое время сделал Тукан — самый крупный легальный бизнесмен в городишке. Но тут бабушка устроила его в редакцию, и Матвей сначала решил, что поработает тут временно — накопит на закупку товара, еще и Куга из армии вернется, как раз при деньгах: Куга ушел служить по контракту — хотел сразу киоск, без рынка. Но в редакции Матвею так понравилось, что думать о киоске теперь не хотелось.

Он мечтал, что Куга вернется, станет крутым бизнесменом и будет заезжать к нему на чай. И когда Куга протянет ему рекламное объявление своего салона, а потом полезет в бумажник, то Матвей накроет его ладонь своей и лениво проговорит:

— Я тебя умоляю, мы же друзья.

Но не сложилось. После новогодних праздников все были вялыми и разморенными, хотя отдыхал только главный. В его отсутствие редакция быстро зажила в другом ритме. Журналисты забежали на секундочку, приносили сразу несколько материалов, корректор приходил к пяти, верстальщик тоже около того, работал только менеджер рекламного, который к концу праздников был так зол на всех, что даже здороваться перестал. И вот в этот момент к нему и пришел тот старик. Крупный, высокий, в кашне и хорошем зимнем пальто, уже выдавшем виды, но все-таки пальто.

Старик пришел ссориться — он хотел переехать к дочери и продавал квартиру, но в объявлении, которое он дал, адрес указали неверно. Верстальщик клялся, что виноват менеджер, и он прямо сейчас бланк найдет, поддатый менеджер орал, что старик — шарлатан и риэлтор, он на самом деле продает две квартиры, дал объявление, потом наврал про то, что адрес перепутали, и деньги за объявление сэкономил. Редактор орал, чтобы не смели орать в редакции, а Матвей смотрел на старика.

Старик тоже был эпилептиком. Матвей понял это сразу же, как тот вошел. Он не мог объяснить, почему узнавал своих, но было в его походке что-то неуловимо робкое. На пол он поглядывал чуть чаще, чем обычные люди, будто примеряясь, куда придется упасть. Руку держал на кармане, чтобы успеть вынуть таблетки, и покраснел он такими же пятнами, когда уши и брови почему-то остаются белыми, и затрясся мелко-мелко, прежде чем рухнуть. Сначала кончиками пальцев, потом жила на шее запульсировала не в такт, и колено — какое подведет первым? Самого падения Матвей не увидел, потому что упал сам. Такая глупость — вылутился на старикана и не заметил собственного приступа. У старикана, впрочем, приступа не произошло — то ли от неожиданности Матвеевского падения, то ли и не был старик этот эпилептиком.

Матвея откачали, отпоили, пожалели и постепенно «ушли». Это, в общем-то и понятно. Распсиховался при разговоре с клиентом — приступ, упал. Какой уж тут менеджер? Да и курьер тоже — повез документы в налоговую — и все.

После увольнения Матвей долго не мог прийти в себя. Пропил все заработанное, болтался по хатам, иногда просто целыми днями лежал, уткнувшись в телефон. Играл в змейку или тетрис. Бабушка пыталась поговорить, но Матвей слушать не хотел. Все прошлые перспективы казались ему теперь глупыми и неинтересными. Ну, будет он с Кугой барыжить телефонами, ну, доторгуют они до точки, потом еще до одной и еще. Это ж столько лет беготни, терок с наркоманами и ворами, каких-то коробок, касс, просиживания за прилавком, впаривания. Это не компоту попить и прогуляться по центру с папочкой, на которой красуется крупный логотип городской газеты. Когда все тебя принимают не за журналиста даже, а за юриста или бухгалтера, от которого эти журналисты зависят.

И, главное, разве виноват Матвей в том, что с ним эта хрень происходит? Он специально падает, что ли? Так почему его выкинули? Он же не автобус междугородний водить собирается и не атомную бомбу караулить, а просто объявления принимать. Ну, упадет. Ну, подождут, пока встанет, да и ладно. В чем беда-то? Если раньше, в школе и в шараге, Матвей радовался своей болезни — его и не били никогда, боясь припадка, и не спрашивали строго. То теперь стало очевидным, что во взрослой жизни никто с ним возиться не станет. И Куга, старый его товарищ, дружит с ним из жалости и из этого его противного благородства — типа, смотрите, у вас вот просто друзья, а у меня инвалид. И работать он с ним будет из жалости. Типа у вас просто продавцы, а у меня инвалид. Я каждый день рискую — ваши продавцы отпор дать смогут, а этот шлепнется, и грабьте сколько влезет.

Это было обидно. Настолько обидно, что Матвей окончательно смирился: пил, играл, шлялся. А на все вопросы бабушки отмазывался тем, что ждет из армии Кугу.

Наверное, Матвей так и сдох бы от пьяной икоты, не от нее самой, конечно, а от припадка во время нее. Так умер дед. Если пить несколько дней, появляется эта крепкая, тугая икота, от которой до боли стискивает легкие. Бороться с такой икотой бесполезно — нужно, чтобы вытошнило. Припадок у деда начался прямо во время тошноты, вместе с икотой, спасти его пьяные собутыльники не успели.

Как-то вечером, вспоминая деда и обещая себе завязать, Матвей ковылял через парк к дому и, утомившись, присел на уже занятую лавочку. Девушка, бросив на него быстрый взгляд, покачала головой и забубнила недовольно. Матвею это так напомнило корректора, что он рассмеялся. Девушка хотела было уйти, но Матвей не отпустил,

принялся сбивчиво объяснять и про корректора, и про эпилепсию, и про деда. Пока говорил, даже протрезвел и проводил девушку до дома.

Договорились, что завтра в семь он придет снова, но утром оказалось, что имени ее Матвей не запомнил. Бабушка, которая при упоминании о девушке тут же начала планировать свадьбу и крестить внуков, предложила идти к дому и разобраться на месте.

На месте оказалось еще хуже — девушка жила в частном секторе, провожал ее Матвей по темноте и понятия не имел, в какой именно дом та вошла. Он робко поспрашивал про широкоплечую девушку с темными волосами, но соседи хмурились и не понимали. Уточнять про то, что у нее тощий зад и нос мог бы быть не таким приплюснутым, Матвей не решился. Он понимал, что и сам далеко не красавец, еще и инвалид. А потому приходилось говорить, что главное в женщине — это чтоб «по общению» понравилась.

Следующим вечером Матвей потащился в парк. Весна уже началась, но было еще промозгло. Он почему-то надеялся, что девушка догадается прийти на скамейку, но бабушка сказала, что рассчитывать на это глупо — он вчера не пришел, так с какой стати она за ним бегать будет? Но девушка была там! Она сначала даже привстала от радости, но потом напустила на себя равнодушие и уселась обратно.

— Привет, — сказал Матвей и неловко примостился рядом, стараясь поймать ее взгляд. Она мельком взглянула на него и заулыбалась.

— Чё ржешь? — спросил Матвей, но и сам лыбился до ушей.

— Да у тебя рожа такая... Довольная...

Они похихикали. Матвей подумал, что теперь ее плечи не кажутся широкими, и носик довольно милый. Попу, правда он не видел, потому что она сидела, но казалось, что и попа ему теперь покажется вполне себе выпуклой. Девушка стала ему почему-то знакомой и родной, как когда привык сильно и уже не замечаешь, что у Куги очень короткие и широкие пальцы-обрубцы, у бабушки грудь лежит на животе двумя обвисшими мешками и пальцы на ногах такие заскорузлые, что кажутся каменными.

— Меня зовут Матвей, — сказал он наконец.

Он ждал, что девушка в ответ тоже назовется, но она кивнула и улыбнулась. Матвей растерялся, не понимая, как же теперь спросить, но девушка, похоже, не отвечала ему специально и теперь расхохоталась.

— Клава, — медленно проговорила она.

— Чё?

Матвей уже представил, как он знакомит Кугу с Клавой, представляет бабушке Клаву или в загсе тетенька говорит: «Согласны ли вы... Клавдию».

Девушка снова засмеялась:

— Ну и рожа у тебя была! Не Клава я, расслабься.

Матвей выдохнул, и тут же принялся оправдываться, что, мол, ну даже если и Клава, то это ничего, просто у них с Кугой была такая знакомая, Автоклава. Она работала на заводе, страшно пила и славилась тем, что не носила трусов даже в самый лютый мороз — надевала побольше юбок в пол, но ноги оставались голыми.

— Да знаю я ее, — отмахнулась девушка. — Поэтому и сказала. Она ссыт стоя, как мужик.

Матвей расхохотался — Автоклава и вправду ссала стоя, каким-то волшебным образом умудряясь не нассать себе в ботинки и не забрызгать ноги. Вид у нее при этом был отрешенный и задумчивый. А потом она сходила с места, и на земле обнаруживалась лужа.

При всем своем алкоголизме Автоклава до сих пор оставалась женщиной красивой. Почему-то было от нее чувство, что не липнет к ней грязь, и даже бабы, ненавидевшие потаскух, к Автоклаве относились с жалостью. Рассказывали, что у нее ребеночка задавило. Эти ее юбки в пол и тревожный полусумасшедший взгляд делали

ее какой-то другой, особенной. И тело у нее было белым и мягким, странно податливым. У Матвея Автоклава была первой, как и у большей части мужчин в городке.

Когда Куге исполнилось пятнадцать, он решил, что все, пора им повзрослеть. Взял у бати литр самогона, у мамки — банку с соленьями, у Матвея — компот, купил три презерватива и пошел к Автоклаве. Естественно, вместе с Матвеем.

— Надо мне... это... — сказал он, покраснев. — А то в армию скоро, мужики засмеют.

Автоклава кивнула и пригласила войти. Они выпили по сто пятьдесят граммов, но Кугу совсем развезло — он медленно гладил Автоклаву по открытым плечам, пытался потрогать грудь, но отвлекался на бедро, нюхал ее волосы.

Матвей смотрел и запоминал — он хотел сделать все так же, когда настанет его очередь, но понимал, что повторить не сможет. Ему было противно толкать руку в ее промежность, из которой она ссыт стоя. Затолкать туда член почему-то казалось нормальным — видимо потому, что и сам Матвей им пишет. Когда Автоклава разморилась и начала постанывать от удовольствия, Куга навалился на нее сверху, полежал неподвижно несколько секунд, а потом заплакал и сполз.

Матвей не понял, что произошло, Автоклава, похоже, тоже. Она погладила Кугу по голове и притянула к себе Матвея. Матвей был так озадачен неудачей друга, что не успел испугаться — оказался сверху на Автоклаве, задвигался, но все налилось, побелело и рассыпалось по комнате. Только в висках некоторое время продолжало стучать, как после приступа.

Автоклава ловко скинула Матвея с себя и склонилась к Куге. Тот уже пришел в себя, но лишаться невинности не стал, помотал головой и выскочил вон. Матвей хотел побежать за ним, но пришлось полежать немного на полу, чтобы в висках успокоилось — мог случиться припадок.

Куга долго потом объяснял, что не смог, потому что до слез жаль ему стало эту больную одинокую женщину. И так противно было, что он пришел ею попользоваться, — и прочее его благородство, которого Матвей не выносил.

Так у них и вышло, что Матвей стал мужчиной раньше Куги, а тот запоздал года на два. Сначала он влюбился и ждал, пока девушке его исполнится восемнадцать. Потом оказалось, что она давно спит с другим, старше, а Куге врет, что девственница. Куга как-то быстро отстрадал и нашел себе другую, опять несовершеннолетнюю, но эта уже не была девственницей. С ней он встречался до армии, но из армии она его не дождалась. И, покутив пару месяцев, Куга ушел по контракту.

У Матвея за все это время девушки так и не случилось. Ему нравилась одноклассница, которая была к нему добра, но он не решился подкатить. Сразу после школы она выскочила замуж. Потом была абитуриентка — внучка бабушкиной подруги, которая часто к ним заходила под предлогом подготовки в ВУЗ. Бабушка уверяла, что девушка влюблена в Матвея, и через полгода ей восемнадцать, и что она глупа как пень, а потому, конечно, никуда не поступит. А Матвей старше, еще и симпатичный. В общем, Матвей предпринял неловкую попытку ухлестнуть — несколько дней попадался на глаза и смотрел игриво, а потом приобнял девушку в темном коридоре. Девушка грубо оттолкнула, сказала, что он дебил, и что расскажет бабушке. Как будто бабушка и сама не знала.

А с этой девушкой, которую звали Карина, у Матвея внезапно сложилось. Сначала они много гуляли, потом Карина пригласила его на чай и познакомила с улыбчивой мамой.

Матвей опасался бабушки и не хотел, но все же пригласил Карину к себе. Бабушка была так мила, что даже Матвею стало неловко, а Карина и вовсе смущалась, как малолетка. Они уже начали держаться за руки на улице, причем это Карина

сначала взяла его под руку в гололед, а потом и за руку тоже. Матвей начал ее неловко обнимать при встрече и прощании, и хотел уже было поцеловать, но завис в волнении, и Карина рассмеялась. Матвею нравилось, что они оба понимают, к чему идет, от этого он чувствовал себя безопасно.

Карина выросла без отца. И дело было не в том, что отца у нее не было, много у кого так, — дело было в маме. Мама ее, женщина добрая и наивная, всю жизнь любила только одного мужчину. Он был ее первым. Красавец, умеющий пустить пыль в глаза и наврать с три короба. Холеный, жгучий такой. Он пытался петь, делать бизнес, работать диктором, коучем, тренером, но неизменно жил за чей-то счет, а у них появлялся только тогда, когда других вариантов не было. Мама подбострastically заглядывала ему в глаза, готовила обеды из трех блюд, покупала одежду и давала в долг. Карина видела, что отцу неприятно мамино липкое обожание, он с трудом терпит, и злилась на маму больше, чем на него. Потом он исчезал, и мама несколько лет расплачивалась с долгами. Она даже не плакала, так, ходила расстроенная пару недель, а потом начинала твердить, что он вернется. Он и вправду всегда появлялся снова, и мама опять принимала. Объяснять маме что-то было бесполезно, выгонять отца тоже не получалось — он слушал ее обвинения и равнодушно молчал. Поэтому Карина для себя решила, что никаких красавцев в ее жизни не будет. Выберет себе страшненького, но надежного, и проживет всю жизнь душа в душу, как соседка. Матвей подходил. Кроме того, что он не был красавцем, он оказался еще и инвалидом. Такой точно никуда не денется.

Матвей и не собирался. Существование Карины будто примирило его с жизнью. Теперь он думал о киоске с прежней радостью, читал Карине письма от Куги и присматривал комнату, чтобы снять. Жить с мамой Карины он стеснялся, бабушка могла в любой момент перестать быть милой, а Кариной он рисковать не хотел. Нужно было пошевеливаться — Куга скоро возвращался.

Матвей суетнулся, перепродал ворованную партию, но этого было мало. В их подмосковный городишко лимита повадилась перевозить родителей к себе, а потому с жильем в последние годы стало туговато. Матвей решил и сгонял в Москву, где на вокзале на все деньги купил ворованной техники, целый баул. Продавался баул медленно, но выгодно. К приезду Куги поехал за второй партией — они явно будут кутить не одну неделю и, чтобы не пропить, капитал лучше хранить в технике, а технику у Карины.

В поезде Матвей познакомился со странной суетливой парочкой. Они так сильно палились, что было очевидно, что у них есть. Матвей быстро подмазался к рыжему гопничку, и тот по дружбе угостил отборным планом. Свежим, небодяженным. Если его толкнуть, то стартового капитала у Матвея получится даже чуть больше, чем у Куги за год службы. Потому рискнуть стоило.

В туалете Матвей пробыл долго. Сначала обрадовался, поняв насколько огромный куш ухватил, а потом начал бояться, что попадется. Он трясущимися руками завернул шмат в первую попавшуюся майку, сунул за пазуху, вернул сумку на место, долго соображал, как выкрасть у проводницы билет — на нем значилась фамилия, и если парочка сообразит, то сможет Матвея найти.

Решил действовать в лоб — изобразил волнение — от испуга это было легко, сообщил, что возвращается — с бабушкой беда, выпросил ближайшую крупную станцию, забрал билет и вышел. Проводница посочувствовала и бесплатно напоила чаем. Матвей пил и чувствовал, как за пазухой пропитывается вареньем майка, он старался запахнуться и меньше двигаться — смородиной пахло так сильно, что проводница понюхала свою чашку — думала, чай такой, ароматизированный.

Вернувшись в городок, Матвей сначала выпался, потом захоронил план под матрасом и отправился снимать комнату. Можно было тратить много — с продажи

плана на аренду не то что точки, еще и квартиры хватит. Сначала он подумывал снять комнату, но потом передумал и снял двушку. Теперь они с Кугой будут жить вместе, а раз есть Карина, то Матвею нужна отдельная комната.

Карине квартира понравилась. Она выбрала комнату побольше, отметив, что у Куги же пока гостей не будет, а у Матвея — да. Вела она себя странно и даже присела на край постели, хитро поглядывая на Матвея. Но Матвей не решился — бабушка была права. Перед выходом бабуля, недовольная тем, что Матвей ее бросает, ляпнула, чтоб в койку сразу не ташил, а то будет Карина как шлюха на съемной хате. И сейчас атмосфера накалилась, в комнате было жгуче, и Матвею казалось, что надо пересестись к ней и поцеловать, и переспать уже, но оттого, что Карина это понимала и тоже ждала, становилось невыносимо неловко.

— Ладно, пойду я, — наконец проговорила она.

— А может, переедешь? — спросил Матвей. — Я же как бы это... Для тебя...

— Чего? — Карина, кажется, удивилась. — Я думала, для Куги.

— Для Куги комнаты бы хватило.

Карина улыбнулась куда-то в пол и вышла. Матвей ночевал один. Он долго слонялся по квартире, искал, куда спрятать план. Решил, что в шкафчик под подоконником. Уложил его под фанерное днище, а потом долго еще пил пустой чай из кружечки с лисичкой. Такая кружечка (лисичка с петушком под мышкой) была у них в садике, но ее все время брал сын воспитательницы. В нее вмещалось больше, чем в остальные, с цветочками, и, когда давали кисель, Матвей жалел, что кружечка снова не у него. Вязкий кисель с легкой кислинкой он любил больше всего.

И почему-то оттого, что он один тут хозяин и может выбрать любую кружечку, и нет сахара, и лень за ним идти, но никто тебя и не заставляет, жизнь показалась интересной и своей. Будто бы теперь наступает особенная свобода, которой раньше никогда не было. И все вроде бы в его жизни остается тем же — никуда не делась бабушка, не вернулась мама, завтра придут Карина и Куга, но все это теперь есть только потому, что Матвей так хочет. А если будет хотеть по-другому, то просто не откроет дверь, не даст никому ключи и останется тут один.

Спал он плохо. Перед сном подумал, что Куга в армии мог измениться, что надо было снять ему отдельную квартиру. Но тогда он бы точно обиделся.

Нет, Куга оказался прежним. Никак не мог усидеть на месте, метался по квартире, начиная то драить полы, то названивать друзьям, то резать овощи на салат. Сегодня должны были отмечать его возвращение, и Куга три раза отправлял Матвея в магазин за бухлом — боялся, что не хватит.

Карина пришла раньше и помогала на кухне. Они с Кугой сразу друг другу понравились. Карина слишком долго смеялась тупым солдатским шуткам, а он, нарезая колбасу, склонялся к ней и шептал что-то, от чего она хохотала еще громче. Матвей, который этого и боялся, был уверен, что Куга отправляет его в магазин неслучайно, и, вернувшись, он рискует застать сцену, для себя убийственную. Почему-то представлялась короткопалая рука Куги на Карининой плоской заднице. Он даже подумал о том, что если сейчас застанет Кугу на Карине, то возьмет нож и всадит его Куге прямо в ладонь. Нож пройдет насквозь и пригвоздит ее к Карининому заду. Но они все еще готовили и болтали.

Конечно, Матвей взбудоражился не просто так. Куга оказался очень красивым и так смотрел на нее, что Карина поняла свою мать. Все эти планы на будущее, обещания самой себе — все меркло, казалось глупым и ненужным. Карина смотрела на его ладони и хотела, чтобы эти крепкие мужские руки до боли сжали ее грудь и чтобы он обнял ее. И поцеловал. Он тоже хотел ее — она чувствовала, но дать ему было нельзя. Не из-за Матвея, конечно, а потому, что она себе пообещала. И обещание свое сдержит. Она сегодня же переспит с Матвеем, и тема будет закрыта. Навсегда.

Вернувшись, Матвей приглядывался к их одежде — думал, что они могли быстренько перепихнуться, а потом сделать вид, что так и пробыли все это время на кухне. Но у Карины по-прежнему торчал уголок этикетки из-за пояса джинсов, и он как бы гарантировал ее неприкосновенность. Матвей понимал, что гарантия вообще-то ненадежная — Карина могла тупо сходить пописать и заправить этикетку или могла перепихнуться с Кугой, но этикетка бы снова вылезла. И все же она частично успокаивала.

К вечеру пришли пацаны, напились быстро, хохотали, слушали армейские истории Куги, рассказывали новости. Матвей расслабился и даже подумал предложить пацанам плана, но отвлекся на Карину — она почти никого не знала и явно скучала. Матвей хотел проводить ее домой, но она ответила, что лучше пойдет в его комнату — голова от дыма разболелась.

Минут через пять Куга поинтересовался, где Карина, и Матвей, только по хитрому лицу Куги понял, что ушла она не просто так. Стало неприятно. Матвей понял, что теперь, когда у него есть Карина, Куга ему мешает. Раньше с ним было хорошо, он был близким и, когда командовал, это не было обидно. Но теперь Куга выпал. Его не было рядом, когда Матвея взяли на работу, когда его выгнали, когда он пил и когда познакомился с Кариной. У Матвея шла своя жизнь, он менялся, он рос и страдал, а Куга пришел и разговаривает с ним так же, как много лет назад. Как с пацаном на побегушках из средней школы. Это унижало, но попытки объяснить ни к чему не привели. Куга при упоминании о том, сколько лет прошло, впал в ностальгию и полез обниматься.

И сейчас Матвей пошел к Карине совсем не потому, что ему намекнул Куга, а потому, что обиделся. Это было прилюдно, пошло, и все тут же узнали, чем он там сейчас с Кариной займется. А Матвей не был уверен, что между ними что-то произойдет. Конечно, Куга не понимал этого — он хотел польститься, и пацаны и вправду уважительно улыбались. Но Матвею стало ясно, что до сих пор не переспать — очень глупо, настолько глупо, что Куга даже предположить такого не мог. И что у Карины правда могла заболеть голова. И что Матвей боится до похолодевших ладошек, что у него не встанет, а вместо этого начнется припадок.

Карина лежала на кровати, и вид у нее был совсем не больной. Матвей присел рядом, и она вдруг потянула его за руку на себя. Матвей лег рядом. Они целовались, он трогал ее попу через джинсы, Карина начала снимать с него олимпийку и только теперь Матвей поверил, что сейчас все произойдет. Он старался сдерживаться, и пока получалось, снял с Карины свитер. Джинсы она сняла сама и лифчик тоже. Матвей снял штаны и посмотрел — член стоял как железный штырь, и у Матвея отлегло. Карина взяла его за член, помассировала немного и легла на спину. Она сделала это все так спокойно и просто, что ясно было — у нее секс не впервые. И, видимо, он у нее был долго и нормальный, а не одноразовый перепихон когда-то в детстве. Матвей навалился сверху и хотел войти в нее, но не попал сразу и не понял, как попасть. Карина потянулась туда рукой, чтобы помочь, но Матвей уже задрожал и все.

Приступ, похоже, был короткий, но, когда Матвей пришел в себя, над ним нависал державший его Куга. Плачущая Карина, забившись в угол, пыталась прикрыться одеждой. Гости толпились в дверях и встревоженно переговаривались.

— Живой? Вот и славно, — проговорил Куга по-доброму и немного весело, отчего стало еще ужаснее.

Куга хлопнул его по плечу и вышел. Матвей лежал на спине, боясь пошевелиться — промежность его Куга накрыл одеялом. Карина все еще плакала. Нужно было что-то сказать, но было так стыдно, что Матвей продолжал лежать, делая вид, что еще не в норме.

Карина наконец вытерла слезы, поспешно оделась и вышла, о чем-то переговорив

с Кугой. Кажется, они смеялись. Да, они все над ним смеялись. Похохотали. Весело же, ну. Вся злость и боль будто бы собрались в одного Кугу и его веселое: «Вот и славно». Инвалид. Припадочный. Вот и славно. Бабу трахнуть не может. Вот и славно. Оpozорился на весь район. Вот и славно. Бросила любовь всей жизни — и это славно.

Матвей, шатаясь, вошел в кухню. Куга улыбнулся и полез в холодильник, чтобы налить ему колы:

— Очухался немножко?

Матвею на секунду показалось, что он накрутил, что не мог Куга, его старинный друг, смеяться над ним, и пацаны не могли, и Карина — она же правда плакала, но Куга протянул ему стакан и добавил:

— Вот и славно.

Матвей почувствовал, что это — последняя капля. Последнее «славно». Он схватил со стола бутылку, хлопнул ее о край, как в кино. Она разлетелась, обдав ледяными брызгами. И было неясно — это холодная водка или мелкие стекла, впившиеся в руку. Он двинулся на Кугу, выбросил розочку вперед, стараясь попасть в живот, обтянутый белой майкой, но Куга резко толкнул его в лицо, Матвея мотнуло влево, он шарахнулся головой о холодильник и упал назад. Ждал припадка, но припадка не было. Все почернело, воздух отяжелел и начал давить. Стало душно, но дышать было лениво и трудно. И Матвей умер.

С самого утра Юра маялся. Хотелось, как после отпускных, взять жену, сына и пойти в торговый центр. И покупать там. Не просто игрушки, какие сын попросит, но и жене что-нибудь воздушное. И себе. Джинсы синие можно было бы. Если бы да кабы.

И обязательно встретить соседа или сослуживца. Дать жене карту у того на глазах:

— Вы ходите пока, ага. Ему тоже чего-нибудь купи. — И соседу: — Пойдем по пивку?

И знать, что не пойдет. Потому что жена у него мегера и смотрит недовольно. А потом в кино и до дома на такси.

Торговые центры Юру завораживали. Здесь он переставал чувствовать себя ничтожным клерком небольшой конторки с ипотечной однушкой, усталой женой и мелким. Здесь всегда было светло, торжественно, шумно. А, главное, лица у людей были такие довольные, будто они на праздник пришли, а не за покупками. Офисное здание, в котором работал Юра, вроде бы тоже светлое и шумное, но свет там какой-то синий и шум нерадостный, без вкрапления детских визгов и смеха...

Но денег пока не было. И единственное, куда можно было сегодня пойти — на детскую площадку с сыном.

Сына Юра любил. Иногда уставал от него, конечно, и покрикивал, но сын рос и вел себя все лучше и лучше.

От свежего воздуха накатывающая скука немного развеялась, но все равно хотелось чего-то особенного: в торговый центр, секса или выпить. Можно было сгонять в стекляшку за пивком, но сын так увлеченно лепил свои куличики, что отрывать его, объяснять, что они на пять минут, а на кассе сын начнет просить шоколадку... Стало лень. Незаметно для себя Юра тоже подобрал веточку и принялся вслед за сыном ковырять песок, чертить на нем всякую белиберду, но не в самой песочнице, а рядом. Это и вправду оказалось интересно и сильно успокаивало. Юра прорыл в земле квадрат, похожий на крепостной ров, и, вскинув взгляд, заметил в кустах что-то кожаное. Он потянулся и ткнул в это веточкой. Кошелек. Черный кошелек из кожзама: проездной, пара скидочных карт из стекляшки и супермаркета и... двадцать тысяч рублей новенькими купюрами. Будто бы кто-то вынул из банкомата новенькие, уложил аккуратно и подбросил Юре.

— Спасибо, господи! — хохотнул Юра и оглянулся — сын бубнил себе под нос и

ничего не заметил. Юра вытер кошелек о штанину — мало ли, чтобы отпечатков не было, и закинул обратно в кусты.

— Пошли, конфет купим, — улыбнулся он сыну.

Тот посмотрел на свои постройки, посомневался, но все же пошел.

Дома Юра хотел обрадовать жену своей находкой, позвать в торговый центр, но она фыркнула, когда он вошел:

— Ты пил, что ли?

Юра передумал идти. И про деньги говорить тоже передумал. Пусть будет у него в кои-то веки его собственная сумма на карманные расходы. А то даже с мужиками лишний раз не посидеть.

На следующий день Юра на работу не пошел. Пошел в торговый центр. Отгулов у него было накоплено прилично на случай болезни мелкого, да и в отпуск он в этом году не ходил.

Чувство было странное — будто бы он снова в школе и прогуливает. И если его поймут, то придется объясняться — не маме, конечно, но жена точно не поймет. От этого холодило внутри и появлялось давно забытое чувство опасности, которого не было уже много лет, и слабый намек на него возник вчера, когда он стирал отпечатки с кошелька.

Юра купил костюм. Хотел дорогой, тысяч за пятнадцать, но опять повезло, и купил распродажный, за восемь, а потому пошел в самый навороченный ресторан. Респектабельный мужчина с большим пакетом из дорогого магазина в хорошем ресторане. Было так приятно им быть, что Юра просто сидел, рассеянно листая меню, и хотелось сидеть так целую вечность.

Днем в торговом центре было пусто, а в ресторане так и вообще — обедали два мужика, параллельно решая какие-то вопросы, и скучала одинокая девушка из тех, что приходят клеить таких вот мужиков. Заметив ее заинтересованный взгляд, Юра развеселился. А что если покадрить немножко? В кои-то веки есть на что угостить, и когда еще он почувствует себя таким вот респектабельным одиноким мачо? Юра незаметно снял обручальное кольцо, как делали в фильмах, сунул его в нагрудный карман и подозвал официанта:

— Принесите той девушке бокал шампанского. Скажите, что это комплимент. От меня.

Дальше происходило что-то особенное, на обычную Юрину жизнь непохожее. Девушка улыбнулась, взяла бокал и подошла. Протянула руку:

— Аня.

Юрий поднялся, галантно поцеловал ей ручку, параллельно думая только о том, как же ловко у него все это выходит. Видимо, в фильмах он столько раз это видел, что научился, сам того не заметив. Голливудская улыбка:

— Юрий. Присаживайтесь.

— Очень приятно!

— Взаимно. Вы очень красивая.

— Спасибо, а вы очень галантный молодой человек.

— Не такой уж молодой.

— Это тоже хорошо.

Они о чем-то говорили и дальше, но это тот Юра, богатый и респектабельный, говорил, а настоящий Юра рассматривал девушку. Молоденькая. Никогда он с такими не встречался, даже в институте, хотя тогда он был красавчик и факультет у него в педу был бабский. Но это была такая девушка на выгул, — нежная красотка для папиков, особенный разряд. Положительные девушки из общаги таких осуждали, и они с пацанами это осуждение поддерживали — мол, ни души, ни мозгов. Но все равно точила внутри честная мысль о том, что девчонки просто завидуют их холености,

нарядам, духам и спокойной уверенности в себе. А пацаны понимают, что не по зубам такая вот девочка — даже если срастется, то потом придется чувствовать себя нищим неудачником и бояться, что она упорхнет. И он всегда робел заранее, и отвечал недовольно, и уходил быстро, чтобы не влюбиться нечаянно.

А теперь смотрел на такую вот красотку, болтал с ней и чувствовал себя невероятно крутым. Не из-за свободной пятерки в кармане, которую он сейчас спустит, и не из-за костюма в хрустящем картонном пакете, стоявшем у ног, а из-за этой поразительной свободы. У него жена дома, ребенок, ипотека, и посиделка эта — просто игра на полчаса, и девочка — игра. Можно расслабиться, наблюдать и думать о том, что теперь он знает, куда ходят такие девочки, когда прогуливают пары. Спа, брови и перекусить. Только здесь индейка не жареная, а на гриле.

Дома Юрий распаковал костюм, положил его на кровать и начал прикладывать к нему рубашки. Подходила любая. Юра думал, что это не потому, что и вправду подходит, а потому, что костюм этот будет напоминать ему об этом прекрасном дне. Дне, который он прожил так, как должен проживать всю свою жизнь. И про юную Аню, которая подарила ему это чувство мужественности и привлекательности, которого утомившая жена дать не может.

Внезапно вошла жена и замерла на пороге.

— Ого! Это что?

Пока она подходила к кровати и рассматривала этикетки, Юра чувствовал, как возвращается в него нищий клерк, этот пресловутый менеджер среднего звена, этот человек-штамп. Он постарался удержать волшебное настроение:

— Этот лучше? Как думаешь?

Но прозвучало заискивающе и стыдливо. Жена разозлилась.

— Восемь тысяч!

— Он в два раза больше стоит.

— Очень здорово! У нас долги по ипотеке, а ты костюмы покупаешь!

— Я должен хорошо выглядеть. У меня же переговоры. Мне начальник замечание сделал.

— Нас выселят скоро, мы под забором будем хорошо выглядеть!

Дальше началась ссора, но Юра как-то даже не злился. Ругался с женой нищий Юра, а настоящий Юра остался сидеть в том кафе, с Аней.

Доругавшись до крика, Юра хотел уйти на улицу, подышать, но жена разоралась бы еще больше. Поэтому Юра прихватил на прогулку сына. Пока тот возился в песочнице, Юра набрал Аню. Нет, он не собирался больше с ней встречаться, но хотелось вернуть это ощущение собственного достоинства, силы и немного опасности.

Они поболтали ни о чем, посмеялись глупостям, пока сын качался на качелях и осваивал горку в соседнем дворе — в своем говорить было небезопасно, какая-нибудь сердобольная соседка могла подслушать и донести.

Разговаривая, Юра прохаживался перед лавкой, меланхолично попинывал окурки и пустые бутылки — вчера здесь явно заседала какая-то буйная компания. У мусорки лежала упаковка от презерватива, и это сильно удивило Юру — видимо, кто-то занялся сексом прямо тут. Возможно, на виду у случайных прохожих и жителей дома. Может быть, кто-то не спал и все видел. От этого защекоotalo внутри и стало сначала смешно, а потом обидно: вот у людей жизнь — делают все что хотят, а Юра даже на улице сексом-то никогда не занимался, только в помещении.

Неожиданно бутылка откатилась в сторону, и за ней оказалось кольцо с крупным камнем. Юра сначала подумал, что это бижутерия и поднимать его как-то стыдно. Он присел на лавку и сделал вид, что завязывает шнурок. Кольцо оказалось дорогим — у мамы было такое, еще бабушкино — довольно грубое на вид — массовая советская штамповка, но оно было с рубином, точно с настоящим рубином, очень

крупным. Когда умер отец, мама продала кольцо и купила Юре велосипед, а себе стиральную машину.

Юра вспомнил маму и даже хохотнул от радости. Мама точно за ним наблюдает — смотрит сейчас с облачка и подсказывает, что не ту жизнь он живет — слишком рано женился, слишком рано дети и, уж тем более, ипотека. Она же говорила, но тогда Юре казалось, что мама драматизирует — он уже нагулялся, устал от одиночества и непостоянства, а жена — это точно та самая. Юра и сейчас так думал, и возмущение внутри, оно было не против жены или сына, оно было против безденежья, против работы, на которой он впахивал круглыми сутками, но ни роста тебе, ни прибавки.

Все это время Аня продолжала болтать — что-то про ее институт и сессию. И Юра, окрыленный находкой, решил пригласить ее завтра куда-нибудь. Заберет с пар на такси. Ему хотелось ощутить еще и это. Почувствовать себя респектабельным папиком, который снимает себе студенточку на глазах у ее нищих юных сокурсников. Аня обрадовалась, и Юра рванул в ломбард. Он был за углом, внутри Юра никогда не был, но оказалось несложно. Приемщик пытался занизить, но Юра пересчитал на современную стоимость машинки и велосипеда и затребовал пятьдесят. Приемщик согласился, а Юра расстроился — продешевил. Если в ломбарде взяли за пятьдесят, сколько оно на самом деле стоит? Но предвкушение завтрашнего дня наполнило его такой гордостью, что он перестал жалеть. Шел и улыбался. Просто шел и улыбался. Впервые за долгие-долгие годы шел и улыбался самому себе. Спасибо, мама.

В песочнице сына не оказалось. Юру прошиб пот, а потом обдало ледяным испугом. Он рванул к ломбарду, обратно, к дому и зачем-то к магазину и орал одно и то же:

— Вова! Вова! Сынок! Ты где?

Вокруг никого не было, встревоженно поглядывали случайные прохожие, но по лицам их было ясно, что не видели — даже спрашивать бесполезно. В голове стучало: «Просрал. Просрал. Сына просрал. Просрал сына».

Юра рванул к дому — оставалась еще слабая надежда, что Вову мог привести сюда кто-нибудь из соседей.

Вломился в квартиру и заорал в коридор, готовясь расплакаться или проломить стену:

— Роза! Я Вову потерял!

Жена вышла из комнаты, холодная и сердитая:

— Он домой пришел!

— Сам?

— Представь себе!

Юра осел на стул у порога и всхлипнул. Жена хотела поругаться еще, но не стала, видимо, выглядел Юра жалко. Чтобы как-то прийти в себя и оправдаться, даже больше перед собой, чем перед ними, Юра разулся и прошел в детскую:

— Ты почему ушел? А если бы ты потерялся? Или под машину попал? Я сколько раз говорил, потерялся — стоишь, ждешь! Я говорил тебе? Говорил? Отвечай!

Вова молчал, опустив глаза, и Юре стало еще хуже. Винават был он сам, конечно, но и сын. Мог бы и подождать.

На следующий день Юра потребовал повышения. Просто так зашел к боссу, сел напротив закинув ногу на ногу и объяснил, что это он лично нашел сразу нескольких выгодных клиентов и заключил с ними крупные сделки. И что жена, ребенок и ипотека.

Босс был удивлен напором и смотрел на Юру с большим интересом, будто вообще впервые его видит. А может и вправду, не замечал раньше. Пообещал поговорить с финансовым и вызвал после обеда. Поговорил. Выписал премию и повышение.

Юра сидел на месте и шелкал калькулятором. Выходило хорошо, с новой

зарплатой по ипотеке можно рассчитаться года на два быстрее. А, если не гнать и оставлять эти деньги на жизнь, будут не только торговые центры по выходным, но и, возможно, отпуск. Спасибо, мама.

Если бы не эти находки, то Юра так никогда и не решился бы. Он скачал из соцсети фотографию мамы и поставил на рабочий стол. Погладил по лбу пальцем.

Аня уже ждала. Получилось и вправду хорошо. Куча студентов у входа в корпус, такси и Юра в новом костюме. Аня порхнула в машину, и Юра увидел это — несколько ненавидящих взглядов. Такая явная и сильная зависть.

— Вон тот в тебя влюблен. И этот, — он поцеловал Аню в щечку и показал на студентов. — Так посмотрели!

— Да это бывший мой, он debil, — улыбнулась Аня.

Дальше Юрий наслаждался. И опять же не самой Аней, к ней он привыкал медленно, и даже прикасаться особо не хотелось, а этим чувством удовольствия. От дня, от хорошего ресторана и вкусной еды, от легкости общения и от денег в кармане. Это его найденные деньги, это излишек, посланный ему мамой на карманные расходы, чтобы он расправил крылья, наконец и почувствовал себя сильным.

Из телевизора за Аниной спиной лились картинки курортов, дорогих вещей, еды и роскоши, и Юра снова почувствовал это забытое студенческое чувство карьерной лестницы, устремленной в неограниченное богатство. С ипотекой он потерял это чувство, остановился, и было ясно, что чуда теперь не будет, будет пятнадцать лет по тридцать в месяц. И как-то выживать на оставшееся. И помощи ждать неоткуда. Теща крепкая еще женщина, но работать не хочет, пенсия у нее маленькая. Мама Юры умерла, с ее квартиры в пригороде они и сделали первый взнос. А через пятнадцать лет — жизнь прошла, а надо еще ипотеку, теперь уже для сына. А еще вуз. И жениться захочет. А там внуки. Внуки! Я дед. И все.

И важно было вернуть себе эту студенческую дерзость, это чувство лестницы. Это самодовольство. Он трахнул Аню в примерочной дорогого магазина и купил ей то, что она примеряла. Она, кажется, была довольна — думала, старый хрен обезумел от страсти, а он просто не хотел возиться со съемной квартирой — не настолько хотелось секса.

Домой он вернулся поздно, стараясь не шуметь, прокрался на кухню. Жена сидела за столом и смотрела на него странным взглядом, будто сама не понимала, рассержена она или рада, что нашелся.

— А ты чего не спишь?

— Два часа ночи! Ты почему трубку не брал?

— Телефон сел.

Юра подумал, что гроза миновала и поцеловал. Разговаривать было странно, будто бы это не он говорил и врал сейчас, а кто-то за него. Кто-то хитрее. Может, дух мамы помогал. Или это уважаемый Юра наблюдал со стороны и диктовал.

— Ты пил, что ли?

— Да. С начальником.

— Чего?

— Да, меня повысили, прикинь. И... Он меня поужинать позвал, обсудить работу. И напился.

— Он пьет?

— В том-то и дело, что нет. А тут прям нажрался с непривычки, мне пришлось такси ему вызывать. Еще самому платить!

Так складно вралось. В самом начале было еще немного волнения, но потом спасительная версия нашлась, и стало легко и радостно сочинять.

Это чувство приключения вообще его больше не оставляло. Особенно после того, как он снял для Ани убитую двушку около универа. Аня и сама в ней не жила,

оставалась иногда, но в квартирке постоянно тусили какие-то ее сокурсники, репетировали КВНщики, все приносили еду, а отчисленные ребята заняли вторую комнату и платили половину плюс коммуналка. Юра начал уходить с работы пораньше и пропадал там.

Здесь было весело, интересно. Они пили, курили траву, трахались во всяческих сочетаниях и устраивали долгие кухонные разборки на тему «ты не понимаешь мою страдающую душу». Во времена своего студенчества Юра жил в общежитии и тоже выпивал иногда, тоже устраивал разборки, тоже спал с кем попало, но у них все было куда спокойнее. Все понимали, что придется и дальше жить вместе и что на следующий день узнает весь университет, а потому скандалить надо тише, и, вообще, лучше не афишировать.

А эти ребята были так раскованны, что с ними Юра чувствовал себя чуть ли не в притоне на дне французских трущоб. Тут он попробовал траву. Тут он попробовал групповой секс с Аней и ее подругой. Тут он впервые пил абсент и ходил голым перед незнакомыми. А потом умывался и шел домой. Ему казалось, что он шпион из боевика и находится на задании, вызнает что-то у божественной революционной группировки, и все, что там происходит, — не считается. Он просто по заданию. Пока однажды не случилось.

Юра задержался на работе и пришел к Ане поздно. Была на этот раз какая-то крепкая гидропоника, а он не ел, и его штырило часов пять и, когда перестало, он вырубился и очнулся уже утром. Рванул домой. Жена была в ярости.

— Я чуть с ума не сошла! Все больницы обзвонила! Где ты шлялся опять?

— Ты как разговариваешь?

— Ты дома не ночевал и телефон выключил! Нормально?

— Я на переговорах был всю ночь!

— Ой, как интересно! И с кем ты переговаривался?

— Ты тон смени! Муж с работы пришел, всю ночь пахал.

— Пахарь! Так где ты был-то?

— Переговоры с поставщиками в другом часовом поясе.

— И начальник твой с вами был?

— Да!

— А мне он сказал, что ты дома. И сам он почему-то дома был.

— Ты что, моему начальнику звонила?

— Да, и начальнику, и на работу, и в полицию.

— Ты зачем меня подставила? Я хотел с поставщиками мимо фирмы договориться, свое дело начать, а ты меня слила!

— Да не сливала я тебя.

И тут в разговоре опасно надломилось, надо было выправить, но Юра почему-то решил доломать, и сам этому поразился:

— Как меня задолбали твои подозрения! Все, я ухожу, я устал от такой жизни.

— Чего???

— Не хочу с тобой скандалить, все. Нам лучше расстаться!

Юрий выскочил на лестницу. Конечно, он мог в любой момент вернуться, наврать, вымолить прощение, но он не хотел. Ему понравилось, что вранье завершилось. Устал, устал врать и спешить домой. Стало легче.

На улице светило солнце, и Юра даже улыбнулся. Было странно, как-будто что-то ужасное исчезло — вскрылся прыщ или вырван изводивший зуб.

Дальше понеслось — на работу Юра начал опаздывать, спал уже не только с Аней, но и с любой свободной студенткой, ел мало, много пил и на работе стал рассеянным. Работа вообще мешала. Деньги были не особенно нужны, приходившие

приносили алкоголь, какую-то еду, Юре тоже приходилось покупать на всех, поэтому он приносил дешевое, а съедать старался дорогое. Как и остальные.

Но они-то оставались дома и веселились, пока он пахал, а потом тратили родительское, а Юра вынужден был переться с похмелья на работу. Недовольство нарастало, и, голодный, после работы Юра, не найдя вообще ничего, даже как-то подумал о том, что сейчас гаркнет и выгонит их всех отсюда. Решил потерпеть и попытаться найти хоть что-то, идти в магазин ломало.

Вместо солений или варенья обнаружил в шкафчике под подоконником здоровенную закладку плана, угол от которой был уже отщипан. Юра сначала хотел спросить, чей это, потому что добра тут было прилично, но вспомнил о маме. Что если это очередной подарок? Ведь давно уже ничего волшебного с ним не случилось. А если он сейчас спросит и найдется мнимый хозяин? В конце концов, он уже несколько месяцев спускает на них всю зарплату, можно и забрать в качестве компенсации.

Кроме того, он подозревал, что это план Дисы, который иногда навещался не просто продать, но и потусить с ними, и вполне мог притарить товар не у себя. Тогда Дису следовало наказать. В общем, Юра спрятал план на антресолях и начал ждать.

Все вели себя как обычно. Никто ни о чем не спрашивал, Дису тоже приходил и продавал. Хотя при нем Юра даже раскрыл шкафчик. Дису не дрогнул. План можно было оставлять себе. Продать и больше не работать. По крайней мере, пока.

Это было так вовремя, что сомнений не оставалось — это мама помогла. Начальник давно косился и даже выговоры объявлял, но в то утро Юра по его тону почувствовал, что сейчас все кончится. Надо было, как с женой, перетерпеть и извиниться, но терпеть больше не хотелось. Хотелось свободы. А нужно было разговаривать. Зачем люди разговаривают вообще? Ничего хорошего из этого все равно не выходит.

— Юра, стой. Зайди, пожалуйста.

— Здравствуйте, Игорь Иванович!

— Бессонная ночка? Ты любовницу завел?

— Я?

— Я так и понял. Мне вчера твоя жена звонила.

— Да вы...

— Не хотел же тебя повышать. Рано тебе такие деньги иметь. Сразу ушел в разнос. Ты за голову возмись. Пока не поздно.

— Да кто вы такой, чтоб меня как пацана отчитывать?

Это да. За время жизни со студентами Юра привык к позиции папика. Он был главным. Он решал. И они не смели.

— Юра, я добра тебе желаю.

— Я вашего мнения спрашивал? Я к вам в жизнь не лезу. Знаете что? Раз вы так со мной разговариваете, я увольняюсь! Поглядим, как вы без меня запоете!

Юра хлопнул дверью и пошел прочь. Чувствовал спиной изумленный взгляд начальника, чувствовал, что делает неправильно и что это какая-то детская истерика, и тоже будто бы не его, а где-то увиденная раньше, но все равно ушел.

Свобода.

На последние деньги вывел Аню в ресторан. Ей никто ничего не говорил, но она, кажется, догадывалась, что Юра спит не только с ней, и корила себя — идея с подругой и сексом втроем принадлежала ей. Юра не хотел расставаться — привык, и хотелось хоть в ней какой-то стабильности, а потому принялся вешать ей лапшу про то, что уходит на другую работу.

— Сейчас устроюсь, сделку крупную проверну, в Майами зимовать поедем!

Аня верила.

— Я с поставщиками напрямую договорился, сейчас вложусь, привезу партию, продам — и все. Купаться в деньгах будем.

Аня хотела в Майами, а потому расцеловала радостно и предложила отметить. Юра хотел подозвать официанта, но вместо него почему-то увидел лицо жены. И еще секунд тридцать приходил в себя, пытаюсь понять, не кажется ли ему и что теперь делать. Подошел. Жена чуть не плакала.

— Роз...

— Не надо. Я по другому поводу.

— Мы же разводимся, и я... Мы с ней недавно, ты не думай...

— Юр, мне это все и так унижительно, я, если бы не была в таком положении, в жизни бы не пришла.

— Что-то с Вовой?

— Нет, но он постоянно про тебя спрашивает. У меня огромные долги по ипотеке, квартиру собираются отобрать. Нас с Вовой выселят... А мы же договаривались, мы ее вместе брали, и я не рассчитывала, что ты...

— Я буду платить алименты...

— Ты же уволился! Какие алименты?

— Роза, я буду помогать, я от своих обещаний не отказываюсь, это мой сын.

И я уже нашел новую работу. Через пару месяцев я...

— Юра, мне сейчас деньги нужны! Мне нечем платить!

Юра торопливо сунул ей купюры из кармана, надеясь, что в бумажнике что-то осталось:

— Все что есть, остальное на карте. Позже переведу. Я позвоню!

Жена убрела прочь. Юре было так мерзко, что он даже ужинать передумал — пошли домой и накурились.

Под травой, разморенный, кайфуя от Аниного минета, Юра думал о жене. Ее было жаль. Вышла замуж за клерка, он ее бросил с ребенком и ипотекой, и как она теперь?

Стало стыдно. Юра подумал, что продаст кусок и вправду подкинёт ей денег. Кусок был здоровенный, если втридорога продавать лошкам-первокурсникам, то можно на год ипотеки ей денег дать. На полгода точно. Кончил Юра в тот момент, когда думал о том, что можно не заморачиваться и продать через Дису, и его рож подпортила кайф.

Диса Юру выслушал и попросил показать. Потом взял пробу. Шмат был приличный, и весь его Диса забирать не хотел — сказал, что нет у него с собой столько денег. Но покупателя найдет и сам наварится слегонца. Юра был не против, Диса назвал цену куда большую, чем Юра рассчитывал.

В назначенный день Юра стоял в костюме и с портфельчиком на мосту и ждал Дису. Он воображал себе, как сейчас придет к жене, выложит на стол пачки, связанные банковскими резинками, и вернется к Ане. Заставит убрать в квартире и установит хоть какие-то правила. Типа — смывать за собой и график дежурства на кухне.

Диса шел навстречу и широко улыбался. Юра не видел, что в это же время к нему со спины подходят еще двое. И как только Юра протянул Дисе пакет, они, легко приподняв Юру, перебросили его через парапет. Зацепиться он не успел и полетел прямо на проезжающие под эстакадой машины. В полете он думал о том, что просрал жизнь. И про то, что как же так, мама?

Диса еще не знал, что скоро один из этих бравых молодчиков, Илья Сокольский, крепкий и туповатый, сольет его ментам вместе со всеми явками, дилерами и покупателями. Он и предположить не мог, что Илья был не стукачом от конкурентов,

освобождавших поляну, а был он обычным следяком в отпуске, и никто его ни на какое задание не отправлял. И, если бы Диса узнал правду, он бы ни за что в такую правду не поверил.

Илья вырос в хорошей семье, с отцом — известным спортсменом — и утонченной мамой, которая раз в месяц водила его в театр или филармонию. Когда от передозировки скончалась бывшая одноклассница, Илья записался на военку и попросился в органы. Не было у него каких-то романтических чувств к однокласснице, даже дружеских не было, но Илья был молод, и у него еще никто не умирал. Ему хотелось посвятить жизнь чему-то важному и полезному, совершить героическое и, наконец, зауважать себя.

Отец был человеком с большими связями и без труда пристроил сына в отдел. И какое-то время Илья был счастлив. Он жил в голливудском боевике — устраивал облавы в клубах, выслеживал торчков, искал банчил, которых молодняк звал «драгдилерами». Бросали так небрежно: «Мой драгдилер говорит»... и какую-нибудь банальность.

Потом Илья влюбился в инспектора по делам несовершеннолетних, строгую девушку Юлю. Во время долгих прогулок они говорили о том, как сделать мир лучше. Юля не особо верила в то, что это возможно, но Илью поддерживала, постоянно рассказывая о своих севших на иглу и погибших подопечных. Илья чувствовал невероятное родство и думал, что Юля и есть — та самая.

Конечно, он не мог не замечать, что некоторые сослуживцы живут слишком уж роскошно для сотрудников, а другие перед неудавшимися облавами куда-то называются, и много чего еще, но всегда оставался шанс, что это просто прикрытие — подыгрывают, втираются в доверие, стараясь поймать кого-то покрупнее.

Потом госнаркоконтроль расформировали, а Илью перевели в полицию. Сначала Илья не придавал значения — ну дальше до работы на одну остановку, какая разница. А когда понял, — затосковал. Это было позорно — мордобой, бытовуха, мелкие воришки. Что-то из компетенции Юли, которую он уважал, конечно, но всегда думал, что она делает дела помельче, не такие важные, как он, и не такие опасные. Илья даже собирался уйти куда-нибудь в разведку, но Юля его переубедила.

Она рассчитала верно: у Илюшиного папы связи, папа постарается, и в полиции неглупый и хваткий Илья быстро поднимется по карьерной лестнице, главное, чтобы не ушел. Она долго говорила о том, что если не он, то кто? И что он и тут может делать мир лучше. Илья истолковал все по-своему, но вдохновился. Последним неоконченным делом в наркоконтроле был Диса. А дело нужно доводить до конца. Вместо того, чтобы поехать с Юлей и родителями посмотреть Крым, Илья взял отпуск и «внедрил»ся. Это оказалось довольно просто — попросил друга наехать на Дису в клубе, а потом вступился и ляпнул, что безработный телохранитель. Диса заинтересовался. У Ильи оказалось недорого. Видел такое в каком-то фильме.

Диса был, конечно, мелким барыгой, но, с другой стороны, необычайно суетливым, а потому закупался в пяти местах одновременно и банчил по всему городу. И взять его надо было так, чтобы повязать сразу всех.

Юле все это не нравилось — подозрительно просто — внедрился мгновенно, сразу все разузнал. Илья пытался объяснить, что в связи с их расформированием наркоши распустились вконец, да и сам Диса не семи пядей во лбу, но Юля не верила. После отпуска она перебралась к его родителям, пекла им штрудели и вечерами ходила с его мамой в театр.

Через три недели Илья взял четыре точки за раз. Пятый барыга сбежал. На этом Илья посчитал свою миссию выполненной. Он вернулся к семье и расследованию мелкой бытовухи. Юля вскоре забеременела и родила Павлика — 3,98. Илье прислали погоны, потом еще и еще, и жизнь его окончательно наладилась. Пятый барыга его не искал, а Диса, судя по слухам, отсидев, уехал из города.

Диса всегда был хорошим мальчиком, надеждой учителей и маминой радостью. Даже одноклассники особо его не чморили, потому что он хоть и был ботаном, но всегда давал списать. Да и гулять он не ходил не потому, что не хотел, а потому что подрабатывал грузчиком на почте:

— Реально жрать нечего, пацаны.

Мама его работала продавщицей в гастрономе, в рыбном отделе, и от нее пахло даже после бани. Диса любил маму и никогда ее не расстраивал.

Он завидовал пацанам, на которых мамы орали, а отцы пороли. Это, казалось, пережить было легче, чем ее собачий взгляд и поджатую губу. Она просто тревожно заглядывала в глаза, потом отворачивалась и смотрела снова. Так, будто вот-вот расплатится. Диса ненавидел себя в такие моменты. Мама посвятила ему всю свою жизнь, она батрачила в магазине, стоя, со своими протрузиями, а по утрам не могла встать. Обычно Диса успевал помочь перевернуться и делал массаж с водкой, после чего она, охая, поднималась и расхаживалась только к концу завтрака. От постоянной работы с заморозкой ладони у нее стали широкими, почти мужскими. Они даже после отпуска оставались красными и шелушились. И насморк до конца никогда не проходил — нафтизин мама покупала целыми блоками. Но больше Дису расстраивало не это.

Его мама была женщиной очень влюбчивой. Признавать она этого не хотела, но время от времени в ее рассказах начинал преобладать то грузчик, то экспедитор, то веселый покупатель. И мама задорно и немного смущаясь рассказывала об их ухаживаниях, а потом смотрела на свои руки, прятала их под стол и мрачнела. Она всем отказывала. И сколько ни убеждал ее Диса в том, что она все еще красивая и молодая и что нужен ей мужчина, потому что Дисе скоро уезжать, мама кивала и продолжала отказывать.

Диса надеялся, что, оставшись одна, она заскучает и на кого-нибудь все же согласится, но мама говорила, мол, слишком стара для всего этого. А потом запоем читала любовные романы. И Диса замечал, как она, перелистывая страницу, видит свою руку и вздрагивает. Он убеждал ее сменить работу, но в рыбном и правда платили хорошо. Мама откладывала на его учебу, и оставалось нормально — раз в три дня они ели мясо. Диса тоже откладывал на свою учебу. Не на платное, конечно. На билет, общагу и на то, чтобы не работать до следующего лета — мало ли, вдруг нагрузки.

После школы Диса учил уроки, шел разгружать и снова учил. Хотел медаль, но с гуманитарными было плохо, особенно с литературой. Он не понимал, что именно нужно запоминать и почему литераторша делает такие странные выводы из чьих-то смертей и любовных походов. Впрочем, литература ему и не понадобилась. После школы он поступил в пищевой, на сыроварение. Говорили, что из-за санкций эта отрасль скоро начнет бурно развиваться, но Дисе было все равно. Лишь бы бюджет.

Диса воображал, что в городе его ждет другая жизнь — без почты, маминого рыбного, одноклассников. Город и вправду потряс — сияющие вывески, широкие проспекты, торжественная громада института. Однако вскоре стало ясно, что жизнь его никак не изменится — он будет отсиживать пары, шлепать в библиотеку, сидеть там, потом найдет подработку и будет после библиотеки также горбатиться за три копейки. И поселили его с такими же нищелюдами, тоже ботанами-девственниками из соседних деревень. И девочки к ним в гости заходили страшные, прыщавые и робкие. Раньше Диса был уверен, что институт — это уже красивая жизнь, а тут выяснилось, что она красивая только для тех, у кого она и до этого была красивой, а у Дисы продолжается его жалкое существование, просто в другом месте и с другими людьми.

Прыщавый Косой влюбился в преподшу, целыми днями таскался за ней по универу, а ночами дрочил, мешая спать. Второй сосед был родом со Шпалзавода, и Дисе казалось, что это его полностью описывает.

Хотелось не быть с этими, хотелось к тем, хорошо одетым ребятам-старшекурсникам, которые не варят себе макароны на дряхлой плитке, а едят в столовой, играют на гитаре между этажами и тусуются в курилках. Диса закурил. Это ему не нравилось: воняло и кружилась голова, а потому он был уверен, что с легкостью бросит. Тем более, это было дорого. Но к крутым притереться получилось.

Там он познакомился с Кирой, девочкой не очень красивой, но ухоженной и с деньгами. Кира сводила его в парикмахерскую, подарила ему рубашку и пару ярких футболок, и Диса стал выглядеть почти как они. Правда, теперь ему было уже не так важно — с Кирой он лишился невинности и предпочитал проводить время голым, о чем и сообщал своим ботанам с вальяжным видом. С тех пор, как старшекурсники Дису приняли, ботаны его тоже зауважали. Он уже пробовал водку и пиво, а как-то раз его пьяного притащила в общагу Кира.

Диса не заметил, что тусовка у них с Кирой постепенно меняется, что в ней появились две отчисленные девчонки, уходившие ночью на вокзал. Говорили, что в клуб, но денег на вход у них не могло быть и настроения для тусовок тоже. Эти девчонки и предложили попробовать дурь. Диса особо ничего не почувствовал — так, для галочки, чтобы и это вальяжно сообщить пацанам, а вот Кире очень понравилось. Ей почти сразу захотелось секса, она затащила Дису в аспирантский душ и так стонала и извивалась, что Диса кончил дважды. Все как-то незаметно начали время от времени употреблять.

Кира попросила денег на аборт. Диса был поражен, он еще не решил, стоит ли им заводить ребенка, — это даже и можно было бы — у Киры богатые родители, они бы помогли. Но Кира не захотела, и Диса денег дал. Это были последние из тех, что он мог потратить в этом месяце, и ему пришлось почти неделю доедать за ботанами и ходить в гости в надежде, что покормят.

Кира пропала. Вернулась она через пару дней, потом снова пропала. Косой сказал, что ее видели на вокзале с проститутками.

Диса сначала не поверил. Это была какая-то чушь из американского кино — какие-то проститутки, наркота да и аборт тоже. Он стал спрашивать, искать, выяснять и с ужасом обнаружил, что все это правда. Отчисленные девчонки ходили работать на вокзал, сутенер подсадил их, они подсадили Киру, которая уже давно не травку покуривала, а пошла по вене. Никакой беременности не было, конечно. И изменяла Кира Дисе по четыре-пять раз за ночь. Вокзальных проституток редко бронировали на всю ночь — обычно на минет или на час.

Диса был в таком шоке, что сутки пролежал глядя в потолок, даже институт прогулял, чего с ним еще не случалось. Отчисления он боялся страшно. А на следующий день Диса почувствовал себя звездой. Ботаны все разболтали, девочки жалели Дису, пацаны сочувствовали, но в этом сочувствии сквозило какое-то детское уважение. Все они, все сто человек, даже самые прожженные, — просто дети. А у чувака девушка (у него уже была девушка!) села на иглу и стала проституткой. Такая драма, о.

Дисе это очень понравилось. С ним говорили уважительно, как с крутым, старались познакомиться, дать сигарету, сесть к нему на поточке. Романтический герой.

Диса даже к Кире начал заходить, хотя ему это было неприятно, она плохо выглядела и постоянно клянчила денег. Но больше пугало даже не это, а ее отрешенный равнодушный вид, будто это была уже не она, а только тело от нее. Диса подолгу курил на этаже, настраиваясь на то, чтобы войти к ней. Пробежавшие мимо студенты сочувственно на него смотрели.

Появились девочки, готовые Дису отвлечь и утешить, — одна в группе, а другая в общаге. Это были не страшные ботанши, а классные девчонки. Та, что жила в общаге, Тамара, вообще занималась восточными танцами и была звездой всех университетских праздников. Она так томно смотрела в зал, когда прогибалась спинку,

что о ней всерьез даже никто не думал — слишком красивая, слишком аппетитная, вся — слишком. А главное, у нее была поразительная задница. Взгляда не оторвать: две глубоко разделенные половинки, округлые, как мячики, и неприлично манящие.

И вот Тамара, проходя мимо курившего Дису, вдруг усаживается на подоконник, закидывает ногу на ногу и, прогнувшись вперед так, что раскрывается декольте, спрашивает:

— Ты правда ее любишь?

Возможно, Диса и растерялся бы, если бы воспринимал Тамару всерьез, но она была слишком хороша для него, потому и говорить с ней оказалось легко. Примерно как с преподавателем. Тамара позвала на кофе, они долго болтали. Соседок не было. Диса прохаживался по ее комнатке и замирал, опираясь на стену или присаживаясь на спинку стула, когда она двигалась. Она сидела то по-турецки, то подвернув под себя колени и время от времени меняла положение. Диса в эти моменты видел, что трусики у нее алые. Она позвала зайти еще, потом заходила сама, чем повергала его ботанов в шок.

Она села к нему на колени прямо на троллейбусной остановке у института. И не просто присела, чтобы не испачкать пальто, как она сказала, а конкретно так присела, расставив ноги и будто бы стараясь нащупать промежностью его член. У Дису встал. Она явно почувствовала и, не поднимаясь, повернулась к нему и посмотрела лукаво. И только тут Диса понял, что она не просто жалеет его, она его хочет. Он смутился и в троллейбусе старался смотреть в другую сторону. Тамару это веселило, она пихала его и дергала, стараясь растормошить, но Диса будто опьянел — это было унизительно и хотелось поскорее от нее уйти. Не от тела ее, а от этого игривого взгляда.

У общаги их встретили ее сокурсники и отвели в сторонку. Перетереть. Диса думал, что пора получать по морде, однако сокурсники поинтересовались, может ли Диса достать. И почему. Диса на радостях от того, что бить его не будут, пообещал узнать и правда сходил к Кире. Оказалось довольно дешево, он накинул триста рублей сверху и впервые заработал. Все это время он жил на накопленное. Мама тоже присылала ему, но ее деньги он не тратил, складывал, чтобы потом вернуть. Про работу он вспомнил только сейчас — здесь мало кто работал, все больше учились и пьянствовали.

Парни пришли снова, привели еще одного. Потом и ботаны захотели попробовать. Диса решил им не продавать — боялся спалиться в собственной комнате, поэтому вместо травки насыпал им чаю. Ботанов торкнуло — Косой постоянно ржал, танцевал под неслышную музыку и махал руками, а Шпалзавод хихикал и повторял: «Торч! Ваше торч!» Дисе было очень смешно, но он все равно не признался — пришлось бы вернуть деньги, да и Шпалзавод вряд ли смог бы его простить.

Диса быстро развернулся — перестал покупать через Киру — родители наконец забрали ее домой. Он вышел на ее сутенера, стало еще дешевле. Клиенты прибавлялись с бешеной скоростью, и неясно было, откуда они про него знают. На выходные Диса снял номер в отеле, и они с Тамарой провели там ночь. Спа, шампанское и ее дивная задница, которую Диса щупал, целовал и даже укусил в порыве чувств. С Тамарой было легко и весело, деньги сами шли в руки, и Диса подумывал жениться. Тамара на это только посмеялась, но познакомиться с мамой согласилась. И даже предложила Дисе съездить с ним в его городишко.

Диса испугался — не очень-то ему хотелось, чтобы Тамара это видела. Сейчас он для нее романтический герой, модный, при деньгах, но он представил себе мамин рыбный, облезлое здание почты, грязь и лужи. Стало стыдно. Вместо этого он пригласил маму на Новый год, и она приехала. Отмечали вместе с соседями и телкой Шпалзавода. Диса боялся, что Тамаре станет скучно. Но она видела, какой эффект производит на Косого и сколько ненависти к ней испытывает телка Шпалзавода, и это

ее веселило. Минут через двадцать, впрочем, она увела Дису к себе за шампанским и трахнула в позе наездницы. Это был их последний раз.

Пока Диса выгуливал маму, Тамара узнала, откуда у него деньги. И отрубила — жестко и навсегда. Диса таскался за ней, что-то обещал, но она просто проходила мимо. Молча. Повиливая своим роскошным задом так, будто Дисы не существует. И никогда не существовало в ее жизни. Это было обидно. Диса запил, сам начал употреблять и чуть не сдобрился — спасло его отчисление. На горизонте замаячила армия, родной городишко, но Диса заплакал, когда рассказывал коменде о Кире, которую уже выгнали, потом о Тамаре, которая его бросила. Коменда сжалилась и не забрала пропуск. Диса мог оставаться в общежитии до конца года.

Нужно было заработать как можно больше, и Диса принялся так яростно банчить, что, конечно же, попался. Заметив в кабинете Илью, он не сразу понял, в чем дело, — подумал, что того тоже поймали и привели для очной ставки. Быстро проинструктировал, чего наврать следователю. Когда Илья ответил, что следователь — это он и есть и показал на диктофон, Диса рассмеялся. Очень уж тупо получилось.

На улице было зябко. Моросил мелкий дождик. Капельки его сияли в свете фонарей, и сами фонари становились похожими на фантастические одуванчики из кино. Никита любил этот район. Эстакада, под которой можно было припарковаться, гигантская гостиница с сияющим клубом на первом этаже и рестораном на втором.

Жена говорила, что ее бесит весь этот хай-тек в историческом центре, а Никиту пёрло. Перло от всего. От того, что он сидит за рулем новейшей тонированной бэхи, от того, что он женат на дочери бизнесмена и от того, что жена на сохранении, а потому не узнает, во сколько он вернулся и вернулся ли вообще. Перло от салфеточек на кухне в специальном держателе, от покупных тряпочек для обуви, от крохотного брелка бэхи, который он небрежно бросал на стойку в баре и от своей мускулистой руки с аккуратными ногтями, которые отполировала маникюрша жены.

Жену Никита не любил. Она была беспомощной и глупой, но корчила из себя интеллектуалку, щедро пересыпая речь замысловатыми терминами. Тещу всегда это умиляло. Ей вообще нравилось, что они все такие умные — и дочь, и тесть, и родители тестя. А Никита ей больше не нравился. Тяжело было выносить этот недобрый холодок во взгляде, и Никита старался как можно реже встречаться с ней.

Это теща взяла его на работу, бездомного лимитчика после армейки, зятянутого в дешевый, стоявший колом костюм с рынка. Он, еще входя в офис, понял расклад. Муж Лауры, коренной москвич, имел образование, фирму, которой хорошо управлял, связи и деньги, а эта ушлая бабенка, приехавшая в столицу уже изрядно потасканной, просто хорошо устроилась. Захмутила. Еще имя такое, проститутское.

Он по улыбочке ее понял, что она видит своего — смелого бойца, готового выгрызть себе место под солнцем. Утром он возил ее на работу, хотя она водила лучше него, и никак не мог понять, зачем она вообще работает. Могла бы целыми днями торчать в спа и ресторанах, но Лаура впихивала вместе с мужем и вела дела куда агрессивнее. Она говорила, что деньги ей надоели, и все эти спа и рестораны — это так, приятная приправа к жизни. Делать бизнес — единственное, что ей сейчас интересно. Ну, или почти единственное. Никита поймет, когда поднимется повыше, если, конечно, будет послушным мальчиком. Никита был. Они заезжали в лесок за гаражами, и Никита имел ее на заднем сиденье — яростно и до боли. Ей так нравилось.

Потом он вез ее дочь в институт и посматривал в зеркало — было неловко, что дочь сидит на том самом месте, где он только что драл ее мать. Дочь думала, что он смущается и флиртует. Она первая его поцеловала. Никита сначала хотел ее отшить, но Лаура уже две недели его игнорировала — ездила на другой машине, сама, и Никита решил, что она его бросила.

Дочь Лауры требовала, чтобы он встречал ее прямо у института, на глазах у таких

же бледных сокурсниц. Все они были одеты вычурно, в какие-то балахоны странных фасонов, очки с огромными оправами, с крашенными в невероятные цвета волосами, но именно от этого их желания выделиться они сливались в одну общую массу из тканей и аксессуаров. Как сливались в единую массу бизнесмены в идеальных, будто литых костюмах. Лаура была другой. Она была полнокровная, пышущая энергией и даже одетая в темные джинсы со свитером притягивала к себе внимание.

Дочка копировала маму в движениях, в манере говорить, но казалась тощим нераскрашенным слепком. Она под каким-нибудь замысловатым предлогом заманивала Никиту к себе в комнату, когда родителей не было. Сексом занималась без удовольствия, и лицо у нее было такое, будто она пытается понять, что происходит и нравится ли ей это. Потом она забеременела и поставила Никиту перед фактом.

Лаура устроила скандал, требовала аборта и увольнения, дочка плакала, уткнувшись в Никиту, а отец ходил за Лаурой по комнате и убеждал, что оно ведь не так плохо — ему тоже говорили, чтоб не смел жениться на ушлой лимитчице, но он не послушал и уже сколько лет счастлив в браке. Никита автоматически усмехнулся, вспомнив лесок, и именно в этот момент в глазах у Лауры осел этот недобрый огонек.

Они даже поговорили потом, и будущая теща ему все высказала. Воли она была железобетонной, терпеть умела и пригрозила, что отравит, если вдруг что. А потом замутила с охранником на глазах у Никиты.

Никиту это мучило, но ничего уже было не исправить. Да и не слишком хотелось — глупо менять утренний перепихон с замужней теткой на козырное место в зятях землевладельца. Теперь каждую секунду своей жизни Никита наслаждался. Включая кофемашину утром, давая распоряжения домработнице, утопая ступнями в ворсистом коврике в ванной, доставая дорожную бритву, сжимая в руке стеклянный телефон. Приятно. Приятно. Приятно. Это была жизнь. И все его страдания — нищее детство в маленьком городишке, армейка, работа — всё это было платой за то счастье, которое он теперь испытывал. Ежедневно, ежесекундно. Правда, со временем оно стало приедаться и хотелось чего-то еще. Выпить, съездить куда-то, девку.

Никита вынул дорожную сигарету из плотной картонной пачки и подумал, что нужно будет купить портсигар. Золотой. Можно было покурить и в машине, но после этого костюм и салон пропитывались тяжелым запахом прелого табака, что могло отпугнуть потенциальных клиентов. Тесть все еще не терял надежды — думал, что со временем Никита включится и тоже начнет работать.

Вспомнив о клиентах, Никита поморщился. На работу он ходил как попало, между фитнесом и магазинами, но сегодня по просьбе тестя весь день проторчал в офисе, ожидая, что застройщик хотя бы перезвонит. Сам Никита позвонить не мог, тесть разыгрывал хитрую комбинацию — нужно было создать видимость бешеного ажиотажа вокруг мертвого объекта, чтобы покупатель, боясь потерять выгодное предложение, поторопился с покупкой. А потому клиент сам должен был позвонить. На этот раз Никита, похоже, вместо клиента обманул сам себя — этот кусок земли с теплотрассой под ним никто покупать не хотел.

Сказывались накопившаяся за день усталость и хроническое раздражение на вечно ноющую жену — пришлось к ней заехать. Никита радовался, что ее положили в больницу — не надо было изображать любовь и заботу. В последнее время это стало напрягать. Чтобы развеселиться, Никита вообразил себе грядущую встречу одноклассников.

Поедет на бэхе. Бросит брелок на парту и расскажет, что поднялся, укоренился в столице, квартиру вымучил внутри кольца, должность и сын вот теперь еще. Знала бы мама, как она была не права, ругая его за то, что он вместо учебы волочитя за юбками.

— Делай то, что у тебя лучше всего получается, — подумал Никита и усмехнулся.

Надо было кого-то склеить. Приятно было представлять себе, какая это может

оказаться девчонка. Цвет волос, форма губ, запах. В штанах еще не наливалось, но уже чуть заметно наполнялось предвкушением. В легкие втекал ароматный табачный дым, перемешанный с влажным воздухом. Мерзли лодыжки под брюками. Смотрела на него симпатичная брюнетка с блестящей сумочкой. Можно будет и ее. На десерт. Познакомиться ближе к утру и прихватить домой. Домработница придет к обеду.

У клуба «Перезагрузка» терлась толпа разгоряченного танцами молодняка — тоже курили, ежась и пританцовывая от холода. Смешиваться с ними не хотелось, поэтому Никита выкурил еще одну, наслаждаясь моментом.

За столиком поджидал Диса. Он пожал Никите руку и улыбнулся:

— Соль новую привезли. Бомба!

Никита пожал плечами:

— Да я бы чего-нибудь... Даже не знаю.

Диса подмигнул и вынул из кармана кусок плана, по форме напоминающий перепелиное яйцо:

— На пробу. Для нашего постоянного клиента.

— Ну, ты это... Полегче, — звание постоянного клиента Никите не понравилось. — Гашиш? Реально?

Диса улыбнулся:

— Натур продукт. Чистейшая конопля.

— Офигеть!

— Студенты подогнали. Не гидропоника.

На Никиту нахлынули воспоминания — бульбулятор в подъезде перед школьной дискотекой, одноклассники. Потом увольнение в армии — и тоже гашиш. Час не отпуская проститутку — никак не мог кончить.

— И как приход? А, ты же — все, — Никита вспомнил, что Диса больше ничего не гарантировал.

Говорили, что у него сдохла подружка и сам он чуть не сдолбился в прошлом году — с тех пор перестал пробовать товар.

Гашиш — это было хорошо, можно было и потанцевать, и склеить девку. Ничего крепче Никита и не хотел — боялся подсесть. А если менять вещества и употреблять их редко, то шансов меньше. Выкурив в вип-туалете косяк, Никита долго еще сидел на крышке унитаза, чувствуя, как волна покоя разливается по его телу. Время замедляется. И сам Никита становится плавным, тягучим и очень приятным.

На выходе из туалета он заметил за стойкой ту брюнетку с блестящей сумочкой и двинулся к ней вдоль танцпола. Танцующие шибали его, тыкались, но тело у Никиты было мягким, как море. Он, стуча сердцем в такт музыке, обволакивал этих жестких людей и утекал. Проплывая мимо огромного, во всю стену, зеркала, Никита замешкался — ему показалось, что в отражении промелькнуло лицо мертвого монгольского мальчика. Мальчик был совершенно голым, он смотрел на Никиту не мигая и почему-то высунул язык, будто показывал врачу горло. Никита обернулся — мертвый монгольский мальчик стоял на танцполе. Просто стоял и не шевелился.

Никита разозлился. Наверняка нечистый на руку Диса, пытаясь продать хоть немного, намешал в гашиш какой-нибудь химии, и теперь Никиту глючит. Он не глядя выбросил весь кусок в ближайшую урну и шагнул на танцпол.

Мальчик пропал.

Любовь Колесник

Человек человеку труд

* * *

Прямо пойдёшь — болото.
Налево пойдёшь — болото.
Ещё одно поднимается изнутри.
Красивая птица из своего киота:
туруру тирири.

Невыразимое проступает слово
в складках коры.
Мир надламывается,
лопается, как слива,
проваливается в тартарары.

Остаётся ёлки скорченная конечность,
зелёная поросль из печени пня.
Позади Москва.
Впереди вечность.
Посередине — я.

* * *

Вьётся птица страдивари
над моею головой.
Я стою перед словами,
словно лист перед травой.
Лес с лицом старообрядца,
поле с дряблым животом —
не звучат, не говорят,
чуть побудут, а потом
начинают растворяться
даром паром
надо ртом.

* * *

Сциллы и другие первоцветы
молча вылезают из земли.
Сциллы, под землёю есть поэты?
Говорят — искали, не нашли.

Кровь и почва есть, нашлись и корни,
мокнет глина, спит вороний глаз,
молча на берёзовой иконе
короед скоблит сырой левкас.

Не хочу, не надо, не такую!
Тише, Сциллы! Смолкни, небыль вся!
Посмотрите, как они ликуют,
чикают, курлыкают, токуют,
под суровым облаком висят.

* * *

Над совиным лесопарком
птица, быстрая пометка.
В сером воздухе весна
из-под горя не видна.

Горе, скройся! Птица, взвейся!
Человек под ней, рассмейся!

Смотришь в небо — нет, едва ли.
Небо мелют жернова.

Песня, нитка-прилипала,
липнет к краю рукава:
День прошёл, а я отстала,
день прошёл, а я жива.

* * *

Тропа зарастает лесом, как след пореза.
Если цокнуть над полем, в земле зазвенит железо.
Дробный бег кабанов, заполошный пролёт тетёрок.
На болотах багульник вырастает из гимнастёрки.

Здесь была деревня, а нынче растут деревья,
здесь была война, а нынче вода темна —
вот и вся недолга, проста и крива, как стремя,
вечная весна.

Надо мной пустота, начинаемая с затакта —
ни кола ни двора, ни трактора и ни танка.
Под моими ногами, где пахота не достала —
погнутая звезда из памяти и металла.
Жестяное небо летит и горит дотла.
Как мне сказать, чтоб музыка, музыка здесь была?

* * *

Я рубец обороны Москвы.
Я рыбак, ожидающий реку, —
вот она покидает болото,
измождённое русло.

Покачнётся и грянет по медным, железным порогам,
костяным ступеням —
вприпрыжку, не наступая.
В изголовье лес раскачивает стропила,
снег перебирая, ветер летит стопалый.

Скрытая вода напита́на родниками,
наполнена моими родными —
страшная на вкус, мягкая на ошупь.
В ней ольха и ель согревают корни,
бурой кожурой обрастает камень.

На камне птичка — смотрит черничным глазом:
— Человек-человек, ты зачем здесь?
— Жду, когда смерти не станет.
Жду, когда будет счастье.
За каким рубежом?

— Жди-жди, — говорит птичка.
— Динь-динь, — говорит речка.
Я молчу.

* * *

осколок берёзы в пашне торчит
или аист ходит
белый люпин цветёт или свет меня сверху видит
я как будто иду полем
но вроде
и расту там среди волчьей ягоды волчьей сыти

волчьей сути во мне осталось на дне
на небе
яблоко распадается двигаясь по наклонной
я человек глиняный
столп с немотой на нёбе
за моей спиной
деревья идут колонной

я человек вечный
я человек привычный
я человек не знающий что желаю
кто там вдали неразличимый и безразличный
белый обломок дерева
птица сторожевая

* * *

Ни бензина, ни завтра, ни слёз,
лишь дороги надтреснутый суржик.
За окном постоянный покос,
поселянка ругается с мужем.

Это жизнь и её полчаса.
Здесь грубы пацанов голоса,
словно травы к исходу июля.
Мчится овода серая пуля.

Я убит, я лежу на спине
и курю в безвозвратное небо.
Я не по, я не до, я не еду —
едет страшное что-то во мне.

Недогород с дорогой вокруг
рассыпается глиной из рук,
распадается вместе со мною
на зевоту, икоту, испуг.
Я убит, я лежу и не ною.

Пар идёт из асфальтных пещер.
На ребре застывает монета.
Ни покоя, ни сна, ни инета,
ни меня, ничего вообще.

* * *

Я забыл, как меня зовут, —
дай мне имя своё, любое.
Человек человеку труд.
Скошена половина поля,
на другой половине
бродят судьба и птица,
печенег и половцы пишат передовицы.

Только плечи расправишь, и
сразу тянет чесать за ухом.
Птица спрашивает — вы чьи?
Мы цыганочка с чибатухой.
В небе дырки от пуль,
в кармане тугая дуля.
Кто идёт? На словах — берёзка, а с виду туя.

Половина поля в огне,
половина в озеленении.
Половина дела во мне,
половина в остервенении.

Я вперёд шагаю берегом топким манным:
хорошо безымянным,
радостно безымянным.

Ярослав Катаев

Рассказы

Каблуки

Все совпадения вымышлены. Герои случайны.

Потом она сказала, и зачем ты взял Кортасара. У него всегда то смерть, то боль. В каждом рассказе, в каждом. Неужели нельзя по-другому, неужели обязательно нужно, чтобы боль? Я посмотрел на обложку и пожал плечами. Регистрация на самолет заканчивалась — и я взял с полки первую попавшуюся книгу.

Потом выяснилось, что рейс на Париж задержали, и теперь мы сидели в стеклянной кабинке и курили. Я летел в Париж, а она — не знаю куда. Она затягивалась, делала глубокий вдох, на секунду задерживала дыхание и порывисто выдыхала. Нет, не выдыхала, она выплевывала. Да, она выплевывала этот дым. Дыма было так много, что я едва видел ее лицо. А почему ты опять стала курить? Я ведь помню, ты бросила. Она не ответила. Только глубоко затанулась, опять задержала дыхание и опять выплюнула. Нет, ну правда, неужели нельзя без боли? А почему ты летишь без мужа? Без мужа? Она опять затанулась, покрутила головой, выплюнула дым...

И неужели нельзя было сделать нормальные комнаты для курения? Это же не комнаты. Это какие-то... шкафы... гробы... как тут сидеть? Да, сказал я. Но раньше и таких не было. Раньше и таких не было, повторила она. И снова затанулась.

Потом мы сидели. Говорили. Она закурила вторую. Потом еще одну. Глаза уже начинали слезиться, и хотелось выйти из этой комнаты, и я ждал, когда, наконец, объявят посадку. Или когда сюда придут люди. Кабинка маленькая, и даже для четверых будет тесно. И мы уйдем. Но, как назло, никто не приходил. И мы сидели вдвоем. Я вслушивался в монотонный, в этот безразличный автоматический женский голос, объявлявший посадки. Но моего рейса все не было и не было.

И я сидел в этой кабине и уже давно не курил.

А она все говорила, говорила. Куда она летела? И почему одна? Она говорила про Кортасара, потом про роды. Да, почему-то про роды. Про детей, про мужей. Я перебирал страницы Кортасара, лежавшего у меня на коленях. И жалел, что вообще

Ярослав Катаев — сценарист. Родился в 1982 году в Санкт-Петербурге. Выпускник СПбГУ. Ныне — директор по стратегическим коммуникациям Креативного агентства ТомсОйер, консультант по продвижению брендов, основатель проекта «Философский сторителлинг» (совместно с А.К.Секацким). Живет в Санкт-Петербурге. Первая публикация автора.

купил его. В этой журнальной лавке книг было мало, и я взял первую попавшуюся. Я понятия не имел и не знал ничего про боль. А она все говорила и говорила.

Пассажирам, вылетающим в Париж, просьба пройти на посадку. Пассажирам, вылетающим в Париж, просьба пройти на посадку. Дым забирался в глаза, и я шурил веки.

Так почему ты летишь без мужа? Он ушел. Ушел? Ушел. Почему? Вы же столько лет вместе. Из-за поста. Из-за чего? Из-за поста. Какого поста? В фэйсбуке. Я написала пост в фэйсбуке. Как можно уйти из-за поста в фэйсбуке? Оказывается, можно. О чем был пост? О родах. О родах? Да, о родах. Муж ушел из-за того, что ты написала про роды? Да.

* * *

В Париже я поселился недалеко от Люксембургского сада. Днем гулял по набережной Сены. Останавливался у странных дорожных указателей, на молочном фоне которых было написано то «Сталинград», то «Аустерлиц». Вечером взял речную прогулку на теплоходе. Третий день подряд по городу метался ветер, вода поднялась и Сена разбухла, как вздувшаяся вена. Я сидел за столиком, столик качался, я пил белое вино и смотрел через чистое ясное стекло за борт. На острове молодого повесы, под Нотр-Дам, студенты сбились в кучку и грели руки над костром. А когда мы проплывали мимо, они выстроились в ряд, повернулись к нам спиной, стянули штаны и показали нам свои голые задницы. До этого я заприметил среди них одну красивую брюнетку в красной куртке-мотоциклетке и теперь искал среди голых задниц — ее. Наверное, левая молодежь так выражает протест против буржуа, прогуливающих на белых теплоходах.

Что бы сказала моя жена, увидев обнаженные задницы студентов? Наверное, она расхохоталась бы. Вот уж чем ее не удивишь, так это голыми женскими задницами. В ее мире fashion задница — что лицо. Модели то одеваются, то раздеваются, меняя ее наряды. А она стоит с ними в одной гримерке. Наверно, она уже давно перестала замечать наготу. Единственное, что для нее важно, это как сидят ее платья на этих телах, которые будут выводить платья на подиум. Да, она расхохоталась бы. А, если бы я стал ей возражать, она бы сказала: лицо, зад — какая разница? И там, и там — плоть, обтянутая кожей. Все остальное — миф. Что лицо, что жопа... Может, она права.

Пожилая немка за соседним столиком брезгливо отвернулась от окна. То же сделал ее муж и стал искать глазами официанта. А я смотрел на ту девушку в красной мотоциклетке. Студенты уже натянули штаны и теперь показывали нам средний палец. Она показывала мне средний палец и корчила рожицу, морща белый носик и высовывая язык.

В кармане лежал Кортасар. Я заказал еще вина и рассеянно листал страницы. Кортасар. Рассказы... рассказы, рассказы, рассказы... и вот, между страниц, какая-то вкладка. Белые листы бумаги, белые чистые листы, сложенные четверо. Я разворачиваю... а там, внутри, чернила, кляксы, черные буквы, что-то зачеркнуто, что-то перечеркнуто, что-то вырезано. Черно-белая рамка фэйсбука, и внутри рамки — текст. Много текста. С заголовком: «Родильное отделение». Это ее. Это и есть ее пост... она зачем-то распечатала его из фэйсбука и вложила мне в книгу... Зачем? когда успела? В тот момент, когда взяла «полистать» на минуту? Там, в курилке, в которой дым и ничего не видно?

Я предлагал ей поехать в Париж. Я знал, что меня ждет несколько дней одиночества. Жена будет готовиться к показу. Точнее, к *парижскому* показу. А я буду

бродить один по городу. И зачем я вообще ей там нужен? Но нет. Я должен приехать. Я должен приехать, и все тут, говорила она в трубку. Может, все-таки передумаешь, и — в Париж? Жена будет готовиться к показу, ей все равно не до меня. Будем гулять. А знаешь, как хорошо курится в Люксембургском саду или на острове молодого повесы? Будем гулять, курить, и ты мне все расскажешь. Хочешь? Еще не поздно поменять билет — перебил я ее. Поздно, конечно, поздно. Ты разве сам не понимаешь? Мы ведь уже на нейтральной полосе. Мы уже пересекли границу... Когда, наконец, объявили мой рейс, глаза щипало от въедавшегося дыма. И пока я шел на посадку, я без конца мигал. И мир то гас, то вспыхивал вновь.

Теперь я читал, а теплоход плыл. Я читал, а теплоход плыл. Я не заметил, как мы оказались у причала. Мальчик-юнга бросил веревку-косичку другому, стоявшему на берегу. Тоже темнокожему, в джинсах и шлепках, без майки. Тот обернул веревку вокруг черной железной катушки, юнга с нашего борта потянул веревку на себя, и мы прижались бортом к резиновым покрывшкам, закрепленным на причальной стенке.

* * *

Ближе к полуночи я стоял где-то в центре красивой толпы. Подошел официант. Месье, сказал он, посмотрел на меня, потом на свой поднос. На подносе лежал хамон, свернутый трубочкой, проколотый зубочисткой с насаженной ягодой винограда. На другом краю подноса стояли бокалы с коньяком. Я потянулся, взял два и выпил. Они смотрели на меня, как на дикаря. Они все были в цветистых штанах, в пестрых пиджаках, в разноцветных очках... мужчины, женщины, молодые, немолодые... они были разноцветные, как набор акварелей, накидки плыли за телами, как павлиньи хвосты. В джинсах, белых кедах, я был словно личинка среди бабочек. Подошла жена. Я же тебя просила, оденься как следует... я же оставила тебе набор... неужели так сложно хотя бы один день, хоть на один день... нет же, у меня показ в Париже, Париже! А ты приходишь, как... как... Как кто? Ну скажи, скажи, как кто? Она помолчала секунду... Как эти... эти... Какие?... Которые на улице... сказала она, наконец, потом отвернулась и ушла куда-то за кулисы...

Я остался один, в центре этой разноцветной толпы... модели выходили на подиум, разворачивались, уходили обратно... не уходили... уплывали... как жар-птицы... расплывались, как узоры на голубиной шее, как пролитый в лужах бензин... я искал официанта... мне нужен был коньяк... любой коньяк... здесь не было любого коньяка... здесь был только один коньяк... контролируемый по происхождению. Из региона Коньяк... Я пил коньяк, единственный доступный коньяк... а жена шла по подиуму, вела за ладони двух жар-птиц. Она шла по подиуму в светлом разноцветном платье, в белых туфлях на высоком каблуке. Я знал, что ей больно ходить на каблуках, но как бы ни было больно, она надевала их. И все хлопали. Ладоши бились друг о друга, как крылья бабочек. А потом жена потерялась в этом пестром ван-гоговском мире, где краски хлещут, как кровь из вскрытых вен...

И вообще, Кортасар — мужчина. Но что вы, мужчины, можете знать о боли? — спросила она, выплевывая дым. Я недавно проснулась. Ночь. Горит торшер. А он сидит на краю кровати, весь бледный, знаешь... как этот дым. Я спрашиваю, что с тобой? А он сидит, держится за живот, знаешь, в белой майке, руки на животе, вот так, скрестил, пальцы в пальцы, и раскачивается туда-сюда, туда-сюда. Живот болит, говорит. Я говорю, может, «скорую»?.. а он лицо так скривил, я посижу пока, просто

посижу... И такой бледный. Я ладонь ко лбу. Да нет. Температуры нет, ни холодный, ни горячий. Но бледный как мел. И только черные волоски, как какие-то паучьи лапки, выглядывают на груди из-под майки. Живот болит... Господи, я чуть не рассмеялась. Живот болит, а сидит так, будто умирает. Так и хотелось сказать ему: ты, главное, говори со мной, говори со мной, слышишь? Живот болит. Интересно, что бы он сказал, если бы у него, как у нас, живот болел каждые двадцать восемь дней? Что бы он сказал, если бы ему приходилось ходить на каблуках? Что бы он сказал, если бы рожать пришлось не мне, а ему? Но ему не рожать. Никому из вас не рожать. Господи, мужчины, что вы знаете о боли?.. Что Кортасар знает о боли? Посадка на рейс до Барселоны окончена.

* * *

Она написала пост в фейсбуке. А на следующий день он ушел. Напоследок снял с пальца кольцо и крутил его, стоя в дверях. Как будто раздумывая, бросить на пол или положить со стуком на трюмо. Бросить было бы слишком театрально, а с учетом двери, которой он собирался хорошенько хлопнуть, это было бы умножение театральности. В итоге он мягко, почти нежно положил кольцо на трюмо, ладонь — на дверную ручку, надавил, скрипнуло, полоса света, хлопнуло, он ушел. Она осталась стоять, прислонившись к стене напротив. Подняла голову, затылок по стенке, глаза в потолок, стараясь ровно дышать, перебирая пуговицы на утреннем махровом халате.

Нет, конечно, она пыталась его удержать. Не уходи, пожалуйста, не уходи... ну из-за чего ты уходишь? из-за поста? из-за какого-то поста в фейсбуке? ну как можно уходить из-за поста в фейсбуке? ну хочешь, я удалю его? Сегодня же удалю, и ты больше никогда его не увидишь...

Да, она пыталась его удержать, но он как будто и не слушал. Рывком стаскивал рубашки с вешалки и бросал в дорожную сумку, открытую настежь. Сумку, с которой они ездили в Японию. Бросал не глядя. Рубашки сбивались в кучу, с заломанными рукавами, цеплявшимися друг за друга, как тела в братской могиле. Она говорила, что удалит пост, закроет ото всех, спрячет под замок, никто не увидит, никто не узнает... он молчал, ухмылялся, отбрасывал ее руку, когда она пыталась к нему прикоснуться... Рубашки сбились в ком, по ткани разбежались морщины. Рубашки, его рубашки, которые он выглаживал и отпаривал каждое воскресенье, чтобы ткань была гладкая, как свежий лед... теперь он бросал их в кучу, и все комкалось и мялось...

Все, я удалила... отовсюду удалила, говорила она, хочешь, проверь, сам проверь. Он молчал. И потом... Удалила? да ты же опубликовала его! его же все уже видели! ты же взяла и опубликовала, ты выставила напоказ всем свое... свое... Он запнулся... и так и не смог выговорить, произнести это простое и почти детское слово «говно». Он запнулся, посмотрел на нее со злостью. Будто этот взгляд и был заменителем слова... был самым этим словом. Как так можно?.. только и смог он добавить. Потом опять молчал и собирал сумку. Как ты могла... как можно быть такой... такой... бесстыжей...

Она стояла, смотрела в потолок. Снова и снова оказываясь там, в этой спальне, где он потрошил шкаф. Каких слов ей не хватило? Что она упустила? Что, в какой момент?.. А потом она пошла к холодильнику, открыла дверцу и запустила туда руки. Она искала мясо. Она руками искала мясо. А потом запихивала его себе в рот.

Опять подошел официант. Опять хамон, свернутый в трубочку. И коньяк. Бокал, нет, два, два коньяка. Дайте мне три коньяка...

Посреди ночи я проснулся. От громкого сердцебиения. Я открыл глаза. Меня тошнит. Меня тошнит и сейчас вырвет. Я побежал в ванную и, упав на колени, обхватил руками унитаза. Потом сидел, прижимаясь спиной к двери. Я звал жену. Но она не приходила. Ее попросту не было в номере. Она до сих пор не вернулась. Я сидел в темноте, и тело мое дрожало.

Она ела мясо. С детства. Они жили бедно. Маленький провинциальный город на окраине империи. Еды было мало, и если появлялось мясо, родители отдавали все ей. Маленькой худой девочке, обтянутой кожей. Родители отдавали ей мясо, подцепив вилками со своих тарелок... пузырился и лопался жир, жирные куски мяса на ее тарелке. Родители смотрели на мясо и сглатывали, потом переводили взгляд на нее и улыбались. Улыбка на их лицах. Кушай, доченька, кушай... и она кушала. Она всаживала нож в это сочащееся жиром мясо, кровоточащее, ошетилившееся мясо, отправляла в рот и, не прожевывая, глотала. Она ненавидела это мясо, она не переносила его вид, его запах. Эти морщинистые, скукоженные, изжаренные куски животных тел. Но родители так нежно смотрели на нее, так улыбались, когда она отправляла вилку за вилкой в рот, их глаза почти слезились радостью — они накормили свою девочку, маленькую худенькую девочку... — что она не могла отказаться. И отправляла кусок за куском в рот и глотала, глотала, глотала... чтобы родителям было радостно. А потом написала этот пост про роды...

Она написала пост про роды. Она лежала в больничной палате. Одна. Ничего не зная, что ей предстоит. Она ждала, что еще чуть-чуть и на свет появится ее ребенок. Начинались схватки. Внутри живота все сжималось и скручивалось до боли, будто деревенская баба брала крепкими руками ее матку и отжимала из нее воды, как мокрое белье после стирки. Она стонала, чтобы сдержать крик, выгибалась, цепляясь пятерней за простыни. А потом деревенская баба отпускала ее перекрученную матку, и она выдыхала. Это повторялось опять, и опять. Она лежала в палате одна. В темной, с перегоревшими лампами, с закрытыми шторами. Она хотела кричать. Но было стыдно, — вдруг кто услышит. Врачей нет, и только лохматая старушка-уборщица забежала один раз и спросила: «Дует?» Она посмотрела на ее руки. Жесткие, костистые, смуглые, державшие серую рваную тряпку. Это были те самые руки, которые скручивали ее матку. И она пришла сюда издеваться над ней. Дует? Да мне жарко! С меня пот течет. Я вся теку. Пот по лбу, по шее, по грудям... сорочка липнет, торчат и просвечивают соски. И дышать нечем, нечем дышать... И потом опять эти руки сжали в кулаки ее матку, и она опять изогнулась вся, закусив губу. А та подошла к кровати и положила ладонь на лоб, грязную грубую ладонь, в которой только что была половая тряпка, она положила ей на лоб, и после этого направилась к двери. Если будет дуть, — ты зови. Пот не струился, он выступал каплями, она вся была как губка, которую выжимали, и ее тело выдавливало пот из всех пор. И хотелось пить. Ей очень хотелось пить...

Хотелось пить. На четвереньках я дополз до холодильника. Там стояли в ряд маленькие бутылочки: коньяк, джин сапфир, вино, еще коньяк и коньяк. Они стояли, маленькие, стеклянные, разноцветные, в блестящих этикетках, будто елочные игрушки. Я сгреб все в кучу, прихватил ладонями и вывалил на ковер. В холодильнике стало свободнее, и тогда я нашел бутылку воды. И пил, и пил, и пил. Потом оделся, накинул плащ, спустился вниз и вышел на улицу. Мне нужен был воздух.

Я шел по набережной Сены. Была ночь. Но людей было много. Они обступили гранит набережной и стояли, прислонясь к камню, и у всех в руках телефоны, и они снимали что-то на камеру. Вдалеке — то ли фейерверк, то ли салют. Дул ветер. Я стал застегиваться, но молния не сходилась. Мешало с внутренней стороны. Я похлопал ладонью. Запустил руку внутрь. Кортасар. Во внутреннем кармане лежала книга Кортасара. Я и забыл. А люди стояли вдоль Сены, впереди за мостом что-то горело, будто закатное солнце, которое все никак не опустится за горизонт. What's hapenning, хотел я спросить. Но горло было забито и получился какой-то хрип. Я прокашлялся. What's hapenning? — спросил я наконец. Женщина в косынке оглянулась на меня и сказала Notre Dam is on fire... Я подошел вплотную к граниту, взгляд перестал упираться в спины, и только теперь я увидел, что горит Нотр-Дам. Оранжевое пекло посреди ночи охватило Собор Парижской Богоматери.

Дети рождаются оранжевыми. Иногда желтыми. Иногда синими. Иногда белыми, как мука. Желтые, синие, белые крохотные тела вымазаны, испачканы кровью. Слизкой, вязкой, перемешанной с плацентой кровью, которая налипает на кожу, как размазанные бордовые сопли. Он хотел перерезать пуповину. Но было тройное обвитие, и врач велел ждать в коридоре. Когда же его позвали, ребенок был уже на руках у медсестры. Маленький сморщенный лягушонок, он целиком уместился на двух ладонях. Ярко горели лампы, и он видел эти разводы крови на крохотном иссиня-желтом теле, потеки вязкой крови липли к этому телу, будто тина морская. И ему стало стыдно. За своего ребенка, что он такой лягушонок, что он такой поросенок, извалявшийся где-то в грязи. Медсестра подошла к раковине, над которой торчал кран, длинная металлическая трубка с загнутым носом. Кран продолжался струей, которая разбивалась о ржавую раковину. Он опять посмотрел на ребенка. Ребенок был ржавый, как эта раковина. Медсестра собиралась поднести ребенка под струю, но он не дал. Я сам, я сам, сказал он и протянул ладони. Медсестра посмотрела на него, хотела было покачать головой, но, увидев его взгляд, все поняла и протянула ребенка. Его ладони были шире, глубже, сильнее женских. Он приспособил его животом на одной ладони, подставил под кран и стал оттирать, смывать эту грязную липкую материнскую кровь, скорее, скорее очистить это тело от грязи. Пока никто не увидел, промыть, завернуть в чистые полотенца, пока никто не увидел, пока никто чужой не зашел в палату. Чистота. Самое важное — чистота. Жизнь должна начинаться и проходить в чистоте. Если вокруг грязь, то и внутри грязь. Если вокруг чистота, то и внутри чистота.

Кто бы мог подумать, что он уйдет от нее из-за поста. Из-за какого-то поста в фейсбуке. Он, такой заботливый, который сам менял постельное белье и продевал одеяло в пододеяльник, чтобы она не мучилась с этим. Кто бы мог подумать, что он бросит ее из-за каких-то слов, написанных в соцсетях. Ради чего? Ради чего? Ради чего она написала об этом? Ради славы? Зачем? Я просто... я просто написала... я ничего не хотела... пожалуйста, останься. Но он не остался... У нее нет стыда. У кого нет стыда, у того ничего не будет...

Я достал книгу из внутреннего кармана и посмотрел на обложку. Хулио Кортасар. Рассказы. В каждом рассказе то боль, то смерть, сказала она в курилке. А потом добавила: Что мужчины знают о боли? Что могут знать о боли существа, которые никогда не рожали?

По дороге неслись пожарные машины. С сиренами, с мигалками, с заготовленными шлангами, из которых вырвется напор воды, из многих шлангов, как огонь из дракона... Струи-ленты. Струи-щупальца. Пожарные машины выстроились вокруг Нотр-Дама. Они поливают собор из брандспойтов, струи впиваются в остов собора, будто щупальца осьминога. Но вода в утробе машин заканчивается, струя гаснет, напор ослабевает. И новые, и новые пожарные расчеты едут тушить Нотр-Дам. Они несутся по набережной, вращают мигалками, расточая и разбрызгивая красно-синий свет. Новенькие, свежепокрашенные пожарные машины везут в своих цистернах тонны воды. Шланги дрожат, вода стремится вырваться из труб, красные грузовики готовы опустошить цистерны, как роженица — отпустить околоплодные воды. Они несутся стремглав, почти наперегонки, тушить пожар в Нотр-Даме, Соборе Парижской Богоматери. Но поздно. Внутри собора, в его утробе, уже все охвачено огнем. Все пылает, горит и жжет. Пожарные машины мчатся по набережной. Но у моста — резко по тормозам. Водитель бьет по тормозам. Затор. На мосту затор. Пустые, с выпотрошенными брюхами, пожарные машины пытаются уехать. Новые машины движутся им навстречу по трем полосам, по встречке. Они упираются друг в друга лбами, машины с опустевшими баками, машины с полными баками, они не могут разъехаться. В новых машинах так много воды. С пеной, несущей чистоту, с пеной, смывающей огонь, смывающей грязь. В их баках, в их трубах так много чистой пены, но они не могут доехать до Нотр-Дама, чтобы потушить, чтобы очистить собор от огня.

Я листаю страницы книги. Там ее пост. Между страниц. Но ночь, темно, и ничего не видно, слов не разобрать. Нотр-Дам. Там светло и много огня. От горящей Богоматери много света, там я смогу прочитать... я бегу по набережной мимо всех этих зевак с камерами, мимо машин, стоящих на аварийке, мимо указателей на Аустерлиц и Сталинград, мимо пожарных машин с включенными сиренами. Через мост, через мост. И, наконец, — собор. Свет. Огонь. Много огня. И можно читать.

Она лежит одна в темной палате. Мокрая, брошенная, испуганная, вся в поту... кто-то скручивает навыворот ее матку, скручивает, будто мокрое белье на пристани... капли стекают, вода льется. Она хочет кричать, но кричать нельзя, кричать стыдно, услышат. Там, за дверью палаты, — услышат... она стонет. Она хочет кричать, но кричать нельзя. Ей больно. Там, по тесным узким родовым каналам пробирается ее ребенок. Ползет, как пехотинец по тесному родовому тоннелю, будто по узкому окопу. Пробирается вперед, расчищая путь. Больно, будто по стволу пистолета проходит пушечное ядро. Ей хочется кричать, но кричать нельзя. Она течет, но течь нельзя. Вода выходит из нее и льется на сорочку. Струится на сорочку, впивается в хлопок, в белый хлопок сорочки... белоснежной сорочки, которую муж покупал ей, гладил, упаковывал в сумку для роддома, аккуратно складывая, чтобы не намять складок. И сейчас эта сорочка пропитается ее водами, пойдет пятнами, пятна останутся, и не выведешь... не отстираешь. Белая-белая сорочка пойдет пятнами... А ядро идет, и давит сильнее и сильнее, и никого рядом нет, и пот, пот течет по лицу и телу... и больно, и хочется кричать, но кричать нельзя... сигарету... пожалуйста, кто-нибудь, принесите сигарету, одну сигарету, прошу, одну... сигарету можно вставить в рот, можно вдохнуть, вместо крика — можно выдыхать дым. Да, вместо крика можно выдыхать дым, можно выплевывать дым... Курить. И она кричит: кури-и-и-и-ть! Принесите сигареты! курить! а ядро пробирается и рвет ее там, изнутри. И она вся в поту, то в жар, то в холод, только и кричит курить! курить! Курить — чтобы забить рот. Курить —

чтобы вместо мяса. Курить, чтобы не кричать. Курить — чтобы дым вместо крика. Забегает старуха-уборщица, руки-палки, руки-ветки. Дует, милая? Дует, хорошая? Курить! — кричит она, распластавшись на койке. Курить! — только и успевает сказать. И в этот момент ее матку опять скручивают, как белье на пристани, она прогибается вверх, потом отпускает, и ядро проходит по ее тонким каналам и падает на белую сорочку. Родила? Родила? — спрашивает она у старухи-уборщицы. И спазмы отпускают... и тугие руки разжимают матку. Родила? — спрашивает она опять у уборщицы. Та смотрит ей между ног.

Дует, милочка... дует так дует... говорит старуха и проводит ладонью по ее лбу, убирая прилипшие волосы с мокрой кожи... Скоро уж, скоро... Стой! стой! куда ты? Она зовет уходящую из палаты старуху... А курить? ты принесешь мне курить? Но старуха уходит, захлопнув дверь. И она остается одна. Одна в палате с перегоревшими лампами и узкой полоской света сквозь слегка разведенные шторы. Ей мокро, ей очень мокро между ног, и нет сигарет... Она опирается на локти, потом на ладони... она задирает сорочку и смотрит между расставленных ног. Там головка ребенка. Сейчас она посмотрит, и там будет головка ребенка. Еще чуть-чуть и она увидит своего ребеночка, своего сыночка... ребеночка, которого они так ждали... маленького, светлого, белоснежного... девять месяцев — и вот, наконец... три года — и вот, наконец... пять лет — и вот, наконец. И она опирается на локти, потом на ладони, она привстает на руках, складывается пополам и смотрит вниз, туда, где между ног, туда, где мокро, туда, откуда должен выйти ребенок... головка ребенка, глазки, щечки... и она смотрит вниз — а там не ребенок... там не сыночек. там не их мальчик. там — все загажено... шарики говна... как шарики фалафеля, теплого, вязкого, от которого струйками поднимается пар... сорочка загажена, все растекается по белоснежному хлопку. она падает на спину... и кричит, кричит, кричит... как новорожденный... кричит, как младенец. кричит, как никогда не кричала...

Почему он ушел от нее? Из-за поста. Из-за какого-то поста.

Он натирал новорожденному спину, его грудь, его маленькие ножки, он вымывал кровь из складок кожи. А складки были — там, выше коленок, кожа собиралась гармошкой. И он прочищал каждую складку, и все время так поворачивался спиной к медсестре, чтобы загородить ребенка от ее взглядов. Чтобы никто не видел его сына в этот момент нечистоты. И он натирал и натирал его тело старательно и до блеска. Как и потом, много лет спустя, уйдя от жены, в отеле, он стоял, склонившись над раковиной, и мыл руки. Тщательно. Палец за пальцем. Складка за складкой. Ладонь, тыльная сторона, ребро. Левая, правая, складки, складки. Тщательно, так тщательно, как давно уже не мыл. Она столько лет отучала его от этой привычки. Она никак не могла понять, откуда в нем эта тяга к чистоте, эта страсть к стерильности, — чтоб до блеска, до блеска. И она отучала его. И почти отучила. Но нет, нет, не отучила. И тер, и тер свои пальцы над раковиной в отеле, пытаясь отмыться. Он еще может отмыться. А она — нет. Она уже — нет. Она опубликовала этот пост: как лежала в родильной палате и из нее сочились фекалии. И теперь все будут знать и, глядя на нее, на них... на их сына, теперь все будут смотреть и видеть эту лужу говна на ее когда-то белой сорочке.

Руки давно были чистые, но он не отходил от раковины и продолжал, чтобы пена и пальцы в пальцы, и складки в складки, и натирал, натирал, как в тот день, когда ушел их отец. И он натирал тряпкой пол. А мать курила в окно и говорила: видишь, а я тебе

говорила, говорила, — говорила мать — она говорила, что говорила, что такой бардак терпеть нельзя. Такую грязь нельзя терпеть, я говорила тебе убирать за собой. А ты не слушал. Только грязь разводил в доме. И вот отец ушел. Ты доволен? А он ползал на корточках, сдерживал слезы, иногда всхлипывая, и натирал этот чертов пол... до блеска, чтобы было до блеска...

Воют сирены пожарных машин... Собор Парижской Богоматери горит.

Она кричит. Ее белоснежная сорочка — вся в пятнах, которых никогда не отмыть. Никогда не отстирать. В пятнах, которые никогда не забыть. Она лежит одна, в темной палате с потрескавшейся краской стен, с потрескавшейся кожей на животе, с разорванным чревом, с ядром, разрывающим ее. Вся в поту, волосы по подушке, пятерней в простыню.

Мне хочется подойти к ней, обнять, провести ладонью по лбу, смыть с нее пот, разрезать сорочку, освободить от этого белоснежного хлопка, от этой смирительной сорочки, скатать сорочку в котомку, в мешок, открыть окно настежь, чтобы был воздух, выбросить это все в окно, снять с нее это все... пусть кричит, пусть лежит голая, с раскинутыми ногами, с оголенным нутром, пусть исходит потом, пусть кричит во все горло, во всю ивановскую, пусть кричит, ревет, мечется, бьет меня по щекам, впивается в руки ниже локтей. пусть мечется голая по койке и исходит шариками по простыне. пусть делает что хочет, но не одна, не одна, не одна... Пусть даже меня увидит жена, там, в ее палате. Пусть увидит. Но что она поймет? Она же ничего не поймет. Она, рожавшая под анестезией в частной французской клинике с кондиционерами и под присмотром пяти врачей. Она, для которой самое важное — это ее наряды, ее подиумы... Что она поймет? Она ничего не поймет, увидев меня стоящим у койки этой кричащей голой женщины. Оставь нас, я хочу остаться с ней...

Воют сирены, и вода вырывается из труб, и парижский Собор Богоматери в огне. И у меня сжимается в животе, и потом в груди, и потом в горле... И ком катится к горлу... и я блюю... у меня нет пакета, приступ, еще приступ, и у меня нет пакета, только книга Кортасара. Я разворачиваю ее, кладу на землю и блюю на страницы... Но приступ, и еще, и еще... страниц не хватает, и меня рвет на брусчатку на площади перед собором. На этот вековой булыжник. Весь этот испанский хапон и французский коньяк превратились в жижу и растеклись по книге и вековому булыжнику перед собором. Я сидел на коленях, упирался ладонями в камни, и меня рвало посреди толпы...

* * *

Зачем она написала этот пост? Она написала этот пост для мужа. Потому что нельзя же так: жить под одной крышей и не знать друг друга. Что он о ней знал? Когда увидел ее тогда, в палате, — белье уже поменяли, из темного преддверия родильного отделения ее перевезли в наполненную светом палату, на нее надели новую голубую сорочку. Ей промокали лоб влажным полотенцем. И лицо казалось свежим. Что он знал о ней? Он знал ее своей светлой чистенькой девочкой. И он не видел всего этого пота и грязи, которые были в ней. А она хотела, чтобы он видел. Она хотела, чтобы он знал. Потому что иначе, иначе... он просто и не знал ее. Раскольников признался Соне, что он убийца. И она написала этот пост, чтобы признаться ему, что и она —

она тоже убийца... Матери рожают нас, маленьких, липких, окровавленных, мы пробираемся, ползем туда, туда, на свет, где воздух, воздух... И вместе с нами, с другой стороны маленькой перегородки, пробираются на свет комья фекалий... и маточные воды отходят, и каловые массы отходят, и женщины, наши матери, расхристанные на койках, бьются в поту, пока мы пробираемся к выходу, туда, где нас ждут отошедшие маточные воды и каловые жижи...

Я сижу на мосту, опираясь спиной о резную решетку. Согнув колени, обхватив их руками. Меня еще колотит после спазмов. Кругом стоят «скорые» и пожарные. Огонь утихает, его заливают пеной. Скоро потушат, пожарные и спасатели войдут внутрь. Потом приедут архитекторы, реставраторы, рабочие... они придут с приставными лестницами, с красками и кистями. Они все почистят, все отскоблят. Снимут копоть с потолков и стен. Покрасят все заново. Восстановят витражи и фрески. И все снова будет блестеть. Блестеть и сиять так, будто и не было этого пожара... Но изнанка стен навсегда будет помнить этот пожар.

Я смотрю назад. Бурлит река, и в свете луны и проблесковых маячков виднеется остров молодого повесы. Теперь там никого. Студенты ушли. И никто не показывает своих бледных оголенных задниц. Сена бежит, вода течет, огибает остров, и два потока снова соединяются в один. Река бежит, то разветвляясь, то соединяясь. Мы строим города на реках. Реки, как рассеченная плоть, берега, как разделенные края кожи... реки-трещины, реки-шрамы. Что Сена, что Нева. Живем на разных берегах, хоть кричи. Не докричишься...

Теперь она не кричит. Теперь она снова курит. Берет сигарету в рот, сидит в дымной кабинке аэропорта, ждет посадки неизвестно куда и курит, и курит, вдыхает и выплевывает дым...

Небо начинает светлеть и по мосту бежит девушка. Неуклюже, будто хромая, высокие каблукы врезаются в трещины мостовой. Но она бежит. В светлом платье в разноцветных красно-голубых пятнах. Будто проблесковые маячки пожарных машин разбрызгивают акварель, и та растекается по платью... Нашла, наконец-тошла. Ну куда ты сбежал, я искала тебя, искала... а ты сидишь тут, непутевый. ну, что случилось? Я смотрю на нее... белое платье, черная тушь, она стоит надо мной, высокая, уверенная в себе, как статуя свободы... Как прошел твой показ? Спрашиваю... Да неважно, неважно, опять ты ушел. ушел. Да, меня вырвало. Я показал ей пятно в нескольких метрах от себя... Она посмотрела. А что там такое? Книга. Книга? тебя вырвало книгой? Нет. меня вырвало. на. книгу. ...ох непутевый... ну что ты у меня такой непутевый?.. Она согнулась, положила ладони на платье, поддержала подол и села рядом со мной на брусчатку. Мы сидели, опираясь спинами о перила моста, и под нами текла река. У тебя случайно нет закурить? Она покачала головой. Мы еще посидели. Бульжник к середине ночи холодный, и холод пробирался под одежду. Пойдем спать, сказала она. Пойдем. Мы встали. Я не помнил, с какой стороны пришел. Не знал, на какой нам берег идти, и осматривался по сторонам. Жена зачем-то пошла к тому месту, где высыхала моя рвота. Она нагнулась, подняла книгу, потрясла ей несколько раз, жижастекала со страниц струйками. Жена вернулась ко мне. Пошли. Зачем ты подняла книгу? оставь... Как оставь? это же твоя книга... Мы спустились с моста, она вытерла ее о траву. Мы шли вдоль реки, дрожь постепенно уходила. Жена несла мою книгу.

Мальчики

По земле ползали муравьи.

Мальчики сидели на корточках и били муравьев прутьями.

— Дави их, дави! — приговаривал старший, в грязных кедах и в синих трико с дыркой на коленке. На вид ему было лет десять. Тонкие руки. Длинная шея.

Трое мальчиков азартно лупили муравьев. Четвертый, в зеленой футболке и со светлыми волосами, лет восьми, сидел с краю и тоже бил палкой. В такт с остальными мальчишками. По муравьям он не попадал, бил по пустой земле. Комары садились на мягкие загорелые детские шеи, набухали и багровели. Мальчики комаров не замечали, они были слишком увлечены.

— Мертвец, мертвец, я нашел мертвеца! — раздался крик. От оврага, мимо детской площадки, к ним бежал рыжий, в веснушках. Одна сандалия расстегнулась, и он бежал, шаркая правой ногой по гальке. — Там мертвец, мертвец.

Прутья зависли в воздухе и мальчики посмотрели на рыжего.

— Вон там, — сказал рыжий и показал рукой.

Ползали муравьи. Старший медленно поднялся.

— Пошли, — сказал он наконец.

Мальчики тоже встали, крепче сжали прутья и двинулись за старшим. Туда, где кончался двор, начиналась грунтовая дорога, а за ней — голубятня и заброшенная церковь у автовокзала.

Остановились у широкого оврага, заросшего травой. Сразу за оврагом стоял дом. Окна были открыты, колыхались занавески на кухне. Внизу, на самом дне, в мокрой траве лицом вниз лежало крупное тело мужчины. Синяя рубашка топорщилась на покато́й спине и вываливалась из джинсов. Ноги были перепутаны, ладонь прикрывала голову.

— Митя, что делать? — спросил чернявый, выглядывая из-за спины старшего.

— Тихо ты.

— Сам ты тихо, делать что?

— Шас...

Они постояли немного, выстроившись в ряд. Кроме рыжего, который остался у Мити за спиной.

— Тихо ты, — повторил Митя, хотя все молчали.

Мальчик со светлыми волосами смотрел вниз, на тело, и почти не мигал.

— Ну-ка, сходи-ка проверь, — сказал ему Митя.

Мальчик посмотрел на Митю и ответил шепотом:

— Зачем?

— Зачем, зачем... сходи и проверь, говорю.

— Зззачем?

— Зачем-зачем... заладил... Что с тебя взять. Хлюпик, ты и есть хлюпик, — и Митя посмотрел на чернявого. — Сходи тогда ты, видишь, хлюпик трусит.

— Может, позовем кого? — ответил чернявый.

— Кого позовем? — Митя обвел мальчиков взглядом. — Вы что, мертвецов боитесь? — мальчики молчали. — Ам! — неожиданно крикнул Митя и резко прыгнул в их сторону, раскрыв ладони и согнув пальцы, будто когти. — Ам! — повторил он, и мальчики шарахнулись от него. — Вы что, мертвецов не видели? Они же не кусаются.

Жужжали комары. Мальчики стояли на месте. И когда над мертвецом зашелестела трава, мальчики нечаянно сделали шаг назад.

— Дайте-ка мне вон ту, — сказал Митя и показал на отломанную ветку, длинную, как удочка.

Хлюпик отошел в сторону, взял ветку, вернулся и протянул ее Мите, щурясь от солнца.

— То-то же, хлюпик. Смотри и учись.

Митя пошел вниз, в овраг. Он ступал медленно, высоко поднимая ноги, трава сгибалась под резиновой подошвой грязных кедов. Жужжали комары, из травы выпрыгивали кузнечики. Митя остановился в трех шагах от мертвеца. Вывернутое колено, зеленое пятно, джинсы в складках.

Митя держал палку двумя руками, как штык. Он думал, в какое место ткнуть. В ногу или в бок? Или ближе к плечу? Решил посередине. Он почти не дышал, колотилось сердце. Он хотел уйти, но там, наверху, стояли мальчишки и пристально следили. Митя обернулся. Так и есть. Стоят в ряд и смотрят. Митя сделал еще полшага, полшага вперед, нагнулся, вытянул локоть, изловчился и ткнул мертвеца в мягкий бок.

Мертвец всхлипнул. Или буркнул. Или икнул. Тонкий резкий звук, Митя точно слышал. Мертвец издал звук и отмахнулся рукой.

От неожиданности и испуга Митя бросил палку и помчался наверх. Наверх, к своим. Он спотыкался, ноги путались, буксовали в скользкой траве. Взираясь по склону, он несколько раз упал, упирался ладонями в землю, не успев встать, начинал сучить ногами, от этого они еще больше буксовали.

Он слышал крик мальчишек, там, наверху, они убегали все дальше. И скоро он останется в этом овраге один, один на один с мертвецом. И что будет — страшно подумать...

Когда он выбрался, мальчишки стояли вдалеке, за качелями. Не оборачиваясь, Митя побежал к ним.

Потом они долго молча стояли. Митя тяжело дышал. Хлюпик смотрел на него, одним глазом выглядывая из-за металлической стойки качелей.

Чуть поодаль ворковали голуби.

— У-у-у-у... м-м-м-м-м... — слышалось из оврага, — у-у-у-у... — Митя перестал дышать, прислушиваясь к звукам. Все мальчишки перестали дышать. Они смотрели в сторону оврага, вот-вот и мертвец выйдет оттуда.

Но оттуда никто не выходил.

— М-м-м-м-м... у-у-у-у... — повторял мертвец.

— Погоди-ка, погоди-ка, — сказал Митя, отдышавшись. — Погоди-ка, погоди-ка...

И он пошел обратно к краю оврага, ускоряя шаг.

— Я, кажется, понял... — прошептал Митя.

«Мертвец» лежал, дергался и что-то мычал. Рукав его рубашки натянулся, и серебристый браслет часов блестел на солнце.

— Да это же пьяный! Это же просто пьяный! — обрадовался Митя и стал смеяться. — Да он же просто водки напился! Слышишь ты, рыжий! Это пьяный!

Мальчики осторожно, недоверчиво шли от качелей к Мите. Вместе с ними шла серая дворняга, иногда приседала и лязгала зубами, выискивая блох.

— Посмотрите, — это просто пьяный. Забуддыга, — повторял Митя, когда остальные подошли к краю оврага.

Хлюпик посмотрел на блестящий браслет и почесал зачем-то плечо.

— Так... вот что... — сказал Митя и подбежал к песочнице. — Орудие к бою, — сказал он, слепил широкими ладонями песочный ком, быстрыми шагами вернулся к краю оврага, замахнулся: — Приготовься, пли! — и выстрелил песочным комом в пьяного забулдыгу. Ком полетел по прямой и разбился недалеко от мертвеца, оставив коричневый след на траве.

— Эй, не отставай, орудие к бою! — кричал Митя.

И все побежали к песочнице, лепили ладошками ком, подбегали к краю оврага и бросали в лежащего. Комья летели, разрывались рядом с телом, слева, справа от головы, разбивались о голову, о спину. Мальчики радовались и при каждом попадании ободрительно поглядывали друг на друга. Потом возвращались назад, пополняли арсенал и снова с разбегу проводили песочную бомбардировку. Хлюпик тоже бросал. Но с каждым разом все дольше потом стоял у оврага, смотрел, как медленно шевелился пьяный. Пьяный сворачивался калачиком, делал странные движения ладонью перед лицом, как будто пытался укрыться одеялом с головой, но одеяла не было. И особенно внимательно смотрел хлюпик на браслет часов.

— А ты чего встал, давай! — кричали ему мальчишки и бросали песчаные ядра.

Броски становились более точные, комья разбивались о голову, ударялись в уши, между лопатками... — Давай, давай эту пьянь! Замочим эту пьянь! Эй, ты куда, хлюпик?

Хлюпик шел вниз. Сначала медленно, пытаясь не споткнуться на спуске. Иногда останавливался. Смотрел. Потом опять шел. Опять останавливался, смотрел. Потом быстрее, быстрее... и наконец бегом. До самого пьяницы. Хлюпик подбежал к нему, сел на колени, опустился ниже, заглянул в лицо... Потом будто сказал что-то... потом положил обе ладони на спину пьяницы и стал раскачивать.

— У-у-у-у... у-у-у-у... — мычал в ответ пьяница.

— Ты чё, того? Ты чё делаешь? — кричал Митя.

— Ты чё? — кричали мальчишки.

— Не стреляйте, не стреляйте, — кричал в ответ хлюпик.

— Еще чего! Орудие к бою! — отвечал Митя.

Мальчики снова бежали к песочнице, набирали комьев и снова бросали их вниз. На подлёте песок разлетался, частицы попадали на губы хлюпика, ударялись о тело пьяницы. Хлопок, хлопок, хлопок.

— Стойте, стойте! — кричал хлюпик, карабкаясь по оврагу вверх, несколько раз нога соскальзывала, он падал, поднимался и опять бежал. — Стойте! — повторил он, поднявшись. — Не стреляйте.

— Это почему это?

Хлюпик опустил глаза.

— Не стреляйте.

— Это почему это?

— Это... потому... это мой папа... — тихо сказал хлюпик.

— Твой папа?

— Да.

— Ха-ха-ха, ха-ха-ха, — засмеялся Митя, от смеха сгибаясь и упираясь ладонями в колени. — Так этот забулдыга — твой папа? — повторил Митя и снова стал смеяться.

И все остальные стали смеяться.

— Он не забулдыга.

— А кто же он, посмотри, — алкаш.

Хлюпик с разбегу врзался в Митю. Оба упали. Потом Митя столкнул хлюпика с себя, вскочил и начал бить. Подошли другие. И тоже стали бить.

Когда они перестали, мальчик встал и, хромая, пошел вниз.

Он подошел к папе и лег ничком рядом, положив свою голову на шершавую щеку отца, закрывая его лицо своей спиной. В них летели комья песка, разбивались о головы, песок разлетался по волосам, застревал в ресницах, колол глаза. От ударов болело между лопаток. Мальчик часто мигал, дышал тяжело и сопел. Отец лежал под ним и тоже дышал горько-кислым дыханием. Сверху доносился смех Мити и голоса мальчишек. Песок попадал в глаза, мальчик часто-часто моргал, песчинки царапались под веками, все темнело, потом вспыхивало вновь, браслет блестел на солнце. Мальчик тер глаза.

— Спи, папа, спи, — говорил мальчик, укрывал его голову и гладил маленькой ладошкой широкую папину спину под грязной мятой рубашкой.

Табурет

Я не знаю, зачем дядя Миша рассказал мне об этом. Да я даже и не знаю, зачем поехал туда. Я ведь не видел его много лет. Помнить, конечно, помнил, отец все-таки, но с тех пор, как он ушел, я его почти и не видел. Я тогда был в деревне, а он бросил нас. Потом поначалу он часто звонил, а потом все реже и реже. И тут вот такое. Надо искать черный костюм, черный галстук. И откуда у дяди Миши мой телефон?

Когда сделали все, что надо было сделать, поехали к дяде Мише. Он сначала ничего, а потом сразу стакан. И залпом. И потом еще один. Как я понял, дружили они сильно. Я хотел уже уходить, но он сказал: Подожди вот, последнее тебе скажу, и пойдешь. Я присел. На плите стоял старый чайник, сейчас уже все электрические, а у него старый, чтобы на плите от огня. А часы висели прямо над окном. Солнце в окно светит, отсвечивает, в глазах бликует, и стрелок не видно. Я еще подумал, зачем часы сюда вешать, не видно же ничего.

Дядя Миша сказал: Понимаешь, ей надо было уйти в спальню. Единственное, что ей надо было сделать, это уйти в спальню. Ты был маленький, в деревне, он говорил с тобой по телефону, а ей надо было уйти в спальню, только и всего. Я не сразу понял, о ком он говорит. Он уже выпил стакан. И потом второй. Говорил отрывками. Останавливаясь, замолкая. Потом спешно, будто пытаюсь нагнать. Я смотрел то на него, то на часы. Времени было не разглядеть, солнце по глазам. Так ярко. Я щурился. Иногда закрывал глаза, светлое пятно прыгало под веками. А он говорил, говорил. Я жмурился, но свет все равно бил, и это яркое солнечное пятно, даже там, в темноте.

Потом я только и смог, что спросить. Откуда вы знаете? Откуда вы все это так подробно знаете? Откуда? Все просто, мне ли не знать. Ведь он в ту ночь ко мне пришел. Весь в крови. Подрался с какой-то шпаной у сфинксов. Вот здесь вот сел, где ты сейчас сидишь, на этот же самый табурет. Да, табурет тот же самый. Вот так и сидел, как и ты. Как же ты на него похож. Одно лицо. Только не избитое. Он сидел и рассказывал, рассказывал как заведенный. Одно и то же. Одно и то же, понимаешь. Говорил, говорил. Я и не останавливал. Выговориться ему надо было, понимаешь. Я-то ж не знал тоже ничего. А когда выговорился. Потом несколько дней слова не проронил.

Когда дядя Миша закончил, я выставил вперед ладонь, закрыл солнце и увидел часы. Было поздно. Я вышел от дяди Миши. Напоследок он крикнул: Эй, табурет куда уташил? Но я уже спускался по лестнице. Ноги шли плохо. Я сел в углу на лестничной клетке и так и сидел на этом табурете. А потом встал на колени и лежал на нем. Уже стемнело, а встать я не мог. Так и сидел, и сидел. Потом только встал. Шел по дороге, луна уже вышла, я крепко держал табурет за ножку.

Ей надо было уйти в спальню, я же по-хорошему ее просил, понимаешь? Но она не уходила. Стояла, руки на груди крестом, и смотрела, как я пью. С улыбочкой своей. Ну и пусть смотрит. На столе лежала открытая книга и степлер, и нож. Балкон был открыт, и слышно, как с гулом проезжают машины, аккуратно по изгибу реки. Я хотел, чтобы она ушла. Не я это начал. Но она не уходила. Подкралась незаметно сзади, пока я разговаривал с сыном. И теперь еще не уходила. Я разговаривал с сыном.

— Послушай, сынок, — говорю. — Я тебе еще раз повторяю, по Пушкина ездить нельзя. Потому что. Молодец, что останавливаешься перед перекрестком, но ты не можешь отвечать за всех. Я все понимаю, но это деревня. Там полно пьяных за рулем, ты понимаешь? У Пети свои родители, и они пусть решают между собой. Но ты мой сын, и я говорю тебе: по Пушкина ездить нельзя. Это центральная улица. Пожалуйста, катайся на Новой, катайся на Волжской, но на Пушкина — нельзя. И бабушке я тоже скажу. А если нет, то приеду в деревню и заберу велосипед, вот и все.

Я думал, она уже спала, но она не спала. Вошла тихо, я не слышал. Умеет она подкрасться. Особенно когда я говорю с сыном.

— Что случилось? — спрашивает.

Я махнул ей рукой. Ничего, мол, иди.

— Что ты мне машешь? Почему кричишь? Ты на Митю кричишь?

Я закрыл трубку ладонью. Я не кричу, иди спать. Нет же, слышу, ты кричишь. Она подходит ко мне и тянется к трубке. Сыночек, папа кричит на тебя? Иди, говорю, спать. Сыночек! Я отохожу к окну, чтоб телефон подальше. А она за мной, не дает поговорить, понимаешь? Я выставляю руку вперед. Она натывается на мою ладонь и кричит в трубку: Сыночек, я сейчас позвоню тебе. Чертовы белые ночи. Вот ей не спится. Смотрю в окно. Ездят машины, одна за одной, одна за одной. Иду в спальню. Воркует. Лежит в постели калачиком, душно, она без майки, колени согнула и воркует. Все-таки позвонила сыну, за моей спиной. Слышу: Но вы же аккуратно, да? По краешку? И Петя с тобой? Не расстраивайся, сыночек, если аккуратно, то, конечно, можно.

В шкафчике на кухне стояла початая бутылка виски. Положи трубку. Я сказал, положи трубку. Она отмахнулась, не посмотрев на меня. Кондиционер гудел, не справляясь с жарой. Из него капало. Кап. Кап. Я подошел к ней. Ладони горячие. Положи трубку, говорю. Я с ним поговорил уже. Что ты поговорил? Он плачет! Поговорил он. Довел ребенка до слез. Не хотелось кричать. Я пошел на кухню. Открыл шкаф и налил виски. И ведь всегда так. Почему она все время вмешивается? Я разговариваю с сыном. Она врывается, и вмешивается, и говорит поперек. Я вышел на балкон. Фонари не горели, но было светло. Потом она опять незаметно подошла сзади.

— Что плохого в том, что ребенок покатается на велосипеде с друзьями?

Я чуть не вздрогнул. Повернулся. Стоит за плечом.

— Почему ты все время вмешиваешься в мои разговоры с сыном? — говорю.

— Что значит «вмешиваюсь»? Я уже почти спала и услышала, как ты кричишь, я испугалась, что что-то случилось.

— Я не кричал.

— Не кричал? Да я из спальни слышала, как ты кричал!

— Из спальни? Тебе бы в акустическую разведку, — говорю.

— В разведку? Ты свои армейские штучки отставь. Ребенка до слез довел, а теперь ёрничаешь. Тебе не стыдно?

Я тихонько отодвинул ее и вышел с балкона. Доставать виски при ней не хотелось, но слышать ее потрезванке было невозможно. Я налил побольше.

— А, опять за стакан. Сына до слез довел, и за стакан?

— Слушай, ты, — я ударил стаканом об стол. — Моего ребенка от меня защищать не надо! Я отец. От врагов будешь ребенка защищать, ясно? А от меня не надо.

— А это уж я сама решу, от кого защищать, а от кого нет, мне приказы не нужны, не в армии.

На диване лежал красный скомканный плед. Она нагнулась за ним и накинула на плечи.

— Они там все катаются. Ты хочешь, чтобы наш один не катался? Чтоб наш ребенок стал изгоем?

— Изгоем? Я сказал ему, катайтесь на Новой, катайтесь на Волжской. Но не на Пушкина! Это главная дорога, она идет через весь поселок, и по ней все носятся!

— Вот именно, это — главная дорога, поэтому их все будут пропускать, они же на главной! И потом, он сказал, что перед перекрестками они тормозят.

— Они тормозят! Они! Но они не одни на дороге, ты понимаешь это? Они тормозят, а те, кто несутся им поперек, — нет!

— У тебя паранойя. Нельзя так. Там стоят знаки, он умный мальчик. А ты орешь на него.

— Стоят знаки, ёпта! На Садовом тоже стоят знаки, и двойная сплошная тоже там! Только это как-то не уберегло того мужика! Знаки, говорит.

— Звонишь перед сном и, вместо того, чтобы читать ему, — орешь!

— О да, конечно! Папа плохой, орет. А мамочка хорошая, жалеет. Папа запрещает ездить на велосипеде, а мамочка тут же разрешает. Какая хорошая мамочка. Только знаешь, мне все равно. Ты можешь эту игру разыгрывать сколько хочешь, пусть ребенок злится на меня. Но только пусть будет в безопасности.

— В безопасности. Заладил. Придумал себе. Ему уже десять лет, между прочим, он уже вправе сам решать!

— «Десять лет»! Вот именно! И все десять лет ты встречаешь в мои разговоры с ним! Ты подрываешь авторитет отца!

— Авторитет отца? А ты считаешь, авторитет завоевывается криком?

Я ударил по столу стаканом. Она отступила.

— Слушай, — говорю, — я понимаю, что ты авторитет завоевываешь шепотом. И, наверно, так и вправду лучше получается. Но, знаешь что, все самые большие подлости — делаются шепотом. И Ева тоже Адаму не криком кричала, а шепотом нашептывала. Как и ты ребенку нашептываешь сейчас против меня. Только, знаешь, когда ему будет пятнадцать и его станут подначивать на наркотики, на мои слова ему будет плевать. Вот тогда... тогда. Пеняй на себя.

— Наркотики? Да я же говорю, у тебя паранойя. Наркотики уже надумал себе. Ребенок хочет покататься на велосипеде с друзьями, а ты про наркотики. Совсем уже крыша поехала.

Я взял бутылку, чтобы налить еще. Назло ей. Она думает, я буду начитаться по углам. Черта с два. Пусть видит. Я взял бутылку, но она оказалась пустая. Я подошел к холодильнику. Там должна была оставаться водка. На дверце висели магниты. Париж, Афины, Стокгольм, Барселона. Какая она была красивая тогда в Барселоне, знаешь! Вышла из душа, вся загорелая. А там, где купальник, кожа белая, как бумага. Да. Подошла ко мне, пахнет морем. Морем и солнцем. И вот тогда все и случилось. Если бы я знал. Если бы знал тогда. Таким, как она, надо на лбу писать: я рожу твоего ребенка и заберу у тебя. Огромными жирными красными буквами. Чтобы все видели. Я открыл холодильник. На дверце бутылки не было. Я посмотрел вглубь. Лежала там,

за коробкой яиц. Ясно, snyкала. Думала, не найду. А я найду. Шиш тебе. Я налил и выпил.

Ей надо было уйти в спальню, я же по-хорошему ей говорил. Но она не уходила. Стояла, руки на груди сложила и смотрела, как я пью. С улыбочкой своей. Ну и пусть смотрит. На столе лежала открытая книга, степлер и нож. Балкон был открыт и слышно, как с гулом проезжают машины аккуратно по изгибу реки. Я хотел, чтобы она ушла. Мы кричали громко, как те соседи, когда мы сюда заехали. Ребенок тогда только родился, а они так кричали друг на друга, стенки тонкие, так кричали, что сын просыпался. И я ходил с ним на руках из угла в угол, он засыпал, но только они начинали кричать, он опять просыпался и плакал. Я стучал шваброй по потолку, на какое-то время они замолкали, а потом кричали опять. Неужели и мы так когда-нибудь будем кричать друг на друга? Что ты, милая. Мы так никогда не будем. И она ложилась ко мне на плечо, и мы засыпали. Запищал холодильник.

— Ты не закрыл холодильник, — сказала она.

Я посмотрел. Незакрытая дверь холодильника. Ну и пусть пищит, думаю, знаешь.

— Я завтра позвоню ему и скажу, что по Пушкина ездить нельзя. И этот вопрос мы больше поднимать не будем, запомнила?

— Что значит «не будем»? Ты со своим домостроем знаешь что? Протрезвей сначала.

— А я тебе сказал, поднимать больше не будем, — я медленно повел ладонью по столу. На столе лежали книга, степлер и нож.

— Ты сначала холодильник закрывать научись, потом командовать будешь.

— Слышишь, что я говорю тебе! Это мой сын. Мой единственный сын. Пусть хоть все дети деревни по ней катаются, хоть всей Тверской, хоть всей России, а он кататься не будет! Не будет и все, ясно?!

— Ты посмотри на себя. Посмотри на свои глаза!

— Замолчи.

— Да ты посмотри на себя. Глаза краснющие, кровью налитые, ты посмотри на себя, в кого ты превращаешься

Черт. Она не замолчит. Похоже, она никогда не замолчит. Я проскользил ладонью чуть дальше по столу. Туда, где лежали книга и нож. Она стояла, кутаясь в красный плед. Такая жара, а она в плед. Как можно в такую жару и в плед? Я встал, протянул руку, сорвал с нее плед, сиськи вздрогнули. Я отвернулся, хлопнул дверью холодильника, магниты посыпались и раскололись о плитку. Я вышел в прихожую, надел кроссовки и ушел. Было светло и пахло сиренью. Я шел вдоль Невы, у сфинксов копошились люди. Надо будет придумать, где теперь жить. И утром позвонить сыну. А пока — к Мише, переждать ночь.

Айя-София

Такси, такси, такси, чемоданы на колесиках, красные и синие паспорта, фуражки, погоны, штампы. Такси, такси, такси, желтые, с черными полосками, такси слетаются к аэропорту, как колорадские жуки к цветку.

Он:

— Is this a bus to Istanbul City?

Она:

— Да, до самого старого города.

Он:

— А, так вы тоже из России?

Она:

— Нет, то есть да.

Он:

— Это как?

Она:

— В смысле, живу в Стамбуле.

— Давно?

— Десять лет.

— Скажите, в автобусе есть вай-фай?

— Нет.

— Жаль.

— Я могу раздать вай-фай, если вам срочно.

Остановка у терминала, шлагбаум поднимается, тронулись, сонные головы лбом к стеклу, можно убрать паспорт.

— Вот. «Айфон Динара», видите?

— Значит Вас зовут Динара?

— Вот пароль.

Реклама Turkish airways на высоте, качает на поворотах, мерцание огней, золотой рог застрял в мраморе моря.

— Так вы тут работаете?

— Работаю и учусь.

— На кого?

— Заканчиваю диссертацию.

— На какую тему?

— Ну, вам это вряд ли интересно.

— Интересно.

— Про Японию.

— Про Японию? Вы востоковед?

— Нет, просто люблю Японию.

— Из-за роботов?

— Из-за Басё.

Водитель выключил свет в салоне.

— Любите Турцию, любите Японию. А как называется диссертация?

Она посмотрела на меня.

— Так как?

— «Тема смерти в японской литературе».

— Смерти?

— Я же говорила, вам неинтересно.

Облака, луна, облака. Качает на поворотах, качает на прямой. Скоро мост через Босфор.

— Нет, вы неправильно поняли, мне нравится тема смерти, особенно в японской литературе.

— Шутите?

— И вовсе нет. Всегда хотел знать, чем харакири отличается от сипукку.

— Сэппуку. И зачем вам это знать?

— А вы знаете?

— Знаю.

— Расскажите?

Плачет ребенок, резко по тормозам на пешеходном, сумка падает с полки, вскакивает мужчина.

— У Мисимы в «Патриотизме» смерть разыгрывается как подвиг, у Мураками — как пантомима.

— Как пантомима? Это как?

— Да, как пантомима. Смотрели экранизацию, фильм «Пылающий»?

— Нет, не смотрел.

— В начале фильма они сидят в кафе, и она показывает ему пантомиму, будто очищает апельсин от кожуры. Вот так. Он удивляется, как у нее так ловко получается. А она говорит, ты не пытайся представить, что апельсин есть. Ты просто забудь, что его нет. А в конце — она сама превращается в пантомиму.

— Как можно превратиться в пантомиму? Я не понимаю.

— Она исчезает, как тот апельсин.

— А-а-а, вот как?

— Да. Но сначала исполняет танец. Танец голода. А он кричит на нее, ругает, что она разделась при всех до пояса. А она смеется и плачет в ответ. Они пили вино перед тем, и теперь она смеется и плачет.

Подъезжаем к Босфору, улицы уплотняются, машины сжимаются.

— Вы бы ругались, если бы ваша девушка разделась до пояса при других?

— Конечно, еще как.

— Вот и он. Потому что он так ничего и не понял. Вы все ничего не понимаете.

— Если кто-то чего-то не понимает, это ведь еще не значит, что он неправ.

— Вы думаете?

— А что было дальше?

— А потом она исчезает. Он ищет ее по всей Гинзе, по всему Токио, по всей Японии. Ее нет, но для него она есть.

— Как апельсин?

— Да.

— Мне кажется, это хороший фильм, хоть и странный.

— Это хороший фильм. Там надо смотреть на знаки. Пантомима — это ведь знак.

— Знак смерти?

— М-м-м-м. Скорее — знак отсутствия. Звонит телефон, но собеседник в трубке молчит. Он приходит кормить кота, но кота никогда не видно. Она просила приходить к ней кормить кота, и он ходит к ней в квартиру оставлять корм для кота, но кот постоянно прячется, и неизвестно, есть ли он вообще или она его придумала; он ложится в ее постель и обнимает ее простыню, но самой ее нет. Знаки рассыпаны по всему фильму. Но люди так редко замечают знаки, а ведь самое главное зашифровано в них. Поэтому люди ничего и не понимают. Она превратилась в пантомиму, в знак отсутствия. Он не пытается представить, что она есть, он просто забыл, что ее нет.

— Отсутствие есть сконцентрированное присутствие...

— Как вы сказали?

— Это не я. Это строчки из Эмили Дикинсон. Вспомнились. Отсутствие — это сконцентрированное присутствие.

— Да, наверно. Это ведь о том, что иногда тот, кого нет, становится еще нужнее, чем если он есть?

— Это очень сложно понять, видимо, да. Но это может сказать только Эмили Дикинсон.

— Если это так, то фильм как раз об этом.

Проехали Босфор, теперь — на самом краю Европы, тележки с каштанами и жареной кукурузой, горы пахлав в витринах лавок, рекламные вывески с точками и черточками над буквами.

— Вот и приехали, Старый город.

— Спасибо за интернет.

— Да вы же так в него и не зашли.

— Да, но как честный человек я обязан угостить вас кофе.

— Нет-нет, я не пью кофе на ночь.

— А чай?

— И чай.

— Тогда, может, прогуляемся?

— А вы надолго в Стамбуле?

— На день.

Она посмотрела на меня.

— На день?

— Да, проездом, точнее, пролетом. Долгий стыковочный рейс. Завтра улечу.

— Как неудобно.

— Нет-нет, специально так взял, очень хотел увидеть Святую Софию.

— Ну, значит, увидите.

— Так что, прогуляемся?

— Уже поздно, а поздно — не лучшее время для прогулок в Стамбуле.

— Почему?

— Много сирийцев теперь на улице, а они такие шумные, не люблю шум.

— Тогда я провожу вас, где вы живете?

— Да нет, я на автобусе, мне еще через мост, на ту сторону.

— Где вы живете?

— У площади Таксим, на той стороне, так что вам совсем не по пути, ведь Айя-София — на этой.

Сонные с утра рыбаки занимают места на Галатском мосту, разматывают удочки, бросают вниз пустые ведра и тянут вверх, зачерпывая воду из Босфора, как из колодца. Облака набросаны на небо, будто краска небрежной кистью — на холст. Усатые люди приплывают с азиатской стороны и с парома бегут в гору, в сторону Галатской башни. На улицах толкучка. Машины гудят, пешеходы не оглядываются на светофоры, водители не оглядываются на пешеходов. Гудки автомобилей, громкие окрики, густой кофе, турка на углях. Люди бегут в столовые. В чистых кафе полупусто, а в столовых очереди усатых людей с подносами ждут своей еды на завтрак.

— А что с Мисимой?

— Что?

— Вы говорили, что у Мураками смерть предстает как пантомима, а у Мисимы — как подвиг.

— Да, я имела в виду повесть «Патриотизм».

— Я «Патриотизм» не читал. Про что там?

— Про харакири.

— Про самоубийство, значит?

— В Японии вообще всё или про смерть, или про самоубийство. Сначала я хотела писать диссертацию по самоубийству.

Я посмотрел на нее. Мы помолчали.

— У Мисимы я читал «Смерть в середине лета». Читали? Там тоже очень хорошо про смерть.

Перешел мост. Километр-два от пристани, вверх на холм, и вот она — Площадь Таксим.

— Вообще-то, по правилам, женщина первой делает себе харакири. Если что, самурай ей поможет довести клинок до конца. А уж потом делает себе. Но в «Патриотизме» он разрешил ей умереть второй, после себя. Это знак особого доверия. Ведь женщина может испугаться, понимаете, ее рука может дрогнуть, когда клинок прикоснется к животу. И тогда она останется в живых. Клинок, знаете, он такой холодный сначала.

— Откуда вы знаете?

— Что?

— Что клинок холодный.

— Да я не знаю, с чего вы решили. Совсем я этого не знаю.

— Вы только что сказали, что холодный.

— Говорю же. Не знаю.

Молчание.

— И что, она испугалась?

— Она вставила в себя клинок.

К Таксим ведут десять улиц. На углу Истиклаль и какого-то переулка ремонтируют фасад, и фасад заставлен лесами. Леса голые, без привычной зеленой сетки. И рабочий, сидя на досках на втором этаже, занимается сваркой. Огненная стружка разлетается во все стороны и падает на волосы прохожих.

«Айя-София, Айя-София?» — спрашивают туристы, плутая. «Гоу даун, гоу даун», — показывают им. Они стекают мне навстречу. Я смотрю на их лица, потом на спины, еще на спины, и поднимаюсь вверх. Вверх, к башне, мимо седого бездомного старика. Старик сидит на ступенях, прислонившись спиной к стене, поджав колени и положив перед собой перевернутую феску, в которую летят монеты. Хватит на лепешку. Опять оглядываюсь на спины и снова иду вверх.

— А вы бы стали танцевать без майки у всех на виду?

Она отвернулась и посмотрела в окно. Автобус качался. Она отражалась в окне, и в стеклах ее очков блестела подсветка Айи-Софии.

Скоро Таксим. Перехожу улицу, на середине дороги ускоряясь до бега, чтобы улизнуть от капота синей машины. Дальше вверх. Запах гари. Еще пять шагов, и в полуподвальной кухне усатый человек в белом халате жарит мясо, дым поднимается через решетку окон и расползается по улице.

Ты сидишь в уличном кафе, ловишь вай-фай, ешь макрель, выловленную с утра в Босфоре, и тут же тебя обступают кошки: белые, серые, рыжие, усатые, — они трутся у твоих ног, они смотрят на тебя мокрыми глазами и гортанно мячуют то рефреном, то хором. Голодные. Отдаешь им рыбу.

- Можно ваш телефон?
- Зачем?
- Ну, хотя бы фэйсбук.
- Зачем?
- Ну, хотя бы... где вы живете?
- У площади Таксим.
- Я найду тебя.

Она исчезает. Он вспоминает ее последний танец. Перед самым их знакомством она вернулась из Африки и рассказывала про танцы местных племен. Люди местных племен танцуют, когда наступает голод. Есть два вида голода — физический и духовный. Когда голод физический, они танцуют вокруг костра и тянут ладони к огню. Но если голод духовный, то руки не к огню, а к небу, вверх, над головой, вверх, как можно выше, выше. Ее нет, но он помнит ее последний танец. Они уехали тогда в деревню и пили вино, и курили, и на закате она стала танцевать. И звала его танцевать с собой. А он не пошел, и она танцевала одна. И руки все выше и выше, над головой, к небу, к небу, и она снимает рубашку, и потом майку, и голая грудь, и этот бесстыжий рядом смотрит на нее, а ее руки — как силуэты птиц на фоне заката. И теперь ее нет, но для него она есть. На самом деле ее нет, но для него есть. И он ищет ее по всему Токио, по всей Японии.

К Таксим ведут десять улиц, сто переулков, тыща домов. Дома ар-нуво, турецкий ампир, османский стиль, коробочные новоделы восьмидесятых. Дороги в гору, дороги с горы, спуски, подъемы, обрывы, пригорки, камень, булыжник, асфальт, песок. Зачем строить столько дорог, Динара?

Если вбить в фэйсбуке «Динара», — появится сто восемнадцать тысяч триста пятьдесят три Динары. Зачем столько Динар, Динара? На экран падают и разбиваются капли, расплываясь на пиксели. Голову вверх, — нет, не дождь, кондиционер, как сито. Мягкие облака плывут по небу, словно сброшенные, скомканные и ненужные платья невесты.

Дома-шкатулки, дома-животы, из подъезда, как из утробы, вылезают люди, миллион людей вылезает на площадь Таксим.

На площади Таксим есть памятник Ататюрку, есть тележки с каштанами и тележки с пахлавой, есть фонтан и новая плитка, есть полицейский БТР и военные с автоматами. На площади Таксим есть ярмарка, и вечером ставят сцену, поют и жарят мясо и заворачивают в лепешку. На площади Таксим строят новую мечеть, и ее скелет проглядывает в темноте, как обглоданная Айя-София. На площади Таксим есть все, кроме тебя. А ты так и не сказала, как тебя зовут.

Два часа, три часа, семь часов. Дорога вниз, вниз, мимо Галатской башни, мимо сувенирных лавок, мимо жареной кукурузы, мимо седого старика и его монет в выцветшей феске. Как тебя зовут, Динара? Динара? Медина? Мона? Я пил свою водку, прикусывая ломтики лимона.

Рыба в Босфоре хватается блесну сырой губой, сотни рыб хватают блесну сырой губой, и лески рыбаков натягиваются, как струны, от края до края Галатского моста, от берега до берега Золотого рога, и сам Галатский мост — как гигантская арфа, и ветер перебирает струны, и струны дрожат, как звуки прощальной мелодии. И я дрожу.

Опять чемодан, такси, паспорта. Ремни снять, ремни надеть. Погоны, печати, штампы, погоны, печати, штампы. Дьюти фри.

- Два виски.
- Ок, мистер. Как вам Стамбул?
- Три виски.
- Как вам Айя-София, мистер?
- Нет, лучше раки.
- Раки?
- С собой.
- Домой, мистер?
- Сколько?
- Сто лир.
- Сто лир.

Туалет, защелка, лампочка над унитазом, глоток, глоток, глоток, и можно танцевать. Закрывать глаза, никто не увидит. Закрывать глаза, никто не увидит. Знаешь, Динара, если бы ты танцевала и сняла при всех майку, и все бы видели твою грудь, — я бы не стал на тебя сердиться. Видишь, я и сам снимаю майку. Вверх, вверх, руки вверх, до самого потолка.

Журавли

В субботу поехали к истоку Волги. После Осташкова дорога стала ровнее. А проехав Новые Ельцы, мы увидели журавлей.

- Дети, смотрите, журавли!
- Дети оторвались от своих телефонов и посмотрели в окно.
- Журавли?
- Да.
- А почему они так медленно летят, папа? — спрашивает младший.
- Медленно?

Я посмотрел в небо. Над полями, над лесами белые птицы летели медленно, будто устало, отставая от облаков.

— Наверно, устали, — говорю. — Может, возвращаются с юга. И после длинного перелета сильно устали.

- С юга? Какого юга? — опять младший.
- Что значит «с какого юга»? С того самого, куда они улетают зимовать, — вечно у младшего найдутся вопросы к мирозданию.

— Ну, пап, что это за юг? Тайланд? Или Греция? Или Африка? Можно конкретней? — это уже старший. Ему нужна точность.

Ну откуда я могу знать? До Тайланда им, наверно, не долететь. До Африки тоже. И действительно, с какого юга они возвращаются? С какого-то юга. С условного юга, где хорошо и тепло, где есть море. Где нет метелей, заносов, нашей вечной питерской слякоти и хмари. Где нет дождей и осенней депрессии. И много солнца, даже зимой.

- С юга — значит, с юга, — отвечаю. — Оттуда, где им хорошо и тепло.
- Но откуда именно с юга, папа?
- Из Греции.
- Из Греции?

— Да, — отвечаю, чтобы отвязаться.

— Из Трои? — уточняет старший с каким-то радостным энтузиазмом. Мы еще не дочитали Илиаду до конца, и они не знают, что Троя разрушена.

— Например, из Трои, — говорю.

— А зачем тогда они прилетают к нам? — опять младший.

— Что значит «зачем они прилетают к нам»? — Поворачиваюсь назад и строго смотрю на младшего.

— Ну, если им в Трое тепло и хорошо, зачем они улетают оттуда?

Господи, и зачем я показал им этих журавлей. Играли бы в свой майнкрафт. Опять на дороге ямка, не успеваю объехать и ударяюсь правым колесом. Надеюсь, не пробил. Что за глупые вопросы? «Зачем они улетают». Откуда я знаю? У них здесь дом. Да и вообще. Все куда-то улетают. Памела улетела от Луи. Такеши улетел из Японии. Зачем? Будто они сами знают. Наверное, думают, что там будет лучше.

Памела улетает во Францию.

Луи провожает ее в аэропорт. Когда ты вернешься? Но она не отвечает. Надо искать стойку регистрации, всматриваться в табло, смотреть на часы. Он плетется за ней с ее чемоданами. Его голова над ее головой. Когда ты вернешься? Но вот уже очередь на регистрацию, надо доставать паспорт, надо найти билеты. Так когда ты вернешься? Но разве в этой сумочке можно что-то найти? Но найти надо, надо предъявить паспорт, взвалить чемоданы на ленту, выбрать место у окошка (перелет долгий). «Так когда ты вернешься?» И только теперь, дойдя до последней черты перед расставанием, она наконец отвечает: «Послушай, Луи, я не вернусь. I won't be back. Ты пойми, там мой сын. Я хочу наладить с его отцом. Они подружились. Сын не хочет от него уезжать. You understand? Я возвращаюсь в семью. И я не вернусь».

Не вернешься? Но как? Он же не любит тебя. Ты же не любишь его. Как ты можешь уехать? Я буду ждать тебя. I will wait for you. Нет, не жди. Не надо меня ждать. Я буду ждать. Пожалуйста, разреши мне ждать тебя. Let me wait for you. Нет, говорю тебе, я не вернусь. Не жди меня. Don't wait for me. А потом красные ленты, рамки металлоискателей, белые перчатки, офицеры в фуражках, штампы в паспорт, объявления о посадках, турникеты, эскалаторы. Она поднимается по эскалатору, он смотрит на нее снизу, стоя у красной черты. Она поднимается по эскалатору, останавливается. Оборачивается. Смотрит на него напоследок. Машет рукой. Он — растерянный, согнутый, руки в карманах. Она машет ему рукой.

— Wave to me! Помаши мне! — говорит ему губами.

Но объявляют посадку, и шум чемоданных колес, и гомон детей, и она улетает. И ничего не слышно.

— Wave to me! Вэйв ту ми! Помаши мне! — кричит она.

Но опять этот женский голос диктора из колонок и плач младенцев, и постукивание каблучков. И он не слышит.

— Wave to me! Вэйв ту ми! Помаши мне! — не сдается она и кричит. И он наконец что-то услышал.

— Wait for you?? Ты сказала ждать тебя? Wait for you??

— Нет! Wave to me! Помаши мне!

— Wait for you? Ждать тебя?

— Да нет же, глупышка, не вэйт, а вэйв!

Но в этом шуме он ничего не слышит, он читает по губам и кричит ей:

— I will! I will! Я буду! Буду! I will wait for you! Я буду ждать тебя! — кричит он и выпрямляется.

Опять объявляют посадку, скоро самолет, и надо идти. До него не докричаться. Все бесполезно. Она махнула рукой, вздохнула, развернулась и потерялась в толпе. Он, счастливый, с улыбкой во все лицо, шагает по аэропорту весело, почти подпрыгивая. Она сказала ждать ее. Ну разве это не счастье? Она сказала — ждать.

Асфальт сменился грунтовой. Сосновый бор справа. Сосновый бор слева. Потом какие-то избушки. Колокольня на пригорке. Парковка на вершине склона. Выходим из машины. Внизу — исток Волги. Спускаемся по траве вниз.

— Папа, ну если не знаешь, где юг, то так и скажи. Не знаешь и не знаешь.

— Я-то не знаю, я?? Это я не знаю?!

Но они уже не слушают. Бегут вниз, к истоку. Siri, куда улетают журавли? «Мне не удалось найти никаких мест». Siri, куда улетают журавли на зимовку, повторяю. Но опять бесполезно. В таком случае, Siri, чем ты лучше меня? Вбиваю вручную. Куда улетают журавли?

Вчера перед сном я смотрел сериал «Луи». Памела улетала в Париж, а я сидел на крыльце и смотрел в ноутбук. А потом закрыл его. Кругом темно хоть глаз коли, не считая пары звезд, которые иногда мелькают из-за облаков. Сажу на крыльце. Смотрю в темноту. Как же здорово все это придумал Луи Си Кей. Какой прекрасный сериал «Луи». И почему я о нем никогда не рассказываю? Каждый раз после лекции меня спрашивают про любимые сериалы, а я не рассказываю. Она кричит ему «wave to me». А ему кажется «wait for me». Мы видим сцену прощания, момент конца, а ему кажется, что это сцена надежды и момент обещания. Она говорит ему: все прошло, ничего не будет. А ему кажется, что все впереди и надо только немного подождать. Все наши разочарования оттого и происходят, что мы не так услышали, не так прочитали, не так поняли. Разве не о том же пишет и Филип Рот в «Возмущении»?

Поднимается ветер. Надеть капюшон. Нет, определенно эта сцена в аэропорту — это не сцена прощания между мужчиной и женщиной, эта сцена — метафора нашей жизни. Мы молодые, красивые, влюбленные, мы шагаем по аэропорту, весь мир открыт. Жизнь кричит нам что-то. Мы плохо разбираем слова, но нам кажется, она кричит нам «Жди меня, wait for me!» Все впереди, все сбудется, все придет. Надо только подождать. Жизнь кричит нам «жди меня», думаем мы, а на самом деле она машет нам на прощание.

Поднимается ветер. Руки убрать в карманы. Открывается дверь. Полоса света на крыльце.

— Папа, так ты будешь нам читать «Илиаду»?

Смотрю на часы. Десять. Точно. Время идти читать «Илиаду».

— Сейчас, сынок. Две минуты, и я приду, подожди.

— Две минуты?

— Да.

— Хорошо. Жду две минуты.

Гектор прощается с Андромахой. У нее на руках их ребенок. Гектор тянет руки к младенцу, хочет взять к себе, приласкать. Но младенец испуган, конский волос на шлеме отца очень страшен. Гектор снимает шлем и к груди приближает младенца. Поцелуй на прощание сыну. Поцелуй на прощание жене. И уходит на битву предводитель

троянцев, божественный Гектор. Мы будем ждать тебя, we will wait for you, говорит Андромаха. Я вернусь, отвечает ей Гектор. Но где-то там, на Олимпе, на собрании богов, Зевс уже бросил жребий. И решена судьба Трои.

— Папа, так Гектор вернется?

«Русско-понтийский путь: журавли с севера и из центральных областей России летят широким фронтом в меридиональном направлении, после чего часть журавлей, перелетев напрямик Чёрное море, остается на зиму в Малой Азии, Сирии, Израиле, Ливане. А другая часть пересекает Средиземное море и достигает Африки». Надо же. Как далеко они улетают. До самой Африки.

Спускаюсь к Волге. Да это и не Волга вовсе. Так, маленький ручеек. Беседка какая-то. А на холме — церковь и купола. Захожу в беседку. В центре — родник. Вот он — исток Волги. Таблички. «Освящено Патриархом Алексием II». Рядом — «Освящено Патриархом Кириллом». А где дети? Выхожу из беседки. В Африку! В Африку они улетают! Смотрю, бегут вдаль. Вдоль реки. Одна нога на правом берегу. Другая — на левом. Не река еще — ручеек. А потом разливается. Становится огромной. И впадает в Каспийское море. Каспийское соединяется с Чёрным. Дальше — через Босфор — со Средиземным. И дальше — Африка. Так же и дети, маленькие пока, тоненькие. Бегут вдоль ручья. А потом вырастут, станут большие. И улетят куда-нибудь далеко, до самой Африки.

Летят журавли. Африканский мальчик смотрит в небо и грустно провожает птиц на север. На какой-то далекий север улетаю его журавли. Он думает: в Испанию. Или во Францию. В Канны. Где показывают кино. И даже представить не может, что эти журавли улетаю сюда, к нам, в ветреную Россию. Он думает — это его журавли. Его африканские журавли, почему-то улетающие на лето на север, о котором он и не слышал никогда, наверно. Стоит там у ручья, кругом пальмы, кругом антилопы. И в африканском небе летят журавли. Дети вырастают и улетаю. А мы остаемся и только гадаем, где они, куда улетели.

Догоняю их у моста.

— А вы знаете, что был такой фильм, «Летят журавли»? И это единственный наш фильм, который получил пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля!

— И что?

— Как что? Значит, он победил! Единственный наш фильм за всю историю, который победил в Каннах!

— А почему тогда ему дали пальмовую ветвь? Разве за победу не дают лавровый венок? — опять младший. Что ты будешь с ним делать. Точно. Вырастет и улетит куда-нибудь в Африку, через все Средиземное море.

— Так и куда они все-таки улетаю, ты обещал сказать, — говорит старший. — Да, куда?

Смотрю на них. Наконец остановились. Не бегут никуда. Смотрят на меня. Пока еще. И я говорю:

— В Сочи. Они улетаю на зимовку в Сочи.

— В Сочи? Это разве юг?

— Ну конечно. Сочи на Чёрном море. Помните, там была зимняя Олимпиада. Они смеются. Что смешного?

— Папа, ты сам понял, что сказал? — и убегают.

И откуда они берут эти вопросы? Вечно ставят меня в тупик.

— Папа, так Гектор вернется?

Темно. Луна из-за туч, дым в дымоходе. Сын затаился и ждет, что отвечу. Андромаха машет рукой на прощание. Она будет ждать, но встречи новой не будет.

— Конечно, вернется, сынок. Он непременно вернется. Разве может не вернуться отец, если дома его ждет маленький сын? — говорю я. И зачем я говорю так? Ведь Гектор не вернется. Они будут ждать. А он не вернется. Он не вернется, и Троя будет разрушена. Зачем же я вру сыну? Зачем мы все время врем детям: что Гектор вернется, что Орфей выведет Эвридику, что добро всегда победит зло. Разве тем самым не становимся мы виноваты, что наши дети, наши повзрослевшие дети ждут от жизни чуда? Как ждал Луи улетевшую навсегда в Париж Памелу, как ждал Такеши зачисления на режиссерский курс, как Андромаха с сыном ждала Гектора? Мы, родители, разве не виноваты, что заставляем детей все время чего-то ждать? Ждать того, что не сбудется. И я говорю, послушай, сынок, я должен сказать тебе что-то. Гектор очень храбрый. И сильный. И он будет сражаться. Будет биться изо всех сил, до последней крови, до конца. Но знаешь что... он не вернется. Не потому, что он слаб. Или трус. Или плохой воин. Нет. Он сильный и смелый воин. Он лучше многих. Знаешь. Пожалуй, он лучше всех. Но он не вернется. Просто, знаешь... Так рассудили боги. Так выпал жребий. Такая досталась судьба. Понимаешь, сынок? Не все в нашей власти. Молчит. Понимаешь, сынок? Молчит. Наклоняюсь к его лицу. Сопит. Глаза закрыты. Спит. Уснул. Совсем стал лохматый за этот месяц. Все барбершопы на карантине. А что, ему идет быть лохматым. Как викинг. Как его любимый Тор из Марвелы.

Возвращаемся к машине наверх. На встречу нам спускается монах. Младший закричал:

— Смотрите, смотрите, журавли! Папа, опять они, те самые журавли! — я посмотрел вверх. Действительно, в небе под облаками летели те самые журавли.

— Это не журавли, мальчик, — сказал монах, поравнявшись с нами.

— Как не журавли? — спросили мы.

— Это не журавли. Это аисты.

— Аисты?

— Да. Аисты.

— Аисты? Вы уверены?

— А как же! Они живут здесь. Вон там ниже по реке — у них гнездовье. Уж сколько лет. Здесь их дом.

Монах пошел дальше к истоку. Я молчал. А дети громко смеялись, показывая на меня пальцем. А когда перестали, старший сказал, ты не расстраивайся, пап, ошибиться каждый может. И похлопал меня по спине.

* * *

На следующий день я бродил по деревенским улицам. Потом возвращался к машине. Машина стояла на самом берегу Волги. Берег крутой. Я уже сел в машину и собрался было уезжать, но увидел, как снизу поднимается дед с удочкой и велосипед перед собой катит. Поравнялся с машиной, остановился, говорит мне что-то. Не слышу. Открываю окно.

— Не клюет, — говорит. — Холодно сегодня, рыба к берегу не подходит. Из Ленинграда? — кивает в мою сторону.

— Да, — отвечаю.

— Я понял, — улыбается беззубой улыбкой. — По номерам понял. У меня ж родственники в Ленинграде. В Купчино живут.

— А мы на Васильевском.

— Как?

— На Васильевском.

— Ой, я плохо слышу, погоди.

Пытается развернуть велосипед и подойти поближе. С багажника падает зеленый резиновый сверток. Подходит.

— Мы на Васильевском, — повторяю.

— А-а-а-а, — услышал наконец. — А мои с Купчино. А, вообще, надо ехать на бейшлот.

— Куда?

— На бейшлот. Там плотина. Должно клевать. Сегодня, вишь, холодно, вода поднялась, не клюет. Вот такого малька поймал только. Но это что, так, курам отдать. А на бейшлоте должна.

— Поедем, значит, — говорю.

— А здесь где живете?

— В доме Полякова. Полякова знаете?

— Кого?

— Гену Полякова, — повторяю. — Жил здесь.

— Гену Полякова? Чего ж не знать. Вот кладбище. Налево он лежит, направо мой сын.

— Сын?

— Как?

— Вы сказали сын?

— Да. Вот здесь Геня лежит, а направо сын.

Помолчали. В велосипед руками вцепился. Крепко держит. А велосипед ржавый. Краска облупилась, и ржавчина. Крепкодержит и на воду смотрит, думаю, сломает сейчас.

— Значит, вы купили дом Гени Полякова?

— Не, Геня Поляков — дед моей жены, — говорю.

— Как? Твой дед?

— Нет, жены моей. Сегодня собираемся на кладбище как раз.

— Сегодня?

— Да.

— Ой, плохо.

— Почему?

— Сейчас там змей много. Сапоги берите.

— Хорошо.

— А если на рыбалку, то в Конаково, знаешь?

— Нет.

— Это как на Осташков ехать, Конаково в той стороне. Клевать хорошо должно.

Помолчали.

— А что с сыном случилось?

— С сыном? Э-э-э... Пить не пил, не. Курить курил, но пить не пил. Сел вот так поутру, и как сидел, так и завалился. Вот так.

Показывает.

— Сердце?

— Тюрьма. Десять лет в тюрьме — не шутка. Тюрьма играет. Сел вот так и завалился. А пить не пил, нет. Ветер, вишь, какой сегодня. И клёва нет. Ты в Конаково едь, я там десять вот таких лещей поймал. И сапоги обязательно бери, а то змеи. Я бы

сам поехал, да старость тоже играет. Ноги болят всё. Чуть вон поднялся, — всё. Семьдесят пять. А Ленинград знаю. По номерам понял. У меня там в Купчино родственники. Ну ладно, пойду я. А на рыбалку съезди.

— Хорошо, всего доброго! Съезжу, — говорю на прощание. Хотя прекрасно знаю, ни на какую рыбалку я не поеду. Некогда мне на рыбалку. Кризис. На следующей неделе сдавать платформу бренда и концепцию рекламной кампании. Не до рыбалки мне, из zoom не вырваться. А дед хороший, думаю. Беззубый и хороший. А сын умер.

И здесь, в деревне, я многих уже таких стариков видел, у кого сын умер. У Анны Палны, у которой мы яйца берем, внук умер. Угорел в бане. У Николаевны, у которой мы молоко берем, сын умер. Делали операцию в райцентре: то ли аппендицит, то ли язва. Вроде все хорошо прошло, но потом взял и умер, прямо в больнице. У соседки внук умер. Потом невестка. Остались они одни с сыном. Сын — сам уже дед — под семьдесят. Дождь идет, он в плащевке какой-то выцветшей, с мужиками столбы под новый забор вбивает. У него сын умер, а он столбы для забора вбивает. Я стою в сених, лестница заваливается вправо. Весь дом старый заваливается вправо. Анна Пална гнется к земле, накладывает яйца в корзину и тоже заваливается. Ты бы на Пасху приехал, таких яиц дала бы, внучок. Но бери хоть этих. Дает. А раньше я на рынок ездила продавать, но сейчас здоровья уж нет, столько кур не выдержу. Вот, что уж есть. Да нам и так хватит, спасибо. Знаешь, что скажу. Только ты никому. И шепотом потом. Ты вот думаешь, на рынке яйца домашние? А они не все домашние. Ты вроде парень хороший, так что знай. Некоторые в «Пятёрочке» покупают, к своим подкладывают и продают, будто домашние. А там домашних только половина. А половина из Пятёрочки. Я так никогда не делала. Это ж как так делать! У меня все домашнее, но здоровья уже нет столько кур держать. Поэтому на рынок нечего возить уж. А вот на Пасху зря не пришел, дала бы тебе яичек. Смертию смерть поправ. Столько яиц было, а угощать некого. В следующем году обязательно приезжай, поберегу. Спасибо.

Теперь вот ель. За ней Волга. Синие «Жигули» вдалеке и два тихих рыбака на прошлогодней траве. И птицы над водой, не знаю названий. Такая деревня наша. Дети умирают, внуки умирают. Старики остаются. Дают яичек. Ставят забор. Рубят дрова. Доят последних оставшихся коров. Рыбу ловят. Рыбу...

Смотрю в окно. А сверток-то резиновый так и лежит. Забыл дед. Выхожу из машины. Беру сверток, бегу за ним по грунтовке, камни под ногами. Забыли! Вот, забыли! Оборачивается. А, плащ? Уронил, что ли? Да, у машины. А-а-а, говорю же, старость играет. Берет, складывает. Прощаемся, уходит. Руль вывернул. Велосипед хоть и ржавый, а едет ладно и не скрипит нигде.

— А еще дети-то есть? — спрашиваю тихо.

— Как?

— Дети еще есть? — почти кричу.

— Дети? Дети-то есть. А как же ж.

Он растопыривает ладонь, показывает мне пять пальцев.

— Пять.

— Пять?

— Пять! — говорит и улыбается через плечо. Улыбается широко-широко. Возвращаюсь к машине и не сажусь. Смотрю на воду. Река бежит. Отражения в воде. Птицы. Как их звать-то? Журавли? Аисты? Дед-то уж точно знает. Пять. Как он улыбнулся. Широко-широко. Так широко, что я вижу — он только спереди беззубый, а коренные-то все — на месте. Может, и правда, думаю, съездить все-таки на рыбалку? Взять детей — и на рыбалку.

Александр Кан

Костюмер

Рассказ

1

Трудно было понять, почему отец вдруг начинал изображать из себя поезд, точнее, становился поездом по несколько раз на день, когда отрывался от нее, — выходил из комнаты и двигался по коридору, — мелкими шажками, издавал протяжные гудки, должно быть, отправления, расталкивал локтями пространство, в конце коридора разворачивался и двигался обратно, без остановки, строго по определенному маршруту, — быть может, иначе и быть не могло, мучительно размышлял Кан, раз всю свою жизнь старик провел в поездах, в поисках неверной жены, его матери; кто-то когда-нибудь становится чем-то, тогда — по странной логике вещей — Кан когда-нибудь должен будет стать одеждой, раз работает он костюмером в театре, чьей-то одеждой — чьей? — никто, да и сам костюмер, не смог бы на это ответить. Но перед тем, как стать поездом, отец был просто-напросто... рогоносцем, да-да, так писалось в этих проклятых телеграммах: э-э-й, рогоносец! мы здесь с твоей верной, — там-то и там-то, — шлет тебе пламенный поцелуй... — отец свирепел, рвал в клочья эти листочки, бежал к шкафу, выбрасывал из него ее одежду, разрывал и разбрасывал по комнатам, на следующий день собирался в дорогу по указанному в телеграмме адресу.

На самом деле никто и не знал, сколько их было, ее любовников, — целая армия или один, безумный, безумно посылавший свои безумные телеграммы. Быть может, и не было на самом деле таких адресов, а отец, возвращаясь, ничего не говорил, только опускался от усталости на колени, и Кан мог подойти к нему, обнять, прижать к себе так, что казалось, они вместе, по-настоящему вместе, что он, его сын, объял его собой, не оставив ни зазора, ни трещинки между их телами, хотя, вероятно, должно было быть наоборот, — он на коленях, а отец одевает его собой. Но черед его так и не наступил, ибо когда отец все-таки привел ее в дом, эту седую мумию, точнее, приволок, сама двигаться она уже не могла, о Господи! — только и вырвалось из груди костюмера, — папа, это она? — когда он приволок ее в дом, то тут же вцепился в нее, переполняемый то ли счастьем, то ли безумием, обнял ее и больше, кажется, объятий своих не раскрывал.

Александр Кан родился в 1960 году в Пхеньяне (КНДР). Окончил Республиканскую физико-математическую школу в Алма-Ате, Московский институт электронной техники и Литературный институт им.А.М.Горького. Автор многих книг прозы, в числе которых «Век Семьи», «Сны нерождённых», «Невидимый Остров», «Книга Белого Дня», «Родина» и др. Победитель международных литературных конкурсов в Москве, Берлине, Сеуле, Анн-Арборе, Беркли. Живет в Алматы (Казахстан).

Отец тут же забыл обо всем: о сыне, об их ожидании, о телеграммах, преследовавших на протяжении многих лет; ему же, Кану, только и оставалось, что подглядывать за стариками в щелочку, — странно, они не раз говаривали друг с другом, впрочем, о чем им было говорить? — головы их неколебимо покоились друг у друга на плечах. Более того, они даже не глядели друг другу в глаза, словно боялись какой-то страшной одной им известной тайны, которая могла вспыхнуть под их взглядами, — выжечь их глаза безудержным и яростным огнем. Потом — этот поезд, старик-поезд, понятно, старику нужно было куда-то выходить, не все же время сидеть в своей комнате, но лучше рядом, недалеко от комнаты, чтобы не дай Бог она куда не сбежала, хотя куда она могла сбежать? Кан частенько поджидал его в сумерках, прижимаясь к стене: отец, ты... — обращался он к нему, — отец, ты уверен... ту-ту! — сигналил ему отец, — то ли ему, то ли кому-то невидимому в сумерках, — отец, ты уверен, что это она? — шептал в темноте Кан и пугался своего вопроса, — тух-тух-тух, — бубнил отец, проезжая мимо: случайных остановок на его пути не предвиделось.

А потом посреди воцарившегося было в их доме покоя раздался стук в дверь: тук-тук-тук, Кан не успел подойти, — о, почему он не успел подойти?! — отец стоял уже двери и сжимал трясущимися руками какую-то бумажку. Казалось, он не сжимал ее, а откидывал, отбрасывал, а она, эта бумажка, никак не отлеплялась от его рук. Что это? — подошел к нему вплотную костюмер, дай-ка сюда, — отец, казалось, с радостью, перебрал в чужие руки, — получилось... — Кан развернул и согнулся от неожиданной тяжести. Папа, это недоразумение, — только и смог прошептать он, это не нам, это кому-то другому, по другому адресу, это, быть может, не вовремя, точнее, здесь что-то со временем, если уж не с адресом, то со временем, это из-за почты, там всю жизнь все путают, могут, к примеру, прошлогоднее отправить сегодня, а то, что будет через несколько лет, отправить вчера, я обязательно разберусь с ними, форменное безобразие, вообще в каком времени они живут? где они только берут такое? — может, сидят три бездельника, со скуки один сочиняет, другой пишет, третий отсылает по любому адресу, — почтовая рулетка называется, Господи, папа, я обязательно разберусь...

Пока Кан все это говорил, отец медленно опустился на колени, — как раньше, от усталости, Кан за ним, тоже медленно, прислонился холодным лбом ко лбу отца, — замерли, вот-таки наступил и его черед, — на коленях, правда, не так, как ему мечталось, — значит, должен быть кто-то третий, больше и сильнее, чем они, кто бы мог их укрыть или, по крайней мере, развести, но никак не оставлять в таких беспомощных позах. И этот третий не замедлил появиться, точнее, нечто третье, — то ли небо, то ли потолок, то ли ураган, буквально сметавший их с пути; как только открывалась дверь и входил почтальон с очередной бумажкой; на почте открещивались, смотрели на Кана как на идиота, вы не почта, вы — мучители, — бормотал Кан со слезами на глазах, с трясущимися руками, из которых выпрыгивали белые бумажки, — зачем вы так издеваетесь над ним? Потом его просто выводили из отделения, обыкновенно женщина, ласковая, теплая, с толстой сумкой на ремне, полной новых посланий людям, — ничего, все образуется, может, в самом деле хулиганье, а может, в том, другом отделении затерялась почта, потом кто-то нашел, испугался, стал поспешно высылать случайно на ваш адрес, — бывает и такое.

Да, в самом деле, приободрялся костюмер, я же говорил, здесь что-то со временем, — пулей домой: отец, я же говорил, здесь что-то со временем, отец кивал головой, значит, слышал, двигался дальше согласно маршруту, вдоль по коридору, со своими мыслями, со своим временем, увы, не совпадавшим со временем костюмера. Это Кан понял, когда заглянул в его комнату: теперь отец не сжимал ее в своих объятиях, он медленно и осторожно оглядывал ее со всех сторон, благо, та совсем его,

казалось, не замечала, — сначала лицо, руки, плечи, потом отойдет и посмотрит со стороны, потом приблизится... а вот этого, конечно, делать было никак нельзя, — водить рукой перед ее глазами, ведь не больная она была, а он не врач-невропатолог. Теперь уже Кан точно знал, что у отца есть свой план проверки, ибо после каждого своего прохода по коридору он по-хозяйски входил в комнату и деловито потирал руки, как хирург перед операцией, потом дверь плотно притворялась и — наступала полная тишина.

2

Главное, чтобы отец вконец не отчаялся, — мучительно размышлял Кан, отсиживаясь в своей костюмерной, не махнул бы рукой на все их годы томительного ожидания и не бросился бы вновь искать ту, что ушла от них много лет тому назад. Что за дурь ты несешь, успокаивал сам себя костюмер, отец уже в преклонном возрасте, правда, ни здоровья, ни упорства ему было не занимать, если что и отняли у него годы, так это память, вместо памяти — черная дыра, в которой, собственно, и мог исчезнуть отец в поисках какой-то другой женщины, тогда бы Кан мог сколько угодно кричать вслед ему, в эту дыру, мол, что же делать мне с этой наличной женщиной, что ждет тебя в соседней комнате, что же делать мне с той, которую ты приведешь, и кто даст мне гарантию в том, что после всего этого опять не посыплются на наши бедные головы эти проклятые телеграммы?!

Костюмер, ты что это делаешь? — выуживал его из той черной дыры властный голос завпоста, Кан словно просыпался, хотя спать он никак не мог, — сейчас вспомню, что же я делаю? — да, он стоял и рассматривал платье, которое ему принесли, все в дырах, изъеденное молью, — восстановить! — будет сделано, костюмер радостно переключался на работу, ведь если что и было у него, так это работа, — да, именно она, но никак не его дом с двумя стариками, судорожно сжимавшими друг друга в объятиях: кто кого? В самом деле, кто кого? — он это платье или платье его, — строчка за строчкой, Кан был отличным костюмером, работу выполнял свою аккуратно, когда примерял на себя костюм, получалось, кто в кого, — да-да, в сущности, люди только и делали, что раздевались и одевались друг в друга, это Кан стал понимать давно, — с тех пор, как отец привел в дом эту седую женщину, одел ее собой, и все было бы хорошо, если бы не эти проклятые телеграммы. Правда, платья тоже доставляли ему огорчение, точнее, не платья, а актеры, в них выступавшие; бывало и такое: после премьеры — банкет, что ему стоило? — актеру такому-то, прямо в машину, в царских одеждах, по городу, в ресторан: я не такой-то, я — царь Эдип, о-ох, — всеобщее восхищение, Эдип так Эдип, Эдипу шампанского, пей до дна, Эдип, но где же твоя Иокаста? На следующий день, а то и позже, по факту возвращения платья, актеру объявляли выговор, Кан был строг и неумолим, хотя втайне жалел нарушителей, в самом деле, кто они были в жизни, а тут все как один пророки Тиресии. Рассматривая платье, Кан приходил в ужас, обыкновенно такие вояжи до добра не доводили, — нитку с иголкой, лоскутки, если не успевал, брал работу на дом, — в одну из таких бессонных ночей сидел над костюмом, кажется, тогда уже это началось, ночные гудки в коридоре, по утрам телеграммы, — до него вдруг дошло: в сущности, они только и делали с отцом, что всю свою жизнь шили какое-то странное платье, которое должно было подойти к той одной, желанной, единственной, неповторимой, сидевшей за стенкой, теперь оказалось, не та, но — тогда ответьте! — кто вообще тот, а кто не тот? — и если бы он хотел по-настоящему иметь ту, а не ту, то ему нельзя было отпускать ее с самого начала, может, на секунду-две, но не на столько лет, как не

отпускал он, костюмер, свои платья, тут же в погоню за нарушителем, шаг за шагом, строчка за строчкой, — тихая покойная ночь.

Но это невозможно было объяснить отцу, даже когда Кан подждал его в коридоре в сумерках, когда вдруг накатывало и подступал к горлу комок, и на глазах навертывались слезы: о, если бы ты знал, отец, что все это бессмысленно, что можешь ты найти вторую-третью-четвертую, заполнить ими дом, заполнить ими целый мир, — он преграждал ему путь, слышал, как тихо буксует у его груди, чуть ли не плача, этот усталый поезд, — но никогда не найдешь ты ее, ту одну-единственную, ибо и ты, в конце концов, тот-и-не-тот и тем более не поезд, извини, отец, и даже не костюмер, не платье, — я даже не знаю, кто...

Да вот, конечно, была у него работа, работа спа-са-ла, работы всегда было невпроворот, вот и теперь, как только он вышел из костюмерной, к нему помощник и швея: сс-слушай, Костюмер, безобразие, — у той, что в «Идиоте», платье не ночует неделями, минуточку, чье? — да мы знать ее и не знаем, пригласили из другого театра, на главную роль, они-с, видите ли, переживают успех, — ехидно вставил помощник, тут швея, — ее успех нам боком, это просто ужас! — я разглядывала вблизи, когда зашла к ней в гримерную, зашла как бы поприветствовать, спросить, что ей нужно и как там у них, в столице, наклонилась к ней, как бы воротничок поправить, а сама в платье, платье вперилась, ужас! — там ни одного живого места нет, и как это можно в таком виде на сцену, видно, она в нем и спит, и ест, и так далее, смиловился главный, разрешил в гримерной жить, пока жилье не подыщут, пусть бы тогда и пару платьев прикупил, одно название — столица, собирают всякую рвань! Хмыкнул костюмер, в самом деле безобразие! где ее гримерная? — шттаам! — прошипели помощник и швея и — тикать, жалкие беспомощные люди. Кан протопал по коридору, — шаги командора — прямо к двери, занес руку, на мгновение замер, — с женщинами всегда все было по-другому, женщины или не уносили платье совсем, или срастались с ним всем своим существом, тук-тук-тук — можно войти? — вошел, кругом полумрак, контуры, блеск волос, простите, растерялся костюмер, — ввы за Настасью Филипповну?... так, я за костюмера, точнее, я и есть костюмер, я, собственно, по поводу вашего платья, которое... знаете ли, поступают жалобы, платье должно находиться в костюмерной, выпалил он и вспотел, — да-да, это все поклонники, уносят меня прямо на руках, в вашем городе дикие люди... а не боитесь ли вы, — произнес вдруг костюмер и почему-то очень захотел зажечь свет, чтобы не разговаривать в темноте с темнотой, — не боитесь ли вы, что среди этих диких людей найдутся когда-нибудь рогожины, — шутка!

— Господи, — вдруг простонала она, — не трогайте выключатель, свет режет глаза, всем чего-то от меня надо: вам вот одежду, поклонникам моим одежда как раз и не нужна, так что я думаю, вы меня мирно поделите — бух! — платье ему прямо в лицо, вот тебе на, какое непочтение... в следующий раз, повернулся костюмер к двери, я к вам не приду, приходите сами, это не входит в мои обязанности... — и тут же выскочил из гримерной, хотя слышал, как что-то она ему говорила вслед, требовала, умоляла, быть может, просила его о том, чтобы сделал он для нее исключение, женщины есть женщины, — стал бы, к примеру, ее персональным костюмером...

Странный был разговор, разговор в темноте, он и лица ее не разглядел, призрак да и только, спектакль этот, честно говоря, он совсем не любил, может, потому что актрисы на главную роль менялись постоянно, ему же хлопоты — ушивать, раскраивать, удлинять, и всё капризы-капризы, у всех поклонники, вот другое дело — Савельич, на роль идиота, постоянный партнер, крепенький такой, основательный мужичок без поклонников и поклонниц, — дача, жена, машина, — странное дело, чья это идея

была? — выдать его за идиота, ну и ладно, идиот так идиот, что нам смертным, зато платье Савельича всегда в аккурат, всегда приходило вовремя.

Когда Кан расправил ее платье, ничего странного он не обнаружил, ну два-три шва распоролось, у кого не бывает, это швея ему что-то наговорила из непонятной мужчинам женской ненависти. Кан — за работу, нитка с иголкой, тут надо вручную, строчка за строчкой, странное дело, — швы расходились на глазах, он и так, и эдак, извне и изнутри, бесполезно, — Кан забеспокоился, никогда у него такого не было, может, платье помнит ее тело, может, тело помнит свое платье, — может... он как бы забылся, опять увидел черную дыру, в которую мог провалиться отец, — может, отец помнит мать и ему на самом деле виднее, кто есть кто, она ли это или не она? Да, он очнулся, — видимо, платье скучало по ее телу, нитка скучала по иголке, иголка по нитке, а эта дыра, которую он никак не мог зашить, — эта чертова дыра, направлявшая на него свой черный-черный зрачок, скучала по нему. Он наклонился и стал быстро набирать стежки, тут же их стягивать, сжимать шов так, что пальцы его деревенели, но — не успевал, словно это странное платье стремительно наполнялось каким-то безудержно растущим телом. Он зажмурился и изможденно откинулся на спинку стула, и, заслышав чей-то голос, открыл глаза.

«Бесполезно. Я уже пробовала», — актриса нетерпеливо ходила по комнате, прикладывая к себе платье, и, проходя мимо, все заглядывала в него, костюмера, как в зеркало.

3

Все-таки она добилась своего: уговорила заносить ей по ночам платье, — самое удобное для нее время, — в самую ночь, когда все оставляют ее в покое, — в примерную, где она и в самом деле жила, а жить было больше нигде, если уж не в ночь, то — когда вам будет угодно? — днем, утром, непонятно, почему он сразу же согласился с ней, может, потому что не хотел, чтобы она оставалась чуть дольше с ним, не глядела так пристально в его глаза, в которых был тот самый испуг и те два старика, заключавшие, как два борца на ковре, друг друга в объятия. Уговорила и исчезла — цок-цок-цок, — только и остались что шаги ее, — что ж еще? — вверх по лестнице, ведущей в никуда, по коридорам, в примерную, хотите, на сцену, хотите, на выход, на вольную волю, в царство ночных праздников-горячих поклонников-бредовых словес, — цок-цок-цок, куда вы ведете меня, чужие шаги? — в темную ночь, туда, где люди остаются, наконец, друг с другом наедине, в кривых коридорах и маленьких комнатках, на общих постелях и в тесных кабинках лифтов, — где смыкают свои объятия — гонг, — пыхтя и сопя, мучая друг друга, а если нет друга, то пустоту, — гонг, — застыть, замереть и дожить до утра, — ууух! — распасться, расстаться, не видеть, не надевать, все в шаги, — во что же еще? — удаляющие тебя от твоего соперника, вверх-вниз по лестнице, ведущей в никуда, цок-цок-цок, — куда вы ведете меня, чужие шаги? — куда же еще?

Кан и не помнил, как решился зайти к ней — к женщине? ночью? — да вот платье, она сама просила, ибо по вечерам не владела собой, странная просьба, странные ночи, он и сам-то уже несколько дней и ночей жил среди своих костюмов, днем, в перерывах, забегал домой, но там творилось то же самое, если не хуже, — отец был предельно подозрителен, подолгу не узнавал сына, не пускал его в дом, путал с почтальоном, визжал и брызгал слюной: где твоя сумка, сволочь и негодяй, где держишь ты свои грязные пасквили? как смеешь сюда входить?? Кан проскакивал дальше, мельком заглядывал в комнату, мать-не-мать сидела лицом к окну, — быть может, оправдывались опасения отца, всегда говорившего, что там, за окном, ничего нет и быть не должно,

а она все равно глядела, в самом деле, что ей были его слова? — в таком случае, мужа-не-мужа, слова-не-слова, путавшего все и вся с почтальоном, что ей, в сущности, было это окно, которого на самом деле, может быть, и не было?

Потом обратно в театр, что делать, приходилось ночевать, театр был театром, костюмы — костюмами, а он — костюмером, может, в одну из таких ночей он и поднялся наверх с выглаженным платьем наперевес, приблизился к шелке двери, из которой падал слабый свет, вошел и, затаив дыхание, медленно опустился в кресло.

Первое, что хотелось сделать ему, это уйти, нет, не уйти, — зачем ты лжешь себе, Костюмер? — хотелось укрыть ее, нагую, одеялом и после этого уйти, в сущности, этим он и занимался всю свою жизнь, — укрывал и уходил. Кан поднялся наконец со стула, чувствуя свинцовую тяжесть в ногах, приблизился к ней и замер над ее постелью. О, если бы знал он заранее, если бы она его предупредила, — опять ты лжешь себе, Костюмер! — никто никогда никого не предупреждает, но все-таки, если бы она его предупредила, то он вошел бы сюда совсем по-другому — на цыпочках, обвел бы невидящими глазами комнату и громко объявил: «Платье подано», — платье подано, Костюмер, очнись и выполняй свои обязанности, возмись за одеяло и плавным движением вверх, до самого ее подбородка, зажмурившись и помня о том, что это ночь, внеурочное обманчивое время, приблизившее к твоим глазам чужую наготу, которую непозволительно было ни видеть, ни являть никому, ибо все люди в этом мире должны были во что-то быть одеты. Костюмер двинулся, и тут же произошло что-то невообразимое: раз-два-три, одеяло с силой оттолкнуло его, пронзительный крик, Кан поскользнулся и упал на пол.

Когда он приподнял голову, он увидел ее, натянувшую до подбородка на себя одеяло; подобрав колени, она с ужасом глядела на него: взгляд ее на мгновение замер, затем потеплел, «Ох, как вы меня напугали... Вставайте же».

Кан поднялся, присел на краешек стула, напротив нее, готовый в любой момент встать и уйти: странно было думать об этом, но дело его было сделано.

— Я хотел укрыть вас. Холодно, — вдруг произнес он, словно о чем-то вспоминая.

— То ли ночной кошмар, то ли рефлекс, — задумчиво произнесла она и стала искать сигареты. — Спросите, на кого?

— На кого? — поспешно повторил костюмер.

— На всех, — не сразу ответила она, — хм, я интересна всем только до и немножко после раздевания. Что со мной совсем после, уже никому...

Я, наверное, пойду, — привстал костюмер, чувствуя, что все, что происходило сейчас с ним, выходит за пределы его служебных обязанностей.

— Нет уж, — вдруг отрезала она. — Раз разбудили, так до конца. Или вы тоже с ограниченным интересом?

— Не понимаю, — еле слышно произнес он, покорно опускаясь в кресло.

— А вы почему не дома? Не остаетесь же вы здесь только ради меня, — заерзала она на месте, казалось, хотела встать, пройти по комнате, быть может, опять заглянуть в него, как в зеркало, но что-то ей еще мешало.

— Дома беспорядок, — произнес костюмер, не зная, что и ответить, и взглянул в окно, вдруг представляя себе отца, который совершал сейчас свой очередной обход-объезд, посылая свои сигналы прибытия и отправления — бескрайней ночи, темному небу за окном, задышавшимся звездочкам в ночном сумраке.

Уууу, — донеслось вдруг до него украденным эхом.

— Вам не страшно, — задумчиво произнесла она, глядя вслед за ним в ночное окно, — что именно сейчас в вашем доме происходит, может быть, что-то очень важное, что не в силах вы уже изменить или остановить?

— Страшно, — прошептал костюмер и вдруг почувствовал какую-то легкость в их странном ночном общении.

— А мне уже нет, — она поднялась, наконец, и, закутавшись в одеяло, стала прохаживаться по комнате, — шлепала босыми ногами по полу, и костюмер как-то завороченно следил за этими белыми пятнышками, перескакивавшими с места на место, — все, что оставалось от нее в этой темноте. — А когда-то было страшно, когда только начинала выступать на сцене, когда был дом, когда была мама...

— Мама? — удивленно переспросил костюмер.

— Да, мама, такая тихая-тихая мама, — она вдруг обернулась и взглянула на него, — так неожиданно, что он не успел отвести свой взгляд. — Вы тоже тихий. Это редко... — Мама. Мама тяжело болела, а у меня все только начиналось. Я пропадала в театре. Опять же гастроли. Когда возвращалась, садилась рядом с ней и говорила: вот, мама, ты подожди еще немножко, все скоро установится, меня возьмут в первый состав, я стану диктовать свои условия, на гастроли будем ездить вместе, — хотя сама этому не верила, такого не бывает, но она, — она, конечно, верила... О, сколько же лет прошло? А потом я начала замечать, мама на глазах сдавала, ну, конечно, приходили сестры, родственники, но меня всегда не было рядом. Потом я всерьез стала подумывать о большом-большом отпуске, даже руководство удалось уговорить, сказали, съездишь на эти гастроли и — отдыхай, устраивай свои дела. — Мама, вот видишь, — помнится, сказала я ей тогда, она по-прежнему сидела у окна...

— У окна, — опять вырвалось у костюмера.

— Да, у окна, ждала меня, я сказала, мама, вот видишь, еще немножко, одна поездочка, и все, мама, мы вместе, долгий бесконечный отпуск, как я тебе обещала, — одна поездка, о-о-о, если бы ты знала, как я устала, мама, как я хочу быть с тобой, как заживем мы вместе, она ни слова, я видела, она верит мне, — вы представляете, Костюмер, какой это ужас? — она опять обернулась к нему, и так резко, что одеяло упало с ее плеч. — Какой это ужас, когда маленький тихий человечек так верит тебе... Господи, люди не должны так верить!

— Вам холодно, — произнес костюмер, медленно привставая с кресла.

— И вот этот человечек верит тебе, ждет тебя, разыгрывающую на каких-то площадках чужую жизнь, в сущности, ложь, не понимая, что настоящая твоя жизнь хранится именно в этом человечке, который так ждет тебя. И вот ты возвращаешься в дом, не спеша прощаешься по несколько раз с друзьями, тебя провожают, доносят твои чемоданы, пожалуйста, здесь осторожней, еще по сигаретке? пару поцелуев, какие-то объятия и обещания, хватит, на сегодня все, затем тыходишь, идешь по длинному коридору, идешь-идешь, казалось бы, целую вечность, наконец открываешь дверь и говоришь: Здравствуй, мама, вот и я, — удивляясь, что уже так поздно, а она все еще в кресле, сидит у окна и все еще ждет тебя... Господи! Что же я в первый момент сделала? Да, я вышла из комнаты, закрыла дверь, вернулась обратно, к самому порогу, к чемоданам, и опять пошла по этому длинному коридору, опять вошла и сказала: Здравствуй, мама... И так много-много раз, а может, я уже не говорила «Здравствуй, мама», — и с самого начала шла и редела, кричала, что-то кому-то доказывала, видно, так громко, что соседи сбежались, увели в другую комнату, оторвали меня от этого коридора... Господи, конечно, я солгала, мне и сейчас страшно, что что-то очень важное, касающееся только меня, происходит сейчас без меня... Потом, после всего, я боялась заходить в ее комнату, вечером, в сумерках, сидела в своей и дрожала, казалось, оттуда, из маминой комнаты, из глубин коридора, наплывает что-то, — такая плотная потная пустота, я даже слышала ее... вот так: уууу, — как ветер в трубе.

Костюмер уже ходил за ней по пятам — тенью, невольно повторяя все ее движения, и сам не замечал, не понимал, что делает.

— Вот, сцена, — продолжала она. — Казалось, приятели, друзья, актеры, но — ничего не спасало. Понимаете, это как пустой зал. Вы должны понимать, вы же в театре, Костюмер, а? Это как пустой зрительный зал, наплывающий на тебя с таким невыносимым жутким гулом. Да, в зале люди, полный аншлаг, рукоплескания, цветы, крики, но на самом деле никого нет, на самом деле нет ничего, и ты кланяешься ему, этому залу, улыбаешься и делаешь вид, что того пустого зала не замечаешь и играешь дальше, не признаваясь себе в том, что ты уже видела его, его жуткий взгляд, что ты не играешь, а, в сущности, убегаешь от него — из спектакля в спектакль, — от этого вечно пустого зала. А потом дома, в пустой квартире, когда не перед кем играть, когда уже некуда бежать, начинается это «уууу-уу», — припирает тебя к стене, наплывает, вжимает в угол, лапает тебя, выворачивает наизнанку, — все что угодно, насилует тебя, еще и еще, пока ты не падаешь, не начинаешь выть и ползать по этому бесконечному коридору... Господи! — она вдруг остановилась, обращаясь прямо к нему: — Я же имею право хоть чем-кем угодно прикрыться — поклонниками, партнерами, рабочими, электриками, пожарниками, инженерами по технике безопасности, — кем угодно, кто шляется по этому ночному пустынному театру, — хоть на минуточку, на часок, пока опять не начнется *это* — Господи!

4

Кан не помнил, прикоснулась ли она к нему в тот момент, схватила ли его за куртку, если да, то, быть может, лишь на долю мгновения, он помнил, он сделал шаг назад, маленький шаг назад, ибо никогда не позволял себе находиться так близко с кем-то рядом, быть может, только с отцом, когда тот возвращался со своих безнадежных поисков, но это было так давно, что и не помнилось, было ли это на самом деле, и если даже он хотел когда-нибудь это сделать, — навстречу кому-то, обнять и прижать к себе — то неизменно появлялся кто-то третий, шедший за ним по пятам, — вовремя преграждающий ему дорогу. Вот и теперь она словно что-то поняла, замерла, вздох — ах, да, извините, что это я к вам со своим... ничего не было, ничего нет, простите, уже поздно, мне пора спать, прощайте, — костюмер послушно развернулся и вышел — ууух! — пустой коридор, опять пустой коридор и этот третий, уже державший его за руку — пойдём? — пойдём, какая холодная у тебя рука, мы где? в коридоре, зачем — в коридоре? — о Боже, не мало тебе коридоров, — тех сумрачных, дома, с безумным отцом? когда я к отцу, ты уже наготове, ни слова не скажешь, уже тут как тут, зачем тебе двое в проклятом тумане? сойдемся вдруг ночью, а ты между нами — воздушную пленкой, зеркальным стеклом, живем-не живем, а всегда облакаем кого-то иного за этим стеклом, но если я вдруг повстречаю кого-то, — но если всей кровью в него прорасту, что скажешь ты мне, мой безумный мучитель, что скажешь ты мне, мой немой конвоир?

Кан спустился к себе в костюмерную, устало присел за стол, оглянулся, очнулся, тот, третий, исчез, спрятался где-то среди висевших на плечиках костюмов, так было всегда, когда не нужно — он появлялся, когда нужно — исчезал, — хотя какой был в нем прок? Кан чувствовал себя теперь совершенно обнаженным, только комната, его костюмерная, давила ему на плечи, обтекала его, казалось, обретая его форму, — форму сидевшего за столом костюмера, а может, то была не комната, а ночь, черная свинцовая ночь, залившая своей чернотой весь мир, кроме него — маленькое светлое пятнышко, которое она тоже зальет минутой-другой позже, и — нет костюмера, а есть ночной слепок, есть тяжелая вязкая масса ночи, заковавшая его в свои тиски, —

потом кто-то вынет его тело — о, кто же? — останется оттиск: здесь был костюмер — на память потомкам, которые, глядя на эту полость, будут думать, вот был костюмер, снимавший с людей своей одеждой слепки, и если все в конце концов и разбредись кто куда, то остались их следы, их полые формы, которые эта свинцовая ночь все время душила своей глухой и слепой лаской.

Но он вдруг стал понимать совершенно другое, быть может, то, что проскочило между ними разрядом-искоркой там, в гримерной, наверху, за те доли секунды, пока она прикасалась к нему, пока тот, вечно третий, следовавший за ним по пятам, просовывал между ними вечным запретом свою ледяную руку, — он вдруг понял, что эту ночь все-таки можно победить, он вдруг почувствовал, как глубоко в нем зарождалось какое-то новое движение, которое уже разрушало изнутри своим биением наваливавшуюся на него свинцовую массу ночи.

Кан не помнил, сколько дней и ночей прошло после его открытия, в одну из них, этих ночей, которым был потерян счет, он поднялся к ней в гримерную, дверь тихо скрипнула, он вошел и почему-то знал, что на этот раз она не проснется, и стал разглядывать ее, свернувшуюся калачиком, спавшую глубоким сном. Потом он встал и осторожно прилег на самый краешек ее постели и стал смотреть на нее, и уже, сам того не замечая, повторял своим телом ее изгибы и очертания.

Он думал о том, что сейчас их разделяет пропасть шириною в кровать, и все свои ночи он посвятит тому, чтобы приблизиться к ней — по сантиметру в ночь, повторяя ее линии, и если до этого он не знал, в чем будет заключаться его новое движение, то теперь это было просто и ясно. Но, Боже, как это было трудно сделать! — длить покой днями и мучительно тихо двигаться по ночам, — так, чтобы с каждым побежденным им сантиметром пути ничто не могло сдвинуться, шелохнуться, — проснуться от его движений. Теперь у костюмера была своя тайна: каждую ночь он поднимался к ней и тихо ложился на ее кровать, он знал, что сейчас он обманывает саму ночь и того вечно третьего, кого теперь не было между ними, и, в сущности, весь этот мир, покойно считавший его пожизненным костюмером. Он знал, что в эти тихие часы, когда, казалось, ни одна земная тварь не смела нарушать своей жизнью вселенский покой, ему необходимо было хранить самое чуткое молчание, но то ли от радости движения, то ли от вспышек его счастья, озарявших ночной полумрак, он тихо пел, посылая эту странную ночную песню ей, спавшей глубоким сном, и ничего не мог с собой поделать.

О чем же он пел? Быть может, о том, что никогда в своей жизни он, Костюмер, и не мечтал о встрече с человеком, которого он мог бы укрыть не своими костюмами, а собой, дорогая, — ты слышишь? — только собой, как не мечтал он о том, что сможет повторять собою линии, чувства и мысли другого человека, и — если ты сейчас, милая, спала, свернувшись калачиком, то то же делал и я, Костюмер, повторяя твои изгибы и очертания, и если ты сейчас, любимая, видела прекрасный сказочный сон, то и я видел его, со стороны, как могут видеть эти сны стражники твоих снов, — и если ты в эту тихую ночь о чем-то мечтала, то и я, поверь мне, мечтал об этом же, как может мечтать о сокровенном близкий тебе человек, ставший твоей душой и плотью. Хотя прости меня, милая, я забежал немного вперед — пел костюмер, — как забегают дети, полные безудержного счастья, вперед, выдавая желаемое за действительное, я забежал вперед, любимая, потому что и нас с тобой разделяют пока еще безумные расстояния, которые мне нужно будет преодолеть, — во что бы то ни стало; я просто тихо двигаюсь навстречу тебе каждую ночь, так тихо, что ни тени тревоги не пробежит по твоему лицу, ни единого шороха не раздастся в твоей тишине, ни одна мысль не омрачит твой разум, быть может, только чувство мое, о, да! — так пел костюмер, — переливается и бьет через край, и я не могу ничего с этим поделать, — ни сдерживать его, ни управлять

им, я просто сосуд, через край которого бьет это чувство, быть может, не только мое, но и — о, не бойся этих слов! — всех спящих сейчас людей, которые чего-то недочувствовали, кого-то недолюбили, о-о-о, может, я — скважина в этом уютном мире, погребенном под лавой сна, одна на всю вселенную, через которую бьет такой могучий, такой неудержимый поток любви, — что — я уверен, любимая! — весь ночной мир вот-вот проснется сейчас от моего неукротимого биения!

Иногда костюмер затихал и протягивал к ней свои руки — сомкнуть их раз и навсегда, — и тут же тело его охватывало судорогой от переполнявшего его чувства, тогда он пытался вдохнуть воздуха — и слезы лились по его лицу, и он уже так плакал и так задыхался, что не видел ничего вокруг себя, не понимал, где он и как он здесь оказался, не замечал, что она вот уже несколько ночей не спала, не в силах, как и он, ни вздохнуть, ни произнести слово, — ни шелохнуться.

5

Быть может, Кан никогда бы не смог объяснить себе, почему именно в тот момент он не сделал этого, — простирая к ней руки, не обнял ее, почему вдруг между двумя людьми возникла такая бездонная пропасть, как и не смог бы никогда признаться себе в том, что, простирая к ней руки, он вдруг увидел не ее лицо, а черное небо, безумный хохот бесновавшихся звезд, кого-то, шедшего ему навстречу, простиравшего к нему руки, в руках небо и хохот звезд, — он вскочил с постели и выбежал из гримерной, дальше, по коридору, вдруг понимая, что испугом своим накликать какую-то страшную беду, которая уже вываливалась из его — или тех других? — так и не сомкнутых пустых рук, уже катилась, обгоняя его, снежным комом по коридору.

Так и получилось, — когда он вошел к себе, он вдруг обнаружил пропажу нескольких — редких и дорогих — костюмов, висевших на самом виду, вместо них болтались какие-то грязные ватники и халаты, словно с издевкой простирая к нему свои согнутые затвердевшие от грязи рукава. А потом, уже в следующие дни, обнаружились и другие пропажи, и, глядя на то, что оставалось взамен, Кан вдруг начал понимать, что в их театре, быть может, существовал какой-то тайный подпольный театр, о существовании которого не подозревал никто, кроме него, костюмера, и кто-то из этого подпольного театра, должно быть, воровал его костюмы для какого-то своего безумного и ужасного представления — какого?! — в таком случае, думал костюмер, его театр с тем же успехом мог находиться в каком-то другом несоизмеримо большем по размерам театре, о существовании которого Кан мог узнать только выйдя за пределы своего театра.

Опасения его незамедлительно стали сбываться: как только он вышел в город, как бы по своим делам, о настоящей цели визита он, конечно, никому не сообщил, он вдруг стал обнаруживать странные вещи: сначала он увидел тучную женщину, торговавшую на улице колбасой, и ничто не смогло обмануть костюмера: она стояла в ватнике, а под ватником — о, ужас! — было золотистое платье царицы Клеопатры из старого спектакля, который не ставился в театре вот уже несколько лет. Продавщица царственно помахивала, словно жезлом, батоном колбасы, и люди в нескончаемом потоке угодливо кланялись ей в такт ее движениям, безропотно двигаясь друг за другом. Главное, не паниковать, успокаивал сам себя костюмер, шел дальше, всем своим видом показывая, что ничего не произошло, вдруг дворник выскочил из подворотни с лопатой и метлой в руках, дворник как дворник, если не считать, что одет он был в яркие атласные штаны достойного Хон Киль Дона. Кан остановился в растерянности, провожая взглядом похитителя, больше нельзя было этого терпеть, самозванцы

разгуливали по городу совершенно свободно, он прошел несколько шагов вперед, не зная, куда идти, завернул за угол и тут же увидел милиционера, управлявшего потоком машин своей милицейской указкой. Он бросился к нему, прямо на середину улицы: «Сержант... или как вас там?» — патрульный обернулся, костюмер приблизился, и тут он не выдержал, начал кричать в истерике, бить кулаками в грудь патрульного, выбивая из-под его шинели белоснежную батистовую графскую рубашку. Благо, сержант растерялся, ничего не понял, полез было в кобуру, Кан кинулся к тротуару, в подворотню, как пьяный, раскачивался из стороны в сторону, — скрыться от возможной погони, хотя какая могла быть погоня, если преступником был не он, а тот самый патрульный милиционер?

Некоторое время Кан отсиживался в темном сыром подъезде, все почему-то казалось, что он — Раскольников, еще не зарубивший свою торговку колбасой, но уже где-то рыскал, следил за ним, выискивая его следы, тот жуткий дворник в цветастых шелковых штанах. Потом он все-таки поднялся, вышел через другую подворотню прямо на центральный проспект, вокруг скрежет, шум, гам, в глазах запестрило, лица и окна как лоскутки, хмурое небо, насмешливо выраженное кем-то в рваные облака, куда бы он ни глядел, везде — на улицах, в окнах, в машинах — мелькали его костюмы — воротниками, манжетами, целыми подолами — старательно спрятанные под серой неприметной одеждой пассажиров и пешеходов. В этом он теперь нисколько не сомневался.

Если весь город вдруг решил носить его костюмы, мучительно размышлял костюмер, шагая по направлению к театру, то почему же никто из руководства театра его об этом не известил, и почему, что показалось ему самым поразительным, не назначили старшего самого главного костюмера, который мог бы столь же ответственно, как и он, отвечать за одежду этих людей. Тогда бы этот старший самый главный костюмер непременно дал бы знать ему, младшему костюмеру, что ни в коем случае не стоит удивляться и тем более так расстраиваться, если повстречает он вдруг какого-нибудь Дон-Кихота, по совместительству грузчика, или наоборот. Тогда бы он смог, уже ничему не удивляясь, подойти к этому человеку и поинтересоваться у него, к примеру, не тесен ли ему, уважаемому грузчику, этот прекрасный костюм, и есть ли у него, уважаемого Дон-Кихота, какие-либо жалобы на костюмеров. Тут опять повстречалась на его пути торговка в ватнике — в целости и сохранности — под ватником платье Клеопатры, Кан не выдержал и подошел к ней вплотную, и прежде чем спросить ее, не тесно ли ей, уважаемой, это прекрасное платье, он наклонился прямо к ее обширной груди, чтобы наверняка удостовериться, то ли на ней платье или не то.

Продавщица, крупная розовощекая женщина, сначала и не заметила костюмера, быть может, увлеклась и вошла в роль — отрезай и властвуй! — но кто-то из кланявшихся ей в очереди стал подозрительно коситься на него и шипеть. Тут торговка обратилась к нему с вопросом: «Вам чего?» — Кан не расслышал, так он был увлечен своим занятием, — Вам чего?! — прогудела повторно она, и тут он отвел свои глаза, полные удивления, в которых, быть может, еще отражалось то узнанное им платье.

Пшшиик, — сработало в ее голове. — Пшшиик... «Воррюга!» — вдруг, через паузу, проревела она и с размаху стукнула его своим жезлом по голове. Кан прогнулся от неимоверной тяжести и отскочил в сторону, но перед этим успел ухватить ее за ватник мертвой хваткой, стал сдирать с нее одежду, выкрикивая лихорадочно, скороговоркой: «Отдайте! Отдайте сейчас же!»

«Воррууют!» — опять заревела она, не уставая при этом молотить его колбасным батонном по голове, тут на крик выскочили грузчики в таких же грязных, как и у нее, ватниках, — ословелые, полупьяные, — больше костюмер ничего не успел разглядеть,

он ухватился за платье Клеопатры и порвал его, — в руках оставался золотистый лоскут. Тут поднялся такой визг и грохот, что костюмер бросился, уворачиваясь от ударов, в сторону и побежал по улице по направлению к театру. За ним кинулись те двое в ватниках, слева и справа, шипели ему вслед, тупо ругались и били его чем-то тяжелым по голове, он уворачивался от ударов, крови, кажется, не было, когда он убыстрял свой бег, удары приходились ему прямо по спине, — так они пробежали с полпути, и тут Кан заметил, что те двое, собственно, и не собирались его догонять. Быть может, хозяйка их уже исчезла из виду, и они уже не выдавали такой ярости и прыти, бежали за ним следом, исправно дышали ему в спину, вяло били его по спине, отчего у костюмера возникало странное ощущение, что эти двое пытались выбить из него что-то, что — по логике происшедшего — должно было заключаться в нем самом. Но — в нем ничего не было, ничего он собой не облакал, в конце концов, я просто костюмер, если что и есть во мне, так это лоскут золотистого атласа в кулаке, только и всего, — и это, быть может, те двое скоро и поняли, потому что на подходе к театру отстали и остановились у пивной.

«На вас лица нет», — побледнела и еле вымолвила билетерша, завидев костюмера, влетевшего в театр; он странно хохотнул и бросился мимо нее, прямо к главному в кабинет, прижимая к груди золотистый кусок атласа, пульсировавший в его руке, как какое-то другое, быть может, настоящее, найденное им на улице сердце, и вдруг столкнулся с ним прямо в коридоре, — одетым в широкий рогожинский крытый тулуп, странно, с огромным мечом в руках — и почему-то таким пьяным, каким Кан не видел его ранее никогда.

— Вот, ходил к бутафору, — с трудом произнес главный, нетвердо стоя на ногах, — и он мне выдал это... — показал на меч. — Хотя Настасью Филипповну, — он качнулся, продолжая говорить ему на ухо шепотом, — я должен, если помните, убивать маленьким ножиком для бумаг... и под самую левую грудь, и чтобы крови с полложки, ни капли больше... — Он опять качнулся, уже в обратную сторону, чуть было не упал, и вдруг жалобно произнес, чуть ли не плача: — А ножик-то тю-тю, так мне сказал этот глупый бутафор и выдал мне это, — он выставил вперед меч, казалось, сделанный из настоящей стали. — Что мне теперь с ним делать?..

— Настоящий? — испуганно спросил костюмер, протянул было к нему руку и вдруг отдернул с ужасом: а что если в самом деле...

Но главный уже не видел и не слышал его, шел дальше по коридору, раскачиваясь из стороны в сторону, бормотал что-то себе под нос, волоча за собой этот жуткий меч, глядя на который, Кан не уставал содрогаться, благо, спектакль *ее* должен был быть еще через несколько дней, — быть может, за это время главный успеет протрезветь и выспаться.

Вот уже несколько дней он не мог с ней увидеться, по ночам не заставлял ее в примерной, — что-то странное в самом деле происходило в театре, это костюмер понимал уже окончательно, когда обнаружил, что вместе с пропажей костюмов исчезали и актеры, для которых, собственно, и предназначались эти костюмы. Получалось так: если пропадало платье, то вслед за ним и актер, носивший его, — такая зловещая была закономерность, хотя другие актеры, еще остававшиеся в театре, всегда говорили о каких-то заурядных причинах их таинственных исчезновений. Как же вы не понимаете? — горячился костюмер, быть может, единственный, кто знал об истинной причине их пропажи, но никто не выслушивал его до конца, все так и выходили на сцену, не выяснив, кто будет играть вместо отсутствующих, — в сущности, никого это не интересовало, ибо в спектаклях участвовали какие-то странные люди, которых Кан никогда ранее в театре не видел.

Они даже не участвовали, а просто вываливались на сцену, — кто из зала, кто из

порталов, в каких-то мятых черно-серых костюмах, полупьяные, в грязной обуви, расхаживали между актерами, что-то жевали, гоготали, заглядывали другим в лица, паясничали, — да и вообще выделявали всякие непристойности. Те же, настоящие актеры, — на удивление костюмера — никак не реагировали на все это, и даже виновато улыбались пришлецам в ответ, словно извинялись за то, что не могут уделить им больше внимания.

Кан еле дождался дня ее спектакля. Он пришел уже под самый занавес, ибо весь день и вечер латал оставшиеся костюмы, которые приносили ему актеры, все в пятнах, дырах и порезах, что опять же никого не удивляло, и даже самого костюмера, помнившего о том, в каких условиях приходилось выступать им на сцене. Слава Богу, она была на сцене, он наблюдал за ней со стороны: она была очень бледна, быть может, возбуждена излишне, с каким-то сумасшедшим блеском в глазах, — самая настоящая Настасья Филипповна. Единственное, что омрачало зрителям спектакль, это отсутствие Рогожина, но именно этому втайне радовался костюмер, — неизвестно, что мог сотворить главный, который день блуждавший сомнамбулой по театру со своим огромным отнюдь не бутафорским оружием.

Финал спектакля актеры играли, импровизируя, — что делать, — вопреки великому замыслу автора и режиссера: Настасья Филипповна ложилась на кровать, смиренно прикрывала глаза и, казалось, засыпала. Савельич в роли князя сначала бегал кругами вокруг ее постели, изображая отчаяние, затем тоже ложился на кровать рядом с ней, но все ворочался, вздрагивал, оглядывался по сторонам, — на самом деле не зная, что предпринять ему, бедному, дальше, и вдруг, — быть может, от перенапряжения превращаясь в настоящего идиота, — душил ее под бурный шквал зрительских аплодисментов. Затем на сцену выбежала толпа людей в серо-черных костюмах и, не давая актерам оправиться, встать, откланяться перед зрителями, унесла ее, казалось, пока еще мертвую, со сцены, мимо него, дальше по коридору, — в примерную.

Кан смиренно опустил голову и замер, скрывая волнение, — уж очень убедительно сыграл Савельич на сцене, и стоял так несколько минут, полный отчаяния, затем спохватился и бросился вслед за ними. Когда подходил к ее гримерной, вдруг обнаружил: все те, составлявшие толпу ее поклонников, как-то чинно выстроились вдоль стены — до самого конца коридора. — Что это? — вырвалось у костюмера, — шаг вперед, и тут на пути его выросли две огромные фигуры, лиц их в полумраке невозможно было разглядеть.

— Вам кого? — нагло спросил один из них и оттолкнул его грудью так, что Кан отскочил в сторону. Он никогда не приходил к ней сразу же после спектакля, это было не его время, время шума и суеты, — но только по ночам, хотя не раз слышал от коллег, что после каждого ее спектакля в коридоре было не продохнуть, — все толпились у ее гримерной или, как сейчас, выстраивались вдоль стены.

— Мне к ней... в гримерную, — растерянно произнес костюмер, на что незнакомец указал ему куда-то вглубь, в самый конец коридора. — Во-он, занимайте очередь.

— Какую очередь? — пораженно исторг костюмер и вдруг почувствовал, как закружилась у него голова, — ууух! — и опять наплыло страшное: черное небо и хохот бесноватых звезд, и чьи-то шаги в глубине коридора, — быть может, существовавшего лишь для того, чтобы идти по нему, останавливаться и выстраиваться в очередь.

— Как какую? — переспросил второй вкрадчивым голосом. — Простите, вы по служебной?

— Да, — уже не понимая, о чем идет речь, ответил костюмер. — Я — костюмер.

— Удостоверение есть? — учтиво спросил второй.

— Есть! — бодро выпалил костюмер, приосанился и почувствовал, что начинает сходить с ума.

— Тогда другое дело, — успокаиваясь, произнесли эти двое, повернулись к двери. — Передайте, костюмер пришел...

Костюмер... костюмер... — пронесся шепот по цепочке, — все как один, сажень в плечах, огромного роста, — дверь скрипнула, шепот нырнул внутрь, — пауза, и все стоявшие в коридоре разом замолчали, такая железная, видно, у них была дисциплина. Раз-два-три, — просчитал про себя костюмер, чтобы не заснуть этим дурным сном, и вдруг услышал: Что? Костюмер? — это был женский голос, но явно не ее, быть может, той другой, что появилась вместо нее, задушенной на сцене, — надтреснутый, с хрипотцой, полный то ли испуга, то ли ужаса, — Костюмер? Нельзя!! Вот... вот, отдайте ему это!

Нельзя... нельзя, — понеслось обратно по цепочке.

— Да почему же? — уже полный отчаяния, вопрошал костюмер, обращаясь ко всем стоявшим в коридоре.

— Нельзя, — прогремели те двое, сомкнулись, преграждая ему путь, и вдруг ткнули ему кляпом в рот ее скомканное платье.

6

Кан шел по коридору и уже не в силах сдерживаться, плакал, слезы лились по его лицу, двумя руками он сжимал ее платье, хотя — к чему теперь было ему ее платье, — личные вещи умершего, когда-то близкого тебе и родного человека, быть может, только на память, но было ли все это — его ночи, тот их ночной разговор, она сама, как будто носившая это платье, быть может, когда он развернет это платье, тогда и поймет, было ли все это на самом деле и, если было, то кто — о, кто?! — сделал так, чтобы этого не было, а если не было, то кто сделал так, чтобы это было?

Кан вошел к себе в костюмерную, сел за стол, ночная лампа и черная ночь, и комната, опять облекавшая его согбенную фигурку, — фигурку костюмера, сидевшего за столом, — ночь, лампа и платье, которое он уже расправлял и разглаживал, — даже если ее и не было, — такова была его работа. Он даже не удивился ужасной картине: платье все в дырах, прорехах, в самом деле, чему здесь было удивляться, если... время, само время, заставшее его, было в дырах, в прорехах, — время-решето, время-дыра, — иссиня-черное, как на этом платье, в котором чернели эти самые дыры, хотя — должна была быть видна крышка стола, все что угодно, основа, в конце концов, мир, на фоне которого чинились его платья, играли актеры, влюблялись, жили и расставались люди. На самом деле никакого мира не было, как не было той крышки стола, и как бы он ни разглядывал что-то в этой дыре, как бы ни приближал свои глаза к этой пустоте, — ничего не было видно. Ну что ж, опять за нитки, за иголки, ручная работа, если не было мира, то надо было сделать так, чтобы его исчезновения никто не заметил, — латать и только латать. Но странно, — странное было платье: как только Кан справлялся с одной прорехой, на другом месте расплзалась ткань, он брался за следующую, платье рвалось в другом месте, тут было что-то знакомое, силился вспомнить костюмер, глядя на расплзавшуюся на глазах материю, что было с ним раньше, — он замер вдруг, холодея от ужаса, постой-ка, там, дома — стук в дверь, приходил почтальон, теперь здесь, в костюмерной, — ночь, платье и стол, где каждая дыра была той самой телеграммой, — эй, костюмер, зияла эта дыра, мы здесь с твоей милой, она шлет тебе... нет, слушай меня, зияла другая дыра, она здесь — только здесь... Кан зажмурился, но все еще держал в руках это платье, быть может, так же крепко, как отец — в то же самое время — свою женщину, пытал и кричал ей в лицо: признавайся! ты это или не ты? —

припадал к ней, как костюмер к дыре, — ну что вам там нужно, в вашем небытии, доколе вы будете мучать меня, костюмера?

Он опустил голову на стол и прикрыл глаза, прикасаясь своей тьмой, что жила под комочками его век, к тьме другой, дышавшей на него из-под покрова платья, и кто-то уже шел по этой зыбкой границе, по кромке его век, балансируя, как канатоходец, — налево тьма, направо тьма, не падать, не дай Бог упадешь, — тьма сольется с тьмой, и будут холод и сквозняк, и призраки, и телеграммы, и — больше ничего, но ты пока идешь, канатоходец, куда не знаешь, все равно, — по кромке света, между тьмой и тьмой, как доблестный лунатик без упрека, без боязни упасть, лунатик есть канатоходец, наилучший в мире, — идти, зажмурившись, заснув, не открывая глаз, откроешь — призраки стучатся в двери твоих век, не верь им, Костюмер, лишь спи и ни за что ты им не открывай...

Проснись! Проснись! — кричали эти призраки, тормозили его за плечи — кричали голосом женщины, которой на самом деле не было и нет.

Кан откинулся на спинку стула и увидел ее, стоявшую прямо над ним, над его столом, над платьем, исчезавшим буквально на его глазах.

— Что с тобой? — она сложила руки в каком-то умоляющем жесте, словно боялась, что он опять закроет глаза, не поверит ей, заснет, двинется в свой лунный путь поступью канатоходца. — Я не могла тебя разбудить!

Кан смотрел на нее и не верил глазам своим, она должна была быть там, с ними, жившими в коридоре, стоявшими друг за другом в очереди.

— Я не могла тебя пустить тогда! Там было очень много людей, плохих людей, тебе бы стало с ними нехорошо! Господи! — она ходила по комнате, сцепив руки в умоляющем жесте. — Ну что же нам делать? Как же нам быть? Ведь невозможно так — видеться по ночам! И даже по ночам делать вид, что не видишься!

— Да ты все знаешь? — пораженно исторг Кан.

— Ну, конечно, — она остановилась, печально улыбаясь. — Это как в детской игре: тыходишь, и кто-то говорит мне: «Замри!» Ты ищешь меня, а я даже не могу шелохнуться! О, если бы я умела не слышать этой команды! Не понимать ее! Если бы я умела как-то правильно двигаться!

— Постой! — вдруг прервал ее костюмер, какая-то неудержимая сила охватила его, подняла и бросила его прямо к ее ногам. — Я прошу тебя, я умоляю... уедем, убежим отсюда прямо сейчас!

— О, милый мой костюмер, — она нежно обхватила руками его голову и опустилась на колени, лицом к лицу, прижимаясь, и, кажется, уже плакала, а может, это был он, его слезы, — его и ее, текшие по их щекам. — Я всю свою жизнь бегу. Когда же это кончится? Когда же можно будет остановиться? Удержи меня...

— Я никогда, — застонал костюмер, тихо прикасаясь руками к ее рукам, — не делал этого... Никогда.

— Сделай это сейчас, — прошептала она, сжимая его ладони.

— Я не смогу, — выдавил из себя костюмер и вдруг зарыдал, уже не стесняясь своих мужских слез, — выплакаться до конца за все свое бесслезное прошлое. — Я не умею, — говорил он сквозь слезы, — и даже если бы я смог это сделать, то завтра же, через час, через минуту, тебя опять не будет рядом, — ты сама себе не подвластна...

— О, бедный мой костюмер, — застонала она, слегка прижимая его к себе. — Теперь я стану твоим костюмером, но сначала, — сначала, — она замерла на мгновение, откинула голову, глядя куда-то вверх, в окно, в звездное небо, — сначала я должна попрощаться с ними. И после не убежать, а уйти. Сама. Понимаешь? Без чьей-либо помощи. Чтобы никто, никто не посмел мне снова сказать: «Замри».

Все оставшиеся дни до следующего ее спектакля Кан просто отсиживался в своей

костюмерной, и если ему приходилось выходить иногда из своего убежища, то непременно так, чтобы поскорей возвратиться обратно, чтобы быть всегда на месте, на том самом месте, откуда он и начнет свое новое движение. Уже ни работа, ни те немногие костюмы, остававшиеся в костюмерной, не занимали его как прежде, как не занимали его и те тревожные события, происходившие наверху, на сцене. Обыкновенно кто-то из еще остававшихся в театре рассказывал ему, что спектакли срывались один за другим, играть было некому, а если кто и играл, то в присутствии тех страшных и грязных людей, уже завоевывавших сцену с какой-то безудержной яростью.

Все это и так было заметно по костюмам, которых становилось все меньше, — одни лишь ватники, грязные пиджаки, халаты, — непонятно, как все исчезало, ведь костюмер все время проводил в костюмерной, правда, иногда приходили актеры, забирали свои костюмы перед спектаклем, но возвращали все реже и реже, быть может, кто-то незримо присутствовал в костюмерной, следил за ним, ждал, когда он выйдет, снимал с вешалки костюм и удирал, а может, сначала переодевался, — получался самый настоящий гардероб, в самом деле, театр теперь начинался именно с вешалки, на которой, словно трупы, висели черные одежды, казалось, обугленные в яростном, охватившем весь театр огне.

Наконец тот желанный ему день, день *ее* выхода, наступил. По окончании представления он должен был подняться к ней, — во что бы то ни стало взять за руку и вывести из театра. Когда спектакль — по времени — начался, костюмер стал расхаживать по комнате, волнение охватило его, особенно в последние часы ожидания; чтобы как-то занять себя, он стал рассматривать эту жуткую одежду, так вероломно вытеснившую его костюмы, — где же они были теперь? — и даже брезгливо притрагивался к ней, пытаясь понять, что бы это на самом деле значило. Эти грязные костюмы висели во всю длину комнаты, и когда он проходил вдоль их рядов, он улавливал какой-то тихий беспокойный гул, угрожающе нараставший за его спиной. Когда он оглядывался, ничего странного не обнаруживал, если не считать легкого, но настойчивого раскачивания костюмов на вешалках. Потом он услышал какой-то свист, то ли шепот, то ли свист из глубины одежных рядов, он присел на корточки и просунул голову, с отвращением прикасаясь к висевшей над ним одежде, отвел было фалды пиджака — взглянуть в этот могильный полумрак, и вдруг свирепый оглушительный удар опрокинул его на пол. Он попытался подняться, еще ничего не понимая, но уже следующие удары — один за другим — посыпались ему на голову, на спину. Он успел подумать о том, что здесь в самом деле кто-то прятался, выжидал подходящего момента и вот дождался, быть может, раскрыв его тайные планы, молотил осатанело по нему, наверное, не один, их было несколько, — ногами и руками, били кто куда, а может, не били, а выбивали, — опять появилось странное ощущение, — что-то из него, и, кажется, он знал теперь, что им было нужно, — всем тем, кто обрушивался на него с ударами, и — больше — кто воровал и портил его костюмы, рвал их в клочья, посылал ему и отцу телеграммы, теперь он знал точно, они выбивали из него *ее*, именно *ее*, должно быть, игравшую сейчас на сцене и не подозревавшую о том, как стойко думал он о ней, именно сейчас, назло всем: после каждого удара он пытался подняться, но тут же кто-то опрокидывал его на пол, как не умеющего ходить ребенка, — еще и еще! — и пока он помнил о ней, он держался, хотя не помнить о ней он уже никак не мог, даже когда лежал навзничь, распластанный на полу, когда, казалось, из него выбили все, что можно, когда между ним и полом не могло быть ничего, он все равно знал — она здесь, она где-то рядом и вот-вот он наполнится ею, оправится, встанет и поднимется к ней наверх.

7

Первое, что хотелось сделать ему, — немедленно оторваться от плоскости, продолжить вдруг прерванный кем-то бег, хотя, если вспомнить, никакого бега и не было, он лишь собирался подняться к ней наверх, а потом эти удары, один за другим, — он оглянулся, вся эта ужасная одежда была раскидана теперь по полу, значит, в самом деле все это было. Он попытался подняться, но подвернул руку, прополз несколько шагов вперед, — навстречу кому-то в самом конце одежных рядов. Когда он приблизился, он увидел Рогожина, лежавшего прямо на полу в своем черном крытом тулупе — то ли спавшего, то ли без сознания, — непонятно, как он вообще здесь оказался. Когда костюмер наклонился над ним, он понял, что тот был по-прежнему пьян, — лежал неподвижно и как бы не слышал, не видел его движений, но, странно, глаза его ярко блестели в темноте и были совершенно открыты и неподвижны.

Прошло несколько минут, и вдруг Рогожин громко и отрывисто закричал, словно продолжая прерванный кем-то разговор: «Бутафор... чертов бутафор... выдал мне вместо ножа эту дрянь, — он вдруг заелозил по полу и чем-то загрохотал, и Кан увидел, что Рогожин лежит прямо на лезвии меча, пытается вытянуть его из-под себя, выпростать руку. — Я ему говорил, — взвизгивал он, — нельзя так... как же я буду играть, он ни в какую, ножей, говорит, нет — ни маленьких, ни больших, ни тупых, ни острых. Что же мне теперь делать? Хоть самому под меч... Заберите! — взвизгнул он и вдруг вытянулся весь вперед, с ужасом разглядывая костюмера. — Заберите от меня это!

Кан вскочил в испуге и вспомнил: она должна ждать его там, наверху, — он бросился из костюмерной вон, спотыкаясь и пугаясь в каких-то пиджаках и халатах, разбросанных по всей комнате. В коридоре никого не было, странно, он был готов на все, — биться с врагом до последнего, хотя неизвестно, сколько времени он пролежал без сознания, быть может, никто и не думал, что он сможет подняться, он прошел мимо одной двери, второй, качало из стороны в сторону, наконец остановился у ее гримерной. Дверь была заперта, он толкнулся плечом — за дверью ни звука, ни шороха, — неужели никого? — стал стучать чем-то тяжелым, хотя руки его, казалось, ничем не были заняты. «Открой, это я, Костюмер!» — бился он в дверь, умолял эту дверь, — теплилась еще надежда. Потом все-таки раздался шорох, слава Богу, она была там, он стал стучать сильнее, дверь наконец отворилась, — о, да, кажется, это была она...

— Что с тобой?

Кан вошел в комнату, она как-то нервно отступила в сторону.

— Что это у тебя в руке?

Кан точно очнулся, увидел, что в руке держал меч, тот самый жуткий меч, который так яростно пытался отдать ему Рогожин, — вещи, казалось, сами овладевали им, — растерянным и растерявшим все костюмером.

— Это же я, Костюмер!

— Вижу, вижу, — все еще испуганно повторяла она. — Закрой дверь, здесь кто-то постоянно ходит, сопит в замочную скважину, — какая-то ужасная ночь!

Кан опустил меч, перевел дыхание, огляделся и вдруг словно вспомнил: «О, скорей же! Что мы тут делаем? Ты готова?»

— Готова, — как-то смиренно произнесла она и кивнула на маленький чемоданчик, — все, что было у нее из вещей.

Кан крепко схватил ее за руку и выбежал в коридор, и пол уже качался под ногами, костюмер то и дело размахивал впереди себя мечом и слышал, как сзади она умоляла

его не делать этого, вся перепуганная, но — послушай! — бежать, не размахивая мечом, было бы крайне опасно, казалось, кто-то выскочит прямо из стен и углов, набросится на них, схватит ее и унесет, и тогда он уже никогда не сможет найти ее. Слава Богу, коридоры закончились, с треском хлопнула дверь, словно выпнула их, вырвавшихся в ночь — воздух, звезды на небе, луна, черные ветви деревьев по краям, казалось, выстраивали уже свой бесконечный коридор.

«Убери, да убери же ты, наконец, это!» — не переставала она умолять его, вся перепуганная, он по-прежнему продолжал размахивать этим мечом — или уже меч им? — сражаясь с одному ему видимыми врагами, пытаясь объяснить ей на ходу, что здесь кто-то был, рядом с ними, совсем рядом, всегда был, понимаешь, даже если никого и не было, он лишь отпугивает *его* этим мечом, чтобы не дай Бог не преградил он им путь, и даже — представь невозможное! — если бы не было никого и ничего вокруг — ни этих деревьев, ни улиц, ни даже его — о, прости, дорогая! — он должен все равно размахивать этим мечом, единственно настоящим, что ограждает ее от этого призрачного мира.

Так они пробежали несколько кварталов, то останавливаясь, то судорожно вырываясь вперед, — странная была картина: он угрожающе выкрикивал что-то улицам, домам и деревьям, и взмахи его были поистине страшны и опасны, и если бы кто и повстречался им в эту ночь, то на верняка бы свернул с пути, — спрятался бы в уличной тьме, под сенью деревьев вместе с другим — т-с-сс, кто здесь? — пишущим сейчас эти строки — о, не размахивай ты так мечом, Костюмер! — звезды на голову, небо в лоскутках, здесь в самом деле нет никого, кроме меня-не меня, Костюмер, — кто должен идти вместе с тобой по этой пустынной улице до самого финала.

Только в подъезде костюмер успокоился, быть может, доверяя своим стенам, лесенкам и потолкам, по-прежнему крепко держа ее за руку, с этажа на этаж, отпер, наконец, дверь и провел ее в свою комнату. Вошел вслед и устало плюхнулся на стул, в самом деле, после улицы, полной невидимых врагов, тяжесть настигла его. Попытайся заснуть, — твердо выговорил он фразу-пароль, прежде чем ночь приняла бы их в свои объятия, и вдруг замер, чувствуя, как радость, странная радость охватывала его.

Всего, что было с нами, на самом деле не было, — он улыбнулся ей, она — в ответ, натягивая на себя до подбородка одеяло. Он взглянул в окно и увидел, как ночь, вся раскроенная его страшным мечом на кусочки, складно схватывалась, обретая прежние формы, как единое целое перетекала за оконным стеклом, скользила мимо них, продолжая течение так и не побежденного им времени, и все уплывало в этом потоке — его прежние дни, горести, страхи, переживания. Потом — слабый шум, то ли стон, то ли гул вывел его из оцепенения, он взглянул на нее — удостовериться по привычке, не исчезла ли, осталась ли на месте, потом тихо, чтобы не разбудить ее, вышел в коридор и увидел фигурку отца, совершавшего свой утренний объезд. Казалось, он совсем забыл про него, особенно в эту ночь, не оставлявшую ему времени для лишних раздумий и сомнений, он двинулся вслед за ним и прижался, как обычно, к стене: вот сейчас старик в конце коридора развернется и тронется ему навстречу, и тогда он сможет сказать ему что-то очень важное, чего, быть может, он ранее не говорил ему никогда.

«Отец, — прошептал костюмер, прижимаясь изо всех сил к стене, чтобы не вспугнуть его, не расстроить его движения. — Отец, я...» Ту-ту, прогудел старик, проходя мимо стены, казалось, такой длинной, что он мог бы успеть сказать ему главное. «Отец, я...» Ту-ту, прогудел опять старик, проходя мимо стены, казалось, такой короткой, что он не успел бы сказать ему ничего. Тогда он бросился вперед, нарушая правила этой странной игры, обгоняя поезд, выезжавший напрямую к себе в комнату, — развернулся и вдруг почувствовал, что по-прежнему сжимает в руке

меч — вырони его! — быть может, вложенный кем-то ему в руку именно ради этого момента. Ту-ту... — надвигался на него старик все ближе и ближе, — тут взмах, с силой, от плеча, — раз, два, жуткий свист, он зажмурился — ууухх! Ту-ту, простонал этот мир, пойманный наконец в смирительную рубаху коридора. Он открыл глаза: старик проходил сквозь него, мгновенно — как та ночь за окном, — собравшийся по частям. Без клея и крови. Протяжный гудок прибытия. Дверь скрипнула, Кан испуганно — то на дверь, то на меч, то на старика, буксовавшего на месте: упирался в какую-то женщину, согбенный, тыкался ей прямо в живот, словно жаловался ей, глядевшей — через проем — прямо на него, костюмера, ах, это ваш сын? ах, что это у вас в руке? — надменно, с легким поклоном приветствия, — полная достоинства новоявленной мачехи и хозяйки дома.

Он даже не ответил, он только и смог что осторожно, мелкими шажками, сгорбившись, как ветхий больной старичок, пройти к себе в комнату — выронить из руки меч, ползком к кровати, — лечь рядом с ней, спавшей глубоким, и, быть может, счастливым сном.

Когда он очнулся, первым желанием, охватившим его, было — подняться скорей на работу, — о, что он тут делает? — в театр, в костюмерную, но, в сущности, к ней одной, быть может, ожидавшей в эти ночные часы его в своей гримерной. Но — бежать не нужно было никуда, она была рядом, так близко, как не бывало и — не могло быть никогда. Он спохватился и привстал на колени, и стал медленно подползать к ней, простирая навстречу спавшей руки, — протягивая ей одной какое-то невыразимо прекрасное платье, быть может, лучшую из своих работ. Когда он приблизился к ней, он на мгновение замер, не по нима, что ему делать дальше, и — тихо прикоснулся к ней — к ее плечам, лицу, векам и губам. И тут же отдергивал руки, ночной вор, уже весь в лихорадке, в ужасе, в непонимании, и протягивал опять, боясь, что она вдруг исчезнет, растворится в сумерках навсегда. И вот он затаил дыхание и обнял ее, впервые за всю свою жизнь, и, обнимая, вспоминал урывками, что он здесь, да, что представление уже начинается, что надо спешить и одеть ее в платье, которое он шил для нее все эти тревожные сумбурные дни. Когда он сжимал ее, она билась в объятиях, тогда он просил, умолял ее — немножечко потерпеть. Но, странно, она никак не внимала его словам, капризная сонная девочка, все пыталась выпростаться из его рук. Тогда — потеряв терпение, — он сжал ее изо всех сил, не оставляя на ней ни одного непокрытого места, и, глядя ей в глаза, уже верил, видел, представлял, как вот-вот, вздрогнув, вдруг замрет она, вся в сказочном мгновении перевоплощения, но уже не перед полным залом, а только перед ним одним.

Февраль 1993 года

О.Камов

Песнь о Соколе

Рассказ

Безумству трезвых поём мы песню!..

Студфольклор шестидесятых

Он переехал в поселок «Речной Воздух» как только закончили стройку. Занял самый дальний участок, рядом с чистым леском, местный рынок недвижимости в то время уже не кипел, как Йеллоустоунские гейзеры, — можно было выбирать. К тому же его интересовал не престижный вид с крутого берега на спешащий к Океану могучий серый поток, а скромные елочки-сосенки на задах. Между прочим, в тех иголках он в отдельные годы рыжики собирал, но здесь его добычу некому оценить.

И даже сейчас дома по соседству пустуют — не хочет управляющая компания цены снижать. Так что его покой не нарушали ни рычание многосильных моторов модных траков и навороченных внедорожников, ни детские визги, ни семейные ссоры — правильную берлогу себе выбрал.

Одно досадное исключение: редкие порывы западного ветра приносили иногда приглушенные стуки-щелчки выстрелов из тира-сарая Национальной стрелковой ассоциации рядом с прогулочной тропой, переоборудованной из заброшенной железнодорожной колеи. Впрочем, не позже восьми вечера убийства холодных мишеней заканчивались, и полная тишина опять торжествовала.

Общение никогда его не привлекало. В Рисерч Центре без этого было не обойтись. Но в свободное от работы время — извините.

А пенсионером сделался — потребность в слове изреченном почти исчезла. Тут и Интернет руку приложил: музыки, литературы, новостей — больше, чем требуется. И одновременно неграмотность, нетерпимость, открытая ненависть незнакомых больных людей расцвела ядовитым спектром. Гори они огнем, собеседники потенциальные. Ему выдуманные книжные персонажи ближе и понятнее. А милые звуки — вообще сами в душу ложатся, не требуют усилий для осмысления: все прожито-пережито давным-давно, все принимается с благодарностью с первой ноты. Причем слова, если Мария Каллас поет — это же «Каста Дива», это же Беллини...

Автор, сочиняющий под псевдонимом О.Камов, — специалист в области прикладной и вычислительной физики, окончил МФТИ, работал в одном из московских академических институтов. Рассказы опубликованы в журналах «Знамя», «Урал», «Новый Берег», «Звезда».

Предыдущая публикация в «ДН» — 2020, № 12.

Правда, порою тоска наваливалась... Милосердно давала знать ему заранее: сухость во рту — как перед ответственным докладом. Или слабость неожиданная, по счастью, недолгая. Или новое чего-нибудь... Неважно, сразу доходило: оно.

Когда еще здоровье имел — лечился стандартно: грамм двести-триста односолодового. Помогало.

Но не всегда, и тогда приходили сны и «змеи сердечной угрызенья» — ровно по признаниям кудрявого молодого чувака. В ночи он повторял все свои прискорбные отвратительные дела — один к одному. И ничего-ничего-ничего не мог изменить — как ни хотел. Какие же страсти им владели годы и годы назад? Не смыть ему печальных строк. А Поэт свои смыть — не хотел или не смог? Ведь мучился, слезы лил. Загадка...

Он даже к шринку ходил. Не к какому-нибудь психотерапевту-самоучке — настоящему психиатру, из Mental Health.

Конечно, он понимал, что этот визит ему карьере может испортить. Да бог с ней, с карьерой, не тронуться бы умом, ведь можно пропустить момент, в который дураком сделаешься. И кто тогда подскажет? — он давно один как перст, но к добрым друзьям в дурдом не переедет ни за что.

Юный бородатый врач его разочаровал: слушал невнимательно, гнул свое, спросил коротко: «О суициде думали?» И когда он ответил мгновенно: «Нет!» — резко потерял интерес.

«Полегче, полегче, сэр, — что за страхи, какое безумие? — у всех нервы, в непростое время живем, вы же в Центре работаете, папа покойный там же трудился, оттуда каждый второй пациент приходит с одинаковыми жалобами, один раз в день, после завтрака, через три месяца встретимся, может, чуть подправим», — и протянул рецепт.

Видно, их теперь так учат. Пришел домой, залез в Интернет: антидепрессанты-нейролептики могут усиливать риск суицида — ну да, известный сайд-эффект, у многих лекарств наблюдается — получи то, от чего лечишься, основы философии.

Все же решил попытаться, начал таблеточки кушать. Долго не соображал, что с ним происходит: голова гудит, ни о чем думать не хочется, но тянет двигаться — неважно куда. Все свои действия оцениваешь как бы со стороны. И даже иногда с той же стороны как бы глядишь сам на себя — чур его, чур! С этими ощущениями ему красную ковровую дорожку раскатят прямо до Ментального Института.

Через три месяца позвонил мозгоправу, сказал, что все неприятные симптомы исчезли и попросил разрешения закончить лечение, — тот не возражал. Без дьявольского снадобья действительно полегчало.

И почти в то же время его посетили.

Он в тот день работал из дома, очень напряженно, завершали важный проект. Устал, откатился в кресле от компа, глянул в огромное, до полу, окно на балкон.

Большая птица, хоть и меньше орла, застыла неподвижно на перекрестье перил. Заостренный крючок клюва. Шея, как у борца, отсутствует. Пестрые перья с серовато-красноватым отливом...

Мистер Соколофф, или сеньор Фальконе по-итальянски: он уже видел их, часами парящих под облаками, перья крыльев и хвоста почти сливались в полете в единую несущую поверхность неимоверной площади. Так вот почему из его ярда внезапно исчезли тучи назойливых юрких бурундучков-землекопов заодно с пугавшими его вначале безобидными садовыми змейками!

«Хорошая работа, сэр, приветствую вас в собственном гнезде, попробую вас посылить отблагодарить, вы залетайте сюда, спускайтесь иногда со своих высот. Знаю, вы не особенно разговорчивы, — но я этому только рад, сам молчун».

Он растворил балконную дверь, — неожиданный гость неспеша оттолкнулся мощными лапами и воспарил. Вот и представились друг другу без лишних слов.

В памяти вдруг нарисовалась волновавшая его детское воображение душевная песня из городского ретранслятора:

А соколов этих
Люди все узнали:
Первый сокол — Ленин,
Второй сокол — Сталин.

Как же он плакал безутешно, когда второй сокол с того дуба дуба дал...

Но недолго горевал и вскоре весело напевал с друзьями на школьных переменках:

Берия, Берия вышел из доверия,
А товарищ Маленков надавал ему пинков!

Потом он вообще потерял счет соколиным уходам-приходам-уходам... Наконец, просто перестал обращать внимание: у тех, на дубу, — одна жизнь, а у скромных людей внизу — другая.

Вот и этот залетный — тоже временный. Надолго ли?..

Когда в очередной раз ездил в магазин затовариваться на неделю, купил специально для хищника лоток свежайшей говядины, нарезанной тонкой соломкой, как для бефстроганов или азу — пусть привыкает к русским разносолам, сам бы сырым ел мясо такого качества, да диетологи не рекомендуют. Вернулся домой, положил несколько кусочков на балконе, точно там, где сокол присаживался, и забыл на время. К следующему вечеру там чисто было, не хотелось думать, что угощение умным и наглым воронам досталось, при его крутом госте их место — у параша.

Ну и тдтп, не спеша, шаг за шагом. Лавры великих дрессировщиков его не волновали, к соколиной охоте он тоже был равнодушен — это же не любимая грибная.

Но отношения, в конце концов, выстроились: носатый визитер уже не делал ноги при открывании балконной двери, а благосклонно мониторил хозяина еле заметным поворотом головы — скромно, достойно и без излишних колебаний воздуха. Год за годом...

Только не все, что построено, — на века.

Уход на пенсию не сильно изменил его жизнь, разве что больше стал гулять — по совету тех же докторов. Их «железная» тропа простиралась на мили и мили, и он двигался по ней, сколько мог. Потев и пыхтя, как настоящий паровоз, забирался на холмы. Пробовал отдышаться на спусках.

Когда проходил открытые пространства, часто видел обгоняющую его по луговой бирюзе или полевому золоту быструю тень. Обращал очи к небесам — точно, его молчаливый друг, товарищ Соколов. Интересуется. Он поднимал свой рюкзачок вверх, если там лежало что-нибудь интересное. Хищник пикировал с высоты, будто для смертельной атаки, но в последний момент аккуратно приземлялся рядом. Пугал? Играл? Ожидал-угощался-смывался.

Идиллия...

Потом он отдыхал на обочине, пока пульс не утихал, и шел обратно.

Однажды задержался около того самого тира, слишком уж громкая пальба оттуда шла, ведь не из базуки же они там шарахают.

— Нравится? — он не заметил подошедшего сбоку невысокого мужичка с продолговатым брезентовым мешком на ремне через плечо.

Даже не ответил, только развернулся лицом к собеседнику: чего болтать бестолку?

Но тот игнорировал его красноречивый жест:

— Я вначале так же останавливался тут. А потом решил: а чем я хуже? — В наступающих сумерках зубы незнакомца потрясали немыслимой снежной белизной. — Зовите меня просто Ларри, у меня за спиной совершенное орудие убийства, знаменитая М-16, тридцать патронов в магазине, наверняка видели или слышали. А в руках держали? Вот и я нет до поры до времени. А как пришлось вставить в рот третью модель BMW — да, да, именно во столько мне обошлись импланты, — решил: ровно то, что доктор прописал. Иначе в следующий раз эта шпана тинейджерская порвет мне селезенку, или почки отобьет, или еще что-нибудь критически нужное, чего не починить ни за какие деньги. Поэтому оказался здесь, гораздо дешевле, чем современные медуслуги, поверьте. Правда, сейчас автоматическое оружие в нашем штате не купишь, но существуют и другие эффективные способы себя защитить, — Ларри расстегнул куртку и показал черную кобуру на поясе. — Вы даже не представляете, какая уверенность приходит, когда всаживаешь пулю за пулей в мишень, в самое яблочко, и думаешь: «Ну, давайте, суки, рискните теперь подойти, свалить дедушку, ногами оттоптать... Украшу асфальт кровавым мясом, порадую местных ворон!» И всего-то сделал им легкое замечание, типа комментариев негромкий, что неплохо было бы сигаретные бычки не на землю швырять, а в урну. Цветы жизни... — пусть сосут теперь. Подумайте, на исходе дней у вас появляется шанс ненадолго встретить иные — неужели не попробуете? Чувствую себя — будто выпил прилично, а ведь ни капли не принял. И так каждый раз после стрельб. Что-то зверское в душе просыпается, даже пугает иногда. Но и с этим научился управляться, добрые люди подсказали: девушку МарьХуанна зовут, пара затяжек — и все углы в овалы сглаживаются, небеса светлеют, пьянство забубенное и прочие непоправимые ошибки молодости превращаются в легкие приключения, сам себе кажешься лучше и добрей — жаль, что ненадолго. Воздушная вещь, уже почти легализована, практически никакой зависимости, поглядите на меня — разве я похож на нарка? В общем, вот вам моя старая магнитная карточка, прилепите к холодильнику, если надумаете — позвоните: «Постреляем, Ларри?» Пока, приятно было побеседовать.

Малый удалился.

Причудливые завитки на гибком прямоугольничке: *«Цветы на любой вкус. Ларри Голдфишер»*.

И телефонный номер.

Что сказать, самостоятельный стэндап Ларри произвел впечатление, с того дня карточка хранилась на дверце холодильника. А он — думал.

Он принял решение не сразу, а месяца через два, когда в их поселке, прямо на парадном въезде, наркоманы ограбили два дома. Полицейские офицеры побеседовали с каждым владельцем и посоветовали тем, кто еще не сделал этого, поставить

недвижимость на профессиональную охрану. Местная газета сообщала: незадачливых грабителей быстро схватили при попытке продать краденое, но он обратил внимание только на то, что пострадавшие хозяева случайно отсутствовали.

А что могло случиться, если бы они дома оказались? — он хорошо помнил «Хладнокровное убийство» Трумена Капоте.

Так он сделал свой выбор.

Ларри вел себя как заботливая мать: помог собрать все необходимые бумажки — про его давний визит к шринку никто не вспомнил, да и что там подозрительного было — у всех нервы! Помог выбрать аккуратный пис на восемь патронов. Рекомендовал его в клуб, где учил стрелять из своей М-16 и из новой «пушки»...

Наконец, познакомил с незабываемой МарьХуанной и ее дистрибьютором Кеном — воспитанным студентом местного колледжа. Когда возникало желание — он звонил Кену, говорил: «Простите, ошибся номером», тот отвечал: «Ничего страшного», в условленное время забирал из его почтового ящика деньги и оставлял взамен маленькую картонную коробочку с надписями — будто из аптеки. Предельно удобно.

А первую «трубку мира» выкурили у него в берлоге — он и Ларри, он решил сделать исключение для своего второго гостя, как сделал его для первого.

Ларри был замечательный чувак, он прямо-таки рвался дружить до гроба, торжественно обещал, что, если что не дай бог случится, — составит другу охуумопомрачительный венок...

В общем, под травкой разговорчивость цветочника становилась просто невыносимой.

Он твердо решил, что этот визит будет последним.

И на прощание сказал, отодвигая штору на окне: «Позволь, Ларри, познакомить тебя с моим старым другом, мистером Фалконом», — он твердо знал, что хищник здесь, он видел его краем глаза.

Конечно, его решение было неподготовленным и даже немного опрометчивым, он ведь даже не испросил у старого друга разрешения на знакомство — МарьХуанна избавила его от всех этих избыточных китайских церемоний.

Он растворил балконную дверь — мистер даже не пошевелился. Ну кто мог подумать, что в таком состоянии Ларри сделается неустрашимым: широко распахнет объятья и со словами: «О, Фалко, мэн, как я рад, как поживаешь?» — двинется к углу, будто там муха сидит.

Хозяин крикнуть не успел, как зверюга мгновенно расправила огромные крылья и прыгнула навстречу своей добыче, он уже предчувствовал, как ужасные когти будут раздирать нежную человеческую плоть...

Но в миллиметрах от Ларриного скальпа птица практически вертикально ушла в небо — будто Боинг-777.

— Куда же он? — только и спросил маленький стрелок. — Зассал, что ли?..

Жизнь продолжалась, он по-прежнему стрелял и расслаблялся в перерывах, уже один, и видел в окне пернатого друга.

И однажды, под влиянием, даже решил выйти наружу и попросить у того прощения за неудачную презентацию; после сам не понимал, как до такого додумался.

Только друг мгновенно смылся, едва он приоткрыл дверь на балкон, будто в самое первое знакомство.

«Вы*бывается», — подумал он и решил, как в былые времена, приготовить угощение повкуснее.

Приготовил, но оно осталось лежать нетронутым.

«Чего тогда прилетает?» — подумал в немалом раздражении; он по застарелой своей привычке искал в каждом поступке логику, что довольно странно в применении к Природе. А, может, у травки поставщик поменялся — крепче забирает.

Купил ему в спецмагазине двух маленьких мышек, белых-белых — как импланты Ларри. В маленькой клеточке.

Идея была: хищник увидит подарок, заведется... А он подойдет, дверку откроет — тот их цап-царап. И сменит гнев на милость.

И простит его, ну сколько же можно!

На следующий день он проверил жертвоприношение на балконе.

И увидел: бывший друг насрал на клетку сверху!

Ну это тебе так просто не пройдет. Ответишь.

По высшей мере.

Он тщательно все убрал, выпустил мышек на свободу, выбросил ненужную клетку, проверил горелку в старой барбекюшнице, почистил и без того чистейшее оружие, раскурил трубку с МарьХуанной.

Потом еще одну, — он ждал...

Прилетел, наконец.

Он вышел на балкон и в один выстрел снес гаду голову к херам. Легко, как в тире.

Потом долго ощипывал мертвеца, вскрывал грудную клетку, пластал на решетке, регулировал огонь, опять курил в ожидании, проверял вилкой готовность, отрезал острым ножом кусок...

Блевал-блевал-блевал, до желчи, до слез, до погребального звона в ушах.

Вставил ствол в рот и быстро нажал на спуск.

Айгюн Мамедова

Старик решил умереть

Рассказ

Старик спустил ноги с кровати. За окном шуршал дождь, и ему казалось, что он слышит все так отчетливо, будто непогода у него в гостях, в его комнате. Старик не любил весенних дождей, сырых и промозглых. Другое дело летний, — как принять ванну в душный день. Сейчас бы закурить, мелькнуло у него. Он посмотрел на свои ноги. Смуглые толстые пальцы, некрасивые серо-желтые ногти. Не дотянуться уже, не привести их в порядок, не поранившись ножницами. Слава богу, есть сын. Эти ноги бегали по городу так много и долго в молодые годы, что теперь кажется, то был сон. Он не чувствовал их, просто они были — сильные, выносливые, большие. Что еще нужно для счастья? Сильные ноги!

Со стула лапшой свисали черные носки. Он пересел с кровати и натянул их. Еще год, может, два, и добежать до туалета станет проблемой. И не только его. Друзья-старики рассказывали, как чертыхаются невестки и дочери, убирая за ними. Человек жалок в старости. Он мечтал жить долго и не знать смерти, и подумать не мог, чем может обернуться долгая жизнь. Когда ноги окончательно покинут меня, я наложу в штаны, с грустью заключил старик, нажимая на слив унитаза.

— Каша недани¹? — спросила невестка.

— Эх², — ответил старик, присаживаясь за стол.

Сын поднялся из-за стола, чтобы налить чай, пока невестка наполняла тарелку горячей овсянкой. Старик ел медленно, думал о еде, о внуках, что учились в Махачкале, считал, сколько осталось до каникул, шумно выдыхал через нос. Дождь закончился, солнечные лучи яркими золотыми сетями проникали на кухню через окно. Под этими лучами плясала пыль и слегка нагревался пол. Мысли порхали в голове старика, и ни одна не задерживалась надолго. Допив чай, он посидел часок-другой у телевизора, правда, больше смотрел на сына, чем на экран. Тот уснул на диване: воскресный день. Его мальчик всегда спал спокойно, и безмятежность, разлитая на лице сына, радовала старика. Легкий ветер через полуоткрытое окно на балконе надувал парусом занавески. Старик накрыл сына пледом и ушел к себе, чтобы надеть свитер и встретиться

Айгюн Мамедова родилась в Баку. Окончила филологический факультет Дагестанского государственного университета. Печаталась в журналах «Гений», «Вайнах», сборниках «Мы — молодые», «Новые писатели», альманахе «Кавказский экспресс». Живет в Праге. В «Дружбе народов» публикуется впервые.

¹ Кашу будешь? (*лезгин.*)

² Да (*лезгин.*)

с друзьями. Пиджак, сигареты (он похлопал по карманам, чтобы удостовериться, что они там), шляпа. На пороге, уронив металлическую ложку для обуви, он разбудил сына.

— Фена зун¹.

— Фена? Базардиз²? — сквозь сон спросил он.

— Эгъ. Вун ксус³, — ответил старик и как можно тише притворил входную дверь.

Третий этаж — страшное испытание.

Рынок гудел, кричал, был в движении, сродни большой песочнице, в которой резвятся неугомонные дети. Запахи шаурмы и жареного мяса щекотали ноздри, вид гоголов, аппетитных солнечных кругляшей, манил к себе.

— Недорого, отец! — возник из ниоткуда голосистый продавец. — Вкусный свежий гогол, недорого. Еще горячий! Сколько положить? — тут же наготове пакет.

— Нет, нет. Спасибо, спасибо.

Старик пошел дальше. Гоголов ему не хотелось, но ему нравилось смотреть и думать, что он все еще чувствует вкус еды, как раньше. Старик был горожанином, и родной Дербент он исходил вдоль и поперек тысячу раз и столько же, наверно, один или с друзьями, садился где-нибудь в тени деревьев, чтобы перекусить вкусным гоголом. Он знал наперед, что будет: соблазнительный хруст соленой булки, мягкое слоеное тесто, переплетенное с яичным желтком, запах горячей выпечки. Какая все-таки мука — помнить. Что толку, если радости нет. Из старой жизни он прихватил привычку, которая не раз вызывала семейные споры: курить или не курить? Сколько раз он читал на коробке «Курение вредит вашему здоровью», сколько раз думал бросить, потому что жизнь ценнее, и что теперь? Смерть, где ты? Я устал. Дым вышел через ноздри, он затянулся снова. Ммм, нравится, как и всегда. Но ради сигарет цепляться за жизнь все-таки не стоит. Какой абсурд.

Среди небольших зданий северного рынка, что лепились уродливо то там, то тут по бокам, старик быстро нашел свое любимое пристанище: маленькая комнатка с окном почти во всю стену, стекол не было, лишь металлические толстые прутья. Внутри расставлены столы, и на каждом — нарды или шашки. Одни старики внутри сменяли других. Кто-то больше не мог ходить, кто-то умирал, а комнатка — жила по сей день. Прекрасный островок единомышленников. Он докурил и вошел.

Когда она проплыла мимо него с тихой улыбкой, старик на секунду — на вечность! — обомлел и застыл на месте. Если бы во рту по-прежнему дымилась сигарета, она бы киношно упала на пол.

— Дуст! Я, дуст⁴! Давай сыграем! — позвал его Исмаил. Старик присел к столу, видение улетучилось. Интересно, кто это? Друзья пожали руки. — Давай сыграем. Я уже расставил все. Сегодня я тебя точно обыграю.

— Это кто? — двигая шашку, спросил старик.

— С Абдулом?

— Да.

— Марият, — ответил знакомый, подергивая нетерпеливо седой ус. — Абдул болел, а теперь плохо ходит, — они оба посмотрели в сторону Абдула, старика лет восьмидесяти, расставлявшего фигуры на доске дрожащими пальцами. — Дома сидеть

¹ Я пошел (лезгин.)

² Пошел? На рынок? (лезгин.)

³ Да. Ты спи (лезгин.)

⁴ Друг! Эй, друг! (лезгин.)

отказывается, его сестра помогает ему, водит сюда-обратно. Она тут недалеко на рынке торгует. Носки, трусы, то да сё.

Значит, Мария. Старик обыграл знакомого трижды. Они махнули на шашки и встали пройти и поразмять кости. Обойдя столы с другими игроками, остановились у пары, что бросала кости за нардами. Мелькали руки, двигались шашки по доске. Вокруг стола стали собираться старики, обсуждая, кто же в итоге победит: Али или Абдул.

Когда Али, непобежденный, потянулся за тростью и, опершись на нее, медленно встал из-за стола, зрители одобительно похлопали его по плечам, отмечая прекрасную игру.

— Ты играешь не хуже, — заметил Исмаил. — Не хочешь сыграть в шеш-беш?

— Ничто не приносит мне радости, — но тут же перед глазами встала Мария.

Они посмотрели вслед Али, который, попрощавшись со всеми, медленно заковылял по улице. Сутулый, невысокий, в плоской кепке и темно-зеленом свитере, победитель брел домой. А друзья все смотрели и смотрели на него, будто на отражение.

— Знаешь, мне, наверно, тоже скоро понадобится тросточка. Или Мария.

— Зачем это тебе Мария? — удивился старик.

— Ноги ни к черту. Абдулу хорошо, у него есть Мария. Всем бы Марию.

— Всем бы, — согласился старик, но подумал о другом.

— Вчера мне снилась жена.

— Мне раньше тоже снилась. А потом перестала. Но когда снилась в шестьдесят, я думал, хоть бы не к смерти, хоть бы не к смерти. Я знаю, что покойные не снятся к смерти. Просто так думалось.

— Я и сейчас так думаю, знаешь.

— Если бы я увидел ее теперь во сне, теперь, когда я дряхлый старик, я бы молил о смерти.

— Сколько драмы в твоих словах.

— Чан дуст, чан Исмаил! Что за радость жить теперь, когда я чувствую только слабость. Внутри я такой же, мои чувства те же, что и раньше. Но мое тело состарилось раньше души!

— Ну вот, опять драма. Просто живи, — пожал плечами Исмаил.

— Простак ты, — махнул рукой старик.

— Да. Зато не мучаюсь, — заметил тот.

— Да. Всем бы.

Оставшись дома наедине со своими мыслями, старик внезапно осознал, что эти самые мысли в плену у Марии. Она плыла и плыла перед глазами, и молодая душа старика не пропустила ничего: как Мария бережно усадила брата на стул, как поставила рядом его трость, как разгладила свое выпцветшее синее пальто, пройдясь по нему быстрыми руками, как подправила выбившиеся из-под косынки каштановые с сединой волосы, как улыбнулась, столкнувшись с ним в узком проходе между столами. Мария! Как возрождение. На секунду мелькнула непозволительная страшная мысль, что, возможно, если бы сейчас ему приснилась его жена, он бы вновь, как и двадцать лет назад, взмолился: только не к смерти! Цифры, цифры! В пятнадцать лет, двадцать пять, сорок, шестьдесят, восемьдесят два душа готова воспарить, был бы повод!

Наступил май. Старик постоянно сталкивался с Марией. Однажды он помог ей с братом, и они познакомились. Разговоры их были короткими, она спешила к своему товару. Старик думал, что им стоит столкнуться у ее магазина, и тогда у них будет

возможность поговорить подольше. А уж говорить он умел всегда, особенно с женщинами. Внуки шутили, что старик в любом месте найдет себе собеседника. Когда ему пришлось переехать к сыну в другой район города, он от скуки перезнакомился со всеми соседями и их детьми. Ему улыбались на улице, махали рукой, звали пить чай. С ним обсуждали последние новости в городе.

— В какую даль ты меня позвал!

— Исмаил, это просто набережная!

— Тебе сын купил какой-то новый крем?

— О чем ты?

— Ты быстро ходишь. Говори! Если ты нашел чудодейственный крем, не скрывай!

Стариковское сообщество будет благодарно.

— Нет никакого крема, Исмаил. Тебе кажется, — старик хотел сказать, что чудо-крем существует и имя ему, имя ему... О, только не произноси это слово!

Больше не было свитеров и теплых туфель. Май бесподобен: в меру солнечный, свежий, как спелые фрукты, только вымытые и поставленные на стол, — на них еще блещут капельки воды. Море с набережной казалось серо-голубым, ветер дул несильно, но все же временами пытался сорвать с головы старика шляпу.

— Отец в последнее время бодрый, — услышал старик из кухни.

— Да, я заметила. Вчера попросил новые синие брюки и чистую рубашку.

— Наверно, весна.

Что-то тревожно заныло в груди. Вечером впервые в этом мае. Старик с грустью подумал, что не шеголять ему завтра перед прекрасной Марией. Однако утро выдалось теплым, легкие облака парили, будто подвешенные чьей-то невидимой рукой. И мир показался старику чистым и нежным, как утреннее небо после дождя. Что ж, время!

Он долго разглядывал себя в зеркале. Впервые за старость ему показалось, что он неплохо выглядит, а щетина и шляпа придают смуглому лицу и всей его худощавой фигуре старческого шарма. По улице, залитой лужами, старик шел медленно, чтобы не замызгать новые брюки. Впервые за старость он не прошел мимо ларька с благоухающими гогалами, а купил два — себе и Исмаилу (Марии? Марии?!). И вот старик оказался на нужной улице.

Судьбоносные вещи происходят быстро, в считанные секунды. Как перелом в войне или перелом ноги. Старику казалось, что прошла вечность, а на деле — не было и минуты. Он растянулся посреди дороги в луже. Обманчиво ласково светило солнце, и он чувствовал, как намокли штаны и спина в дождевой воде. Предательски заблестели слезы. Ему не хотелось вставать. Ему хотелось, чтобы кто-то потормошил его плечо: вставай, это просто сон! и будь осторожней с лужами, порой они коварней худших из врагов! Он видел, как вокруг него толпились люди, он видел Марию, он слышал, как сигналили машины. Всего-то нужен был один немощный старик, чтобы всполошить этот и без того шумный рынок. Чертова старость! Чертова Мария! Иеси кый к|вачер!¹

Он не помнил, как его подняли, как усадили на скамейку, как дали попить воды и перевести дух. Но помнил, что над всем этим, как утреннее облако, парила Мария, которая несколько раз спросила, где он живет, чтобы проводить до дома. Но он махнул на помощь и поковылял сам, обернувшись лишь раз от мысли о потерянных гогалах, будто об утраченной молодости. Дома суеты было не меньше, чем на улице. Но старику было плевать. Он не выходил на улицу неделю, в основном молчал и думал. А потом старик решил умереть.

¹ Проклятые ноги! (лезгин.)

Старик отсчитал от пенсии пять тысяч, оглянулся по сторонам и быстро положил себе в карман. Затем достал новую пачку сигарет и сунул туда же. Было около шести вечера.

— Зун фена¹, — махнул он рукой сыну и невестке.

— Наконец-то решил прогуляться, а то после того... — услышал старик, закрывая дверь.

Медленным, но уверенным шагом он направился к набережной. Теперь его не остановит даже падение! Старик нервно закурил. Приятно иногда встречать людей, с которыми хочется долго-долго говорить о жизни, особенно если жизнь эта уже прожита и ничего интересного не предвидится. Но к чему Марии еще один немощный? Какой срам, какой срам. Старик сокрушался про себя и спешил к набережной еще сильнее. Сумасшедший, сумасшедший!

По набережной сновали мамыши с колясками, дети, продавцы, праздношатающиеся; пахло едой и соленым морем. Старик, придерживая одной рукой шляпу, нетерпеливо шарил глазами в толпе. Кто же, кто же? Пусть будет этот. Старик остановил свой выбор на человеке лет тридцати пяти. Молодые охочи до денег. Пять тысяч нынче много или мало? Старик подумал, что зря не следил за ценами все эти годы. В его время на пять тысяч можно было неплохо одеться или купить муку, мясо и много чего еще. Сколько сейчас стоит мешок муки? Почему я никогда этим не интересовался? Дурная голова, мысленно корил себя он. О чем же он разговаривал с семьей всю свою никчемную старость, раз не знает элементарных вещей!

— Мороженое хотите? — заулыбался мужчина.

— Нет. Это вам, — старик протянул ему купюру в пять тысяч и записку, в которой он непослушной рукой вывел: «Я иду умирать. Это номер телефона моего сына. Позвоните, пожалуйста, ему через полчаса. Спасибо».

— Подождите! Что это?! — замахал продавец, с лица которого слетела улыбка.

Старик, не оборачиваясь, нырнул в разношерстную толпу и тут же спустился вниз, к морю. Ноги вязли в песке, двигаться стало сложнее. Старик дал себе на смерть времени полчаса. Надо было написать сорок минут! Хватило бы и на последнюю сигарету. На пляже малоллюдно. Понятное дело: еще не так тепло, время позднее. Он снял шляпу, края ее прижал туфлями, чтобы не улетела. Без лишних мыслей старик вошел в воду. Холодная! Он чувствовал, как все его тело цепенеет и покрывается мурашками, и с каждой новой волной, с каждым шагом одежда намокала больше и больше. Есть ли дорога назад? Сумерки густели. Закатная тонкость разливалась по земле, вплетаясь в тяжелую морскую массу, надвигающуюся темноту, растворялась в них.

Старик не знал, как правильно умирать в море. Всю свою жизнь он прекрасно плавал и думал, что, наверно, он когда-то был каким-нибудь человеком-амфибией. Ему везло, вода всегда была к нему благосклонна. Но сегодня старик поставил на смерть в море всё и призвал в помощники старость. Этому миру не нужна еще одна развалина вроде него. Его отбрасывало назад, но старик с завидным упорством шел вперед, пока не перестал доставать до дна ногами. Сил хватило ненадолго, он боролся с водой и плыл все дальше и дальше от берега, и ему казалось, что он уже далеко. Вскоре старик лег на спину и отдался на волю волн. Он облизнул губы и почувствовал вкус воды, с грустью осознав, что пропустил закат, и сейчас над ним висело необъятное широкое темно-лиловое небо. Он вспомнил, как много-много лет назад научился вот так лежать на спине, будто на морской подушке. Тогда он впервые увидел сияющее небо, спящее солнце, услышал движение песка под водой, будто невидимая сила

¹ Я пошел (лезгин.)

пересыпала что-то неуловимое и хрупкое из одной руки в другую. Все казалось другим, и сам он был другим — юным, тонконогим, смуглым от вечной беготни с друзьями. Старик много смеялся, учился плавать и с утра до позднего вечера пропадал на улицах любимого города. Разве нужно что-то еще человеку, кроме дома? Дербент был так же юн и нетерпелив, как и он, Дербент состарился вместе с ним. Старику хотелось увидеть то небо снова, залитое солнцем, высокое и легкое, как в детстве. Но он малодушничал, долго собирался и поздно вышел из дома...

Пора!

Судьбоносные вещи происходят внезапно. Это как в нужную секунду увернуться от кирпича, что злодейски несется к твоей макушке, или почувствовать чью-то сильную руку на плече, что тянет тебя назад как раз в тот момент, когда сам ты в одном шаге от колес авто. Старику казалось, что он далеко, что секунда — и он провалится в черную глубь. Но на деле он болтался на волнах недалеко от берега, правда, все, кто стоял на берегу и ждал развязки, думали, что он мертв. Двое зевак нырнули в воду, чтобы выловить тело и отдать сыну, который был в пути. Старик не понял, как все произошло, и пока хватало сил, пытался вырваться из рук своих спасителей, но вскоре смирился и просто повис тяжелым мешком. На берегу он опомнился, откашлялся и открыл глаза. Старика ослепил яркий свет фонарей, направленных на него. Было непривычно шумно, кудахтали женщины, подошли врачи. Старик узнал сына и своего предателя, продавца мороженого. Мелькнула надежда, что иуда вернул деньги сыну, иначе нечестно.

— Побойся Аллаха! Как ты мог так поступить?! Разве сын плохо с тобой обращался? — восклицала толпа.

— Какой стыд! — причитала невестка.

— Я дах¹, почему ты не сказал, что тебе было плохо?

— Чертова Мария! Чертова Мария! — зло зашептал старик. — Иеси кьейи пупар²!

— Тихо! Тихо! — закричал на толпу продавец. — Он хочет что-то сказать.

— Мы его забираем, — подали голос врачи «скорой».

— Шшш, — зашикала толпа. — Да дайте ж ему сказать! Что вы за люди!

Старик приподнялся и пошарил в карманах в поисках сигарет — ничего! Тишину нарушал лишь плеск волн.

— Холодно, — он обвел взглядом толпу. — Где моя шляпа?

— Вот, — протянул сын.

Старику помогли встать на ноги. С него стекала вода. Кто-то быстро накинул на плечи плед, кто-то продолжал поддерживать его, чтобы он не рухнул на песок. Все по-прежнему молчали.

— У меня хороший сын. Я стар. Мне восемьдесят два года, и это очень много, — старик хотел говорить и говорить, раз уж представился случай и пока зубы не застучали, но вдруг понял, что никому это не надо. — Просто я очень устал... А ты, — он ткнул пальцем в продавца, — не забудь вернуть деньги.

Толпа разомкнулась и смиренно пропустила его вперед. Море шелестело. Врачи заковыляли по песку впереди него, изредка оглядываясь, чтобы удостовериться, всё ли в порядке. Шляпа норовила слететь. Он услышал:

— Сумасшедший...

¹ Папа (лезгин.)

² Проклятые женщины! (лезгин.)

Анна Гедымин

О драгоценных и не очень

* * *

В долине ветра и света,
На лугах асфodelей,
Давай проведём с тобой лето
Или хоть две недели.
Будем ходить в гости,
Будем играть в кости,
И собирать грозди,
И забивать гвозди.
О прошлом думать не будем,
О будущем — редко и мало...
Ты об этом мечтала?

Я об этом мечтала.
Но я не поеду с тобой
В этот край зелёный и голубой,
Где полощутся поутру
Лоскутные бабочки на ветру,
А под вечер, задумавшись, бредёшь за версту
С медовой травинкой во рту.
Я не поеду с тобой в этот край,
В этот рай,
Я сохраню мечту.

* * *

В том, что мы разбежались
(А могли бы не выжить в последней сшибке),
Я не вижу ни злого рока,
Ни системной ошибки,
Ибо страсть, что испытывали,
Бравируя ли, таясь ли,
Далека от нежной приязни.

В назиданье — нам врозь теперь
Бродить по бульварам.
Так нельзя обходиться
С ниспосланным божьим даром.
И тем более наши сетованья смешны,
Если это было от сатаны.

Смотрит жалостно мама с портрета,
Подбадривает:
— Держись!
Что ты носишься с ним,
Как с писаной торбой!
— Ничего я не плачу.
Но знаешь, мама,
Гори она синим огнём, эта жизнь,
Без любви его недоброй...

Напоминание о путешествии

Пожилые пейзажи
С выцветшими глазами
Застыли пред образами.

А теперь в кинозале
Нам их вновь показали.

Вот для чего в июле
Судьба поднесла нам на блюде
Странные две недели,
Ненастные две недели!
Чтобы, оставшись в июле,
Незнакомые люди
На нас с экрана глядели.

С дальних тех берегов —
Как глядят на богов,
Не вдаваясь в детали,
Кем бы мы сами себя ни считали.

* * *

Нежен и боязлив
Вечерний залив.
Плаваешь до первой звезды,
Почти не тревожа воды.
Через десяток лет
Этот неровный свет
Вернётся к тебе во сне —
Мурашками по спине.

* * *

Когда откроют парки и харчевни,
И мой сосед, болезненный на вид,
Вернётся из запоя и деревни,
Где счёл разумным переждать ковид,
Наверное, мы встрече будем рады,
И я стерплю — соседский долг таков —
Его хиты доельцинской эстрады,
А он простит мне чтение стихов.

Какие счёты!
Смерть промчалась мимо,
Не выбрав нас,
Позволив — без борьбы —
Не сгинуть в этот раз в неодолимом
Огне судьбы.

* * *

На станции, в безлюдной чайной,
Назначенной под снос,
Какой узор необычайный
Нарисовал мороз!

Средь фантастических растений,
Цветущих на стекле,
Промелькивают чьи-то тени,
Родные в том числе, —

Тех, драгоценных и не очень
(Теперь, со стороны,
Из этой непроглядной ночи,
Они почти равны),

Шумливых, всё же постаревших,
Озябших без огня,
Не обязательно умерших —
Покинувших меня.

Что ж, сколько ни броди по свету,
Судьбу не превозмочь:
И ты однажды выйдешь в эту
Распахнутую ночь.

И — ни разлук уже, ни горя,
Свет одолеет тьму.
И мы, как прежде, в общем хоре
Споём по одному.

Пётр Карцев

Грешенка

Рассказ

*Ipse simulat se captum ut te capiat;
a te inclusum, te finaliter concludat.*

Henricus de Hassia¹

- Роман, — сказал он, останавливаясь у скамейки.
- Повесть.
- Что «повесть»? Это отзыв? — неуверенно пошутил он.
- А что «роман»?
- Это мое имя.

Она прищурилась поверх темных очков.

— Ах да. Но вы...

— В частной жизни Роман.

— В таком случае — Роман Виленович, я полагаю?

— Давайте без формальностей, — попросил он.

— Профессиональная этика, — охладила она, но без заносчивости.

Она сидела в длинном черном платье, закинув ногу на ногу, и покачивала носком синей туфельки. Ее рука была вытянута вдоль спинки скамейки, и вся поза демонстрировала праздную расслабленность. Не проявляя участия к его нерешительности, она слегка наклонила голову и подкрутила пальцем короткий черный завиток на шее.

Лесбиянка, с любопытством подумал он.

У нее была короткая мальчишеская стрижка, изящно выполненная, с четко прочерченным левым пробором и выразительно-небрежно зачесанной набок челкой. Волосы лежали мягко, и это вызвало его расположение. Если бы они торчали жестким ежиком, это бы его непременно насторожило. А плохо было то, что голова ее с этой стрижкой казалась непропорционально маленькой для долговязкой фигуры.

— Могу я сесть?

Пётр Карцев родился в 1968 году в Москве. Учился на факультете психологии МГУ и в Московском государственном лингвистическом университете. Известен переводами классики кино, выполненными в 90-е годы. Автор романа «Тропик Водолея» (2017). В «Дружбе народов» публикуется впервые.

¹ Прикидывается пленным, чтобы пленить тебя;
в тебя проникнув, тобой овладевает. (лат.)

Генрих фон Лангенштейн

Она слегка приподняла ладонь, лежавшую на спинке, и сделала короткий пригласительный жест. Он сел, украдкой бросив взгляд в сторону выхода из парка — зеленой арки из двух сходящихся древесных крон. Отсюда было видно нос машины, припаркованной у обочины, и шофера, который стоял с сигаретой у капота и смотрел в их сторону. Шубейкин, с одной стороны, испытывал абсурдное удовольствие от того, что встречается с привлекательной молодой женщиной на глазах у шофера. *Чистый эксгибиционизм*, сокрушенно и радостно подумал он. А с другой стороны, ему было все же немного тревожно: пусть даже тот старый гэбэшник и всегда корректен, может ли он быть вполне неподкупен? Все-таки человек деликатный и нелюбопытный, даже если бы подглядывал, не стоял бы и не пялился так откровенно в их сторону.

— Оплата будет наличными? — прервала его мысли долговязая.

Он улыбнулся невольно.

— А вы, что же, и карты принимаете?

Между ними лежали, чуть прикрытые ее склоненной фигурой, миниатюрная синяя сумочка и черная папка для бумаг. Она раскрыла сумочку и продемонстрировала Шубейкину содержимое. Внутри, вместе со всякой женской мелочью, имелся портативный платежный терминал.

— Но это не всегда в интересах клиента, — сказала она.

— Я предполагаю, что не в ваших интересах тоже, — с любезной улыбкой парировал он.

— Что вы имеете в виду? — спросила она с легким удивлением, как ему показалось, за бесстрастной маской.

Шубейкин вскинул перед ней обе ладони.

— Я не задаю никаких вопросов о происхождении лота, — сказал он. — Это ваше дело.

Она слегка нахмурила лоб.

— «Лота»?

— На языке аукционных домов, — объяснил он. — Называйте как хотите. Но я в нетерпении, поэтому скажите мне скорее, что это. «Сын отечества» или «Благонамеренный»?

Она изучающе рассмотрела его лицо в деталях, словно пластический хирург, рассчитывающий стоимость операции.

— Роман Виленович, — произнесла она наконец. — О чем вы говорите?

Он цокнул языком и прикрыл глаза, переваривая разочарование.

Затем покачал головой.

— Увы, — сказал он, — я надеялся на чудо. Издания двадцать шестого и двадцать девятого года у меня есть. Конечно, если ваша книга в блестящем состоянии...

— Боюсь, что вы находитесь во власти заблуждения, Роман Виленович, — прервала она.

Все еще покачивая головой, горько чертыхаясь про себя, он хлопнул ладонью по правому карману пиджака, достал оттуда записку.

— Как вам удалось, кстати, проскользнуть мимо консьержа к почтовым ящикам? — спросил он.

— У нас есть методы, — машинальным тоном произнесла она, принимая у него из рук листок с неровным краем, как вырванный из школьной тетради. — Все верно, — прочитав, подтвердила, скомкала бумагу и убрала в сумочку. Шубейкин проследил взглядом судьбу записки, но ему не пришло в голову возражать.

— Если вы хотите сказать, что обладаете неизвестным доселе изданием, то поверьте, я слишком стреляный воробей, чтобы...

— Изданием чего? — уже несколько устало перебила она.

— Ну как же, — он ткнул пальцем в сторону сумочки. — Вы же сами написали. «Неверную деву лобзал армянин». И сами предложили встречу.

— И какой вывод вы сделали?

— Очевидный, — сказал он, начиная слегка кипятиться. Сколь бы сомнительным ни было происхождение ее экземпляра, все эти экивоки и лукавая уклончивость не служили никакой цели и выводили его из терпения. — Единственный и очевидный вывод: что вы предлагаете мне купить одно из первых изданий, содержащих публикацию «Чёрной шали». Я смел надеяться, что это будет пятнадцатый выпуск «Сына отечества» за тысяча восемьсот двадцать первый год или хотя бы десятый номер «Благонамеренного», что тоже превосходно. Но прижизненные книжные издания у меня уже есть, одно из них даже...

Она откинула маленькую головку назад и расхохоталась. Линия шеи у нее была изящной и тонкой, удивительно беззащитной вопреки деловой и небрежной манере разговора с мужчинами. Вообще ее хрупкость и открытые тонкие плечи были приятны Шубейкину, и он решил не сердиться на нее, какой бы глупостью ни оказалось в итоге ее предложение.

Когда взгляд брюнетки вернулся к нему, из-под очков были видны высоко вздернутые завитые ресницы.

— Простите, — еще с дрожью веселья в голосе сказала она. — Кто написал «Чёрную шаль»?

Он уставился на нее.

— Пушкин, разумеется.

— Так, — зафиксировала она достигнутый прогресс тоном человека, пытающегося продрагаться через недоразумение кратчайшим путем. — Я вижу теперь, что в контексте библиофилии ваша интерпретация записки была эксцентричной, но допустимой.

Шубейкин тряхнул головой.

— То есть речь не о Пушкине?

— Не сегодня.

Он чуть отстранился и даже отодвинулся от нее немного, слегка опустив подбородок, глядя подозрительно.

— Но тогда, позвольте... в чем причина нашей встречи?

— Меня можно не бояться, — перешла она вдруг почти к развязности. — Пушкин бы оценил иронию. Забавно, что вы отнесли цитату на счет антикварной реликвии, из которой она позаимствована, а между тем, жизнь следует литературе на каждом шагу.

— Пушкин не реликвия, — возразил Шубейкин.

— И я вам это докажу, — согласилась она. — За подобающее яркости примера вознаграждение.

— Ого! — сказал с усмешкой Шубейкин. — Что же вы хотите мне предложить? Мои интересы...

— ...Не ограничиваются Пушкиным, вероятно?

Он развел руками.

— Я полагал, что Пушкин вмещает в себя мир. Вы когда-нибудь слышали про энциклопедию русской жизни?

— Том первый. От А до адюльтера.

— Тогда знаете ли вы, что «адюльтер» происходит от латинского образования, означающего «привносить из запредельного»?

У Шубейкина не было интеллектуальных претензий, но он много читал и даже мечтал втайне поразить когда-нибудь академический и литературный мир небольшой, но блестяще аргументированной статьёй о каком-нибудь пропущенном аспекте пушкинского творчества. Тщеславия он был лишен; но яркой звездочкой мелькнуть на небосклоне литературы и раствориться — это было бы ему приятно.

Собеседница изучала его сквозь темные стекла.

— Хорошо, — сказала она наконец. — Коли под вами лед сам не треснет, придется ломать. Простите великодушно.

— *Простите великодушно*, — в интонационных кавычках повторил Шубейкин. — Вы сами, как пушкинская барышня, выражаетесь.

— Тургеневская, наверное? — предположила она. — Барышни обычно бывают тургеневские.

— Тургенев посредственный писатель, — возразил Шубейкин. — Пушкин — это моя страсть.

— Повторяю вам, это не та страсть, которая нас сейчас интересует.

— У меня, — продолжал он, — самая большая в стране частная коллекция книг о Пушкине и прижизненных изданий.

Шубейкина понесло. Он начал рассказывать ей библиографические данные некоторых самых редких экземпляров из своей коллекции. Тема была для него почти интимной, закрытой для случайных знакомых или даже коллег по работе. Он и сам не знал, почему глупое недоразумение заставило его вдруг довериться этой странной барышне. Которая, впрочем, очень быстро вновь его прервала:

— Роман Виленович, — сказала она мягко, но ловко, так что лезвие ее голоса проникло точно в зазор между его словами. — Жена ваша вам изменяет.

— ...из библиотеки графа Нессельроде, с его экслибрисом, — закончил он замирающим шепотом, и сердце его болезненно скакнуло, ударившись о ребра. — Что?

Она без слов достала из деловой папки несколько фотографических снимков и передала ему. На верхнем, еще из ее рук, он увидел лицо своей жены Алёны, повернутое к фотографу, открытое, взволнованное, почти испуганное, вопросительное. Нижняя рамка кадра обрезала руку, лежавшую на чьем-то плече. Следующая фотография содержала ту же сцену, но общим планом: мужчина спиной к камере склоняется к ее шее; Алёна вскидывает испуганный взгляд в сторону фотографа.

— Сочувствую вам, — сказала отдалившаяся внезапно куда-то очень далеко разносчица дурных новостей.

Шубейкин медленным механическим жестом перебрал один за другим все снимки. Какой-то парк; безлюдно, как в будний день в обед; ветка цветущей черемухи над головами любовников; а вот они уже на скамейке, и рука мужчины лезет Алёне под блузку.

— Как... — начал он, остановился, задохнувшись, потом начал снова. — Зачем это у вас?

— Мы молодая компания на рынке, — непринужденно ответила брюнетка, расслабленно откинувшись назад и раскинув обе тонкие загорелые руки вдоль спинки, словно отбрасывая прежнюю деловитость в пользу ленивой дружеской беседы. — У нас достаточно средств на рекламный бюджет, но рекламу наших услуг, дорогих и деликатных, трудно таргетировать на ту аудиторию, которая нас интересует.

— Ваших услуг? — переспросил Шубейкин, с усилием ворочая языком и не слыша сам себя, словно в голове свистел ветер. — Вы преследовали мою жену, вы... напугали ее...

— Нет-нет, — успокаивающе сказала она. — Наши агенты пользуются исключительно скрытыми камерами. В оправе очков, как правило. Ее встревоженный взгляд вызван, без сомнения, нечистой совестью, которая подозревает соглядатая в каждом прохожем.

— Нечистой совестью! — вскричал он.

Собеседница слегка повернула голову и окинула глазами окрестности.

— Не стоит так кричать, — предложила она. — Вопрос, в конце концов, деликатный.

Шубейкин обнаружил, что у него трясутся руки. Он перевернул фотографии изображением вниз и попытался задержать мысленную завесь перед разверзшейся

внезапно запредельностью. Но где-то в лобной доле словно бы вращался теперь зеркальный шар, то и дело пульсирующий вспышками черного света.

— Что вы знаете о деликатности? — дрожащим голосом произнес он. — Известно ли вам, что моя жена — кроткое, нежное существо, добрейшее, добрейшее... Как я ее люблю — известно ли вам? Что в ней моя душа, мое счастье, мое будущее...

Слова эти в первую очередь изумили самого Шубейкина. Хотя к жене он относился и в самом деле трепетно, никогда ничего подобного в отчетливую форму до сих пор не облекал, и жизнь его была занята в основном работой и любимыми фолиантами. *Не потому ли? не потому ли?* тут же подумал он. И затем сразу поразила мысль, что если все сказанное собеседницей — правда, то никакого будущего у него, быть может, и нет, все оно перечеркнуто одной ошибкой, запиской в почтовом ящике, необдуманной явкой на вероломное свидание, подлым ударом судьбы...

Он снова перевернул фотографии и попытался всмотреться в них, борясь с истерической слепотой, всполохами черных пятен перед глазами.

— Клевета, клевета, — пробормотал он и тут же вырвал взглядом неоспоримые доказательства обратного. — Он принудил ее! — молящим голосом обратился к собеседнице.

— Вы еще не видели дальнейшего, — сказала она ровно и в то же время как будто с ноткой сочувствия.

— Люблю больше жизни, — жарким шепотом сказал Шубейкин.

Собеседница посмотрела на него непроницаемо сквозь черные очки и едва заметно коснулась кончиками пальцев его плеча.

— Роман Виленович, — сказала она. — Вы неожиданно милый человек, поэтому дам вам маленький совет. Не нужно делиться со мной приватными чувствами. Наши с вами профессиональные отношения почти окончены. Кто знает, какой меня может посетить соблазн воспользоваться вашей непрошенной откровенностью.

Он пустым взглядом окинул парк, затем повернул голову и уставился на нее.

— Что вы имеете в виду?

Она улыбнулась одними губами и сухо сказала:

— Сегодня мой клиент вы, завтра кто-нибудь еще.

Шубейкин облизал сухие губы, прикрыл глаза. Волна отчаяния достигла высшей приливной точки, безысходная скорбь залила все без остатка, и на некоторое время он перестал чувствовать что-либо вообще.

— Профессиональная этика, — сказал он. — Вы сами упомянули профессиональную этику.

Опасная собеседница бросила короткий взгляд на миниатюрные часы в платиновом корпусе.

— И она в вашем распоряжении еще на пятьдесят минут, Роман Виленович. Я вписала нашу встречу в счет как часовую, не обессудьте. Биллинг меньше часа не предусмотрен, к сожалению.

— Вы продаете свою этику на почасовой основе! — тихо и горько вскричал Шубейкин.

Она медленно сняла очки и приподняла бровь.

— Мне странно слышать это от вас, называющего детские трупы постановочным реквизитом.

Шубейкин вздрогнул и дернулся как от удара.

У брюнетки были синие глаза. Он увидел их отчетливо благодаря легкому ветерку, колыхнувшему тень липовой ветки у нее на лице, и взгляд их, на мгновение выхваченный солнцем, порастил Шубейкина, как клинок. Невероятной, пожалуй, синевы глаза — а скорее даже, цветные линзы. Шубейкин не был ни толстокож, ни тугоумен. И обстоятельство это поразило его двояко: во-первых, какова! подобрать цвет глаз под цвет тувель и сумочки! А во-вторых, было что-то жутковатое в таком

сокрытии подлинного взгляда, словно ты не знал до конца, с кем разговариваешь. И в-третьих, в-третьих, показалось ему с новым дуновением ветра, значок тоже был синий! Или не было его вовсе.

Губы Шубейкина между тем тряслись от обиды.

— Я вижу, вы себя обманываете, что вы идеалист, — сказала она. — Не подвергайте сомнению мою профессиональную этику, и я не стану подвергать вашу.

— Как вас зовут? — с неожиданной хрипотцой спросил он.

— Нет никакой необходимости вам знать, как меня зовут, — без вызова заметила она. — Но из любезности я вам скажу: Ленор.

— Шепчут ангелы его, — машинально произнес Шубейкин себе под нос.

— Большинству приходит в голову стиральный порошок.

Он наклонился вперед, опершись руками о колени, сцепив пальцы перед собой.

— Знаете ли вы, что По мог читать Пушкина в переводах Борро? — механически спросил он, не думая, что говорит.

— Храни меня, мой Тамерлан? — предположила она. — Я знаю, что обоих влек первый цвет юности.

Шубейкин вспыхнул, повернулся на секунду к ней. Дразнит ли она его нарочно? Но синий взгляд был пустым и немного жутким. Его собственный разрез глаз не допускал испытующего прищур. Он отвернулся в смущении.

— Завершим нашу транзакцию, — предложила она.

Он вопреки всему усмехнулся.

— Что же, вы ожидаете, я вам заплачу за разбитую жизнь?

— Все мы предпочитаем жить во сне, Роман Виленович, но пробуждения иногда неизбежны, — без назидательности произнесла Ленор. — Жду я только денег, но легкая, необременительная благодарность мне будет так же приятна. В конце концов, более позднее пробуждение могло бы оказаться намного грубее.

— Идите к черту, — сказал Шубейкин.

Она улыбнулась одними губами.

— Как видите, я хрупкая, беззащитная женщина, — сказала она, — и применять доступные мне методы принуждения было бы абсурдно по столь ничтожному поводу — ради всего лишь денег. Тем не менее, я думаю, что вы заплатите.

— Вы полагаетесь на мое извращенное любопытство? — презрительно спросил Шубейкин.

Она покачала головой и вновь спрятала глаза за темными очками.

— Вы просто не пожелаете оставлять мне эти изображения.

Он посмотрел себе под ноги на высушенные августовской жарой последних дней тополиные листья, желтые в бурых пятнах, цвета его загубленной теперь жизни. И ведь эта пустота была всегда, он просто не видел ее.

— Сколько вы хотите? — отрывисто спросил он.

Она назвала сумму — по нелепой иронии, ровно в тех же пределах, что он рассчитывал заплатить за «Благонамеренного». Шубейкин потянулся за пазуху.

— Только дождемся, пока пройдет старушка с коляской, — предложила Ленор.

Он проводил взглядом старушку, достал пачку купюр, отсчитал двадцать пятидесятичных, беззвучно шевеля губами; отделил, вернул в карман, и протянул остаток.

— Пересчитайте, я настаиваю, — попросил он.

— Нет необходимости, — сказала Ленор. — Я наощупь определяю.

С этими словами она подняла пачку на уровень его глаз, держа между большим и указательным пальцем. Пальцы у нее были длинные, изящные и в то же время крепкие, цепкие, как очень точные и надежные инструменты. Станным показалось

Шубейкину, как идеально была соблюдена горизонталь в ее жесте, и как неподвижна была рука.

— Может быть, вы и фотографировать глазами умеете? — сухо предположил Шубейкин.

— Я много что умею глазами делать, — сказала она, ловко убирая деньги в сумочку и открывая папку для бумаг.

— Глаза — зеркало души, — пробормотал Шубейкин, подразумевая избитую фразу как риторический плевок.

— Пушкин? — спросила Ленор.

Он посмотрел на нее с легкой оторопью. В этой ее манере на грани деловитости и издевки, то ли намеренной, то ли наивной, было что-то, вопреки всему, интригующее, даже... осмелится ли он признаться себе? — привлекательное. Он всмотрелся в ее мальчишеское изящество, тонко вычерченные скулы, острую линию подбородка... если бы только эта маленькая головка не портила ее слегка... В ней было что-то от неуклюжего ангела-переростка.

Она достала из папки конверт, из которого пальцами приоткрыла веером уголки еще нескольких фотографий, словно в виде искушения. С отвращением ко всему на свете он вытащил одну навскидку. На ней был изображен мужчина, опускающийся на сиденье дорогой машины, где рядом, со стороны пассажира, угадывалась женская фигура. Лакированное дерево и желтая кожа в салоне. Широкое, но не полное лицо, смуглая кожа, жесткие волосы, чуть посеребренные на висках. Умные, внимательные, немного насмешливые глаза.

Не моложе меня, с глухой болью в сердце подумал Шубейкин.

Моложе — нет, но выше, атлетичнее и, как сейчас сказали бы, — брутальнее. И красив, черт возьми. Шубейкин не питал никаких иллюзий по поводу своей внешности. Рядом с этим великолепным самцом он сам с таким же успехом мог быть представителем другого животного вида. Общего у них на глаз было не больше, чем у тигра, скажем, с... *С боровом*, подсказал себе Шубейкин. Да, с боровом. Детское прозвище «Хряк» вспомнилось ему. Не то чтобы Шубейкин когда-нибудь сильно забывал о своем обидном детстве. Все эти вещи не проносятся даром, не перечеркиваются последующим ходом жизни.

— Кто он? — глухо спросил Шубейкин.

— Голландец, — деловито сообщила Ленор. — Атташе по культуре.

Дипломат, подумал Шубейкин. *Неприкасаем*. К тому же познакомилась с ним Алёна наверняка на одном из тех приемов, куда он сам же ее водил. С другой стороны, для чего нужна красавица-жена, если не выводить ее в свет? Пусть смеялись над ним за то, что женился на молоденькой провинциалке, да, он знал, что смеялись за спиной; а все равно завидовали! Пожирали ее глазами, раздевали взглядом и завидовали, зная, что нынче ночью им лежать в одной постели... и что он, Шубейкин, обладает всеми правами на это безупречное, волнующее тело, которого не касалась рука пластического хирурга, на эти губы и глаза зеленые... И как все головы поворачивались, когда они входили, и дальние перехватывали взгляды ближних и тоже вертели шеями, чтобы остолбенеть при виде такого совершенства; ни один, ни один не пропускал, чтобы не обернуться... Эх!

— Вот, возьмите, — сказала Ленор, протягивая на ладони компьютерную флешку. — Здесь все фотографии, видео и письменный отчет. Три локации. Парк — это то, что я вам показала. Уровень компрометации средний. Ресторан. Без компрометации. И отель. Максимальный уровень.

— Уровень компрометации, — мертвым голосом повторил Шубейкин. — Это что же?

Он взял флешку, зажал в кулаке, опустил бессильно руки на колени. Один из снимков соскользнул на землю. Ленор наклонилась его поднять, смахнула

любопытного муравья, затем достала оставшиеся снимки у Шубейкина из несопротивлявшихся пальцев и деловитым жестом, исключавшим любое допущение интимности, убрала ему во внутренний карман пиджака. Затем опустила ладонь Шубейкину на рукав. И тут легонько повела пальцами, то ли утешительно, то ли проверяя качество пиджака.

— Возьмите себя в руки, Роман Виленович, — сказала она. — Нет такого мужчины, который никогда не подозревал бы за маской верности тайной склонности к разврату.

Шубейкин внезапно вновь потерял хладнокровие.

— Но не это, не это! — почти взвыл он. — Никогда я такого не подозревал!

Она приподняла бровь, которой только легкий налет сочувствия не позволил принять полностью иронический изгиб.

— Что же, позвольте спросить? — поинтересовалась она.

Он горько покачал головой, все еще не веря до конца.

— Подруг, подруг ее подозревал, — объяснил он, рефлексивно глядя внутрь себя. — Что деньги из нее тянут. Что к плохому могут приучить. Она ведь только год как в Москве. У нее... много досуга, я понимаю. Надо чем-то себя занять. Соблазны... Но не это.

— Это с древних времен один из самых известных соблазнов, Роман Виленович.

— Максимальный уровень компрометации, — с отвращением произнес он. — Что это на вашем языке? Скажите прямо. Можете меня не щадить.

— Гостиничный номер. Снят на сутки, использован на два часа. В прошлую среду, день вашей большой пресс-конференции по сирийскому вопросу.

Шубейкин покачал головой.

— У вас какая-то бессердечная профессиональная деформация, — сказал он. — «Использован на два часа!» Туалет используют! Бумагу туалетную! А два человека в гостиничном номере... это что, как это называется? Как вы можете знать, для чего они... что... есть миллион причин для... приватного уединения... важный разговор... не обязательно...

Она посмотрела на него долгим взглядом, но теперь в ее сочувствии появился оттенок жалости, словно она сочувствовала его слабоумию.

— Посмотрите видео, Роман Виленович.

— Видео? — его трясло, и слова вылетали со слюной, смешивались в какую-то кашу. — Что вы говорите? Как вы могли снять видео?

— Это профессиональная тайна, Роман Виленович. Но чтобы предупредить новые упреки в бессердечии, скажу вам так. Представьте, что несколько популярных среди бомонда отелей оборудовали специальные номера с двусторонними зеркалами... Я ничего не утверждаю, заметьте. Предположим только как гипотезу. И когда на ресепшене появляется пара, вызывающая к себе интерес... или даже не пара, а просто импозантный мужчина, подчеркнуто не обращающий внимания на случайно задержавшуюся у лифтов привлекательную женщину в темных очках... Вы улавливаете ситуацию?

— Какая мерзость, — сказал Шубейкин.

— Спрос рождает предложение.

— Чудовищный цинизм.

— За что, по-вашему, вы платите такие деньги, за прогулку нашего агента по парку?

Шубейкин ушел на минуту в горестное раздумье. Покой, основанный на лжи, на заблуждении... разумно ли было желать возвращения к прежнему состоянию? Праздное рассуждение.

— Как его зовут? — выныривая, спросил он.

— Ван Квандт. ДТ на конце.

— *Делириум тременс*, — машинально произнес Шубейкин.

Была у него такая особенность — вставлять в разговор ему одному понятные маленькие цитаты или арканные аллюзии, крылатые иностранные выражения.

— Что мне делать?

— Помилуйте, Роман Виленович. Это уже вам решать. Обратитесь к психологу, если нужна профессиональная помощь. Моя компетенция ограничена рамками расследования, успешно завершённого, и взаимодействия с клиентом.

— Взаимодействия с клиентом? Вы разбили мою жизнь, — сказал Шубейкин.

— У вас есть претензии к нашей работе?

Он встал, посмотрел в небо и в загадочные древесные кроны, широко взмахнул рукой.

— К миру! — вскричал он. — У меня есть претензии к мирозданию!

— Смотрите на это так, — сказала она. — Вы не испытывали бы сейчас такого отчаяния, если бы не были повергнуты в него с самых высот. Не каждому доводится в жизни хотя бы издалека узреть эти высоты, не то что их посетить. Вы же не только их достигли, но даже, будем честны, сможете еще долго пользоваться некоторыми их плодами, пусть и с разбитым сердцем. И, может быть, на ваш закат печальный...

Она надо мной смеется, цепenea от ужаса, подумал Шубейкин.

Он развернулся и, не слушая остаток цитаты, широко зашагал прочь. Обнаружил, что пальцы правой руки все еще стиснуты вокруг проклятой флешки, и засунул ее в карман.

— В конверте есть наша визитка, Роман Виленович, — крикнула она вдогонку. — Расскажите о нас друзьям.

— Сгинь, тварь, — пробормотал про себя Шубейкин. — Сгинь в той вонючей подворотне, из которой ты выползла.

Нет, определенно, крылось в ней что-то, напоминающее змею. Тот момент, когда она на секунду показалась ему привлекательной, был аберрацией, ничем иным.

Ромуальд Шубейкин женился на Алёне полгода назад. Она, едва девятнадцатилетняя, приехала покорять Москву с чемоданом на колесиках, содержащим ее футболки, одно цивильное платье и две пары туфель, одна из них мамина, хотя и почти неношенная. Он, пресс-секретарь министерства иностранных дел, был для нее небожителем и героем-олимпийцем. Она слала из инстаграма предложения дружбы звездам футбола, рэперам и диджеям; у него было четыреста тысяч подписчиков в фейсбуке. Встреча их состоялась в ресторане на модной крыше стеклянной высотки над рекой; Алёна танцевала последним теплым сентябрьским вечером под звездным небом в платье, не прикрывавшем ничего, что она не собиралась прикрывать; Шубейкин пил коньяк в совершенно другой компании за круглым столом, лишь случайно оказавшимся в центре чужого веселья. Если смотреть на ситуацию с эстетической и моральной высоты, назовите ее пошлой, но Шубейкин, тайный поклонник Пушкина, знал, что пошлость — смертная категория, неведомая безупречному абсолюту. Он бросал украдкой короткие взгляды на высокую гибкую блондинку, пляшущую языческий танец с воздетыми у небу руками и с неязыческой, античной грацией. Шубейкин, закоренелый холостяк и одиночка, боялся женщин. И в норме он никогда не решился бы не то что к ней подойти, а даже встретиться глазами. Но когда вместе с подругой та возвращалась из дамской комнаты и проходила мимо его стола, с чарующих губ слетела громкая фраза:

— Давай попросим Славика, чтобы взял что-нибудь покушать.

Подводный риф, о который разбиваются более крепкие корабли, неожиданно дал Шубейкину опору. Вульгарный, с назальным оттенком голос, свежий провинциальный говор и чудовищное «покушать» вдруг сделали ее доступной. К тому же она была голодна. Как потом выяснилось, часто буквально голодна и без денег для удовлетворения этой базовой потребности. Место секретарши, которое она нашла в

Москве, могло бы быть гораздо доходнее, если бы не жуткий, наводящий оторопь голос и акцент. О том, насколько близка она была к традиционному и уже почти не постыдному заработку привлекательных юных провинциалок в Москве, Шубейкин старался не думать. Все происходит по тайной неизбежности и в положенное время. Таким было и их знакомство, которое, возможно, спасло ее от худшей участи. Он сам не помнил, как встал из-за стола, отделился с необходимыми извинениями от своей компании и подошел к ней.

— Позвольте вас угостить, — произнес он легко, отважно, галантно, пошло, бесцеремонно, иначе говоря, в манере ему абсолютно чуждой и до того момента незнакомой. То ли коньяку была выпита точно необходимая мера, то ли вид этой девочки на время преобразил Шубейкина в светского льва; а скорее всего, и то, и другое. И пока они с подругой переглядывались и хихикали, Шубейкин инстинктивно нес ерунду, которая должна была произвести верное впечатление.

— Икра... здесь великолепная икра, белужья, разумеется, как вы предпочитаете, на блинчиках, в волованах, с перепелиным яйцом, с маслом, со сметаной? Под водку? Нет-нет, под шампанское, конечно, розовый брют, у сомелье осталось несколько бутылок «Дом Периньона», которые он держит для меня...

Эту часть было немного стыдно вспоминать, но, в конце концов, насколько постыдны средства, если они достигают цели? И он почти не скрывал, что хочет произвести впечатление; для начала своими деньгами, поскольку лучшие качества таились у него в душе, которая и для наблюдательного собеседника чаще всего — потемки, а что могли видеть эти девочки? Так пусть хотя бы видят его широкую манеру тратить деньги, и дорогой костюм, и вальяжность обращения с официантами...

Главная жизненная трагедия Шубейкина до того момента заключалась в его неказистой, а по правде сказать, даже курьезной внешности. Он был природно склонен к полноте, а грубоватые черты лица и двойной подбородок не вязались с высоким интеллектуальным лбом. А больше всего он стеснялся с детства своих больших, навывкате, как у рыбы, глаз. Парадоксальным образом именно они принесли ему неожиданное, даже невероятное назначение, сделавшее его знаменитым. Дело в том, что выпученные глаза придавали лицу Шубейкина выражение доверчивой наивности и безупречной честности. Изучив и отвергнув несколько кандидатур на ключевой пост, министр лично вспомнил Шубейкина, который работал на скучной архивной должности и лишь по случайности за несколько дней до того делал для коллегии доклад об истории советской пропаганды в зарубежных СМИ. Доклад был точен, информативен, сжат и грамотно презентован; качества, которые Шубейкин за собой знал и которыми заслуженно гордился. Вызванный к министру, он был подробно допрошен, внимательно осмотрен, почти как на приеме у психиатра, и через несколько дней подвергнут долгим, утомительным, но, главное, успешным пробам на камеру. Его попросили заранее заготовить несколько текстов о принципиальности государственной внешней политики в отношении ряда горячих точек. Шубейкин, к собственному даже некоторому удивлению, выдержал испытание с честью. Помогли, быть может, годы трагического рассматривания себя в зеркале и репетирования самых простых человеческих взаимодействий. Даже общее невнятное уродство черт в интерпретации камеры работало на Шубейкина, придавая ему вид безобидный и вызывающий сочувствие. И теперь вот уже несколько лет он как минимум раз в неделю фигурировал в новостных трансляциях по стране и миру, мягко и веско транслируя официальную позицию министерства по всем текущим вопросам внешней политики; позицию иногда спорную или одиозную, чего Шубейкин, будучи честным перед собой, не мог в глубине души отрицать; и грубый, незаслуженно резкий выпад Ленор про сирийских детей оказался для него болезненным, как бы ловко он ни научился за годы на своем посту парировать острые вопросы журналистов. Однако как профессионал и патриот Шубейкин не подвергал сомнению жесткую, но принципиальную необходимость

своей работы. У Пушкина тоже был ответ клеветникам России. Мысль о Пушкине и о несравненном книжном собрании в своем домашнем кабинете в массивных антикварных шкафах грела Шубейкина всегда, в самые тяжелые рабочие минуты — на ковре у министра, под саркастичным допросом корреспондента Си-Эн-Эн и в те моменты, когда врать приходилось особенно вызывающе и непростительно. Пушкин был его опорой, оправданием и очищением от греха. Мысль эта была тайной; самое главное — тайной. Он не делился ею ни с кем, и даже гостям не показывал своего домашнего кабинета. К публичной фигуре Шубейкина можно было относиться как угодно, но за ней всегда маячил, осязаемый для него одного, частный и неуязвимый Шубейкин под протекцией Пушкина.

Как бы там ни было: фея куражной башни с лицом весталки, фигурой гетеры и голосом базарной торговли никакого Шубейкина знать не знала и в глаза никогда не видывала. Но она хорошо знала цвета и достоинства купюр ключевых мировых валют. Она была неделю в Париже в трехзвездочном отеле, по горящей путевке в Египте и однажды на Крите каталась на парусном катере, который владелец, мелкий бизнесмен из Самары, называл яхтой. Ее звали Алёна. С первого момента Шубейкин знал, что ему нужна она и только она; подруга, жаркая черноглазая штучка со спутанными лохмами черных цыганских кудрей не удостоилась и взгляда, даже когда он прикоснулся губами к длинной смуглой ладони. Алёна была достаточно умна, чтобы приспособить свой первый танец с ним под слоновью грацию партнера и чтобы ответить на его предложение встретиться еще — номером своего телефона. Через несколько месяцев они были женаты, и Шубейкин, человек просвещенный и светский, не испытал ни малейшего укола ревности, когда не нашел ее девственной. Напротив, это стало дополнительным поводом для гордости: она принадлежала другим, но была завоевана его решительностью, его напором и, по правде сказать, его пылкой, почти слепой любовью. Почти — потому что он не закрывал глаза на ее недостатки, но решительно вознамерился их победить силой любви и доступными ему ресурсами. Он нанял ей частного преподавателя для постановки речи и выправления акцента; и бывшего мидовца, специалиста по протоколу, для обучения светскому этикету. Как ни крути, а в качестве жены ей предстояло выходить в общество и бывать на одних мероприятиях с первыми людьми государства. Он тайно видел себя Пигмалионом, довольный, сидя, например, в своем кабинете в министерстве в огромном кожаном кресле для посетителей в расслабленную минуту, глядя в пространство перед собой с мечтательной улыбкой, потирая пальцами открытую ладонь. Он сводил жену в Театр оперетты на «Мою прекрасную леди»; она смеялась и хлопала, но если и заметила параллели с собственными жизненными обстоятельствами, ничего не сказала об этом. Она была с ним добра и приветлива; начала говорить «есть» вместо «кушать»; в ресторане разрезала бургер пополам, прежде чем поднять с тарелки, а если они были в компании, заказывала салат или рыбу; на официальные или увеселительные мероприятия она входила, обвив рукой его руку, могла поддержать светский разговор ни о чем, а когда он ловил издали ее взгляд, бросала ему лучезарную улыбку. У них были отдельные спальни — Шубейкину это казалось правильным и более деликатным; в конце концов, он был крупным мужчиной с обычными для своего возраста и телосложения проблемами, — но на проявления его супружеского энтузиазма раз или два в неделю она отвечала ласково, пусть и без восторга. Он анонимно заказал в дорогом ателье школьную форму на ее размер, и она иногда переодевалась по его застенчивой, жаркой просьбе.

И вот теперь — пожалуйста.

Ван Квандт.

Шубейкин не помнил никакого Ван Квандта. Но по работе он редко соприкасался с вопросами культуры. Что надлежало делать? Сцена ревности, выяснение отношений с Алёной были немыслимы. С минуту он обдумывал безумный вариант: дуэль.

Отыскать паскудного голландца, похитителя его покоя, его счастья, его чести. Отвесить ему пощечину. Но что дальше? Стреляться им, очевидно, не позволят. А в рукопашном бою Шубейкин невысоко ценил свои шансы. Погибнуть от пули мерзавца — это было бы досадно, но красиво. Пострадать же лицом от его кулаков означало бы только усугубить унижение, да еще и потерять на время профессиональную пригодность.

Видео оказалось отвратительным.

Вечером, когда в холле хлопнула дверь, хмурый Шубейкин ходил по кабинету вдоль книжных шкафов и иногда поднимал руку, чтобы провести тыльной стороной пальцев по какому-нибудь из особо любимых антикварных корешков. Ни одна книга не прыгнула ему в руку. Он вышел в коридор на стук тяжелых лакированных туфель, отлетающих в стену. Так Алёна сбрасывала их, когда была в особенно хорошем настроении.

Увидев его, она раскинула руки в стороны и с радостным смехом сделала круговой пируэт на мысках.

— Нравится?

Шубейкин уставился на нее, не веря глазам. Вместо пышных вьющихся локонов, спадавших на плечи, — короткое каре с открытой шеей, на которой выбритые до колючей остроты щетинки волос были перекрашены в черный отлив. Вместо юной львицы перед ним крутилась на босых ногах девочка-подросток, лихая, легкая, и какая-то... незначительная.

В одно мгновение отдалившая ее от Шубейкина дистанция измены вытянулась телескопически еще в несколько раз.

— Что случилось? — нетвердым голосом спросил он.

— Ничего, ничего, ничего, — с насмешливой мрачностью пропела она в ответ на мотив из старого фильма, который накануне фоном шел по телевизору. — Сабля, пуля, штыки — все равно...

Ее голос поразил его мелодичной твердостью. Шубейкин в первый раз отчетливо осознал успех, блистательный успех ее полугодовых занятий, им же организованных и оплаченных. Как странно! Ему ни разу не приходило в голову, что исправляя ее провинциальный выговор, он лишает Алёну единственного изъяна, который делал ее доступной. Но почему такой чудовищной оказалась расплата за наивность, за доверие? Шубейкин привык доверять миру и таким образом выбивать оружие из враждебной руки... Теперь же получалось, что не все клинки можно отразить таким образом. Обломок наконечника, засевший в сердце, ныл невыносимо.

Алёна стояла посреди коридора, слегка расставив босые ноги, и смотрела на него с веселым изумлением.

— Что с тобой? — спросила она.

— На работе неприятности, — глухо ответил Шубейкин первое, что пришло в голову, глядя ей в ноги, не в силах избавиться воображение от непрошенных образов.

И накликал, как бывает в таких случаях. Наутро телефон — специальный, отдельный мобильник, который нельзя было отключать на ночь, — зазвонил вскоре после пяти. Новость еще не просочилась в интернет, и Шубейкина уже требовали в министерство для подготовки первого пресс-релиза. Осознание собственной важности, которое раньше тешило его в минуты трудностей, сегодня не помогало. *Неверную деву терзал армянин*, — безостановочно бормотал он себе под нос по дороге, пока не перехватил в зеркале заднего вида удивленный взгляд водителя. Шубейкин перестал шевелить губами вслед словам, но фраза не отпустила. *Не армянин, а голландец*, трагическим мысленным шепотом поправил он себя. И не терзал, а лобзал. Но и терзал, несомненно, тоже. И был бы он еще хоть молод, ничтожен, Алёнин ровесник, допустим. Это еще можно было бы в известном смысле принять...

В министерстве стоял дым коромыслом. В Австрии отравили Поплавского,

физика-ядерщика, отсидевшего половину срока за госизмену и высланного на Запад в обмен на кого-то своего из оплошавших. Огульные обвинения были неизбежны, ожидалось уже к середине дня. В пресс-центре три референта ломали перья. Шубейкин вялой рукой поднял со стола черновую распечатку, пробежал глазами.

— Узы, — машинально сказал он.

— Что *узы*? — нервно дернулся один из соавторов.

— У вас тут «нашу страну связывают с Австрией многовековые связи исторического родства». Пусть будут узы. Когда связи связывают, это белиберда.

Референт с недовольным урчанием защелкал мышкой, застучал по клавиатуре.

Шубейкин поднялся к себе. *Опасность, кровь, разврат, обман*, думал он, пока лифт нес его вверх; *суть узы страшного семейства*. В почте ждали подробности, фотографии отравленного в больнице: на нем использовали экзотический яд, от которого лицо Поплавского почернело и до неузнаваемости исказилось перманентной судорогой, открытый рот был скошен набок, один глаз... Шубейкин поспешно стер письмо. Не было никакой необходимости копировать ему все эти патологоанатомические детали, разве он следователь?

К восьми приехал министр и затребовал всех к себе. Шубейкин зачитал вслух готовый пресс-релиз.

— «Узы» поправьте на «связи», — сказал министр.

— Но тогда будет «связи связывают».

— Ну пусть объединяют, или хэ зэ. Узы — какое-то фраерское слово.

Шубейкин поймал ухмылку копирайтера. Откуда им с министром было знать, что «фраер» от немецкого «фрайхерр», то бишь «вольный господин», древний баронский титул! Самовластный злодей из-за безбрежного стола красного дерева окинул взглядом собравшуюся челядь и недовольно поморщился. Шубейкин чувствовал себя единственным фраером среди этой филистерской камарильи подлых, ничтожных людишек. Только теперь он осознал, что вместе с Пушкиным Алёна была до сих пор залогом и неотъемлемой частью, гарантией его тайной вольности. *Голландца гибель, смерть детей*... ноги дрожали, мысли путались; к счастью, министр продолжал что-то говорить, чего Шубейкин не слышал, как не разбирал почти и потока захлестнувших его мыслей, но если бы сейчас совещание распустили, пришлось бы встать, — то он бы, пожалуй, не устоял, ноги подломились бы, как от пули в живот... вот что, а не заговор ли все это? Голландец! Голландец: как Геккерн, этот мерзкий педераст... Будь сейчас в его, Шубейкина, распоряжении тот же сочащийся из глазниц яд, не предрешена ли была б этим участь злодея?

И из всего омута полусознанных чувств и мыслей, от которых раскалывалась голова, оформилась и окрепла, наконец, отчетливая решимость: злосчастный Ван Квандт не на того напал. Он еще не знает, с кем связался. Пусть толст, нелеп, некрасив и немолод статский советник, но честью своей не поступится; драться за нее будет до последней капли чернил или крови, как придется; зубами, если понадобится; да, зубами порвет горло за Алёну.

И с мыслью этой как-то даже окрепли ноги и смелость ударила в голову. Вернувшись, небрежно освобожденный министром, в свой кабинет, он открыл сейф, достал оттуда бутылку пятидесятилетнего коньяка и осушил бокал. Приятно обожженное горло алчно запульсировало.

Брифинг начался гладко. Иностранцев посадили отдельно по левую руку; на их вопросы министр велел не отвечать.

— А этим, — сказал он, подразумевая своих, — хоть насы в глаза.

Шубейкин с достоинством чеканно зачитал заявление, почти не глядя в текст. Голос не дрогнул, не сбился ни разу.

— Был ли Поплавский врагом России? — выкрикнул из первого ряда знакомый журналист, как только разрешили вопросы.

— В России издревле принято прощать врагов, — гордо сказал Шубейкин и выразительно посмотрел в сторону иностранных корреспондентов. — Помните, у Пушкина: *они народной Немезиды не узрят гневною лица?*

Пусть переводчик попотеет.

Журналист криво, заговорщически ухмыльнулся Шубейкину и кивнул. В дальнем углу подпрыгнул, как черт из табакерки, другой, лохматый в очках, ранее в поле зрения не попадавший.

— Не мы ли яростно топтали, — громко поинтересовался он, — усердной местию горя, лихих изменников царя?

— Что? — растерянно переспросил Шубейкин, не ждавший такого.

— Вопрос от Александра Сергеича, — сказал лохматый и сел.

— Потрудитесь сформулировать яснее, — холодно и немного холодея произнес Шубейкин, чувствуя себя над пропастью.

— Уж куда яснее, — с места отозвался очкастый.

Найти ответ было делом чести. Пауза затягивалась, и со стороны иностранного контингента до подиума донеслась отчетливая вибрация злорадства.

— Если помните, — выдавил он, — Пушкин советовал: как мысли черные к тебе придут, откупорить шампанского бутылку.

Кое-где заплодировали; журналисты патриотических изданий, заметил Шубейкин — то есть скорее поддерживали наглость и двусмысленность комментария, чем оценили ораторское остроумие. Он покраснел.

Министру, однако, реплика понравилась; перед вечерним совещанием Шубейкин оказался с ним в приемной плечом к плечу, и министр, подмигнув, одобрительно ткнул его локтем в бок.

— Умолк и закрывает вежды, — спросил он с хохотком, — изменник русского царя?

Ромуальд Виленович тут вспомнил, что министр в прошлом профессорствовал на провинциальном филфаке и не чужд был музам — писал, кажется, дачные акварели и в паре с супругой исполнял гитарные романсы. В сотый раз Шубейкин пожалел, что некстати припелл Пушкина к скорбной теме своего брифинга, и ответил старому бурбону только болезненной улыбкой.

Поплавский, однако, хотя умолк и по факту склеил вежды, вопреки всем ожиданиям продолжал предсмертно тлеть на венской больничной койке. В результате, спекуляции на его судьбе и бездоказательные обвинения в адрес соотечественников оставались главной политической темой недели; летаргический новостной фон этому благоприятствовал. Для Шубейкина цепляющийся за жизнь физик означал рабочие выходные и вынужденную разлуку с Алёной, брошенной таким образом на волю трепещущих чувств.

Выскочив в субботу днем пообедать в ресторан соседнего с министерством отеля, Ромуальд Виленович был тут же замечен из дальнего угла послом Хоруняном, недавно отозванным в Москву для консультаций. Тот махнул Шубейкину бараньим ребрышком, подзывая за свой стол. Сидевшая напротив мадам Хорунян оторвалась от тонкого глянцевого журнала, который листала под аккомпанемент постукивающих ледяных кубиков в бокале апероля, очевидно не первом.

— Мы вас как раз вспоминали, Рома, — фамильярно, без приветствий сказала она, подавая руку для поцелуя. — Вот, смотрите.

Она отлинула журнал на несколько страниц назад. Шубейкин склонился над ее плечом.

— Ножки у нее — загляденье, — сказала мадам Хорунян.

На яркой, в полстраницы фотографии Шубейкин увидел Алёну в вызывающе дерзкой юбке, смеющуюся в лицо фотоаффу.

— Где это, не помню? — с деланным равнодушием спросил он, сглатывая сердце назад под ребра.

— Какой-то вернисаж, — сказала послица, пытаясь сфокусировать плывущий взгляд на мелком шрифте. — Юбилей Январского.

Горящий же взгляд Шубейкина был сфокусирован на лоснящемся под фотографической вспышкой широком мужественном лице Ван Квандта у Алёны за плечом.

— Ты при исполнении, Рома, или тебе можно? — с интуитивной релевантностью поинтересовался Хорунян.

Шубейкин, вопреки разуму, согласился на бокал коньяка. Он помнил приглашение на вернисаж Январского; помнил, что не смог пойти из-за арестованного на Бали хакера, выданного в США в обход всех юридических процедур. Алёна тогда сказала, что сходит с подругой. *Потаскушка*, в сердцах подумал он, впервые в мыслях оскорбив жену. Кровь запульсировала в ушах, и мочки налились румянцем. Хорунян пустился в какую-то сальную историю про знакомого английского лорда; Шубейкин периодически кивал, но думал о своем: что же это получается, она и на людях не боится с ним появляться? Этак же скоро начнут говорить... начнут исподтишка смеяться надо мной... А разве я не смешон, если на то пошло?

Он в ужасе уронил лицо в ладонь, тут же замаскировал это под жест усталости, сгреб в горсть подбородок, пряча искажившую рот гримасу, и поспешно схватил поднесенный официантом бокал.

Хорунян зорко проследил, как Шубейкин залпом выпил коньяк, и тут же предложил повторить. Ромуальд Виленович кивнул, ни о чем не заботясь, и почти не встревожился даже, когда ему показалось, что легкое удивление во взгляде посла сменяется глубоко затаенной искоркой азартного злорадства. Хорунян сделал козу из толстых волосатых пальцев и шевельнул ими в воздухе, указывая официанту одновременно на пустые круглые бокалы, высокий у жены и приземистый у Шубейкина. Перед ним самим тледа редкими пузырьками недопитая кола зеро.

— Санкций не боишься, Рома? — двусмысленно спросил он.

Расставаясь с Хоруньями, Шубейкин чувственно расцеловал обоих в жирные щеки. Выйдя на слабых ногах из тусклого прохладного заведения в предвечерний солярий августа, он болезненно сощурился и справедливо сообразил, что ему нужен небольшой моцион перед возвращением на работу. Свернув в переулок позади отеля, он занял отупевший мозг подсчетом шагов, тихо бормоча вслух: *двести девять, двести десять, двести одиннадцать...* Откинутой в сторону рукой он, как в детстве, вел по прутьям крашеной чугунной решетки. В сознании что-то шевельнулось. Ромуальд Виленович поднял глаза, осмотрелся и после минутного колебания двинулся в обратную сторону. *Двести двенадцать, двести тринадцать... или нет... двести десять, двести девять, двести восемь...*

Войдя в кованую калитку, он обогнул круглую клумбу. На крыльце церкви стоял знакомый в лицо батюшка, служивший прошлую пасхальную заутреню, которую министр обязал посетить все чины от заведующих отделами и выше.

Шубейкин, в быту человек нерелигиозный, приблизился к священнослужителю робко. Тот шурился вверх на солнце и на появление мирянина никак не отреагировал. Шубейкин остановился у нижней ступеньки в нерешительности, не имея, в общем-то, понятия, как правильно завести разговор.

— Батюшка, — сказал, наконец, он, чувствуя неловкость.

Поп обратил на него круглое бородатое лицо. Черные глаза показались Шубейкину чужими, недружелюбными, финикийскими. Почему финикийскими? Бог весть.

— Совета бы мне спросить, — объяснил Шубейкин с подхалимской интонацией, на которую сбился, вовсе того не желая.

Поп кивнул, но совершенно молча и с таким видом, словно мысли его были далеко.

— Жена мне изменяет, — сквозь зубы пробормотал Шубейкин.

Священник отвернул взгляд в сторону улицы, помолчал, потом сказал, не поворачивая головы:

— Отринь.

Шубейкин почему-то остолбенел.

— Как отринуть? — в изумлении переспросил он.

— Пока не поздно, — флегматично сказал батюшка. — С нечистой силой связался.

— Постойте, — сказал Шубейкин, от неожиданности переходя на светский тон. — Что же, если женщина однажды совершила ошибку, так в ней сразу нечистая сила?

Поп задумчиво склонил голову набок и сжал губы в тонкую линию, кривя уголок рта. Посмотрев в пространство над головой Шубейкина, он устало прикрыл глаза.

— И вселил к жене его диавол летучего змия на блуд, — изрек он без всякой особой интонации.

Шубейкин отшатнулся.

— Змия! — повторил он.

Батюшка едва заметно кивнул.

— Днесь отринь, — сказал он, развернулся и ушел в церковь, куда Шубейкину не пришлось в голову за ним последовать.

Еще подходя к министерству, он почувствовал приближение невзначайки. Спиртное на голодный желудок никогда для него добром не заканчивалось. Вместо своего этажа он поднялся на министерский, где в туалетах были изолированные кабинки. Как все тайные романтики, Шубейкин был необычайно стыдлив в вопросах интимного обихода. Фанерные дверцы и перегородки туалетных кабинок казались ему попранием законов мироздания.

В коридоре он наткнулся на Самого, огибавшего угол с казенным чемоданчиком в руке; министр чуть не сбил Шубейкина с ног, и тому пришлось отпрыгнуть в сторону, невольно дохнув коньячными парами и сверх того испортив воздух. Министр потянул носом и не преминул сделать реприманд.

Задержавшись на работе допоздна, вечером Шубейкин отыскал визитку, которую собирался выбросить, но не успел.

— Это Роман, — сказал он в телефон.

У нее играла какая-то этническая музыка, волынки и свистки, черт знает что. Она убавила громкость.

— О розе?

Непроста, непроста была мерзавка. Вся ее напористая наивность казалась теперь очевидной позой. Как странно, что он сразу этого не понял!

— Роман Виленович, — понижая голос, объяснил он.

— Я узнала, не волнуйтесь.

— Могу я с вами встретиться? Сегодня, сейчас.

— Если вас устраивают ночные расценки, то почему нет.

— Ночные расценки? — нагло переспросил он. — Это звучит так, словно вы практикуете древнейшую профессию.

Она тихо расхохоталась в трубку.

— Ваши бонмо, Роман Виленович, недаром вошли в легенду.

— Можете не беспокоиться, я заплачу. Где вы живете?

— Неподалеку.

— Неподалеку откуда?

— Отовсюду.

— Я могу приехать к вам.

— Нет необходимости. Знаете этот милый ресторанчик с верандой на Кудринской площади? Я буду там через полчаса.

— Благодарю, — сказал Шубейкин.

Хотя от министерства до Кудринской было две минуты лёта по прямой, она оказалась на месте первой. Выходя из машины, Шубейкин тут же увидел ее длинную тонкую фигуру за редким плетением изгороди. В это время на всей веранде она была одна — вероятно потому, что после длительной жары вечер на исходе августа оказался прохладным предвестником осени. Ленор кутала плечи в тонкую шерстяную шаль.

Сев напротив, он вздрогнул и уставился ей в лицо. Глаза у нее были в темноте желтые, как у кошки.

Он покрутил указательным пальцем на уровне собственного глаза.

— Как вы это делаете?

Она прохладно улыбнулась и поднесла к губам бокал с темно-красной жидкостью.

— Нравится вам?

Платье ее под шалью было в этот раз цвета синей полночи. Шубейкин наклонился и несколько развязно заглянул под стол. Так и есть: из-под длинного подола выглядывали желтые туфли.

— Алёна стрижку сменила, — проговорил он горько. — Вы мне скажите как женщина: это из-за него? Это отторжение прошлого... отторжение меня... чтобы сначала все начать — с ним?

— Не стану вам лгать, Роман Виленович, — ответила она после легкой паузы, задумчиво глядя поверх его левого плеча и не опуская бокала на стол. — Смена прически в таких обстоятельствах ничего хорошего не сулит. Вы, как человек образованный, знаете несомненно, что это дело рук Азраила.

— Азраила? — с эмфатическим ударением повторил Шубейкин и уставился на нее.

Ленор кивнула.

— Азраил, с тех пор, как возлежал с Наамой, стал покровителем женских чар и ухищрений. Неужели вам об этом неизвестно?

— Вы так говорите, словно это исторический факт, — удивился Шубейкин.

Ленор посмотрела на него с ответным удивлением.

— Зачем, собственно, вы меня позвали? — спросила она, следя за пальцами официантки, с короткими ногтями без маникюра, пока та откручивала колпачок с бутылки «Сан-Пеллегрино».

Странно, как она все время управляла ситуацией к своему преимуществу, хотя Ромуальд Виленович себя считал стреляным воробьем. Сколько ей было лет? Он всмотрелся в ее лицо. Штука была в том, что возраст на нем нигде не просматривался. Шубейкин до сих пор не задавался этим вопросом; при первой встрече просто подумал, что молода. Ни усталой кожи под глазами, ни единой складки на шее... вот только никаких следов молодой свежести на этом лице тоже не было. Может быть, все дело заключалось в ее глазах, подсвеченных ненастоящим светом, не позволяющих заглянуть внутрь...

Он проводил глазами официантку, пригубил воду, которой не хотел, и наклонился ближе.

— Мне нужна ваша помощь, — понизив голос, произнес он. — Профессиональная. Я заплачу, разумеется.

Ленор кивнула чуть рассеянно, без очевидной заинтересованности.

— Ваши услуги ведь, — слегка встревожился Шубейкин, — не ограничиваются...

Он слегка махнул рукой, словно отсылая жестом к их прошлой транзакции.

Она покачала головой.

— Наши услуги не ограничиваются ничем, кроме фантазии и возможностей клиента.

Шубейкин собрал лежавшую на столе ладонь в кулак.

— Мои фантазии на его счет, — тихо сказал он, — неутолимы.

— Ван Квандт? — ровно спросила она.

— Ван Квандт, — подтвердил Шубейкин. — Я хочу знать о нем все... что может ему повредить.

— Даже если он безгрешен?

— Мысли читаете. Если он помогает больным детям, я хочу знать, скольких он растлил. Если подбирает на улице бездомных котят, как вживляет в них микрочипы с разведанными. Если ходит в церковь, когда планирует отравить купель со святой водой. Улавливаете?

— Ваше красноречие не уступает изобретательности, — подтвердила Ленор. — Надо полагать, ваши связи достаточны, чтобы добиться его высылки?

— Нон грата, — сказал Шубейкин и щелкнул пальцами в воздухе, попытавшись принять ледяной вид.

По правде сказать, он пока понятия не имел, как можно использовать компромат против голландца, даже если информация окажется у него в руках. Но, следуя совету Казановы, он решил в первую очередь действовать, а в остальном положиться на благоволение случая.

— Подумали ли вы, — спросила Ленор, рассматривая его с отстраненным, безличным любопытством, — что ваша жена вольна, если захочет, последовать за ним в горестную ссылку?

— Аннулировать паспорт и вовсе не проблема, — легко сказал Шубейкин.

— Алёнин паспорт? — переспросила она. — Но ведь это и вас вместе с ней сделает узником самой вольнодышащей страны. Куда вы повезете ее отдыхать? В здравницы Крыма?

— Нашли заботу, — с кривой улыбкой сказал он. — Я нигде не чувствую себя вольготнее, чем в своем кабинете, среди книг и образов прошлого.

Она коротко отстучала какой-то ритмический отрывок острыми ногтями по столу и сказала:

— Ну что ж. Вам виднее. Хотя помните, у Пушкина о том, что прошлое — как беременная шлюха: все ее имели, но никто не хочет признавать ответственность.

Шубейкин с достоинством выпрямился.

— У Пушкина нет ничего подобного, — сказал он.

— Значит, у другого писателя, — небрежно согласилась она. — Впрочем, безумных лет угасшее веселье. Та же, по сути, мысль.

— Вы, похоже, одну «Элегию» в школе и выучили, — недовольно сорвался Шубейкин. — Давайте оставим Пушкина в покое.

— Как скажете.

Они перешли к обсуждению коммерческой стороны дела. Обсуждать, по сути, было нечего; Шубейкину не пришло бы в голову торговаться. Ее расценки показались ему обнадеживающе высокими; затребуй она какую-нибудь мелочь, он, без сомнения, насторожился бы.

— Могу я вас подвезти? — спросил он, оглядываясь в поисках машины, сигнала зоркому шоферу.

— Благодарю, нет необходимости.

Шубейкин осмотрелся еще раз; официантки, разумеется, нигде не было видно. Он шлепнул на стол пятитысячную, подсунул под бутылку содовой — в пять раз, вероятно, больше, чем стоили их напитки. Поднялся уходить.

— Вы свяжетесь со мной? — спросил он ее.

— Не сомневайтесь.

По дороге домой он почувствовал странную неудовлетворенность. Сначала причина от него ускользала, и он стал с глухим раздражением копать в себе.

Кажется, дело было в нарушенных ожиданиях; невозмутимость желтоглазой ведьмы его слегка обескуражила — не к такой реакции он готовился. Ему хотелось встретить удивление, шок... благоговейный трепет даже... В конце концов, он, Шубейкин, — не какое-нибудь партикулярное лицо, а человек, причастный к великим и страшным государственным делам, с которых на него самого неизбежно сходит отпечаток привилегированной авантюжности. Не какая-нибудь грязная интрижка, случившееся с ним, а возвышенное положением вовлеченных в разряд трагедии, где себя он видел не жалким бытовым рогоносцем, а карающим богом-отцом, грозным и справедливым, милосердным к одним и безжалостным к другим, по заслугам и достоинству каждого... и по его решению одних будет ждать горькое, слезное, но счастливое в конечном итоге искупление, а других — наказание столь же неумолимое, сколь неожиданное...

Как это она, впрочем, сказала? Что их услуги не ограничены ничем, кроме... Ничем! Намек ли был в этом? А если, может быть, его витиеватое изощренное византийство ей показалось только филярской полумерой? Она-то уж всякое, всякое видала... И точно! Шубейкин стыдливо прикрыл глаза и издал звук мучительного самооткрытия в темноте машины, на заднем сиденье из бежевой телячьей кожи. Убить! Убить! Конечно, вот на что намекала. Куда Алёна не сможет последовать за голландцем, в какую ссылку? В наидальнейшую из всех, откуда нет возврата. И нет нужды в махинациях с паспортом, в унижительной возне, утомительной компрометации с помощью служебного положения... Все это лишнее, лишнее. Не так оперирует карающая длань. А ведь у нее и опыт наверняка есть, дьявол ее знает, к каким делам причастна. Услуги не ограничены! Дипломат? Что с того! Вот Поплавский, например, тоже считал себя неуязвимым под защитой чужого государства...

Ромуальду Виленовичу стало нехорошо от этих мыслей. С трудом вылез он из машины, коротко и глухо кинул «позвоню» в ответ на вопрос шофера, когда завтра подавать, на подгибающихся ногах под взглядом улыбчивого консьержа преодолел три ступеньки и погрузился в услужливую кабину лифта. Беззвучно и невесомо вознесся вверх, словно устройство работало пневматически, а не на тросах. Взлет этот образовал в уме неожиданную параллельность с его недавними олимпийскими фантазиями о всемогуществе. Шубейкин проник в квартиру, чувствуя себя туманной эманацией сомнительного медиума. Из гостиной мерцало тусклое инопланетное сияние, гремела музыка. Он скинул штиблеты в голубоватом сумраке, и когда вторая стукнула каблуком об пол, под потолком вспыхнул свет, прыгнул в зеркало и оттуда отражением хлестнул наотмашь в лицо. Алёна стояла со своей новой непривычной еще детской прической, с бесхитростной улыбкой на открытом лице, одной рукой держась за кактусовую ветку пустой летней вешалки, во второй поднимая листок бумаги с неровным текстом, написанным от руки, очевидно довольная чем-то.

— Какие у тебя странные друзья, Рома, — крикнула она поверх музыки.

— У меня нет друзей, — машинально возразил Шубейкин.

— Ну люди, которые тебе звонят, — нетерпеливо поправила Алёна. — Вот, послушай.

Она повернула листок текстом к себе и громко продекламировала с потешным выражением, словно со сцены в школе:

— *И как стихи я слышал... и Бога на смотрил... совсем как колдованные, я без движенья был.*

Шубейкин окаменел.

— Он сказал, что ты поймешь, — засмеялась Алёна. — Ты понял что-нибудь?

— Невозможно, — шепнул он непослушными губами.

— Я его исправляла, а он все время настаивал: нет, именно так, — веселясь, объясняла она.

— Таргум, — сказал Шубейкин.

Алёна расхохоталась, подходя к нему и опуская руку ему на плечо, кладя на другое плечо подбородок, прижимаясь к нему тонким гибким телом.

— Ты сам такой же, — сказала она. — На, смотри.

Она повернулась боком, обвивая рукой его шею, повисая на нем и показывая ему записку.

— Что это значит?

Шубейкин проследил трясущимся пальцем ее кривые строчки и подписанную внизу экзотическую фамилию звонившего.

— «Таргум», — повторил он. — Редчайшая, редчайшая книга. Немыслимо. Даже не мечтал никогда.

— Обо мне ты тоже не мечтал, — заметила Алёна и, вложив записку ему в руку, протанцевала в гостиную. — А я есть! — звонко крикнула она оттуда.

Он прошел за ней, невидящим взглядом фиксируя циферблат на запястье, встряхивая рукой и всматриваясь снова, тупо соображая, удобно ли еще звонить. Было около полуночи.

В кармане пиджака звякнул телефон. Он несколько раз перечитал сообщение, прежде чем до него дошел смысл: Поплавский умер; умер еще накануне; австрийцы дождались вскрытия, прежде чем объявить. *Туда и дорога*, машинально подумал Ромуальд Виленович, как тут же свалилась новая и предсказуемая весть.

— Твою мать, — прозаично вырвалось у него.

Проигрыватель сменил композицию на что-то относительно тихое и мелодичное. Алёна с закрытыми глазами воздела руки над головой, извиваясь по-змеиному в обтягивающем синем платье, вскидывая плечо и прижимаясь к нему щекой.

— Завтра к шести на работу, — сказал Шубейкин в пространство.

— Ммм. На весь день? — спросила она, не открывая глаз.

— Хорошо, если не на ночь, — утрировал он.

— Жа-а-а-аль, — пропела она под музыку. — Мне нереа-а-а-ально жа-а-аль... Меня позвали завтра играть в гольф.

— Кто? — поинтересовался он после паузы.

Она открыла глаза и улыбнулась по-кошачьи, не переставая покачиваться в танце, как колдовская змея перед зачарованным факиром.

— Так, одна компания. Знакомые. Ты ревнуешь?

Она подтанцевала ближе. Шубейкин глупо покраснел.

— Хочешь?

Он помотал головой.

— Не сегодня. Плохо себя чувствую что-то.

Наутро его лихорадило. Под звонок будильника он вырвался с тяжелой головой, опухшими глазами и учащенным дыханием из объятий тяжелого, неприятного, но затягивающего сна. Встать, казалось, не было никакой возможности. Сон тут же забылся, оставив ощущение затянутой паутиной тесноты, в которой нужно было от кого-то прятаться. Выпив горького кофе, он заглянул к Алёне, которая спала миловидно и трогательно, почти поперек кровати, свесив через край тонкий локоть, подложив ладонь под щеку. Какая-то игла кольнула в мозг: Шубейкину вдруг вздумалось, что он видит ее в последний раз — розовую нежную щеку, чуть приоткрытые губы, загнутые вверх кончики ресниц и особенно почему-то маленький детский нос, напомнивший что-то из детства, из школы, наклоняющуюся над тетрадью соседку по парте, за которой он тайно наблюдает в профиль... *Я вас любил...* Нет, это стихотворение, единственное у Пушкина, казалось ему не дотягивающим до совершенства, каким-то поверхностным, не проникающим в самую суть чувства. *Любимой быть другим?* Дудки! И что за вздор эти роковые предчувствия, почему в последний раз? Просто болит голова, а предчувствие кольнуло бы, несомненно, в сердце... *а впрочем, у меня нет сердца...* На ум лезла какая-то ерунда.

На работе он связал свое недомогание сначала с ранним подъемом — никогда этого не любил; потом с переутомлением; наконец, с перевозбуждением. Телефон книжного магазина не отвечал, как и не мог отвечать в воскресенье, в конце концов. Это означало, что «Таргума» нужно ждать как минимум до завтра, а там еще неизвестно — вдруг и нет никакого «Таргума», просто шутка, дразнилка либо туманная перспектива, а страшнее всего — если уже кто-то перехватил, другой коллекционер, а то и Ленинка. Почему старый дурак не позвонил накануне ему на мобильный?

Попутно Шубейкина терзала мысль о давешней насмешливой снисходительности черной ведьмы, намекавшей ему, что кружным путем он взялся идти к своей цели. Вот, скажем, Поплавский, тоже перебежавший кое-кому дорогу: мертв, и не просто мертв, а основательно наказан неделями агонии, которая наверняка не показалась ни на минуту короче, чем нужно. Что там сказал австрийский мидовец? Сжиженные внутренности? Вот уж формула не для международных пресс-релизов. С какой целью это нужно было уточнять? Жалость к павшим? Шубейкин помотал головой, отгоняя наваждение.

До вечера Шубейкин профессионально отрицал, протестовал и негодовал. Выступления, однако, давались ему с трудом. Привычное и очень персональное чувство оскорбленной невинности, которое он всегда вкладывал в работу, не получалось нащупать; и неудивительно, потому что молотком по мозжечку все время стучала болезненно одна фраза: *захочу — и убью*. Вопросы иностранных журналистов в такой ситуации не возмущали. *Каким ядом был отравлен Поплавский?* Ах, кабы знать. *Верно ли, что производится только у вас?* Откуда такая информация? *Поможете ли семье Поплавского?* Мы своих не бросаем.

Министр, весь день отсиживавшийся на даче, вечером нагрязнул и созвал совещание. Косо взглянув на пресс-секретаря, бросил ему сухо через ледяную гладь стола:

— Слабовато.

У Романа Виленовича и без того кровь стучала в ушах; под дополнительным ее приливом запульсировал извивающимся червячком какой-то сосуд в мозгу, и Шубейкин тут же на месте ожидал апоплексии; поклялся себе, что, если выживет, откажется от кофе, сахара, мучного и алкоголя, станет пить таблетки. Зрение помутилось; он не мог читать документы, перед глазами все расплывалось. Министр задал вопрос по пункту обсуждавшегося коммюнике, и толстый палец Шубейкина беспомощно забегал по трюфельной стружке шифрующихся строк. Министр заорал нецензурное.

Когда он вернулся, Алёны еще не было. Он всхлипнул, повалившись в постель, написал в телефоне *Ты где?* — и уснул, не дождавшись ответа.

Утром проснулся в панике, протопал босиком в ее комнату и убедился в правдивости ночного кошмара: постель была неразобрана, несмята.

Телефон не отвечал.

Он вызвал машину и дал шоферу адрес книжного магазина на задворках между Тверской и Патриаршими. Магазин этот знали все, кому нужно было знать, и больше никто. В узком витринном окне никчемные теологические фолианты девятнадцатого века были те же, что и всегда, так же покрыты пылью, археологически более ценной, чем они сами. Тяжелая дверь поддалась Шубейкину со второй попытки; на секунду он подумал даже, что магазин еще закрыт. Нигде не было ни вывески, ни расписания.

— Извините, что без звонка, — сказал он.

Худошавый высокий старик, владелец и единственный продавец, поднялся из-за стола в углу напротив двери. На столе не было ничего, кроме развернутой цветной газеты: ни компьютера, ни телефона, ни, на худой конец, какой-нибудь бухгалтерской книги. *Если продирижил с «Таргумом», пришлю к нему налоговую*, кисло подумал Шубейкин, не веривший на самом деле в счастливую находку.

— Всегда рад, — откликнулся старик и посмотрел на часы. — А сегодня ожидал. У Романа Виленовича екнуло в груди.

— Ваш звонок... — начал он и осекся.

Старик закивал.

— На мобильный не рискнул: знаю, что вы заняты в эти дни.

Шубейкин метнул взгляд на газету, но разворот не содержал ничего знакомого.

— «Таргум», — дрожа, произнес он. — Скажите, Игнат Фердинандович, что вы нашли для меня «Таргум».

— К тому же добавочное удовольствие поговорить с вашей очаровательной супругой, — продолжил старик, никуда не торопясь и намеренно, кажется, дразня нетерпеливого библиофила. Подняв со стола газету, он развернул ее к Шубейкину раскрытой страницей. Газета оказалась желтым бульварным вестником светских скандалов и сплетен. *Вот тоже интеллигент!*, с горьким презрением подумал Шубейкин; *а пришлю к нему налоговую все равно*. В центре разворота на плохо отретушированной фотографии он к своему облегчению увидел Алёну не танцующей в каком-нибудь кабаке в обнимку с Ван Квандтом, а снятую цивильно по пояс и в профиль, беседующую спокойно с министром на одном из недавних приемов. За ней на заднем плане маячило его собственное пучеглазое лицо, нелестно получившееся. Он напряг зрение и сморгнул, читая подпись: *Алёна Шубейкина гораздо красивее своего мужа. Возможно, министр обдумывает очевидную штатную рокировку*. Перед глазами опять поплыло.

— Вы нашли для меня «Таргум»? — глухо повторил он.

— Для вас или нет, еще неизвестно, — без вызова сказал старик. — Желающих много. Хотя не скрою, вам позвонил первому.

— Ценю, — пробормотал Шубейкин, не трудясь имитировать искренность.

— Стало быть, мое небольшое шифрованное послание вас не обескуражило? — с простодушным лукавством поинтересовался хозяин.

— Что ж там шифрованного, — слабо усмехнувшись, не удержался он от чуть хвастливого доказательства своей эрудиции. — «Финляндия» Борро, дословно, как сочинена на его корявом русском.

— Верно, верно, — согласился старик. — Что ж, кто еще достоин этой книги, как не вы.

Он почему-то вздохнул и мгновение поколебался, после чего сел в кресло, открыл ящик стола и извлек оттуда пергаментный сверток. Аккуратно развернув плотные матовые листы, он поднял глаза на Ромуальда Виленовича и открытой ладонью указал на содержимое.

Перед ним на столе лежала тонкая книжка, скорее даже брошюра, формата октаво. Потрепанная и потемневшая от времени обложка выглядела подлинной. Шубейкин склонился низко над столом. Он прекрасно понимал, что с книгами такой редкости нельзя исключить подделку.

— Тираж около сотни экземпляров, — не своим голосом произнес Ромуальд Виленович и приподнял взгляд на продавца.

— Этот экземпляр раритетнее, чем один из ста, — сказал тот. — Единственный. Собственный экземпляр поэта.

Шубейкин сглотнул так судорожно, что чуть не проглотил кадык.

— Не может быть, — выпрямился он.

Старик кивнул.

— Тот самый экземпляр, который Борро накануне отъезда из России занес Александру Сергеечу на Дворцовую набережную, в дом Баташёва.

— И не застал его, — Шубейкин перевел взгляд с продавца на книгу и обратно. Лицо его было произвольно искривлено чувством. — Но чем может быть подтверждена подлинность?

Старик протянул длинный, желтый от никотина указательный палец и кончиком ногтя приподнял и перевернул обложку. Титульный лист был знаком Ромуальду Виленовичу по фотокопиям. «Таргум, или метрические переводы с тридцати языков и диалектов, выполненные Джорджем Борро». Далее — эпитафия из персидской поэмы: «Вран воспарил к жилищу соловья». Напечатано в Санкт-Петербурге, в типографии Шульца и Бенече в 1835 году. Все это было в точности как ожидалось. Но на противоположном форзаце от руки выцветшими серыми чернилами стояла приписка, сделанная по-английски высокими зауженными буквами, разборчиво, но не вполне ровно, словно писано было на весу: «Русскому соловью от восторженного почитателя, Джордж Борро, 24 сентября 1835 года».

— Но помилюйте, — лихорадочно пробормотал Шубейкин, зажимая кулак правой руки в левой ладони, словно уберегая себя из последних сил от прикосновения к реликвии. — Мне казалось, что личный экземпляр хранится в Пушкинском доме.

— В Пушкинском доме, если помните, — мягко возразил старик, — по утверждению академика Алексева, хранится переплетенный в неизвестное время экземпляр, объединяющий под одной обложкой «Таргум» и «Талисман». Оба без дарственных надписей. Если мы готовы принять автограф Борро как подлинный, — он указал пальцем, не дотрагиваясь до книги, — а почерк совпадает, я проверял по «Емеле-дураку»; остается предположить, что переплетенная копия «Таргума» была приобретена отдельно и позднее; возможно даже, не самим Пушкиным. Это, очевидно, — указательный палец оставался непоколебим, — тот экземпляр, который поэт держал в руках.

— И получение которого подтвердил в письме к Борро, — прошептал Шубейкин, не вполне уверенный, что не спит.

— Именно так, — согласился старик, сохраняя полную бесстрастность и не проявляя ни малейших признаков самодовольства, которое подобная находка сделала бы миллион раз простительным.

— Но в таком случае этой книге нет цены, — сказал Ромуальд Виленович в тихом отчаянии.

Старик пожал плечами.

— По счастью или несчастью для вас, — отозвался он, — цена есть.

— Назовите! — вскричал Шубейкин.

— Десять миллионов, — сказал старик.

— Рублей?

— Центробанковских; не имперских.

Шубейкин перевел дыхание. Сумма была доступной для него; для подобного раритета — фантастически низкой.

— Но почему? — сдавленно спросил он. — Вы могли бы запросить в десять раз больше... могли выставить на аукцион...

Разум требовал от него осторожности, но он не верил на самом деле в версию подделки. Во-первых, давно зная хозяина магазина, он считал его неспособным на жульничество по причине равнодушия к деньгам и снобского отвращения к вульгарности; во-вторых, развитым инстинктом коллекционера Шубейкин чувствовал вокруг книги ауру подлинности.

— А вот почему, — едва заметно повысив голос, сказал старик. — Должен вас предупредить. Борро не за плясками и романсами ездил к цыганам в Марьину Рошу.

На лице Шубейкина забрезжила первая легкая улыбка, когда он начал верить, что «Таргум» будет принадлежать ему.

— А зачем же? — спросил он.

Старик отвел взгляд куда-то вверх.

— Опасный народ, — сказал он вместо ответа. — Помните «не к добру» упавшее кольцо, погасшую свечу? Не прошли Александру Сергеевичу даром ночные гуляния с Татьяной-пьяной.

— К чему вы клоните? — не теряя улыбки, упорствовал в непонимании Шубейкин.

Старик снова указал пальцем на «Таргум», лежавший в обрамлении пергаментных листов.

— Я в этих вещах кое-что понимаю, — сказал он. — Книга продается на страх и риск покупателя. Для себя принял меры предосторожности, но срок их надежного действия ограничен. В ближайшие несколько дней я должен от сего антикварного раритета избавиться.

— Вы намекаете, что Борро, любитель и собиратель цыганского фольклора, наложил на книгу...

— Не он, не он, — прервал старик. — Он был только посланником. От Демьяновой или от другой, кто теперь знает? Впрочем, есть сделанная незадолго до смерти фотография Демьяновой, у нее чернейшие глаза, какие я встречал. Вы, вероятно, не видите ауры на фотографиях?

Он посмотрел на Ромуальда Виленовича выжидательно. Тот, принявший сначала вопрос за риторический, с легким смущением покачал головой.

Старик кивнул.

— Борро не делал никаких попыток встретиться с поэтом до визита в Марьину Рощу, после которого, вернувшись в Петербург, немедленно посетил Пушкина и на следующий день был таков. Почему? — он вскинул мохнатые брови. — То был конец сентября тридцать пятого. Где-то той же осенью, как мы знаем, Наталья Николаевна, никогда прежде не дававшая повода себя упрекнуть, попала в поле зрения младшего Геккерна.

— Полноте, — сказал с усмешкой Ромуальд Виленович. — Я слышал о вашем интересе к... арканным наукам и уважаю любое увлечение собрата по библиофилии, но...

— Под каким номером «Таргум» занесен в реестр Модзалевского? — тихо спросил старик.

Шубейкин пожал плечами.

— Помилуйте, кто же такое помнит?

— Шестьсот шестьдесят шесть, — сказал старик.

Шубейкин вскинул руки и улыбнулся шире.

— А знаете, что я помню? — весело сменил он тему. — Меня всегда это забавляло. Верно ли, что Борро в «Чёрной шали» принял младую гречанку за имя собственное и в английском переводе назвал ее Грешенкой?

— Вы предупреждены, — сухо сказал старик. — Коли уверены, то книга ваша.

Ромуальд Виленович тут же на месте позвонил в банк и организовал перевод необходимой суммы на счет, номер которого продавец твердыми цифрами записал на желтом отрывном листке. В машине по дороге на работу его трясло. Пергаментный сверток лежал на коленях; он развернул бумагу, достал книгу немеющими пальцами, раскрыл невесомым движением, едва касаясь сухих, истонченных временем страниц. Строчки плыли перед глазами, буквы сыпались и смешивались. Борро был, конечно, графоман; да, вот она, несчастная Грешенка; Шубейкин попытался остановить дрожание рук, чтобы разобрать контекст, не смог и откинул голову назад, опустил веки, пережидая мутную вьюгу в мыслях. Книгу, лежавшую перед ним, держал когда-то Пушкин; тоже наверняка с любопытством вглядывался в строки, свои, но незнакомые — с польщенным ли удовольствием? с досадой? заметил ли переводческий ляп? Книгу, во всяком случае, сохранил — и теперь она принадлежит ему, Шубейкину. Он переживал момент мистического единения со своим поэтом. Правые колеса одно за другим ухнули в выбоину асфальта — дороги нынче мостили не лучше, чем при Палкине, — и сновник отчетливо услышал скрип рессоры, подпрыгнул с непривычки и чувствительно стукнулся задом о жестковатое сиденье, ударился плечом в тонко обитую деревянную стенку, — и, выпучившись от изумления, увидел на секунду перед

собой незнакомое женское лицо, молодое, миловидное, тонкое, а все же негармоничное в чем-то, словно неверно и грубовато слепленное, один глаз больше другого, из-за чего выражение было трудно определить. Более же странным показалось не это, а то, что обрамляли лицо витые кудри и ленты решительно несовременной, нездешней шляпки; все это было вызывающе картинным и осязаемо реальным, отчего довольно неприятным. Далее, при виде лица мысли на краткое мгновение тоже стали чужими, — пронеслись, впрочем, так мимолетно, что, вернувшись тут же к здравому сознанию, Шубейкин сохранил от них лишь спутанный след, как бывает с образами из сновидений: ухватить возможно только ощущение, не облекаемое в слова, беспокойное, давящее на грудь и прерывающее дыхание своей тревожностью, словно смыкался вокруг мечущихся мыслей и вне их контроля какой-то капкан. Мысли его потеряли связность, как только исчезло наваждение, но можно было понять, что касались они и этих глаз напротив, и других еще глаз мрачнее ночи — избитый образ, а иначе не скажешь, тем более, что «очи» напрашиваются в рифму сами собой, — и вообще непрошенной темноты, которая набивалась в спутники незаметно, под видом легкой вольности, и только потом спускалась до полной непроницаемости, когда уже поздно было протестовать.

Шубейкин вылез из машины, и мостовая качнулась под ногами. Кривя лицо, закинул назад голову, чтобы охватить взглядом громаду министерства, в прошлом — оплот его мирского самолюбия. *Не кинуть ли все к чертовой матери*, подумал он. Он поставил портфель на черный багажник, благоговейно вкладывая в самое надежное отделение пергаментный сверток.

— Можно с вами сфотографироваться? — раздалось сзади на высокой, почти истерической ноте, в сопровождении бессмысленного смеха. Две провинциалки в желтых вязаных кофтах. По инструкции он должен был покинуть машину в подземном гараже; но простительное тщеславие невинного эксгибиционизма влекло его к публичности, к контакту с народом, как он это называл. Шофер об этом хорошо знал, и давно между ними установилась почти негласная договоренность, что Шубейкин покидает машину у кромки Садового, совсем как младший школьник, доставленный в учебное заведение на отцовской машине, и идет через площадь к высоким дверям министерства один, быстро раскланиваясь узнающим его прохожим, отвечая улыбкой на улыбку, изредка вступая в краткий разговор с особенно привлекательным представителем публики. Сначала он ожидал, что шофер, в обязанности которого входила и охрана, будет сопровождать его, и даже был несколько уязвлен равнодушием. С другой стороны, что могло случиться с ним, Шубейкиным, на протяжении этих двадцати метров?

Он судорожно улыбнулся желтым кофтам. Только этого сегодня не хватало. Они же, встретив его покладистость, расположены были воспользоваться ею до конца. Произошла абсурдная маленькая сцена, в ходе которой японский турист был завербован для создания волнующего снимка; результат, однако, не устроил одну из желтых кофт, которая попыталась объяснить японцу, что снимать ее лицо следует с чуть более высокого ракурса в силу анатомических особенностей подбородка; увы, японец к тому времени уже сам узнал Шубейкина (выступавшего недавно принципиально и жестко по сахалинскому вопросу) и начал что-то громко объяснять невозмутимой туристической группе человек на тридцать, к которой сам принадлежал. Желтые кофты потеснили. Шубейкин на секунду испугался нападения, но японцы тоже, как выяснилось, хотели получить мemento. К тому времени, как вмешался шофер, Ромуальд Виленович был заключен в плотное кольцо туристов, выпутаться из которого оказалось не так просто. Каждый второй японец снимал видео, куда попали и желтые кофты, и стиснувший зубы старый гэбэшник, и драгоценный портфель, прижатый к шубейкинской груди мертвой хваткой.

— Все гарцуешь, Рома? — спросил у лифта Хорунян с улыбкой почти неприкрытого злорадства.

Лицо Шубейкина было в поту, руки, все еще машинально прижимавшие к груди портфель, дрожали. В кабинете он достал из сейфа коньяк и плеснул в бокал несколько больше, чем рассчитывал. Стекло звякнуло о зубы. Только теперь он вспомнил, что Алёна не ночевала дома и с утра не выходила на связь. «Таргум» все затмил. Трясущимся, несмотря на коньяк, пальцем он ткнул в телефон. Эфир ответил залпом «Рамштайна», прокатившимся от виска до виска, как высоковольтный разряд; Ромуальд Виленович пугливо отстранил девайс подальше от уха. Раньше Алёна ставила на ожидание соединения проникновенную романтическую лабуду. После нескольких барабанных очередей по нервной системе канонаду разорвал ее нежный голос.

— Ты волновался? Ромочка, я такая дура. Простишь меня?

— Ты где? — сдавленно спросил он.

— Вечером после гольфа начался такой плотный тусняк, я просто не смогла вырваться! Меня не отпускали. Совсем чуть-чуть выпила, мне сняли номер в кантри-клубе, а к утру телефон разрядился, ну как обычно...

— Кто снял тебе номер? — спросил Шубейкин.

— Ну я сама сняла, Ромочка, кто же еще?

Ее кредитка была привязана к его счету, и все банковские оповещения приходили ему на телефон. Алёна, вероятно, подумала о том же.

— У меня с собой оказалась какая-то пачка наличных, бог знает откуда...

— Где ты? — прервал Шубейкин очевидную ложь.

— Дома, Ромик. Я дома. Ну то есть я вышла позавтракать в «Троекурове».

— Ты сейчас там?

— Ну да, я же говорю тебе...

— Не уходи, я за тобой приеду.

Она даже не сочла нужным позвонить ему с утра. Его рубашка внезапно оказалась абсолютно мокрой, но теперь это был холодный пот страха. Коли она так мало беспокоится о его реакции, очевидно, что она не рассчитывает долго от него зависеть. Надо было во вторую встречу с Ленор поручить ей разговор с Алёной. Она бы объяснила то, что был не в силах произнести сам: он готов на все, чтобы ее сохранить. На все.

Налил еще коньяку, опрокинул залпом и вышел.

В коридоре кто-то попытался обратиться к нему, но Шубейкин только взмахнул рукой, широким отгоняющим жестом, и кажется, задел говорившего по лицу. Он плохо видел.

— Машину. Подавай машину, — с одышкой сказал он в телефон шоферу.

Они выехали из гаража под стену проливного дождя. Лето кончилось, прозаично подумал Шубейкин, надеясь в банальности найти временное прибежище от невозможного. Шофер досадливо цокнул языком, указывая в навигатор. Шубейкин сощурился, но не смог разглядеть, что там — вероятно, пробки.

— Полети, как на крыльях, Фёдор Иванович, — просительно выдавил он.

Шофер удивленно обернулся на мгновение.

— Все в порядке?

Какой уж там.

— Устал, — сказал Шубейкин.

Бросить все. Зачем ему вечная публичность? У него было достаточно времени, чтобы потешить самолюбие — а ведь он и на минуту славы никогда не рассчитывал. И заработано немало — денег, престижа. Давно не камер-юнкер, уж как-нибудь не пропадет. Пора, пора посвятить себя духовному росту. Для насущного же рубля можно

поискать тихой работы в администрации, в аппарате правительства. А то и в банковском секторе — даже лучше, пожалуй. Осталось только голландца отсортировать к праотцам.

Все это проносилось у него в голове почти помимо сознания — не мысли, а так, шелушение прокаженного рассудка.

— Поплавский, — сказал он вслух. — Чем его могли отравить?

— Кто ж знает? — после паузы ответил шофер.

— Так, что кишки разъело, — опустошенным голосом продолжал Шубейкин. — Наши отравили?

Взгляд шофера, лишенный выражения, надолго задержался в зеркале заднего вида.

Шубейкин наклонился вперед и, уставившись в кожаную спинку сиденья перед собой, жарко шепнул:

— Яду мне достань, Фёдор Иванович. За любые деньги.

Они мучительно поворачивали в машинной давке на Новый Арбат.

— Зря вы так с утра, Роман Виленович, — сказал шофер, наклоняясь вперед к залитому стеклу, на миллиметр огибая бампер нервного придурка, пытавшегося перестроиться влево. — Особенно если на пустой желудок.

Или куплю пистолет, подумал Шубейкин.

Он смаргивал все время, силясь понять, что мешает зрению — то ли пелена воды снаружи, то ли что-то, набежавшее на глаза.

— Возьмите в «Троекурове» глазунью из трех яиц и томатного сока, — посоветовал шофер. — С табаско обязательно.

В полумраке ресторана Шубейкин сразу потерял ориентацию, хотя бывал здесь чуть ли не еженедельно; споткнулся о ступеньку при входе в зал и чуть не растянулся, взмахнул портфелем, восстанавливая равновесие, и опрокинул на ближайшем столике тонкую хрустальную вазу с высокой шелковистой розой персикового цвета. К счастью, его узнали, и вежливый остроносый официант в черном фартуке повел в глубину заведения, то и дело осторожно оглядываясь, присматривая за гостем. *Что со мной не так?* подумал Шубейкин. Официант слегка откинул руку в сторону, указывая на угловой столик, за которым сидела Алёна. Она улынулась ему нервно.

— Счет принесите, — отрывисто сказал он.

— Ты почему с работы уехал? — спросила Алёна, двигаясь на кожаном диване, уступая ему край. Он сел или упал, стол подпрыгнул.

Счет появился молниеносно, Шубейкин поднес его близко к глазам. Крокеты, икра, шампанское. *Количество гостей: 2.* Он расплатился.

У выхода их догнал официант, протянувший забытый портфель с «Таргумом»; Ромуальд Виленович вырвал его и прижал к груди, словно портфель пытались не вернуть, а отнять. Его мучила одышка, голову застилал дурман, но при этом странным образом он словно видел — впервые — как странно они должны выглядеть со стороны: он, грузный, одутловатый, коротко ступающий; и длинная жена, семяющая за ним на десятисантиметровых каблуках. Он не помнил, как оказался дома в лифте, хотя, видимо, помог шофер, кинувший на Алёну последний вопросительный взгляд, пока закрывались двери; она сделала ладонью незаметный отрицательный жест, который Шубейкин, однако, заметил; в этом словно бы и заключалась странность его состояния, что мир в целом отодвинулся куда-то и растворился за исключением как раз тех деталей, которые обычно скрывал. Он хотел повернуться к сияющей отражениями задней стенке, но Алёна поспешно взяла его под руку, разворачивая вперед, и сказала:

— Не смотри.

Что было дальше? Тихая возня на пороге кабинета: жена тянула его в спальню, но он упирался, просился к своим книгам. В конце концов она уступила, и он обнаружил себя на кожаном диване в кабинете, на голом диване, неприятно приклеивавшемся к голой почему-то спине. Сверху он был укрыт серой больничной

простыней. Алёна, вопреки протестам, задернула шторы, отсекая солнечный свет. На письменном столе вспыхнула лампа за апельсиновым абажуром и неприятно ударила по глазам; едва он успел к ней привыкнуть, как вернулась Алёна и замотала абажур чем-то похожим на черную шаль. Шубейкин приподнялся, всматриваясь. Его стошнило.

Был врач, долго держал холодный лимб стетоскопа под левым соском. Шубейкин напряженно щурился, силясь понять патологию событий. Врач был неправильный, оплошный. Ах вот в чем было дело: где его белый халат? Где чемодан с красным крестом, где фельдшер? Врач был в старомодном сюртуке и пенсне, похожий на Чехова, — прекрасно, надо сказать, вписывался в антураж кабинета с дорогим деревом и темной кожей, но откуда взялся? Губы врача шевелились, Алёна стояла рядом в шелковом кимоно электрического зеленого цвета с ядовитыми цветами, слушала внимательно и кивала. Шубейкин был укрыт серой простыней, которую врач, выходя, натянул ему на глаза.

Он попытался откинуть простыню — что за шутки? — но руки не слушались. *Паралич*, стукнуло у него в голове. Кажется, яд змей или каких-то насекомых парализует жертву? Да мало ли что еще. Очевидно, все это не могло произойти с ним и было какой-то досадной ошибкой. А если он умирает? Ведь есть вполне серьезные, неглупые люди, которые считают вещный мир конструктом прихотливого сознания. Тогда, допустим, в момент угасания, нельзя ли допустить, что сознание теряет контроль, перестает гарантировать связность, путает явь и сон?

Кто-то сдернул с лица простыню. Комната, по крайней мере, была той же самой, только диван развернули лицом к двери, от которой видна была верхняя треть. Лампа сияла теперь ярко за спиной, а в шаль кутались удаляющиеся женские плечи. Дверь открылась, и первой вошла Ленор с закрытыми глазами. Рядом осторожно шел Ван Квандт — по развороту плеч было видно, что он ведет ее под руку. Короткая стрижка — вот что обмануло в ней с самого начала. Все черты лица однозначно вполне определяли кочевой род. Она присела рядом на край дивана.

Знал в предпоследнем своем содрогании Ромуальд Виленович, что когда откроются ее глаза, будут они в этот раз чернее ночи. Ван Квандт поднял огромную ладонь и нежно провел по ее узкому затылку. Цыганка опустила руки Шубейкину на плечи и слегка наклонилась вперед. Он собрался кричать, хотел набрать столько воздуха, сколько войдет в неотзывчивую грудь. Однако была определенная легкость в том, чтобы не дышать. Веки ее дрогнули и поползли непреклонно вверх. Он обреченно сглотнул и приготовился провалиться в ночь. Но вместо покойной гостеприимной темноты в приоткрывающихся глазах прорезались слепые горизонтальные полумесяцы.

Шубейкин решил все же закричать, увидев над собой под черными ресницами два плавающих, немигающих зеркала.

Сергей Маркелов

Воронка

Рассказ

1

Черная грязь чавкает под черными сапогами. Над головой непривычно чистое небо. Я тащу по заливу тяжелый толстый железный трос, выкладываю его петлей, кидаю на проушину трактора, трактор затягивает петлю, тянет трос, на другом его конце висит отпиленный кусок корабля — трактор дергает, кусок трещит и, кажется, должен упасть с громовым скрежетом, но почему-то падает неожиданно мягко, а звук металла глухо погружается в густую грязь.

— Смотри, чё это там? — крановщик Боря полувывиснулся из окна, показывает на столб дыма метрах в ста от нас.

— «Смоленск» горит, — отвечаю я.

Мы молча наблюдаем за черным дымом, который валит из соседнего корабля. Похоже, горит соларка. Дым, плотный у основания, рассеивается, истончается и становится прозрачным в небе над Кольским заливом, где, непривычное даже для конца июля, висит желто-оранжевой кляксой солнце. Лето в Мурманске очень короткое, я это знаю, я это помню, я где-то здесь родился.

— Ладно, потащили, — говорит Боря.

Он возвращается в кабину, трактор срывается с места, словно его толкнули в спину. Позади на тросе волочится кусок корабля. Я иду следом, уворачиваюсь от танцующего в воздухе натянутого троса, показываю Боре жестами, куда ехать, — чтобы не потерять кусок, чтобы трос снова не порвался, чтобы мне не пришлось снова тянуть его по заливу, утопая по щиколотку в глине, чтобы оторванным концом троса мне не дай бог не отсекло башку. Трактор идет рывками, кусок слишком большой для него, хорошо бы подтолкнуть сзади БАТМом, но это надо идти за другим водителем, терять время, заводить БАТМ, а рабочий день на исходе и куда интереснее узнать, что же случилось на «Смоленске», — поэтому тащим медленно, аккуратно, легкими рывками — грязные, уставшие, потные, вонючие пробираемся к площадке. Туда же от «Смоленска» тащатся двое — Лёха и Саня-блондин. Лёха хромает, потому как хромой. Саня почему-то хромает тоже.

— Боня, хрен мутный, опять на помойке жрал?! — кричит Блондин на рыжего мелкого пса, который вьется у его ног, виляет хвостом. — Отвали!

Сергей Маркелов — журналист. Родился в Мурманске, окончил филфак Петрозаводского государственного университета. Участник форумов молодых писателей 2013 и 2014 годов. Живет в Карелии.

Блондин, как всегда, широко улыбается, но в этот раз он какой-то ошарашенный, почему-то весь белый с головы до ног, привычно белыми бывают только его волосы. Он в своих вечных джинсах и джинсовке, кирзовый сапог на правой ноге распорот, словно полоснули ножом.

— Саня, ты чё? — спрашиваю я.

— У него спроси, — кивает Блондин на Хромого.

— Я при чем? — отвечает Хромой.

На нем прорезиненный мешковатый плащ, защитные очки криво сидят на башке, взгляд, как всегда, глуповатый.

— Это ж надо, — говорит Блондин, делает шаг, щурится от боли, хватается за промежность. — С-сука, по яйцам зарядило.

— Кто ж знал, кто ж знал? — лопочет Хромой.

— «Кто знал, кто знал», — передразнивает Блондин. — Блин, яйца болят.

— Чё весь белый-то? — спрашиваю я.

Блондин оглядывает себя, пытается отряхнуться, ему больно, он и сам удивляется, что весь белый.

— Правда, белый, — удивляется он. — Огнетушитель... вон, сапог разрезал, хорошо, нога целая, и по яйцам шлангом, потому что... Солярка, это, загорелась... этот придурок за ведро... Я ему: «Куда?!» — а он херак ее... воду. На солярку. Она горит ведь. И полыхнуло. Я за огнетушитель. Он как рванет в руках... Больно, и руки отбило, что ли. Надо больничный брать, дадут хоть больничный-то? Нахера водой-то солярку, если горит?

— Нельзя солярку водой, если горит, — спокойно замечает Боря. — Надо, в общем, помпу заряжать — бросай, Серёга, скажи Владимиру Сергеичу, чтобы это, а то сгорит весь к чертям.

Боря показывает взглядом на полураспиленный корабль, из которого валит дым. Снимает черную перчатку. Достает сигарету. Закуривает.

— Ладно, хорошо не сгорели, — говорю я. — Пойду...

Блондин все так же ошарашенно смотрит по сторонам, словно он и залив этот, и небо, и меня, и Борю, и Хромого, и пса Боню только что увидел, только что осознал, что мы есть, что он есть, что они только что чуть не сгорели на корабле.

— Полыхает-то как, — замечает он. — Больничный-то должны дать...

Полураспиленный корабль «Смоленск» похож на буханку хлеба, у которой выгрызли середину. Как раз оттуда валит черный дым, полыхает огонь, где-то наверху в клубах дыма кружит толстый баклан.

Мне двадцать два года, полтора месяца назад я кое-как закрыл сессию в универе, в который раз поскандалил со своей подругой и сбежал в Мурманск, где работаю такелажником на заливе, прохожу практику в журнале «Мурманская миля», пытаюсь замутить с официанткой из пивнушки на Скальной, а в перерывах и перекурах забираюсь в еще не распиленную каюту и читаю сборник отечественной фантастики, найденный среди книг из разоренной корабельной библиотеки.

— Ладно, пойду... — повторяю я и бегу сказать мужикам, чтобы заряжали помпу.

* * *

Утром сложнее всего было засунуть руки в колючие рукава.

Я вскрывал стены в каюте, снял слой ДСП или ДВП — попробуй вспомни уже, как называется этот кусок обшивки, под которым слой стекловаты. Мужики сказали, чтобы я не парился:

— Серёга, не парься, это минвата — она не колетса! — так и сказали.

Было жарко, я разделся до футболки. Вытаскивал мягкие желтоватые куски, потел под мурманским солнцем и от мурманской влажности, наслаждался теплом и красотой залива, тем, как минвата блестит на солнце. Удивлялся гениальности тех, кто

придумал минвату. Руки начали дико чесаться к вечеру. Куртка колололась месяц, пока я не плюнул и не купил новую...

Вечером самое сложное было подняться на сопку. Потому что устал, потому что конец рабочего дня, потому что триста шестьдесят пять или больше ступенек, потому что в Мурманске высокая влажность, потому что весь мокрый и куртка неприятно колет руки, потому что где-то на середине магазин, крановщик Боря уже покупает водку «Пять озёр», до конца лестницы я так и не дохожу.

В субботу утром мужики отпаивают меня пивом. К обеду прихожу в себя. Залезаю в кузов, помогаю грузить мусор — надо мной болтается здоровенная сетка с металлоломом. Крановщик Боря с похмелья дергает рычаг, стрела крана прыгает в сторону, сетка с мусором несется на меня. Инстинктивно падаю на корточки, что-то огромное громко бьет по краю кузова у меня над башкой. Встаю, кручу пальцем у виска, крановщик Боря улыбается, разводит руками, мол, извини. В который раз я представляю, что моя башка, как раздавленная вишня, стекает по борту кузова. Это легко представить, особенно когда над тобой болтается огромная магнитная шайба с тяжелыми кислородными баллонами.

— Серёга, — кричит из кабины Боря, — все, забей, пошли обедать!

Отряхиваюсь, иду обедать. День у меня нормирован. Рацион сбалансирован. Я не разрешаю себе есть из разных тарелок, чтобы потом не мыть гору посуды. Покупаю котлеты «Поморские», съедаю не больше одной за раз. На работу обязательно беру вареное яйцо — в перерыве только на нем можно продержаться от завтрака до обеда. По выходным стираю черные носки в танцующей по ванной комнате стиральной машинке «Вятка-автомат». Один пакет чая, пара ложек кофе, ложка сахара, бутылка лимонада, куриные кости псу Тимохе. В субботу вечером все идет по пизде.

С другом детства Женей пьем пиво у меня дома, едим из всех тарелок, едим все, что есть в холодильнике, потом едем в пивнушку на Скальной, я выношу мозг безответной официантке, уезжаем без нее в ночной клуб, в ночной клуб нас не пускают — ругаюсь с охранниками, иду нахер, еду домой в гордом и усталом одиночестве.

В воскресенье прихожу в себя.

В понедельник выхожу на улицу. Привыкаю к серой сырости утра. Покупаю сигареты. Сажусь в автобус номер восемнадцать. Доезжаю до конечной. Спускаюсь по длинной лестнице к заливу. Наслаждаюсь видом залива, ржавыми кораблями, черной грязью, горами железа, рыже-зелеными сопками на Абрам-мысе. Прохожу мимо лающих собак. Здоровуюсь с псом Тимохой. Захожу в бытовку — длинный зеленый вагончик, — жму сухие, мокрые, мягкие, мозолистые, большие и твердые мужицкие ладони. Надеваю пропитанную соляжкой, жирную, тяжелую и вонючую одежду, мажу мазью разбитую кирзовыми сапогами ногу, сую в карман респиратор, сажусь за стол, наливаю кипятка, сыплю две ложки кофе и ложку сахара, кидаю в рот одну печеньку.

— Чё-то руки стали трястись постоянно, — говорю мужикам, глядя, как в руках танцует чашка. — И шум моря по ночам в ушах.

— Это нормально, — замечает у окна Блондин, стряхивает в окно пепел с сигареты.

— Говорят, если это, часто работать с этими, болгарками, отбойниками... — водитель Вова подбирает слова, хлопает растворимым кофе.

— С виброинструментом, Вова, — улыбается Блондин. — Это называется «виброинструмент».

— Да, ну вот, если этим самым часто работать, мясо от костей начинает отслаиваться.

— Обалдеть теперь, — смеется Блондин. — Э-эх, что делать, пойдем, что ли, этим самым работать?

Мужики торопливо дохлюпывают свой чай. Ставят чашки на стол. Тушат сигареты. Выходят на улицу. Снова закуривают.

— Боня, хер мутный! Опять на помойке жрал? — как всегда, кричит Блондин, треплет мелкого рыжего пса.

Мужики медленно, неторопливо, неспешно надевают маски и перчатки, тянут за лямки газорезки, я беру здоровенную оранжевую болгарку, кидаю на плечо, вереницей мы топаем пилить-резать-ломать. По дороге курим, потом курим на корабле, пока Блондин снова не крякнет: «Э-эх», — не треснет коленями и не скажет: «Хорош болтать, пошли работать». Разбредаемся кто куда, теряемся в каютах, в трюмах, в рубках.

— Подмайнай, Олег! — доносится с причала, где по вечерам крановщик Боря ловит на удочку селедку.

У причала спокойно себе пасется корабль «Смоленск». Жить ему осталось не больше полугода.

— Ты знаешь, что на этом корабле твой дед ходил в море? — спрашивает дядька.

— Да ну?!

— Ага. С котом в море, с Васькой, сети тянут... Фотография есть. На «Смоленске» они, то есть, тянут.

Самое сложное было подняться по лестнице после тяжелого рабочего дня. Сесть в автобус номер восемнадцать. Доехать до дома. Зайти в пустую квартиру. Трясущимися руками накормить себя едой. Деть себя куда-то до вечера. Деть куда-то ночью свое одиночество. Свыкнуться с гулом в ушах. Дожить до субботы. Утром самое сложное — сунуть руки в колючие рукава.

* * *

Субботние дни были самыми кайфовыми — много свободного времени, я мог взять книгу, забраться в каюту и читать, наблюдая краем глаза за перемещениями солнечных лучей по полураздолбанной стене, слышать крики на причале:

— Подмайнай, Олег!

На мне грязная и пыльная одежда: красно-синяя толстовка, рваные болоньевые штаны и кирзовые сапоги, в которых я разбил себе ногу, нога опухла, я каждый день мазал ее чем-то и на всякий случай готовился к ампутации.

В каюте я укладывался на пружинистую койку без матраса, стягивал дубовые рукавицы, грязные перчатки, слюнявил сухой грязный палец, листал страницы книги, взятой из бывшей библиотеки. Собственно, все там было разрушено — корабль доживал последние месяцы. В какой-то из этих кают, должно быть, в отрыве от земли, месяцами мастурбировал мой дед, который ходил в море на «Смоленске» после того, как его вышвырнули из военного флота, — корабль этот дед переживет года на полтора, фотографию «Смоленска» я нанесу на надгробие — я эту историю уже раз двести рассказывал...

Иной раз я доставал телефон, звонил официантке из пивнушки на Скальной. Я таки взял у нее номер телефона, но она день за днем делала мне мозг — видимо, в какой-то момент я не оставил ей выбора, потом ей показалось, что мне можно было бы и дать, но мой социальный статус и постоянная нетрезвость заставляли ее придумывать занятость, придумывать детей, да кто их знает, эти официантки такие непостоянные, может, они даже и были, дети эти, все равно я ту блондинку с выразительными глазами и выразительной жопой готов был принять и с детдомом впридачу, поэтому упрямился, но она находила и находила какие-то там свои мотивы, но периодически начинала проседать под напором — может, подаренный букет вонючих лилий сыграл какую-то роль, не знаю.

Со «Смоленска» меня перевели на другой корабль, не помню, как он назывался, — главное, что мы по-быстрому отчекрыжили корму и отворили портал на залив. На самом деле это была железная дверь в кладовую, и после того, как кладовую отрезали вместе с кормой, это место стало похоже на последний тамбур последнего вагона в поезде — по субботам в одиночестве я долбил ломом плитку, а в перерывах садился в проеме, свешивал ноги над заливом, закуривал сигарету, смотрел на Абрамыс, на парящих в небе бакланов, на проплывающий мимо нефтянок с буксиром, слушал тишину ветра и шум воды. В обед я снимал с себя вонючую грязную одежду, кое-как смывал с рук солярку и пыль с лица, надевал нормальные шмотки и шел брать интервью, например, у министра соцразвития Мурманской области (уже и не вспомню, как звали ту бабку), — я проходил практику в журнале, который не прочь был опубликовать интервью за деньги, я этого не знал, хотя, может, и догадывался, но меня это мало волновало — мне надо было отбыть практику и трава не расти.

После интервью я возвращался на работу, надевал грязную одежду, шел разрушать корабль. Официантка, зараза, не брала трубку. Субботним вечером мы приперлись в пивнушку с друзьями, и я, изрядно подпив, поскандалил с ней — кажется, после этого наутро я притащил ей цветы и, наконец, отстал от нее к чертям, смирившись с недоступностью ее жопы.

В какой-то из дней после этого мы вскрывали холодильный отсек. Закрытое помещение, в руках у меня болгарка, я наглухо забронирован одеждой защитного цвета, на лице респиратор — под слоем алюминия был слой досок, который надо было вскрывать болгаркой, дышалось тяжело, а по-правде — и нечем из-за опилок. Я вскрывал стену, обливаясь потом, когда Серёга разрезал холодильную трубу, в которой остался аммиак, пнул меня и крикнул:

— Наверх! Быстро!

Я почувствовал удушливый запах, бросил болгарку и понял, что нам конец. Рванул к лестнице. За мной вскарабкался Серёга-газорезчик в своем крутом респираторе, из-за которого он был похож на Гайку из «Чип и Дейла». У меня был обычный тряпичный, и на середине подъема я понял, что не могу дышать. Но раз уж я это пишу, понятно, что я добрался до люка; Серёга вытолкнул меня снизу на палубу, следом выполз сам и тоже упал рядом на ржавый пол, чуть нагретый дневным солнцем. Так мы и лежали среди искореженных корабельных перекрытий и поручней, переводя дыхание, вдыхая прохладный воздух с залива, слушая вопли вечно голодных чаек.

— Все, надо ждать, около часа, — спокойно заметил Серёга.

— Угу, — ответил я, — выветрится когда... Курим.

Что я мог сказать? На этом корабле я в маленькой кладовке тушил огонь, пока Серёга отрезал корму, долбил палубу отбойником, тушил ногами горящую солярку, кидал с палубы палку псу Тимохе, который нырял за ней в залив, грузил тяжелые кислородные баллоны, — короче, я сроднился с этим кораблем настолько, что чуть на нем не сдох, но в итоге разобрал его до киля и винта, хоть он и сопротивлялся, и даже винт разобрал.

Вечером в тот же день официантка позвонила мне зачем-то (это была пятница, может, поэтому все так и вышло через жопу, вот если бы была суббота), позвонила сама, согласилась куда-нибудь со мной пойти. Тем же вечером я напился с крановщиком-Борей и, придурок такой, забыл про ее выразительную жопу. Признаться, основную роль в этой выразительности играла короткая юбка, которую или которые, видимо, выдавали официанткам в этой пивнушке, короче, слава богу, что до кофе и прочей херни не дошло, а то я бы еще и остался в Мурманске из-за выразительной жопы, что, возможно, было бы и не худшим вариантом развития событий на какое-то время, кто знает.

Вскоре меня перекинули обратно на «Смоленск», где все еще валялись книги из библиотеки, и я, наконец, смог снова спокойно читать в не разрушенных пока до конца каютах. Телефон мой молчал.

2

Воздух был пропитан солью и холодом. Солью и холодом. За бортом шипели волны. Шипели волны. Мягко прыгал по волнам тяжелый траулер, чьи трюмы были полны рыбой, чьи каюты были заполнены запахом рыбы и морями, пропахшими рыбой. В густом тумане скользили мелкие капли, которые пропитывали одежду и сыростью оседали под носом. Над кораблем зависли чайки, о чем-то скандалили и строго косили глазом, как сварливые тетки. Он курил на палубе «Астру» и вглядывался сквозь туман в очертания знакомого берега.

Он возвращался домой. Его никто не встречал. Как всегда. В ногах лениво околачивался кот. Холодный берег, покрытый металлом кораблей, белым снегом и мелкими северными деревьями, вырисовывался в тумане. Я, честно, не знаю, что там кричали друг другу матросы, когда корабль подходил к берегу, какие команды отдавал капитан, — я никогда не ходил в море. Знаю лишь, что ему было зябко в утренней сырости. Зябкий и холодный Мурманск встречал его берегом и высохшим шпилем вокзала с красной звездой на вершине. Встречал его вдалеке здоровенный бетонный Алёша. От Алёши спускались по сопке деревянные халупы, в одной из которых ютилась его семья: жена, двое детей, пес Мишка и какой-то еще кот.

Семья его была бедной, дочь ходила зимой в школу в осеннем пальто и ботинках, сын донашивал колготки за сестрой, мама утром грела детям колготки на печке, — он это знал, вспоминал об этом, как о саднящей десне, пока не...

— Ваня, ну чё?!

Он обернулся. Невысокий, кучерявый, на левом запястье из-под закатанной манжеты острием торчит татуировка в виде компаса, на правом кулаке выбиты буквы: ВАНЯ. Внук потом спросит у него: «Зачем?» Он ответит: «По-глупости».

— Чего?

— Ты куда после рейса? Домой?

— А что?

Зашевелилось внутри сомнение. Вроде бы домой собирался, как всегда, к жене и детям, но так ли они нужны, так ли хочется туда, к безденежью и деревянным стенам, в которых давно уже нет любви? Прислонился спиной к холодной перекладине, уперся ступнями в палубу, сросся с этим железным кораблем, к горлу предательски подступил заранее известный вкус холодной водки, язык сладко напомнил о селедке с картохой и луком, в голове заиграла музыка.

— В «Десятку» пойдем? Или в «Берёзку?» — спросил он, уже решившись.

— Давай в «Десятку», чего экономить? Денег куча, девать некуда. Чё, ты опять своей понесешь? Все равно ворчать будет, сколько бы ни принес, а так хоть отдохнем с рейса, успеешь еще послушать детских воплей, ха-ха, — ответил напарник, который планировал отдохнуть за Ванин счет.

— И то верно. Надо Ваську только куда-то деть.

— Да в каюте оставь, потом заберешь. Куда он денется?

Кот Васька никак не отреагировал. Он смотрел тоже куда-то вдаль, представлял, как плещется рыба в заливе, хотел есть и собирался весь вечер спать, в общем-то, неважно где.

* * *

Домой возвращался ночью. На Большой ручьёвой, где в те годы стояли деревянные халупы, было темно. Его шатало, как полжизни шатало в подводной лодке, где он служил боцманом; но по пьяни пальнул в воздух, разбил о дверной проем сухожилие большого пальца и выпил казенный спирт, — правда, все это в обратном порядке, хотя исхода это не меняет, потому что за это с военного флота его выперли, перевели в

траловый, и уже на корабле «Смоленск» ходил он в море, ловил бесчисленную в соленой воде рыбу. Внуку он будет рассказывать байки, как спасался с утонувшей подлодки, после чего его и комиссовали, — все это, конечно, будет неправдой.

Он шел. Его шатало. Тяжелые ботинки чавкали жижей в грязном бездорожном снегу. На вершине сопки гордо возвышался бетонной сырой глыбой Алёша. В голове крутилось бесконечной пластинкой: «Тёмная ночь, только пули свистят...» — эта песня всегда крутилась у него в голове с тех пор, когда ребенком его спрятали в сарае под стогом сена и он то ли наблюдал, то ли слышал оттуда, как немцы решат его родных. Со временем точность этих воспоминаний стерлась, но это чувство страха он помнил, и военные песни всю жизнь сами собой звучали в голове. Так было и в молодости, когда он работал проводником, прыгивал с поезда где-то на сортировочной станции в С-й области, освещая себе путь желтой керосиновой лампой, шел по бездорожью домой, лишь изредка вспоминая пропавшего без вести отца, и теперь, когда он брел по темной Большой ручьевой улице, грудным басом напевая все ту же «Тёмную ночь».

В небе не было ни луны, ни звезд — в облачном Мурманске чистое небо большая редкость. От выпитого захотелось в туалет. До дома еще далеко, хотя и не то чтобы очень, просто, когда нетрезвый, позывы собственного тела кажутся сиюсекундными. Было холодно. От холода захотелось еще сильнее. Взгляд уперся в деревянный туалет. Ноги понесли туда сами. Открыл скрипучую, покосившуюся дверь. Зашел. Скрипнули доски. Он покачался на ступнях. Доски хрустнули. Ваня провалился. Даже понять ничего не успел. Так бы и утонул бесславно, но на шум и на счастье Вани залаяли и прибежали собаки, соседи включили свет, кое-как, вздыхая и матерясь, вытащили из дерьма, чтобы Ваня еще долго и бесславно пожил. Сердобольно-недовольные соседи отвели домой. Жена Вани в который раз его обматерила, одежду пришлось выкинуть, а хлипкие советские рубли, остатки которых Ваня донес-таки до дома, она аккуратно отстирывала от дерьма полночи, а другие полночи сушила, а утром привычно грела детям на печке колготки и неделю не разговаривала с мужем.

Ваня тогда же вечером несвязно поворчал немного и тут же мертвецки уснул. Детям даже не пришлось прятаться от воплей отца в сарае. Ненадолго из-за облака выглянул огрызок луны, осветлил комнату, осветлил лицо женщины у окна, осветлил бездорожье, по которому Ваня шел всю жизнь. Он так и говорил потом внуку: «Пойду по бездорожью, — затыкивал бесконечное: "Э-эх, доро-о-оги, пы-ыль да ту-уман..."» — уходил куда-то в большущей шапке-ипполитке и тяжелом тулупе, а под ночь возвращался ругаться с бабкой.

Даур Начкебия

Рассказы

С абхазского. Перевод автора

Сказка

Жили-были старик со старухой...

— Пойми, они пришли убить нас.
— Ты в своем уме? Что значит, убить, за что?!
— Раз пришли, другого выхода у них нет.
— Чтоб убивали невинных — такого я что-то не слыхала! И потом они ведь наши!..

К шесту, на котором была закреплена антенна, старик приладил другой такой же и поднял конструкцию как можно выше.

— В целое состояние обошелся нам твой телевизор, да так вот и будет стоять в углу и собирать пыль?! — ворчала старуха.

Она с самого начала была против: с их курами-индюками, коровами-телятами, огородом-садом — есть ли время паяться в экран!

— На старости лет мир посмотрим — хотя бы по телевизору, долго ли нам еще топтать землю? — разжалобил ее старик, и она согласилась. Пришлось загашник, годами копившийся с пенсии, выпотрошить, причем изрядно — что еще оставалось, ведь нынче все так дорого.

Многое знает и понимает тот, кто многое пережил. Может, и старится человек, зная и понимая больше, чем нужно? Старик был как раз из таких, — и хотя тело его все еще подчинялось уму, но сердце в нем было сдавлено и скукожено холодом существования и давно уже истосковалось по тишине, по забвению.

Телевизор не заработал как надо. Если покрутить шест с антенной в разные стороны, то либо изображение появится, либо звук, но чтобы они собрались вместе — такого не бывало.

Начкебия Даур Капитонович (р. 1960) — абхазский писатель, публицист, издатель, государственный деятель. По образованию физик, окончил Тбилисский государственный университет. Автор сборников рассказов «Предчувствие» и «Дерево», романа «Берег ночи», книги публицистики «Лицом к лицу». Проза переведена на английский, армянский, грузинский, испанский, сербский, хорватский и др. языки. Живет в Сухуме.

Предыдущая публикация в «Дружбе народов» — 2019, № 10.

Они жили в ущелье, вдалеке от села. Из-за плохой дороги и отдаленности автобус до них не доходил, изредка самое необходимое — мыло, спички, соль, керосин — они закупали в сельмаге. И в этот раз он сел на свою клячу и потащился в село за монтером. А тот объяснил, что сигналам прорваться до их антенны мешают горы, что они, сигналы, отражаются от склонов и рикошетом уходят в небо. Надо поднять антенну повыше, тогда она заарканит побольше сигналов и гуртом загонит их в телевизор.

«Видать, горло у нашего ущелья узкое, надо бы антенной расширить его», — по-своему понял старик.

Когда старик со старухой очнулись, их выволокли и заперли в передней комнате.

Как-то утром к воротам на двух джипах с открытыми верхами подъехали военные. Они мигом выпрыгнули из машин, распахнули ворота и ступили во двор. Старик, увидев их, оставил скотину и пошел навстречу, но не успел и рта раскрыть для приветствия, как его саданули прикладом по голове, и он со стоном повалился на траву. Старуха все это видела, она вскрикнула и рванулась к старику, но и ее тоже уложили прикладом автомата. Двое, держа оружие наготове, встали у дверей, двое забежали в дом, остальные настороже двинулись в сад, огород, коровник...

Оба водителя не шелохнулись в джипах. В переднем — некоторое время сидел без движения и некий человек в темных очках, потом вылез, неторопливо зашел в ворота и двинулся к дому. Он был без автомата, только рукоять пистолета торчала из кобуры на поясе.

Он подошел к лежащему на земле с окровавленным лицом старику и навис над ним.

— Их подозрение вызвала поднятая антенна. Говорят, я — шпион. Оказалось, в большом мире идет война, а мы и не знали.

— Боже праведный! И что ты им ответил?

— Отрицал, конечно, но кто бы меня услышал...

— Вот и сон в руку. На днях приснилось, будто мутная жижа залила наш двор.

— Так и есть: влипли мы, да еще как влипли — по самое горло. Ума не приложу, как выпутаться из этой передраги.

Крепко сбитые, похожие друг на друга, будто их одна мать родила, все с одинаковыми каменными лицами и холодом в глазах... Командир — еще крепче, еще каменнее и еще ледянее, казалось, на кого посмотрит, тот промерзнет насквозь. И все же в его лице было больше жизни, оно выражало внутренние движения, — или он умело притворялся. Сейчас на его лице было написано недовольство: не время возиться с этими стариками, есть дела поважней.

Заговорил, и стало понятно — ледяной облик лишь маска; голос — как у нормального человека, даже с теплотой, а не с металлом, как думалось.

— Лучше бы мы ничего не слышали, ничего не знали, ничего не видели. Жили бы дальше в своей глухомани...

— Не дал ты нам помереть спокойно!

Перерыли весь дом, осмотрели каждый угол, опрокинули кровати, из шкафов выгребли одежду, постельное белье и побросали на пол, посуду раскидали и перебили. Столь же тщательно осмотрели все вокруг дома: двор, амбар, коровник, винный погреб, заглянули даже в нужник.

— Война и так одно сплошное безумие, почему же в том, что мы делаем, ты ищешь смысл, старик?

- Я тоже когда-то воевал...
- Тогда войны были другие, не то что сегодня...

Здорово натасканы, — думал старик, глядя на них. Даже позавидовал: имей мы в свое время такую подготовку, не погибло бы столько, многие и сегодня были бы живы. А теперь что толку сокрушаться... Какие ребята тогда полегли — вспомнишь, дыхание спирает. Но прочь утешение женщин — жидкое излияние из глаз! Только не это!

Хотя, может, лучше, чтобы душевная мука прорвалась и растеклась по морщинам солоновато-горьковатыми каплями? Только так можно вырвать из сердца тех ребят, навечно проститься с ними — освободить и себя, и их. Но — нет: никакого самоутешения, никакого самообмана. Это слабость, это значит — сдаться. С открытыми, незамутненными глазами...

— Если думаешь, что мне все это нравится и я ничего другого не умею, то глубоко ошибаешься. Я, как и ты, из землепашцев, соху предпочитаю любому оружию — отец с малых лет приохотил к земле. Но в армии из меня выбили все крестьянское и научили вот этому. Надо защищать родину, кругом враги, дадим слабину — раздавят, сказали мне, и я поверил. Что мне оставалось, — ведь кто-то должен служить государству, если все возьмется за соху, наши враги не оставят от нас камня на камне... Я никогда никому не говорил подобного — я смирился со своей судьбой. Тебе сказал, потому что... сам понимаешь, не глупый...

Старик догадался, что он имеет в виду, ему стало не по себе. Это умрет вместе с тобой, кроме своей старухи тебе не с кем будет поделиться, но это умрет и с нею тоже — вот что означали его слова...

Сорока пяти-сорока семи лет, не больше. По виду и столько не дашь — силен, ловок, статен, широкоплеч. Но глаза... Они выдавали его: изнутри он был стар и изношен. Провести старика ему не удалось: в глазах его виделась та же мука, что прежде времени старит, та же, которую он видел в глазах выживших после боя ребят. Когда ты в душе распрощался со всеми и всем, что любил, и готов к смерти, и вдруг тебя выбрасывает на этот берег, и ты выносишь лишь меньшую часть себя, большая уходит на дно, оставив нескончаемую, непреходящую муку в глазах.

— Переночуем здесь, я уже сообщил в штаб. Организуйте перекус и ночлег, выставьте караул — смена каждые два часа. Будьте бдительны — враг может напасть в любую минуту! — строго сказал он, и не понять было, на самом ли деле печется о них или выполняет устав.

Он, последний солдат Великой войны...

— Лучше было бы вам сидеть тихо в своей норе, мир уже не тот, какой вы знали. Червоточина завелась в мире, не сегодня-завтра он рухнет, как сгнившее дерево. Ты ведь мудрый, почему забыл, что во многом знании многая печаль? Зачем вам нужен был на старости лет этот телевизор, гори он синим пламенем! Здесь вокруг такая красота, что и вечность не надоест, а вам этого не хватило...

На следующее утро, едва занимался день, оба джипа стремительно выехали со двора, оставив позади, словно прихваченную льдом, гулкую тишину. В переднем джипе сидел командир, скрывая за темными стеклами очков всегдашнюю муку в глазах. Лицо его, как всегда, было каменным.

Колодец

После войны Баграт решил вырыть колодец: прежний засыпало взрывом пушечного снаряда. Восстановить его было куда проще, чем рыть новый, но хотя вода в нем и была приятна на вкус, после случившегося душа к нему как-то не лежала, словно колодец убило этим снарядом. И он начал копать новый в другом месте. И потом, как знать, вдруг вода там будет еще приятней.

— Совсем из ума выжил. Какой колодец в твои годы, посмотри на себя! — бурчала жена Гулиза.

— У всех свои дела, не до нас им, — сдержанно, не перечая, отвечал Баграт.

— Ведро воды из соседского колодца нам хватит на весь день. А притащить это ведро мы еще в силах. Друзья Аляса, дай Бог им здоровья, поставили большую железную бочку и наполнили ее до краев, на какое-то время достаточно. И что тебе неймется, несчастный, угомонись, тебе разве до того...

Она была права: он слишком стар для таких дел — услышит кто, обсмеют. Каково это, спускаться и подниматься, и не раз на дню, — а суставы скрипят, как несмазанная арба, и кости ломит. Да и до воды не скоро доберешься — в этих местах обычно копать нужно глубоко. Хорошо, ну приспособит он как-нибудь лесенки, составит две-три, чтобы доставать до дна, а вдруг внизу станет не хватать воздуха и он начнет задыхаться? Тогда пиши пропало. Вылезай и ставь крест на всем деле. Стыд и срам. Нужен и помощник — вытаскивать нарытое на-гора. Гулиза отпала сразу — ноги у нее никуда, без палки и двух шагов сделать не может, да и в руках ее нет той прежней ловкости, которая позволяла собирать до ста килограммов чая за день. Оставался Умахь; но какой толк от такой же развалины, как он сам. К тому же Умахь после гибели сына стал сильно на вино налегать, бывает, днями не просыхает. Полное ведро, конечно, он вряд ли осилит, а пока вытащит полведра да вывалит содержимое на землю, не умолкая при этом ни на минуту — старик не в меру словоохотлив, — как говорится, у жабы зубы вырастут. Ну и пусть, куда им спешить, теперь у них обоих времени навалом...

От сомнений у Баграта опускались руки, и он, грешным делом, подумывал оставить эту затею. Только жалко, — хороший был колодец, крепкий, аж до самого дна стены были выложены плотно пригнанными друг к другу камнями. Баграт сам обтесал их и сам уложил — в одно засушливое лето, когда злое солнце опустошило колодец, как пьющий опустошает рог с вином, на дне не оставив ни капли. Тогда колодец стал темным, гулким, бесплодным — такого не забудешь. Но все рухнуло. Надо же было именно в него угодить тому проклятому снаряду!

Правда Гулиза: надо сказать друзьям Аляса, и те в несколько дней управятся — и будет у них вода. Но... Нет, он сам должен вырыть колодец! Новый! Сам!

— Идите перекусить! — звала Гулиза.

Умахь тут же в дыру: «Вылазь, мамалыга стынет!»

«Нашла время...» — в сердцах ругнув жену, Баграт взбирался по лесенке к свету, на жару, оставив позади сумеречную прохладную глубь. Умахь, ополоснув руки, уже поджидал его в нетерпении на крылечке. Не успевали сесть за стол, как он тут же опрокидывал стакан-другой вина, буркнув для приличия пару слов, и только потом брался за еду — неспешно, с обычной сосредоточенностью подвыпившего отламывал кусок мамалыги и обмакивал в фасоль.

— Кто за тобой гонится, Умахь, остынь!

— Тебе легко говорить, там, внизу, небось, и не потеешь вовсе, а я здесь весь изжарился на солнце, в горле пересохло, жажда мучит!

После полудня работа шла вяло, не то что с утра. Умахя от выпитого развозило. Пока Баграт не окликнет, он и не поинтересуется, наполнено ведро или нет, не пора ли вытаскивать. Сидит себе, небось, на пенечке в тени под черешней и клюет носом. Окликнет его Баграт — всякий раз в ответ слышалось полусонное бормотание: «Хай-хай, в чем дело?!» Или он притворялся? Долго поднимал ведро, еще дольше опорожнял. А потом, слишком ослабив веревку, чуть ли не бросал ее в колодец, и Баграту то и дело приходилось уворачиваться от летящего на него ведра. Словом, Умахь делал все абы как, без старанья, спустя рукава.

Баграту это надоело, и он вылезал.

— На сегодня хватит, Умахь, иди домой, отдохни.

Умахь вскакивал, подбегал к дыре, заглядывал внутрь:

— Знаешь, мы неплохо поработали, завтра наверняка закончим!

А до вечера вон еще сколько, немало бы успели, да...

«Чтобы вот так: все беды — и скопом на одного...» — Баграту хотелось иногда погоревать о судьбе, но что-то удерживало. Он вспоминал о других отцах, чьи сыновья тоже погибли, и тогда сердце унималось, и неотступная боль немного отпускала, как если бы кто-то другой разделил ее с ним. «Скольким же матерям и отцам проклятая война омрачила старость, и не счесть, не я один такой. Ну что ж, придется и дальше с этим жить, до последнего...»

Но, когда Баграту на ум приходил Умахь, ему казалось, что все это самообман, поиски утешения и хватание за соломинку. О других, подобно ему, потерявших своих сыновей, он знал больше понаслышке, лишь изредка некоторых встречал. А Умахь каждый день был перед глазами — ближайший сосед. Ближайший-то ближайший, но близким не стал: Баграт всю жизнь его недолюбливал. Точнее — презирал, в грош не ставил. Не то чтобы тот насолил ему чем или какая-то кошка пробежала меж ними. Просто более непутевого человека, чем Умахь, надо было еще поискать. Никудышный, пустой. (Жена у него была толковая, работающая, весь дом держался на ней.) О семье и хозяйстве Умахь и не думал, с утра до ночи только и знал, что шлялся по селу в поисках, чем бы горло промочить, — только тем и пробавлялся: питоком он был слабым, примет на грудь пару-другую стаканов вина или рюмок крепкого, — и тут же его развозило. Тогда он бывал особенно смешон и жалок: еле стоит на ногах, а лезет на тебя с кулаками. Словом, дебошир, буян, как многие коротышки. С Багратом они не раз схлестывались, особенно в молодости. Умахь припоминал несуществующие старые обиды, обвинял Баграта в надуманных грехах. Но с годами оба поостыли, не тот уже был запал. Баграт многое прощал Умахю только ради его жены. (Бог смилоствовался над ней, забрал ее за год до войны, не увидела гибели сына.)

Сосед, куда его денешь, — надо терпеть. Не опускаться же до него, скажут: это не пристало достойному Баграту. И опять тот будет виноват.

Так и жили, пока их сыновья не погибли вместе в один день.

Баграту не слишком нравилось, что их дети дружат. Лаша, сын Умахя, рос тихим, спокойным мальчиком, никого собой не обременял — ни родителей, ни соседей, ни школу; был смышлен, заточен на учебу. Бедолага же Аляс, выросший в семье с достатком, был горд и строптив, не со всяким хотел знаться. Что он нашел в отпрыске непутевого и жалкого Умахя?!

Лаша неожиданно для всех оказался смелым и отважным бойцом, ничуть не хуже его Аляса, и при этом добрым, человеколюбивым.

Он не оставил Аляса одного — вместе погибли. Совсем неподалеку от дома.

Через пару-тройку часов работы сверху раздавался недовольный оклик Умахя: «Вылазь! Больше не могу! И ты передохнешь». Баграт тоже уставал быстро, и дышать там, внизу, становилось трудновато. Вырыто немало, метров семь-восемь будет, скоро

вода забьет. Измученный, вскарабкивался по лесенке и на воздухе переводил дух. Внизу он не потел, а наверху сразу взмокал, приходилось менять рубаху, чтобы не простыть, когда снова спустится во влажный колодец.

Уамахь устроился на пенке, попыхивает себе самокруткой. Сигареты уже продавались, только на что их купишь, денег нет, надо одалживать. Уамахь знал, у кого можно взять в долг, но зачем, когда у Баграта есть чем поживиться. Во время войны почти весь свой табак, уже завернутый и увязанный для продажи, Баграт раздал ребятам, но немного осталось, самая малость. Уамахь это пронюхал и давай вымогать при каждом удобном случае: «А ну гони свою заначку, мне нравится, как она курится». У самого же — табака отродясь не было: сажать, мотыжить, ломать, сушить — терпенья не хватало.

Баграт осторожничал: на дне у него и так спирало дыхание, а если еще и задымить, каково ему будет? Лучше уж потерпеть.

— Забыл, ты ведь не куришь, — подшучивал над ним Уамахь. — И для кого хранишь? Сам бросил, продать не продашь, а Гулизу поздно уже пристращать.

— Для тебя храню.

— Как бы не так! Я тебя знаю: закончим колодец — конец и вину, и табаку.

Курит его табак, пьет его вино — а все туда же: недоволен.

Кто знает, что взбредет в голову этому черту. Дай только повод — и он сделает ноги не моргнув глазом. А без помощника никак. И Баграт пропускал мимо ушей подколки и подначки Уамахя: «Болтай, болтай, я сегодня в твоей лодке...»

Баграт думал о сыне: «Моя ведь кровь, и от меня что-то в нем было, не могло не быть... И во мне, наверно, есть что-то от него. Но возможно ли такое?»

Вопрос этот мучил его, не давал заснуть.

— Чего не спишь?! — проворчала с соседней кровати Гулиза.

Ей тоже не спится, но виду не показывает. При чужих она охотно говорит об Алясе, а при нем — рот на замке: щадит по-своему мужа, в себе свою боль сдерживает. А ему хочется слышать о сыне, и не только потому, что все вспоминают его добрым словом, — тогда Аляс для него будто живой. Сам он не может первым заговорить о нем — как-никак мужчина, отец, — она не догадывается, остается вот так в одиночку думать о нем, мысленно с ним общаться.

В душе накипело столько, что и родной жене сложно выговорить, а чужим и подавно. И как сказать, найдутся ли нужные слова, если они вообще есть?

— Что-то кости разболелись...

— Говорила тебе: не сможешь! Еле на ногах стоишь, а вздумал колодец копать, помилуй Бог!

— Мало уже осталось, не сегодня-завтра закончим...

Лишь бы рассвело поскорее, и — за работу. Он должен завершить начатое...

Баграт отложил лопату и посмотрел ввысь. Сужавшаяся кверху воронка заканчивалась черным кружком неба, и на этом небе — невероятно! — мигали звезды. Он и раньше слышал, что со дна глубокого колодца дном, как ночью, можно увидеть звезды, но...

— Уамахь!

— Что стряслось?!

— Глянь на небо.

Уамахь вынул изо рта самокрутку и, прикрывшись ладонью от слепящего солнца, нехотя поднял голову.

— И что?! Небо как небо.

— Видишь звезды?

— Ты часом не тронулся, какие еще звезды?! Не знаю, как у тебя там, но здесь

пока что день! — И добавил потише: — И почему Гулиза молчит, решила голодом нас уморить?! Может, думает, что сегодня пост?!

— Отсюда видны. Если не веришь, спускайся, убедись.

— Точно свихнулся, — тихо, потом погромче, чтобы Баграт услышал: — Что за надобность — спускаться, подниматься! Ночью насмотрюсь. Сиди и гляди сколько влезет, платить не надо.

«Может, и там тоже — свет, невидимый для нас, живых», — горько-сладостное чувство охватило Баграта.

Чем глубже он копал, тем меньше и темнее становился кружок неба над ним, но звезды прибавлялись, поблескивая издали негасимым вечным светом.

Еще один удар ломом — и сильной, мощной струей забила вода. Будто развязал, освободил ее душу, так долго томившуюся в заточении. Стены колодца уже с полметра были влажными, от них веяло прохладой, вода по капелькам начинала просачиваться, но чтобы так скоро...

Баграту казалось, что под ним огромная подводная река.

Бурлящий поток наполнил его резиновые, со срезанными голенищами сапоги, и ноги оказались в холодной воде. Холодной, но такой живой!..

На этот раз вылезать из колодца ему было тяжелее обычного. Не потому, что пришлось поднимать лопату и лом — их на бечевке уже вытащил Уамахь. И не потому, что устал, изнемог. Тяжело было другое. За дни, проведенные там, внизу, его боль немного унялась, отступила — так ему, во всяком случае, казалось.

Он что есть мочи долбил каменистую землю ломом, и с каждым ударом его пронимал страх: а вдруг хлынет вода? прямо сейчас забьет, заклопочет? Но он долбил и долбил...

Наверху его ждет пустота, одиночество, на дне наполняющегося колодца он оставляет все то, чем жил последнее время. Сердце тянулось в темную глубину, к живой воде, не отпускало...

Выпили несколько стаканов вина.

— Ты, Баграт, надо признать, настоящий отец своего сына. Ты совершил такое...

— В одиночку я бы не справился, ты выручил...

— Мое дело маленькое, а ты под землю лез каждый день... Я бы не смог, скажу тебе честно.

— Не стоит об этом, оба мы потрудились на славу...

Из дверей амацурты¹ он видел насыпанный холмик в конце двора. (И тогда точно так же лежала холмиком земля — равнодушная, безразличная.) Рядом темнел провал колодца, пустой, бесполезный, и было не разобрать, жив он или мертв. А сейчас он стал наполняться, вода поднималась все выше и выше, значит, колодец понемногу начал оживать. И когда вода остановится на определенном уровне, в ней отразятся те звезды, которые он видел из глубины, и вновь напомнят о неразделимости земли и неба.

Гулиза, как всегда, приготовила вкусную еду, и Уамахь с Багратом, усталые, голодные, уплетали за обе щеки.

— Все это хорошо, но почему у нас с тобой было только по одному сыну?! Почему наши жены больше не нарожали, почему мы щадили их?!

— Бог так распорядился, что мы могли...

— Бог, Бог! При чем тут Бог, если мы сами оказались никудышными!

Выпили еще. Уамахь быстро хмелел, и все дурное в нем — обидчивость, озлобленность — уже бушевало в его глазах. Но Баграт в них видел и другое — то, что

¹ Амацурта — хозяйственное помещение.

напоминало ему о собственной боли. Наши боли одинаковы, — с удивлением признался он себе. Значит, они — и Баграт, и Уамахь — не такие уж разные, правду сказать, вовсе не разные, а равные, одинаковые...

— И зачем тебе нужен был такой огромный дом? — Уамахь и раньше, бывало, напускался на него — наверно, завидовал.

— Надеялся ведь...

— Жадность тебя изводила, жадность! Все было мало...

Это уж слишком, Баграт не намерен был спускать такое хамство:

— Не бузи и молча ешь что дали, так лучше будет, — сказал он, не показывая обиды и пытаясь все обратить в шутку.

Но Уамахь уже — впрочем, как и прежде — был не в состоянии оценить шутку. Он перестал есть, зло зыркнул на Баграта, потом взял стакан вина, поднес к губам, но, не отпив и половины, с силой стукнул им о стол; вино расплескалось и обагрило скатерть.

— Ни вина твоего не хочу, ни тебя знать не хочу! — вскочил и метнулся к дверям.

— Чтоб вы оба сдохли, совсем одурели! — сказала в сердцах Гулиза, подметавшая крыльцо амацурты.

— Вернись! — крикнул вслед пересекавшему двор соседу Баграт, выйдя за ним.

Уамахь, не оборачиваясь, решительно двигался к калитке.

— Вернись, говорю, слышишь?! — чуть резче крикнул Баграт, давая понять, что больше не позовет самодура.

«Весь отдался горю, бедняга, — думал Баграт. — Вроде немного выпил, а расчувствовался...»

Плут Уамахь не мог не понимать, что, заартачившись, он наверняка лишится в будущем и вина, и табака, но тем не менее уходил все таким же уверенно-непримиримым шагом, ни разу не обернувшись.

Баграт дошел до калитки, но не вышел за нее, а встал, опершись о перекладину. Разобрать брань Уамаха отсюда он не мог, но то, что она относится к нему, Баграту, было и так ясно.

Уамахь шел, не сбавляя хода, хотя ноги заплетались. Он все ругался, махал руками, то и дело останавливался, смотрел по сторонам, будто выискивал что-то или кого-то, иногда вскидывал голову к небу, словно желая определить, какая будет погода. Но ни разу не обернулся.

«Как он сказал? Ты отец своего сына?..»

— Куда денешься, дурень, завтра же прибежишь ко мне! И табачка захочешь, и винца... — негромко произнес Баграт, поняв, что Уамахь уже не обернется, тем более не вернется. Потом добавил еще тише: — Пей сколько пожелаешь, кури сколько душе угодно — мне для тебя ничего не жалко, родной ты человек, ничего не жалко...

Так и стоял он, опершись о калитку и глядя вслед удалявшемуся в сумерки Уамахю, и по его щекам катились теплые и очень живые слезы...

Андрей Верещагин

Два рассказа

Аппроксимация

Говорила, что не боится, но черт ее знает, по покрасневшемуся от жары лицу не поймешь — лживый румянец в последние дни вообще никого не выдает. Взять того же деда из 301-й: раньше можно было сказать наверняка, выпил он угля или схаркнул под матрац, а сейчас сколько ни вглядывайся в этот влажный измятый крек — ничего не вскроешь, никаких секретов. Они теперь все как налитые яблочки ходят, а кто не ходит, тот лежит в потном гало. И тоже красный. Валыч шутил, что так они будто святые с нимбами, потому что если никого во лжи не уличить, значит, все говорят правду, а святые как раз не врут.

С этой у Валыча сложилось по-особенному. Тимохина въехала в понедельник, высоко вскидывая колени, поднялась на второй этаж и смиренно выслушала указания дежурной сестры: о питании, об отбое, о том, что делать в случае острых болей. Та потом расписывала главврачу Жургину, какая «поциенточка-красоточка», да как с ней легко и приятно будет работать, да как она не скандалила и не хамила, да как даже Фурцева, к которой подселили новенькую, встречала шаберку не матом и проклятиями по обыкновению, а тихим «здрасьте-здрасьте» и скорбным собачьим взглядом. Жургин почесался, но все-таки отложил знакомство до вечернего обхода, а вот Валыча заинтриговало, поэтому он, приклеив взмокшие волосы к макушке, отправился к Тимохиной.

Появился на пороге важно, в белом венчике дверного короба поклонился Фурцевой (та хрюкнула и отвернулась к стене), представился, однако ответа не получил. Новенькая будто и не слышала, занятая перемещением тряпья из рюкзака на постель: стопка полотенец, штанов и футболок ханойской башней росла перед ней, чтобы завершиться шуршащим пакетом с банными принадлежностями. Все это можно снести в кладовую ниже по коридору, прокряхтел Валыч, когда Тимохина выпрямилась; спасибо большое, ответила она. Валыч предложил показать ей ее место, а она этак подняла брови, что он осекся и перефразировал: сказал, что имел в виду ящик, а не иерархию. Он прикрылся неловкими хиханьками, но хаханьки отзывом не последовали — только строгий кивок в сторону открытой двери. По пути Валыч

Андрей Верещагин — журналист. Родился в Санкт-Петербурге в 1992 году, окончил Санкт-Петербургский государственный университет культуры (2009). Живет в Санкт-Петербурге. Это первая публикация автора.

осведомился у Тимохиной, с чем пожаловала, а она пожаловалась на рези в нижней части живота, картинно приложив руку к оголенному пупу. А, аппендицит, понимающе протянул Валыч и заверил пациентку, что бояться нечего. Та дернула плечами, ответила «наверное» и дальше — лишь бормотала под нос и сухо благодарила за предоставленный ящик для скарга. Может, распереживалась.

Жургин вечером накатил и по традиции делился в ординаторской впечатлениями от обхода. Когда в повествовании он добрался до Тимохиной, то воззрился на дежурную медсестру и сказал, что не понял ее восторгов. Она нелюдимая какая-то, поддержала главврача повариха и поведала, как новая пациентка отказалась от вкуснейшей сайры с вареными кабачками на ужин даже не словом, а одним брезгливым жестом. Другие доктора, которым довелось столкнуться с Тимохиной, тоже отметили непрестанное шевеление губ и безучастность взгляда. Валыч от суждений воздержался, заслонившись угодливыми хиханьками — в этот раз сработало. На каждое замечание в ее адрес он пытался придумать оправдание, пока, наконец, не поймал себя на этом занятии; оно вдруг сделалось до того нелепым и постыдным, что, сославшись на усталость, он отправился домой раньше, чем Жургин в своем рассказе вошел в 301-ю.

Утром, дождавшись подъема, Валыч завалился в палату к Тимохиной, чтобы разрешить собственные противоречия относительно нее. За ночь они успели настояться и забродить, собраться в отеках под глазами, которые было видно и на раскаленном лице. Фурцева храпела, морща лоб под тавром солнечного луча, а новенькая, укрыв ноги махровым одеялом, писала в блокнот. Валыч присел на край кровати и принялся подбирать зачин для беседы, но Тимохина сынициативничала, полюбопытствовав, не с обходом ли пришел. Нет, этим Сергей Викторович занимается, проговорил он и поспешил удержать внимание вопросом о самочувствии. Все хорошо, сказала Тимохина, а вы как? Валыч на автомате размашисто пошутил про косяк, споро извинился и спросил, что она пишет. Фантастику, сказала и резко дополнила: вы смерти не боитесь? Да нет, промычал Валыч в резонанс с всхлипнувшими пружинами койки. Тимохина продолжила допытываться: как вы со страхом справляетесь? Ну, я вроде врач, мне положено. Врачи же остро приближение смерти чувствуют. С чего вы взяли? Операции боитесь? Когда она? Четырнадцатого, завтра то есть. Ничего страшного не будет, уверяю.

В течение дня, когда Валычу случалось пересекаться с Тимохиной в коридоре, она с подозрением смотрела на него; тот глаз не отводил, но и не спешил вступать в разговоры — больно не хотелось успокаивать пациентку. В конце концов, Тимохина, которая валандалась у двери палаты, обратилась с вопросом о вере в бога. Не положено, отшутился Валыч, но встречного не задал. Тогда Тимохина пустилась в объяснения, якобы религия и искусство — это способ справиться со страхом смерти, убедить себя в том, что после что-то да останется. Вам бы духовника позвать, батюшки сюда ходят, освящают по нужде, наставлял Валыч, а она продолжала: я вас как врача, который на границе посмертия существует, спрашиваю, что дальше? Да ничего: холод морозильника, а после жар печи, если родственники попросят. Тимохина, небрежно выбрасывая подбородок в сторону окна, вопрошала, за что там люди воют, и себе же отвечала: за бессмертие. Валыч хотел возразить, мол, в бою-то погибают, но смекнул, что речь не о личном, а народном; мысль эта показалась ему занятой, и он справился, сама ли Тимохина до нее дошла. Нет, вычитала, но самостоятельно, что в контексте крайне важно. Дальше она тараторила с фанатичной быстротой, спотыкаясь и путая ударения; Валыч терялся в смычке клубов: было про бога и долг, необходимость поддерживать безупречность концепции и чистоту поступков. Жизнь по понятиям,

собирался шутить он, но вместо этого тупо спрашивал, не боится ли она умереть. Говорила, что не боится, но черт ее знает, по покрасневшемуся от жары лицу не поймешь. Страх, говорила, притупляется верой, но не конвенциональной, а собственной — там истории интереснее и ярмо не столь тяжелое. Попробуйте, в итоге предложила Тимохина, придумайте пантеон.

На ежевечернем выступлении Жургина ее снова костерили — не один Валыч был целью для расспросов, но он один, похоже, не стал их избегать. Гулкая речь главврача, отороченная междометиями, растянулась по комнате; смешки и наблюдения коллег иглоками вонзались в ее полотно, но проходили навывлет. Жургин был слишком увлечен рассказом и очарован своим голосом, чтобы заметить, как вянет интерес слушателей; Валыч же, поглощенный собственной космогонией, пропустил и искусное интонирование под уличный гомон, и остроты. В голове вертелись (в порядке возникновения): изрытые глазами, как оспинами, колеса; косматые существа из металла, обтянутые кожей, с сосками, в ареолах которых башенными кранами вставали кривые ветки; скользкие облака с трясущимися, но цепкими щупальцами; громогласный и безгубый рот; проливные перья; секущиеся разломы; маслянистые капли и исступленный набат надо всем. Он говорил о том, что Валыч поступает правильно; истеричное в подаче послание было трепетным и нежным, успокаивающим и обнадеживающим; он не запрещал ругаться, пить, лениться, завидовать и врать, а оскорбления в свой адрес воспринимал снисходительно и с юмором. Валыч пока основательно не верил ни в него, ни ему, но это всего-навсего вопрос проработки, которой было решено посвятить часы грядущего ночного дежурства. Жертвуя и без того непродолжительным сном, Валыч старательно вытачивал мифы; кое-что стыдливо зарисовывал, но до написания псалмов не дошло. К рассвету у него были опухшие веки, уставшая от зева челюсть и общие представления об устройстве вселенной — ими-то Валыч и хотел побыстрее поделиться с Тимохиной.

Потом с улицы загрохотало; Валыч подходил к окну, высовывался, насколько позволяло затекшее тело, и тщетно высматривал источник звука. На сумбурном утреннем совещании, куда многие почему-то не явились, напросился ассистировать в операционной, а Жургин, раздраженный хлопками и стрекотом, ломаться не стал: шум снаружи сводил его с ума и сделал уступчивым. Время до подъема Валыч коротал за дремотной полировкой мифа; далекий грохот мешал сосредоточиться, и часам к девяти уже окончательно доконал, поэтому к Тимохиной он пришел только потому, что так решил раньше — менять планы сил уже не было, равно как и рассказывать о своих выдумках. Зато он мог послушать ее фантазии: о разумных океанах; кремниевых червях-термофагах; лоснящихся гигантах и холодном лимфобульоне, которым они наполняют безжизненные оболочки. Это, конечно, было очень увлекательно, но Валыча еще на середине начало вырубать; дождавшись окончания, он поблагодарил Тимохину за откровение, деланно восхитился ее фантазией и отправился просить у Жургина разрешения прикорннуть перед операцией. Главврач не отказал, и изнуряющий слух шум превратился в сломанный убаюкивающий гул, стоило растянуться на диване в ординаторской, где Валыч вскорости забылся.

Проснулся сырой и шалый, отодрал прилипшую к обивке рубашку, посмотрел на часы, которые показывали почти четыре дня, и рванул на третий этаж в операционную. С улицы по-прежнему бахало и даже громче, чем раньше; Валыч на ходу кинул взгляд в окно, но ничего не увидел. Запахавшийся, он ворвался в помещение и рвано извинился, на что Жургин отозвался неодобрительным бурчанием в маску. Тимохина уже лежала на столе под любопытно склонившейся, но пока еще слепой лампой; вы

теперь моя сеньорита Кора, прошептала Тимохина; Валыч шутки не понял, но на всякий случай улыбнулся и расхристался, а затем направился к окну, чтобы закрыть шторы. Внизу тянулась улица, сухая и пожелтевшая от жары, с яркими пятнами листвы и блеклыми автомобилями по обочинам; она казалась впустую потраченной, странно не занятой движениями, но вдалеке Валыч разглядел шевеление. Сперва неясное, оно обрело форму людской колонны, будто бы шествия, в котором и дети, и старики, и милиция, и солдаты; у них не было транспарантов и лозунгов, марш преимущественно молчал, а если кому и случалось вскрикнуть, тот тут же обрывал сам себя глухим раскатистым тархтением. Ласкаемый тенями крон, смазанный маревом и ритмично дрожащий, этот поток тянулся от самой площади, становился четче; сотни и сотни сливались в единое пестрое, но отсюда уже обведенное рядами автоматчиков, как замысловатым пунктиром. Строй был неровный и какой-то дерганный, сжимался и извивался, но все равно строго направлял людей к дверям больницы, с первого этажа которой доносился тревожный шум. Ваш бог молитвы слушает? — сбивчиво спросил Валыч, повернувшись к Тимохиной, и, не дождавшись ответа, посоветовал молиться.

Стеклопакет

За ночь бурое пятно на потолке подросло, оформилось в растянутую в улыбке пасть, по краям которой кусками обветренных губ свисали шматы краски. Пятно приветствовало и желало доброго утра, а Вершинин благодарно кивал ему, отрывая голову от влажной подушки. Жар не отступал уже больше недели — обычно ютился между висками и под затылком; порой стекал вниз и плавил легкие, но никогда не добирался до кистей и стоп. Мира говорила, что они холодные, как у покойника. Несколько раз Вершинин звонил в больницу, жаловался на температуру под сорок. Дежурная на том конце хрипло объясняла, что свободных машин нет, рекомендовала парацетамол. Однажды, когда «скорая» остановилась у его окон, Вершинин вышел на лестницу, чтобы максимально жалостливо попросить помощи, увидел, как врачи тащат носилки, застеленные белой простыней, и скрылся за своей дверью.

В квартире было душно, пахло дымом, болезнью. Проветривать Вершинин боялся и держал окна закрытыми, хотя задним умом понимал, что ничего страшного уже не случится. В нем тлел страх усугубить недомогание, будто холодный воздух с улицы может разогнать жар по телу — снести барьеры, которые мешали ему добраться до пальцев, и тогда-то точно наступит конец. Умирать Вершинину не хотелось — хотелось курить. По стенке он прошел на кухню, нащупал пачку «Данхилла» дрожащей рукой, через желтоватую поволоку в глазах достал последнюю сигарету, зажег и затянулся. После короткого приступа кашля стало легче: зрение прояснилось, а в конечностях появилась твердость. Вообще-то он курил «Кэмел», но в последний раз синего в магазине не оказалось, так что Мира принесла «Данхилл». На кашель в кухню вошел черный кот, с прищуром поглядел на Вершинина и принялся тереться о его ноги, подергивая хвостом. Шерсть на хвосте секлась, поблескивала серебристой пылью. Вершинин взял из холодильника пачку корма и высыпал остатки в миску.

— Прости, Виталька, больше нет, — виновато проговорил он, глядя как кот тычется носом в фигурные сухари. Потом кот повернул острую морду набок и оглушительно захрустел. Вершинин потрепал его по холке и вернулся к сигарете.

Четыре года назад, когда Мира принесла кота в квартиру, Вершинин протестовал.

Его напрягло не само наличие животного и связанные с этим трудности, а сумма, которую за него выложили. «Почему бы дворового не взять или там, не знаю, из приюта, в конце концов», — недоумевал Вершинин. Мира отвечала, мол, тридцать тысяч за котенка ориентала с безупречной родословной это очень дешево. В документах значилось, что кота зовут Виталион, но Вершинину было даже стыдно произносить такое вслух, поэтому он, сперва пренебрежительно, а затем с симпатией, стал звать его Виталиком. Кот оказался не таким уж плохим приобретением, однако сама Мира охладела к нему, когда выяснилось, что Виталик бесплоден и заработать на вязке не выйдет.

Вершинин докурил и набрал Миру. Она долго не отвечала, так что он сбросил, следом отправив сообщение с просьбой перезвонить. Было тихо, кот закончил есть и удалился в коридор. За окном кто-то протопал по снегу, запищали кнопки домофона, затем — трель звонка, невнятное бормотание, и подъездная дверь, завопив сигнализацией, открылась. «Интересно, — подумалось Вершинину. — Если бы я поставил стеклопакеты, все равно бы это слышал?» Шум снаружи его никогда не смущал и, более того, временами успокаивал. Старые деревянные окна с облупившейся краской, распухшие и покосившиеся настолько, что приходилось приподнимать створки, чтобы их захлопнуть, тоже не смущали. Ему нравилось заклеивать их на зиму смоченными в мыльной воде тряпками, в этом процессе виделось что-то ритуальное и успокаивающее. И все же, проходя мимо дома, Вершинин стыдливо отводил глаза от своих понурых окон, матовым блеском и неровностью рам выделяющихся среди стеклопакетов, накопить на которые так и не удалось.

Деньги тратились то на одно, то на другое, все непреложное и в первую очередь необходимое. После того, как Женька уехала в Казань учиться, стало чуть легче, у Вершинина с Мирой завелись свободные средства. Их спускали на развлечения. Съездили в Петербург, в Москву, в Крым. Купили новый телевизор и диван-кровать. До ремонта дело не дошло — осенью позапрошлого года руководство завода сократило рабочие недели, Вершинин потерял в зарплате, а Мире пришлось взять частные занятия в дополнение к урокам в школе. Но денег все равно не хватало. «Ничего, сначала Женьку кормили, а теперь и унитаз покормим», — отшучивался Вершинин, случись Мире запричитать.

Он снова позвонил Мире, но она сбросила вызов. Вершинин заглянул в холодильник, где, разойдясь по разным концам ящика, лежали два банана. На дверной полке топорщила стеклянное брюхо банка майонеза. В морозилке оказались пельмени, но заниматься варкой не было сил, поэтому Вершинин щелкнул по кнопке чайника, вернулся в постель и включил телевизор. Показывали, как во Владивостоке на льду рисуют огромную рыбу. Художники в пестрых комбинезонах размахивали красными от марганцовки вениками. Они выглядели смешно и слегка жутко, словно клоуны, подчищающие место убийства. Потом длиннолицый ведущий гнусаво рассказал об очередной победе команды «КАМАЗ-мастер» в ралли «Дакар-2010». «Вот же ж, простых работяг на мороз гонят, а гонщиков этих разве что платиной не обливают», — подумал Вершинин и отвернулся от экрана. Пятно на потолке как будто стало больше. В шелушащемся подтеке теперь виделась насмешка, тем более обидная, что постоянно висела над кроватью, на которой Вершинин страдал. Мысль эта была унижительной и жаркой, Вершинин почувствовал, как поднимается температура, закрыл глаза и уснул под бубнеж из телевизора.

Проснулся от звонка мобильного, не глядя ответил и услышал голос Миры, смешанный с глухим гомоном дороги и музыкой.

- Чего звонил? — спросила Мира.
- Ты сегодня не заедешь?
- Могу заехать, да, мы с Русланом как раз закончили. Тебе нужно что-то?
- Да, захвати сигарет, пожалуйста. И Виталику корм.
- Ладно. Через полчасака приеду.

Вершинин не знал, что еще сказать, поэтому просто молчал, стараясь разобрать слова песни, играющей на фоне.

- Как себя чувствуешь? — спросила Мира, выдохнув.
- Вроде бы получше, — соврал Вершинин.
- Хорошо. Я скоро.

По экрану телевизора носилась белка на водных лыжах, которые были пристегнуты к игрушечному катеру, нарезавшему круги в надувном бассейне. Диктор сказал, что грызун любит экстремальный спорт и выступает за здоровый образ жизни. Вершинину захотелось водки, но звонить Мира он не стал, а отправился в ванную, чтобы привести себя в порядок к ее приезду.

Из зеркала над пожелтевшей раковиной на него глядел нездоровый человек. Ввалившиеся щеки заросли щетиной, глаза слезились, губы, влажные и опухшие, тянулись вниз под собственным весом. Волосы на голове свалились, над ушами торчали жесткие белые нити. Кажется, за время простуды их стало больше. Седеть Вершинин начал еще на третьем десятке. Тогда он просил Миру выдергивать редкие бесцветные волоски и был твердо уверен, что в будущем будет закрашивать их. В последние годы седина стала распространяться особенно быстро, почти полностью захватила виски, защелкнулась на затылке. О выдергивании уже не могло быть и речи, а на покраску Вершинин все не решался — говорил, что она будет символизировать его проигрыш в битве со старостью. Мира в ответ закатывала глаза и махала рукой. Умывшись, Вершинин пригладил ломкие волосы, старательно почистил зубы и уселся на кухне.

Чайник давно остыл, так что его пришлось включить снова. Виталик прибежал на шум кипящей воды, встал перед пустой миской и коротко всхлипнул.

- погоди, браток, — развел руками Вершинин. — Скоро Мира придет.

Она пришла чуть позже, чем обещала. Открыла дверь своим ключом, пока Вершинин пил чай, не разуная прошла на кухню, поставила на стол пакет.

- Ну и воняет тут у тебя, — сказала Мира. — Ты что, вообще не проветриваешь?

- Так болею же, — с деланным равнодушием ответил Вершинин.

— Ничего с тобой не станется. Температуру мерил? — она коснулась тыльной стороной ладони его лба. — Я же тебе парацетамол приносила, не забывай пить.

Вершинин кивнул. Мира положила перед ним пачку «Данхилла», упаковку сосисок и кошачий корм. Услышав знакомое шуршание, Виталик залез на стол.

- Ну-ка, брысь, — скомандовала Мира. — Что у тебя там с пятном?

— Растет чутка, — Вершинин открыл сигареты и закурил, голову приятно повело после двух долгих затяжек.

— Я к соседу твоему сверху зашла, у которого имя еще интересное такое: то ли Лазарь, то ли Лазер, — заговорила Мира; она пахла морозом и автомобильным освежителем воздуха. — Он мне все показал, никто тебя не заливают. Видимо, грибок какой-то, надо средство купить.

Вершинин не ответил, а Мира не продолжила диалог. Прикончив сигарету, он сказал:

- Лоза.

- Что?
- Сосед. Его Лоза зовут.
- Нет, точно не лоза.
- Да нет, Лоза, ударение на «о».
- А, возможно. Странное имя, короче.

Помолчали еще. Вершинин предложил Мире чаю. Она отказалась, сославшись, что ее ждут во дворе.

- Как вообще жизнь? — спросил он.
- Да как, нормально, — Мира пожала плечами. — Дом все строим, ездили выбирать отделочные всякие. Замерщик сегодня приходил еще, окна вымерял.
- Стеклопакеты ставить будете?
- Разумеется. Мы такие широкие присмотрели, знаешь, в цвет дуба.

Потом прощались. Вершинин хотел было обнять Миру, но она строго протянула ему ладонь прежде, чем он раскрыл объятья. Ограничились рукопожатием, после которого Мира зябко поежилась и сказала:

— Руки у тебя холодные, как у мертвеца. Ладно, звони, если чего нужно будет. Выздоровливай.

Немного помедлив у дверей, Вершинин вернулся в комнату и встал у окна. Он хотел посмотреть, как Мира шагает через заснеженный двор к ожидавшему ее возле детской площадки джипу. Она ступала осторожно, обходила серые лужи, затянутые ненадежной коркой, сугробы с грязевыми шапками. Джип приветственно мигнул ей фарами, Мира подняла руку, помахала. Вершинин вдруг осознал, что все это время тербил задубевшую ткань, которой заклеил окно. Ее край отошел, а через щель пробивался острый сквозняк и щекотал живот. Он потянул еще. Ткань отрывалась от рамы с кусками краски и гулким треском. Сквозь отверстия в квартиру, завывая, проникал ветер. Он гудел все громче, как будто пытаюсь перекрыть скрежет намыленной ленты, и затих лишь тогда, когда вся она была оторвана.

В комнату вошел Виталик и прыгнул на кровать; за окном Мира забиралась в машину. Вершинин попробовал разглядеть лицо водителя, но увидел лишь свое отражение — нечеткое, полупрозрачное, искривленное неровной поверхностью стекла, — над которым тучей висело бесформенное и такое же призрачное пятно. Джип уже сдавал назад, слепя фарами. Вершинин тщетно попытался еще раз сфокусироваться на водителе, а потом дернул потертую задвижку рамы, схватился за ручку и с силой рванул окно на себя.

Даша Благова

Расскажите мне о змеях

Рассказ

Я бронирую переговорку, чтобы пережить это. То, что появляется внизу живота. Сначала это — как одна змея, скользкая и шершавая. Она размножается. Очень быстро, сама по себе, опутывает себя другими змеями. Сперва потихоньку, потом смелее, эти змеи кусают мой кишечник, желудок. Пухнут и жиреют, пожрав моей крови. Трахаются друг с другом и рожают новых змеенышей. Закрываю дверь переговорки нашего модно-московского бизнес-центра на замок и ложусь на пол. За непрозрачной дверью — офисное шебуршание. Кто-то открывает вино, потому что пятница и скороновыйгод. Змеи откусывают кусок печени. Я сжимаюсь и давлю лбом в колени. Змеи начинают обвивать собой селезенку и легкие. Скоро все органы пляшут, скручиваются, кричат. Я знаю, *что* сейчас будет. Уже начинается. Дыхание дробится — быстро-быстро, как свежая морковь под острым ножом. Пошел звук. Из желудка, через горло, наружу. Всхлипывания, взбулькивания, я задыхаюсь. Дыхание есть, но нет кислорода. Слезы.

Через пятьдесят минут последняя змея выползает через рот. Внутри становится пусто, нет совсем ничего. Мышцы, кожа, кости желейные. Тело распрямляется, я растекаюсь по полу. Поворачиваю голову и смотрю на тараканисто-рыжий кирпич, из него сложен наш модно-московский офис, который раньше был мануфактурой, где мучились рабочие, зарабатывая гроши и артрит. Рука не моя, но я царапаю ею камень. Я пустая. В кармане вибрирует телефон. Это тетя. Алло? Сашенька, ты можешь говорить? Угу. Слушай, я не знаю, что делать, с мамой твоей что-то не то. А что такое? Она какая-то агрессивная. Что делает? Прогоняет из палаты, обзывается, кинула в меня бутылкой сегодня. После капельниц? Да, после капельниц. А, ну не расстраивайся, тетя, в прошлый раз тоже так было, это пройдет, когда ее выпишут.

* * *

В прошлый раз все началось так. У нас с мамой был хороший день, вторая половина декабря, мы ходили на рынок, чтобы докупить подарки. Пришли домой, разложили диван и накрылись пледом. Телевизор не включали, потому что болтали. Я сказала ей, что в последнее время стала бояться будущего. Дочь, а ты не бойся, будущее к тебе доброе, мы с тобой вместе туда пойдем. Я бы не хотела расти, мне так хорошо под пледом. Плед никуда не денется, а расти интересно, честное слово.

Даша Благова родилась в городе Минеральные Воды, училась на журфаке МГУ, работала редактором в «Афиша Daily», публиковалась в журнале «Прочтение», литературно-художественном альманахе «Артикуляция» и др. Первая толстожурнальная публикация.

Потом пришел папа, мы ужинали. Обсуждали, что на Новый год придут друзья, а их сын — как раз мой лучший друг. Будем играть в фанты. Когда мама укладывала меня спать, мы почему-то снова говорили о взрослении. Она сказала, что это странно, что в мои тринадцать у меня до сих пор нет месячных, но ничего, проконсультируемся с врачом после праздников (я уже все знала про месячные, мне рассказала о них мама, так же, как и о сексе, ориентации и многом другом взрослом).

В то утро, которое было после того хорошего дня и хорошего вечера, я проснулась сама, хотя меня всегда будила мама. Папина половина дивана была пустой и смятой в одеяльное гнездо. Мама свесилась со своей половины и смотрела в таз. Внутри была жидкость, желтая, с кусками. Я села рядом с мамой: «Сейчас я это вылью». Встала, но она схватила меня за руку: «Не надо, я сама». Мама перенесла ноги с дивана на пол. Оттолкнулась, но диван притянул ее обратно: «Нет, я не могу». Я взяла таз, вылила, сполоснула, вернула. Мама наклонилась, из нее полилось — густое, с кусками. Я позвонила папе на его первый тогда еще мобильник, он ответил, сказал, что в часе езды от нас, в другом городе, за горой. Скоро будет. Мама уже лежала, ее рот, красивый, гладкий, как черешня, стал расползаться вправо, как будто был шит нитью, за которую сейчас кто-то потянул. Я позвонила в «скорую».

«Скорая» приезжала четыре раза. Четыре раза. Первый, пузатый, в синей форме и с чемоданом сказал: «Напилась. Отравилась». Вколол ей что-то. Вторая, мелкая, как третьеклассница, сказала: «Да съела что-то не то, надо желудок промыть». Я позвонила папе, чтобы спросить, где он. Он ехал в реанимацию — договариваться. Третья была высокой. «Девочка, где папа? Что вы нас дергаете?» Тоже что-то вколола. Четвертый был тот же, который был и первым. «Ну куда я ее повезу? В вытрезвитель?» Мама не разговаривала. Вообще. Мычала и иногда открывала глаза. Папа договорился. По стоимости это было как телевизор, который мы тогда не могли себе позволить. Ее забрали в реанимацию, мы с папой стояли в приемном покое. Вышел молодой, крепкий, какой-то «зав» или «зам». «Ты умница, — это он сказал мне. — Еще десять минут — и все. У мамы твоей инсульт, кровь в мозжечке. Иди, посмотри телевизор, я поговорю с папой».

* * *

Проходит три дня, я снова бронирую переговорку на пять вечера, потому что в полпятого рождается первая змея, я ее чувствую. Мой муж про это знает, он сам видел. Когда я прихожу домой, бывает то же самое, но длится часа два или три. Он все время рядом. Змеи выплываются. Он их не видит, но знает, что они там. Я выплываю змей почти два часа подряд, муж обнимает, он рядом. Потом мы решаем называть это «истерикой», для простоты. Пьем чай. Он спрашивает, как там мама. Я отвечаю, что хорошо, слава богу, это уже точно не инсульт, просто криз, еще две недели — и выпишут.

Утром я встаю с кровати и чувствую, что правая часть тела как будто висит. Мне больно. По венам и нервам справа бегают муравьи с острыми палками в лапках. С левой стороны все нормально. Это не проходит днем, на работе. Мне звонит бабушка, держу телефон левой рукой. У мамы твоей галлюцинации, я так переживаю, у меня сердце болит, я задыхаюсь, успокой меня, пожалуйста. Я успокаиваю ее, где-то полчаса успокаиваю. Телефон дрожит постоянно, это мне пишут по работе. Кладу трубку, — правая часть тела болит сильнее, теперь ее как будто обтерли спиртом и подожгли. Но я не чувствую змей. Ни одной. Даже змеино яйцо. Я не бронирую переговорку, заканчиваю работу и еду на такси домой. Не уверена, что дойду до метро. Правая нога тащится за левой. Ничего не говорю мужу, он же заставит идти к врачу, а я туда не ходок.

* * *

Я ненавижу больницы, потому что это худшие места, худшие места из всех мест, и стали они для меня такими с тех самых пор, когда я зашла в палату на следующий

день и увидела ее. Это была отдельная палата, потому что ее называли «тяжелой», еще там стояла пустая кровать для родственников. Был понедельник, я решила не ходить в школу. Пришла одна, села на кровать для родственников и стала смотреть. Она была тряпчатой, белой, с закрытыми глазами, вся в каких-то трубках, правая рука на одеяле, оттуда торчит иголка, из-под иголки разливается синее. Я не хотела смотреть, но смотрела. Она была не похожа на маму, маму, которая обожает свою работу в туристическом бюро, пьет с подружками вино и поет песни, ругается с классухой в школе. На кровати лежал предмет, принадлежавший маме, но не она сама.

На следующий день я пошла в школу. У меня не взяли рабочую тетрадь. Ни одна из учительниц. То есть они шли по рядам, собирали тетради у всех, а меня как будто не было. Лермонтов со стены смотрел теперь не грустно. А как-то осуждающе. Лермонтов у нас на Кавказе висел в каждом классе, даже математическом. Друг Дима принес мне шоколадку. Я подошла к классной руководительнице, она всегда была доброй, подвижной и водила нас в горы. «Жанна Сергеевна, а что такое инсульт?» Она растерялась, это было видно, глаза ее прыгали с Лермонтова на классный компьютер. «Сашенька, я наверняка не знаю, лучше спроси у папы». Она сказала, что не знает, но было видно, что все-то она знает.

После школы я шла к ней в палату. Делала там уроки. Тетрадь неудобно лежала на коленках, и в конце страницы буквы раскручивались и становились, как крупная пружина. Потом я шла домой. Дома был срач, настоящий срач, валялось сразу все, из раковины пахло тухлым. Папа не умел убирать в квартире, я тем более, раньше у нас все делала мама, потому что папина работа и моя учеба считались чем-то более важным, чем мамино время. Папа пришел раньше и уже поставил в духовку мясо по-посольски. Он умел готовить только это и готовил по праздникам. Мне не хотелось есть праздничное, но в принципе есть хотелось. Я не стала ничего спрашивать у папы, потому что видела, как он плакал в первый день. Папа не знал, что я видела. Так что мы ели мясо и не говорили. Папа никогда не плакал, а тогда плакал, вдруг и сейчас захочет заплакать, хотя не хочет, чтобы я видела? Тем более что он включил телевизор. Глушитель любых семейных драм. Раковина уже выблевывает грязную посуду. Кто же ее будет мыть?

* * *

Снова пятница. Я редактирую текст левой рукой. Интервью с врачом-гинекологом. Это даже не так печально, как обычно, тут про деторождение, интересно. Вообще-то, у меня самый невеселый раздел на сайте, но его читают лучше всего, люди зачем-то любят немножко пострадать над чужой историей. Вчера я говорила с мамой, она сказала «ни в коем случае не приезжать», и я, овладевшая новой этикой, которая, конечно, совсем не новая, решила, что буду уважать ее желания и границы.

Теперь выходные. Боже, как болит рука. У нас уборка, он моет посуду и плиту, я иду мыть ванную. Тру левой рукой унитаз, хотя это очень неудобно, я же правша. Муж зовет меня: у него хорошее настроение, веселое, он хочет украсить квартиру и просит меня поддержать гирлянду, пока сам будет приклеивать ее к стене бумажным скотчем. Сначала держу, потом правая рука падает: она не роняется на пол только потому, что прикреплена к плечу. Теперь я не чувствую еще и правую ногу. Она висит на бедре. Валуясь на стену. Он хватает меня, относит на диван, кладет. Садится рядом на корточки: «Рассказывай».

* * *

Я была с ней, в палате, когда она впервые заговорила. «Саша...» Я подскочила, тетрадка сползла на пол, пролетела по полу прямо к утке, которая для мочи. Я села на ее кровать так, чтобы не задеть трубку. Смотрела в ее глаза. У мамы были зеленые, у нее теперь муть. «Вы сделали прививку Моте?» Это была наша собака. Конечно, не сделали, но я сказала, что сделали. Она закрыла глаза, вроде уснула. Я вернулась на

свою кровать, я ее называла уже своей. Не взяла тетрадку, а смотрела на нее. Пришла медсестра, убрала капельницу. Потом ввалилась бабушка с пакетами, она кормила ее с ложки. Ввалилась, зашелестела, стало громко, шумно, все это натолкалось мне в уши, вбило страх в кости и кожу. Бабушка стала говорить какое-то сю-сю, мусю, ой-ой, гладить ее. Потом увидела меня. Из ее рта вырвалось, ударило: «Ты чего здесь? Ну-ка быстро домой, быстро, скоро стемнеет».

Дома я сварила макароны, они пригорели к кастрюле: я не знала, что надо их помешивать. Спилила ложкой верхнюю часть. Нашла в холодильнике майонез. Все перемешала. Съела. Папа приехал позже, вместе с тетей, маминой сестрой, нервной и доброй. Они появились в прихожей с кучей пакетов, в которых была тетина еда: суп, пюре, котлеты, овощи, соленые огурцы, что-то еще. Пока папа запихивал все в холодильник, я позвала тетю в свою комнату. Сказала: «Теть, а этот инсульт, он что значит?» До этого она была скорее доброй, а после моего вопроса совершенно точно стала нервной. «Я откуда знаю? Ничего не значит, не забивай себе голову».

Теперь я заводила будильник, от которого у меня болела голова. Я проснулась, чтобы идти в школу, зашла в гостиную, которая с диваном для родителей, он теперь всегда был разложен, там валялась подушка и одеяльный ком, а простыни не было. Папа сидел на этом диване и улыбался так, что было видно: он совсем не хочет улыбаться. За диваном стояла елка, большая, уже в ведре с песком, совсем голая. «Будем наряжать, вечером или, может, завтра», — сказал папа. Оказалось, второе, что произнесла мама, было: «У ребенка должен быть праздник».

* * *

Муж записывает меня к неврологу и идет со мной, но в кабинет, конечно, не заходит. В кабинете появляется змея и сразу начинает жрать желудок, не робко, как это бывает обычно, а сразу жадно, много, болюче. Рожает еще змею. Врач просит меня встать. Закрывает глаза, дотронуться до носа левой рукой и правой. Правой не очень получается. Стучит молоточком. Просит нарисовать часы. Еще о чем-то просит. Еще что-то делает.

Змей уже сотня, но я не могу вот так лечь на пол, зарыдять. Врач говорит, что, к сожалению, только это пока, конечно, неточно, но вероятность есть, в общем, вы не волнуйтесь, но, возможно, у вас рассеянный склероз. Я, конечно, знаю, что это, что это страшно и неизлечимо, но меня беспокоят только змеи. Беру направление на МРТ, еще куда-то и еще, выбегаю из кабинета, потом на улицу, прямо в бахилах, муж бежит за мной. Мы садимся на лавочку, и из меня начинают лезть мои змеи. Я рыдаю. Истерика. Мы теперь это так называем. Я успокаиваюсь и просто часто дышу. Лицо обсыхает, чувствую, что коже холодно, она будто трескается. «Знаешь что? У меня больше ничего не болит, — говорю я. — После истерик никогда не болит». Муж отвечает (он гладит меня по спине): «Странно. Наверное, это все нервы, да?» Я слышу его слова, но чувствую, что он очень далеко. Смотрю на улицу, едет трамвай, но едет он по другой планете. Я под стеклом. Опять. Блять.

* * *

Впервые я это почувствовала, когда пришла к бабушке, был пятый день после инсульта. Бабушка ругалась. Резала слова, как она это делала обычно, и бросала мне их в лицо. Кофта с пятном, как же так, ты же взрослая, ты же девочка, ты должна следить за собой, ты что, так в школу ходишь? на уроки? и тебе нормально? ты меня позоришь! Вот тогда меня впервые и накрыло стеклом. Я сначала не совсем поняла, что происходит. Потому что вот я, стою. Но ноги не на полу. Вот я, дышу, но воздуха не чувствую. Говорю что-то, но оно бьется о стекло и возвращается ко мне. Вижу картину с горным пейзажем, но она не зелено-синяя, а серо-серая.

Я пошла к дедушке в комнату и не почувствовала в себе мышц. Дедушка меня не ругал, он жалел. Я села рядом с ним, на диванчик, позади нас — пыльный ковер с

фазаном. «Маленькая, ты чего?» — он всегда называл меня «маленькой». «Скажи, что будет с мамой?» — «Все будет хорошо, маленькая». — «Что такое insult?» Дедушка включил телевизор.

Стекло не исчезло, не разбилось и не растрескалось даже утром. Я видела класс, столовую, но для меня — что булочка с изюмом, что пицца с колбасой. Я так ничего и не купила. Тем более что голод тоже был не у меня, а у кого-то другого, очень далеко, возможно, не в этой вселенной. «А ты знаешь, что такое insult?» — это я спросила друга. «Не-а».

* * *

Проходит Новый год, мы приезжаем на праздники к моим родителям на Кавказ, скрываем от них все, возвращаемся в Москву. Идут месяцы. Я делаю МРТ, КТ, электромиографию, кучу всего, но все нормально, никакого рассеянного склероза. Мама звонит мне каждый день, чувствует, что-то не так, но я молчу. Слушаю, как она ходит в театр, кино, встречается с подругами, я за нее радуюсь и не хочу, чтобы она переставала радоваться, потому и молчу.

* * *

Я впервые закурила, когда мне было тринадцать. За неделю до Нового года. Больница, где лежала мама, была недалеко от школы, где училась я. Я знала, где старшеклассники берут сигареты. Купила одну штуку и зажигалку. Зашла в чужой двор. Подожгла сигарету. Фу, во рту как будто горит автомобильная шина, но как будто не в моем рту.

Мне нравится. Потому что хочется делать плохое, потому что хочется что-нибудь испортить, например, себя. Мне тринадцать. У меня не было ни сисек, ни месячных. Я выглядела младше всех. Я была круглой отличницей. Пепел упал на ладонь, стало больно. Ой. Стекло треснуло. Я увидела, что кирпич красный, все остальное пока было серым. Я закатала рукав куртки. Кожа на сгибе руки такая нежная. Я вдавливаю в нее сигарету. Становится очень больно. Поднимаю голову. Все такое яркое. Небо синее. Стекло даже не рассыпалось, оно как будто никогда и не существовало. Все ясно. Я все чувствую. Горелая шина во рту стала совсем мерзкой. Я решила, что больше не буду курить.

* * *

Я не могу встать с кровати по полчаса. Не могу развести ноги в стороны. Я просыпаюсь железной и в некоторых местах ржавой. Врачи пинают меня и допинывают до научно-исследовательского института, который изучает ревматологию. Я иду одна, прошу мужа не ходить со мной, боюсь ему надоесть. Врачей много, они смотрят на пленки, суют в компьютер диски, собираются кучками. И в конце концов говорят: у вас аутоиммунное заболевание, оно не лечится, ваши суставы медленно превращаются в кости, сначала тазобедренные, потом колени, пейте обезболивающее, рецепт даже не нужен, два раза в день пейте, а потом приходите к нам с новыми МРТ, через полгода. Выхожу на улицу, звоню мужу, говорю: «Мне сказали, что это болезнь Бехтерева, и суставы мои превращаются в кости. Ну, и хрен с ними, да?»

* * *

За неделю до нового года врач сказал, что «вашу маму никуда не выпишут», значит, придется ей смотреть на фейерверки из палаты. Я пришла к ней, как всегда, после уроков. Она уже вставала, хотя писала пока только в утку. Ну, как вставала: вставала, держалась за стенку, но никуда не шла. Когда я открыла дверь палаты, она снова стояла, из руки росла ветка капельницы. Я подошла, чтобы обнять ее. Она толкнула меня другой рукой. Я посмотрела ей в глаза, мне показалось, что зрачки были красные, хотя это, конечно, только показалось. Она стала кричать чужим голосом, не маминым, мамин голос не кричал. Ты дура, уходи. Ты тут не нужна.

То, что она сказала, шмякнулось в мое стекло. И сползло. Я ушла. Вот зачем нужно было стекло. Под своим стеклом я поняла, что ничего, как раньше, не будет.

* * *

Живу с диагнозом «болезнь Бехтерева» уже несколько месяцев. Мне хорошо. Я пью обезбол два раза в день. Хожу в зал, потому что надо качать мышцы спины. Никаких истерик. Ни одной сраной змеи. Все хорошо. Меня повышают до шеф-редактора. Я привыкаю к боли, иногда мне кажется, что я ее жду, хочу, чтобы она пришла. Когда есть боль, мне не грустно. Когда есть боль, я думаю о хорошем. Ограничения у нас теперь есть, но небольшие: поскольку я не могу долго сидеть на одном месте, мы летим отдыхать не в Японию, а в Италию.

Проходят октябрь и ноябрь. Перед праздниками всегда так много работы. Я сижу в нашем модно-московском офисе, точнее, мы называем его редакцией, пью чай и что-то читаю. Чувствую, как внутри начинает кусаться. Это даже не змея, это просто пасть. Пасть, которой не надо есть, чтобы размножаться. Ей надо просто скрутить все мои органы, разорвать их на тонкие полоски и завязать бантиком. Эта пасть путешествует по всему телу. И поэтому у меня все трясется. Руки, ноги, шея, голова. Мне не больно. Просто каждый кусочек моего тела орет. Орет от ужаса, не боли, орет от отчаяния. Я роняю кружку, книга тонет в чае. Падаю с дивана. Ко мне кто-то бежит. Кажется, я кричу или по крайней мере плачу в голос, но не уверена. Мне вообще не больно.

Несколько дней мы ходим по врачам. Пасть появляется несколько раз в день, поэтому я не приезжаю в офис, коллеги все понимают. Диагноз «болезнь Бехтерева» отменяют, потому что МРТ не та, анализы не те, все не так, динамики нет, мы тут всем институтом ошиблись. Что делать? Ищите дальше. Скорее всего, психиатра ищите. До свидания.

* * *

За три дня до Нового года на меня опятьросло стекло. Я взяла нож и пошла в туалет. Опустила крышку, спустила колготки. Села на крышку. Приставила нож к бедру. Надавила. Провела. Ничего не получилось, слишком медленно и слабо. Надавила сильнее и полоснула. Появилась линия, очень тонкая. Потом через нее стали вылезать капли. Получилась как будто жемчужная нить, только красная, теперь я точно видела, что она красная, стекло треснуло. Сделала еще полоску. И еще. Мне задышалось, завиделось, слышалось. Я снова была я. На этой планете, в этой квартире, сидела на этом толчке. Оторвала туалетную бумагу и приложила к полоскам.

Поняла, что хочу пописать, теперь это было понять несложно. Подняла крышку, спустила трусы. На трусах появилось красно-коричневое пятно. Я испугалась. Потом все поняла и испугалась еще сильнее. Кому сказать про месячные? Папе? Кажется, папа про такое даже не знает или знает, но молчит. Тетя на работе, бабушка на работе.

Я сунула между ног туалетную бумагу. Натянула трусы и колготки. Пошла на кухню, к шкафчику с мамиными штуками вроде косметики. Там были ее прокладки. Нашлись. Пачка разорвана, разорвана маминой рукой. Я заплакала, потом заплакала сильнее, прижала пачку к лицу, села на пол, закричала, хотя скорее запищала, прямо туда, в нежный прокладочный пластик.

Когда наконец опустилось стекло, я перестала. Слезы перестали, тело перестало, вся я — перестала. Под своим стеклом я еще раз поняла. Ничего, как раньше, уже не будет. И мамы больше не будет. Потому что на самом деле мама умерла, просто этого никто не заметил.

29.4

Рассказ

Фото № 17.

В центре снимка высокий худощавый мужчина тридцати-тридцати пяти лет. На нем дорожные пыльные ботинки, черные брюки и белая рубашка, застегнутая на все пуговицы. Рукава рубашки запачканы чем-то красным. Выражение лица мужчины сосредоточенное, взгляд серых или синих глаз устремлен прямо в объектив. Правой рукой он опирается на спинку деревянного стула с зеленой обивкой, в левой руке держит пистолет.

Первое, что видит Яков, когда открывает глаза, — это цифры. Они красные и ненастоящие, потому что состряпаны из крохотных пиксельных квадратиков, электронного суррогата чего-то реального. Зато они яркие и делают больно заспанным глазам, а это лучший способ проснуться: через плиточные ноль шесть — ноль пять, а по выходным — один ноль — ноль один. Якову нравится думать, что цифры соревнуются между собой, пасуют и забивают голы, кто-то побеждает, и Яков всегда оказывается в нужной команде.

Яков любит цифры больше, чем буквы. Если честно, больше, чем многое, сильнее разве что его привязанность к гороховому супу с кусочками поджаренной «Докторской». Он заказывает суп в столовой на первом этаже офисного здания каждый вторник. Вторники Яков отмечает в рабочем настенном календаре оранжевым ромбом: выглядит как медаль. Ему нравится награждать вторники, поэтому до вечера он самый доброжелательный и отзывчивый человек в офисе.

Среда зеленая и зигзагообразная, как змея. Яков никогда не видел живую змею, но знает, что она похожа на лоснящуюся ленту и извивается. Обвивая среду изумрудной чернильной спиралью, он и сам немного извивается и пританцовывает. Обычно именно тогда в его кабинет кто-то заходит, поэтому по средам Яков хмурится, шикает и шипит.

Сегодня — четверг. Он наступил как обычно в ноль шесть — ноль пять, вспыхнув химической краснотой, сворованной из дешевого клубничного желе в стаканчике. Яков пролежал неподвижно еще двадцать минут. Первое, что он увидит, когда придет на работу, — это зал заседаний. Сегодня — собрание.

Все собрания скучные и блеклые, поэтому четверг в календаре Яков никак особенно не помечает — он его просто зачеркивает. Самый нелюбимый его день. Неудивительно, что сразу после идет пятница, как утешительное поощрение, как хлопок по спине: мол, еще немного, и уже завтра проснешься от зеркально отраженных цифр. Яков считает, что это красиво.

Сегодня, где-то через полтора часа, цифры тоже будут, и разные: ряды цифровых соцветий напротив фамилий, пригвожденных чернилами к листу. Это коды: кто из сотрудников опоздал, кто вовремя не сдал отчет, кто нагрубил клиенту, а кто его обсчитал. Яков в офисе на хорошем счету — у него не только свой кабинет, календарь на холодной стене и набор разноцветных ручек, но и привилегия быть одним из тех, кто решает, чье нарушение можно стереть, не заметить, махнуть на него рукой, а на чье отреагировать штрафом или чем похуже. По слухам, сегодня намечается как минимум одно похуже. Яков выхватил взглядом красные цифры, присвистнул, мысленно отказался от завтрака и наконец встал.

Фото № 24.

На траве лежат два пушистых котенка, у них рыжеватая шерсть и белые мордочки. У котенка, что слева, между передних лап зажат маленький красный мячик. Глаза у него ярко-зеленые; второй котенок зажмурился.

Зал понятный — он круглый и вместительный. Стол прямоугольный, устойчивый и тоже понятный. Лампочки светят, мигают и гаснут, бумага шуршит, ручка оставляет отметины, а стулья скрипят и у них есть колесики. Все простое и объяснимое, с заданной функцией или формой, которую легко повторить или обозначить. Буквы — другое дело. Всякие, кучные и скучные, большие и маленькие, то с круглым пузом, то острые, как шпилы. Все по-разному их пишут, и слова из них получаются разные, даже если, вообще-то, одни и те же — понять ничего невозможно. Яков и не пытается. Буквенный сумбур, словесная распушенность, текстовые шарады — все это не для его мира упорядоченных порядочных цифр. От этой кутерьмы у Якова болят глаза, устают голова и опускаются руки. Поэтому четверговые собрания его так огорчают и нервируют, как огорчает и нервирует ветер, дергающий занавески, или путаница в ящиках с бельем, или пленка на остывшем гороховом. Яков за порядок, смирный покой и понятные вещи. Поэтому согласился приходить на собрания, сидеть на скрипучих стульях и черкать бумагу размашисто — нажмешь посильнее и, глядишь, ручка-спичка салютует выброшенным в воздух пламенем.

Собрания тоже за порядок: в офисе, в коллективе, в градации документов внутри пухлых папок, разложенных на прямоугольном столе перед каждым занятым стулом с колесиками. Сверху — доносы, записки, характеристики, личные дела, а стеснительные объяснительные в самом конце. Они не мятые, не морщинистые от заломов, не запачканные чернильными пятнами — кажется, объяснительные здесь от чего-то трепетно берегут, поэтому их почти никто не читает.

Яков не читает точно. Да и все прочие бумаги из папок, испещренные неясными словами, тоже. Разве что повертит листок в руках, помусолит, выцепит цифры и числа, вспомнит, что зашифровано под каждым кодом.

В записке на Михаила из шумного помещения с перегородками — 3, 15, 14, 21. Пропустил рабочий день, не предложил клиенту допущу, повысил голос, раньше ушел домой.

В папке Анны из соседнего отдела — одни нули. Не вытягивает по показателям. В доносе на Раю с последнего этажа — 10, 10, 10, 10: только десятки.

Что означают десятки, Яков не знал. Но Рая сегодня сидит в центре круглого зала, и ее папка в стопке на столе последняя, нижняя, десертная. То самое «или что похуже» за этот четверг будет про нее. Яков заерзал, глядя на часы.

Через шестьдесят конвульсий минутной стрелки, выступлений по очереди и общего голосования папка Анны уплыла в шкаф для первых предупреждений, а папка Михаила — на стеллаж для лишения месячной премии. Осталась папка Раи и сама Рая — центр окружности и завтрашних офисных пересудов. Скрип и шорох играли в зале свою музыку, она расходилась волнами и отскакивала от Раиных острых — как у 7-ки — плеч. Яков считал про себя: десять, десять, десять, десять.

Человек через два стула от него приподнялся с места, став самым высоким объектом в зале, местной радиовышкой, фонарным столбом.

— Рая, мы благодарны, что вы не отказались присоединиться к сегодняшнему собранию. Не всегда такие дела проходят мирно и спокойно, к сожалению. Обязуюсь: мы учтем ваше содействие при голосовании. Итак, готовы ли вы ответить на несколько вопросов? Не хотелось бы сильно затягивать.

Рая кивнула. Листы сразу зашуршали пуще прежнего: захлопали то ли в ладоши, то ли бумажными крыльями. Яков уставился на чернильные десятки. Раньше он не видел такого кода.

— Известно ли вам, что со 197 года по новому-новому стилю информационное пространство составляет только один вид контента?

Рая смотрит на прячущихся за столом людей: ни на кого в отдельности, но на всех разом.

— Да.

— Известно ли вам, какой именно это вид контента?

— Да. Текстовый. Это тексты.

— Пожалуйста, ответьте на вопрос развернуто, чтобы мы могли оценить, насколько правильно вы понимаете то, о чем говорите. Что, по-вашему, может содержать текст?

— Слова.

— Только слова? А изображения?

— Нет.

— Аудиоряд? Видео?

— Нет. Только письменное начертание слов. Изображения, аудио, видео — ничего из этого сейчас не используется.

— Вы понимаете, что это общепринятое правило относится и к нашей с вами стране, городу, месту работы?

— Понимаю.

Рая держится за краешки стула рядом со своими ногами. Она все понимает. Она смотрит в лица, выжидает и хватается за сиденье, чтобы не сорваться. Интервьюер сел и снова сравнялся со всеми ростом, скрыв добрую часть туловища за глухой вытянутой деревяшкой.

— Хорошо, Рая. Коллеги, теперь обращаюсь к вам. Напомню, что наша сотрудница обвиняется в незаконном и, признаться, неуместном распространении одинаковых фотоснимков, распечатанных на листах формата А5. Передача визуального контента происходила через ящики для корреспонденции, установленные в пролетах между этажами. Письменная расшифровка изображения приведена в папке отдельным документом. Зачитываю:

«На фотографии запечатлен деревянный мост над рекой, он выглядит старым и требующим ремонта. Вода в реке темная, небо пасмурное. На мосту стоит женщина в белом длинном платье с поясом. На ее голове светлая косынка, из-под которой выбилось

несколько темных локонов. На шее небрежно повязан сиреневый шарф, он развеивается на ветру. Женщина замахнулась, как будто хочет бросить в реку камень. Она смотрит куда-то в сторону, словно пытаясь понять, наблюдают ли за ней. Но вокруг больше никого нет».

Стол загудел и исчез под ворохом истерзанных буквами листов. Яков закрыл глаза и беззвучно зашевелил губами.

— Коллеги, проголосуем. Еще раз подчеркну, что обвиняемая не уклонялась от явки на собрание. Но важно заметить, что с фотографиями успело ознакомиться как минимум двадцать процентов всех сотрудников офиса и еще трое — при подготовке материалов для личного дела. Это можно счесть за вовлечение в пассивное нарушение текущего запрета на...

Сиреневый шарф. Наверняка тонкий, может быть, даже полупрозрачный. Белое длинное платье. Ветер. Женская рука. Мост над речкой. Яков повторял, запоминал и множил внутри себя слова-картинки. Он никогда не видел этот мост, эту реку и эту женщину и не понимал, почему он все же видит их прямо сейчас — так живо и ярко, до запаха тины, до шершавости перил, до свиста прохладного ветра, до нежности чужой кожи под его пальцами.

— Яков, ваша очередь.

Летний ветреный день сгинул в круглом котле зала заседаний. Соседи нетерпеливо смотрели на Якова. Яков смотрел на Раю. Рая смотрела в пол.

— Мне... мне нужно ознакомиться с материалами дела повторно. Еще раз. Да. И, если это возможно, — совсем тихо добавил Яков, — поговорить с обвиняемой.

Бумажные птицы вспорхнули со столешницы на полсантиметра вверх, когда Рая и Яков одновременно вышли в соседнюю маленькую переговорную. В переговорной ожидаемо тесно и полумрак. Яков терзал в руках папку и раздумывал, стоит ли ему занять единственный здесь стул.

— Если вас попросят вообразить комнату, что именно вы представите?

Яков вздрогнул от голоса Раи прямо у своего уха.

— Не знаю, меня еще не просили.

— Я прошу.

Рая протиснулась вперед и села на маленький стул без спинки.

— А, хм... Что ж. Маленькая, с креслом в углу, набитая ненужными вещами.

— В каком углу кресло?

— В том, что ближе к окну.

— Свет есть?

— Нет, темно. Хотя погодите: есть от монитора, его хватает, чтобы подсветить кресло. Там человек.

Яков не понимал, почему он так ответил, и на всякий случай схватился за ручку двери, чтобы можно было выскочить из духоты переговорной и этого странного вопроса в любой момент.

— Что делает человек?

— Снимает и надевает наушники, снимает и надевает.

Яков вытер лоб.

— Зачем он это делает?

— Я не знаю, ему... страшно.

— Почему ему страшно?

— Его могут застукать.

— Что тогда с ним будет?

— Не знаю, вы мне скажите.

Рая стала болтать ногами. Яков только сейчас заметил, какая она маленькая — как единичка.

— Вы же знаете, что меня могут уволить, да? С соответствующей отметкой в характеристике. Если проголосуете так же, как они все, — Рая кивнула в сторону двери со вставкой матового стекла. — Не то чтобы я этого боялась — если б боялась, вообще ничего бы не затеяла. Вы понимаете?

— Да... нет, подождите, что это вы у меня сейчас такое спрашивали? Про комнату и остальное?

Рая посмотрела на руки Якова.

— Вы не заметили, что на собраниях у вас многое не договаривают? Вот откройте, откройте папку.

Яков подошёл ближе к Рае и квадратному столику на ножке, похожему на те, что можно встретить в кафетериях, и торопливо начал раскладывать листы с буквами, словами и предложениями. Сколько слов может быть в честь всего одного человека!

— Да, вот. — Рая постучала пальцем по одному из листов. — Это они благополучно проигнорировали, трусы. Вы сами-то видели? Ну, читайте.

Яков нагнулся к неподатливым буквам, чуть ли не прилег на заваленный бумажками стол. Как же ему хотелось, чтобы субботние один ноль — ноль один наступили прямо сейчас.

— Без очков мне трудновато, не взял, — соврал Яков. — Прочтите вы.

Рая кивнула.

— Вот здесь, да. *«Помимо распечатанной фотографии в количестве шестидесяти экземпляров, у обвиняемой по делу № 10 на рабочем компьютере были найдены файлы с ныне не используемыми видами контента: музыкальный клип группы Deriche Mode, эпизод сериала «Друзья», видеоролик с утятами, переплывающими озеро, и запись песни коллектива Гр.Об. Исходя из этого, можно предположить, что обвиняемая планировала передать коллегам также и эти виды информации, запрещенные к распространению и дальнейшему использованию. Указанные файлы скопированы на индивидуальные носители для сохранения и протокола, как того предписывает инструкция. К материалам, обязательным для ознакомления членами собрания, не относятся».* Господи, какой отвратительный сухой язык! У вас остался один только текст, так оживите его, разукрасьте, добавьте того и этого и немножко света, а не исходя из этого можно предположить!

Рая восклицала, фыркала, передразнивала и одновременно копошилась в папке, пока не вытянула оттуда конвертик с флешкой. Яков не возражал, не прерывал и не задавал вопросов, просто смотрел, как обвиняемая по делу засовывает флешку во встроенный в стену переговорной компьютер — на секунду внутри стало сыро и липко от страха, будто сейчас он и впрямь окажется соучастником преступления. Но Рая действовала быстро, и страх не успел вырасти во что-то стоящее.

— Смотрите, смотрите внимательно! Ну, что в этом такого? Почему я не могу показать это вам?

И Яков смотрел. Сначала на синюю воду с щипками волн — будто вмятины на простынях после сна. На бурую утку, делающую «рэб-рэб-рэб». На смешных коричневых утят с желтыми важными мордочками. На деревья, машущие макушками. Потом — на странного человека в алой мантии и короне. Он нес стул-раскладушку и зачем-то взбирался на гору. И пел — Яков не был уверен, он сто лет ничего не слышал, кроме хора автомобилей и голосов в офисе, но этот мужчина наверняка, наверняка пел. Якова что-то обожгло, укололо, цапнуло — то ли в живот, то ли в горло, — и он заплакал. Рая смутилась и вытащила флешку. С минуту оба молчали. Яков перевел дух.

— У вас есть еще что-то, Рая? Ну... файлы. Такие.

Яков и Рая напряженно смотрели друг на друга. И вопрос, и ответ на него были рискованными.

— Зачем это вам?

— Да мне самому... Дело в том, Рая, что я не очень лажу с текстами, буквами этими, совсем не лажу, если честно. Я не читаю, вообще. У меня только цифры и эта

работа — тоже с цифрами. Это не мало, но и не много, это всего лишь один уголок, в который едва попадает свет. А у вас тут... не знаю... мир?

Яков задохнулся, запнулся, на секунду перестав понимать самого себя, и беспомощно, просяще уставился на Раю, на ее взлохмаченные вихры — рябь на озере, на угловатое лицо и молочную кожу — игра света на воде. Рая виделась Якову мостом, горной тропой, лесом на горизонте; она ничем не владела в действительности, ничего себе не присваивала, а только пыталась отдать, подсунуть, спрятать под чужую подушку монетку — умытую летними дождями и круглую, как земной шар. Только одной монеты Якову, давно обворованному и обедневшему, было мало — он очень хотел еще.

— Вы осознаете, что они могут сделать? — Рая загибала уголки на бумажных листах со строгими буквами и бессмысленными словами. — За мир, как вы говорите, за музыку, застывшее время, красоту? Стоит подойти к окну и раскрыть занавески, как тебе вместо солнца посветят в лицо фонарем. Эти унижительные выволочки и собрания с последующими санкциями — не просто поддержка невыносимо глупых запретов, это навязанное обязательство просидеть всю жизнь в одном кресле неподвижным слепцом. Потом кресло станет неповоротливым и громоздким, как допотопная инвалидная коляска, которая не пролезает ни в какие двери, и так мы все в ней и зачахнем, Яков, зачахнем — вот что нас ждет, понимаете?

Яков бережно взял ладонь Раи в свою — пронизывающий ветер с реки. Хоть Яков и сомневался, что все правильно понял, кое-что до него дошло четко: неприветливая мрачная комната со старым креслом в углу — его, и такая комната у всех людей в этой стране и в этом городе, на какую бы работу они ни ходили. Это вдруг оказалось яснее любой из его понятных цифр, которые он выводил в отчетах с утра до вечера. Якову захотелось сбежать из давящей переговорной. Куда — неизвестно, но он знал, что дышать темнотой, пылью и страхом ему больше не хочется, и сидеть в кресле-коляске не захочется тоже. Ему хочется открыть окно.

Идея пришла раньше, чем Рая успела измять последние страницы из своей папки. Яков наклонился к ней, пряча от водоворота круглого зала за стенкой, и быстро, горячо зашептал.

Видео № 1.

Мама-утка ведет за собой утят:
все вместе они переплывают
спокойное синее озеро. Утка
негромко крикает. У утят
коричневые

Аудио № 1.

Сильный и хрипловатый мужской голос громко поет песню со следующими словами:
Границы ключ переломлен пополам,
А наш батюшка Ленин совсем усоп.
Он разложился на плесень и на липовый мёд,

Картинка № 2.

На картине изображен сосновый лес,
некоторые деревья поломаны. Медведи

Фото № 13.

На черно-белой фотографии
запечатлен вагон поезда, из
окна которого высовывается
рука, сжимающая платок
с кружевной отделкой.

великан садится перед камином и,
направив на зонтик, зажигает огонь.
в очках удивленно смотрит
приоткрыв рот. Мужчины
переглядываются.

Обе девушки решают ос-
с фиолетовыми стенами.

Яков открыл глаза: будильник транслирует счет «один ноль» — «ноль один». Нет, не суббота и не воскресенье — понедельник. В пятницу Яков отпрашивался на весь день, а сегодня он никуда не торопится: слишком устал на выходных развешивать листовки с текстами в пустом офисе. Во всех, в том числе невыносимо глупых запретах найдется лазейка: тексты разрешены, а воображение запретить невозможно — даже Якову, который никогда не видел живую змею.

Рая одобрила идею Якова на месте, в переговорной, у четвергового собрания прямо под носом. Распространять законопослушный текст, который сам по себе образ, звук и движение, показалось ей дерзким и вместе с тем очень правильным — это как отражать чужеродный свет фонаря обратно через крохотное зеркальце, запрятанное в складках массивных штор.

Яков оставил на стенах в офисе только часть листовок, остальные решено было расклеить по городу — окна лучше распахнуть во всех домах сразу. Рая готовит для Якова еще расшифровки: все больше и больше песен, фильмов, картинок и фотографий превращаются в самые важные слова. Ее все же уволили — оказалось, если один воздержится и не станет голосовать, обвиняемого это не спасет. Якова наверняка тоже уволят, наверняка прямо сегодня. Но это уже не страшно: у него есть клей для листовок, наушники и все альбомы Depeche Mode.

Айгерим Тажи

Синий виноград

* * *

Откуда всё пришло?
Ладонь — складная карта.
Тропа ведёт к себе.
Проводишь по столу,
и палец медлит на дорожке пыли.

На ней следы прозрачных муравьёв
заносит, словно в крохотной пустыне.

Уронит иглы полинявший дождь —
побьёт народ.
В секретном месте сада
запрятали сухой кусок земли.
Все выжили, кто там.
Другим зачем?

Другим — не надо.

* * *

Бульдозеры раскапывают мир
до дна а ниже дна как будто ад
В тарелке сохнет синий виноград
Я так рисую с детства — только синим
Вот кошка расстается с взрослым сыном
Его уносят в сумке на покой
Запомнить цвет какой вообще какой
конечно имя

Айгерим Тажи — поэт. Родилась в Актюбинске (ныне Актобе). Автор книг стихов «БОГ-О-СЛОВ» (Алма-Ата, 2004) и «Бумажная кожа / Paper-Thin Skin» (Билингва, Бруклин, 2019). Публиковалась в литературных журналах Казахстана, России, США и Европы. Лауреат литературного конкурса «Ступени» (2003) и др. Живет в Алматы.

А ветер полумёртвый от жары
пыльцою на аллергиков пылит
Ни полотно ни обещавший лист
движение к концу не остановят
Не остановит падающий камень
Подтягиваешь тело за руками
лицом к лицу встречая двойника
через пустую стену турника
Что будет с вами?

* * *

сверишься — дни растворились под пристальным
полки разобраны книги прочитаны
письма отправлены жизнь прожита
ровно до той половины когда
можно сидеть на скамейке под липою
сеять живучее нежное выполов
с брэнностью примириться пока
рядом котёнок рассерженно фыркая
трогает лапой сухого жука

* * *

Под парящими звёздами
С верой в чудо
На пустынные площади
Вышли люди.
С кем-то бог, а с другими
Холодный космос.
Тем и этим сложно.

Через счастье, украденное
От боли,
Через жизнь перебеленную,
Отмоленную,
Тянут руки
Уверенно за дарами.
А в карманах камни.

Верить сложно.
Не верить — себе дороже.
За чертой новый день,
Пустопорожний —
Неизвестно чем лучше.
Пусть небо станет
Океаном — потрогаешь, бросишь камень —
И вода кругами.

* * *

Сумрачный луг. Гаснут цветы.
Слышно: трещит в раме окна
Пленный кузнечик. Старец сидит,
Ждёт на пороге сна.
Тень подаёт знаки тайком:
Пряча шаги, близится та,
Что не проходит мимо. Легко
И исчезает страх.
Пледом накроет, выключит свет.
Свой заберёт букет.

* * *

долго идти в траве
вспугивая насекомых
сорванных анемонов
обруч на голове
высохнет станет жать

в небе искать стрижа —
будет дождю примета
песенка не допета
в мертвенной синеве

в брошенном доме бога
тело омыть и память
в ливнях теней и света

спящие под ногами

птицы под потолками

Лёнька Сгинь

СДВИГ

Рассказ

— А что с ней?

— Да вроде ничего такого, — Гоша отхлебнул из баклахи и поставил на пол. — Она мертвых видит, или вроде того. А так — нормальная девчонка. Я бы замутил, может, даже. Только...

— Только жестко послан! — Митяй выплеснул это, ослабив зубы с широкими прощелинами. Так он вечно выражал крайний восторг, сколько его помнил Влад. В такие моменты хотелось вдарить ему с ноги, чтобы повывлетали эти проклятые зубья. Только никто не решался. Из-за болезни.

— Жалко, Митяй, что у тебя язва эта дебильная, — Гоша взял пачку Winston с подоконника. — Так иногда хочется...

— Только не можетесь! — опять ослабились зубы, и Влад не выдержал, треснул подзатыльника. Волосы вздрогнули на вытянутой орехом кешью голове, худая шея вжалась в плечи.

Все замолчали.

— Хорошо, Владик, знаешь же, — Миха процедил это в стену, лежа на подъездных ступеньках. — Что с тобой вообще? Из-за этой, что ли? Как ее... блин. Гош, как ее?

— Лукерья...

— Да ты гонишь, нет, — Миха повернулся ко всем, поднявшись на локте. — Как-то... ну, типа... Ефросинья?

— Дуня! — промычал Влад. — Заколебали вы... причем тут она?! Просто Митяй гонит... гонит! Понимаете?!

— Понятно, чего тут, — подтвердил Гоша. — Митяй гонит, а ты...

— А ты тормозишь! — Митяй вывалил оба ряда зубов и по-лошадиному заржал. Остальные молчали. Этот приступ смеха выглядел особенно болезненно, и Владу стало по-настоящему жалко парня.

— Ладно, прости, Мить. Наверно, надо мне побродить одному. В башке дурдом, — Влад соскочил с батареи, отряхивая джинсы. — И, кстати, она же не мертвых видит. Ты реально гонишь, Гош.

— А кого?

Лёнька Сгинь (Панков Леонид Валерьевич) родился в 1987 году в Долгопрудном Московской области. Печатался в журнале «Крещатик». Живет в Москве.

В «Дружбе народов» публикуется впервые.

— Хрен знает, — Влад пожал плечами. — Вроде будущее...

— А... ну, слушай. Иди, может, спроси тогда ее, — Гоша задымил и стал чесать свой широкий лоб шапкой, подбирая удачную шутейку, но махнул рукой. — Все, я бухой. Просто иди, раз не пьешь...

Влад кивнул и побрел вниз по лестнице. Через два пролета послышалось ржание сверху. А затем шум падения. Наверное, Митяй опять показывал, как умеет прыгать через перила. Чувствовалось, что дружеские посиделки оживились без одного лишнего. Без аппендикса, бросившего недавно пить из общей баклахи. Да и вообще. Пить.

На улице еще было светло, но мороз стоял дубовый. Влад помедлил пару минут, размышляя, не вернуться ли, не сбросить ли эти гребаные десять рублей, чтобы приложиться к общему горлышку. Оно, конечно, очень хотелось. И, может, вернулся бы. Но тут, как по заказу, прошла она. Дуня. И он решил последовать недосказанному совету друга. Двинул за ней.

Дуня шагала быстро, кивая головой, как птица. Чтобы ее догнать, пришлось ускорить шаг. От этого забрякали ключи в кармане куртки. Влад пытался придержать их, но девушка обернулась:

— Чего трезвонишь, Буратино? На поле чудес спешишь? — она скользнула по его фигуре взглядом, а затем отвернулась и ускорила еще. Теперь Влад созерцал Дунина профиль и то и дело опускал взгляд ниже по ее драповому пальто. Слова и без того не находились. А очертания девичьего тела, двигавшегося под пальто, вообще сбивали с толку. Да еще эти нелепые пятнистые угги. Они вконец разрушали мозг.

— Погоди-ка, — сообразил он. — Это ты меня так дураком назвала, что ли?

— Ух ты-ы-ы! — изумилась Дуня. — Начитанный-то какой. Может, и стихи знаешь?

Голова ее, с лицом распаренным и веселым, стала крутиться по сторонам, будто она искала, где бы поклевать хлебных крошек или просыпанное пшено. И если б не пухлые губы и не ямочки на щеках, и не этот нос, очерченный клювиком ласточки... В общем, если б он не был парнем, то от этого преследования отказался бы. «Точно, сдвинутая», — понял Влад. И побежал:

— Мой небосклон и чист, и ясен! И полон радужных картин, — теперь ему было жарко, и слова вырывались излишне громко. — Не потому, что мир прекрасен! А потому что...

— Ты один, — закончила девушка, и в глазах ее мелькнуло что-то пророческое, грустное. Она двигалась широкими шагами наравне с бегущим Владом. Розовощекая, с выбившейся из-под шапки с помпоном прядью. Ее хотелось поймать и не дать улететь.

— Ты... такая... — Влад не решился сказать «красивая» и добавил о другом. — Там немного не так, в стихе.

— Зато стало похоже на жизнь. И ты вроде не кретин.

— Спасибо...

— Родителям скажи спасибо. О! Вот же! Эй, Косая! Я чуть не задубела тебя искать!

В конце дома стояли крохотная девушка и высокий кудрявый парень в очках. Она что-то сказала ему и, кивнув, пошла навстречу Дуне. Влад взглянул. Эта девушка училась в техникуме, как и он. Только на девчачьем факультете бухгалтеров. Всегда ходила одна. Видимо, Дуня была ее подругой, но осталась учиться в школе. И по утрам ходила совсем в другую сторону.

У крохотной девушки были чуть косые глаза. Это особенно считывалось, когда

она смотрела в сторону. А она как раз косилась на Влада. Зато все остальное у нее было ангельским. И даже прозвище «Косая» не могло этого испортить. Влад чувствовал, что это уже перебор для одного дня. Втрескаться дважды. В джинсах становилось тесно. Почему-то от этого стало зябко.

— Приветы! — девушка кивнула дважды. — Дуняш, а твой упырь дома?

— До-о-ома, — отозвалась подруга в какой-то своей особенной манере, вроде бы на деревенский лад, но с певческой округлостью.

Услышав про домашнего упыря, Влад ссутулился и собрался свалить, но цепкая ладошка остановила его. Косая тут же отпрыгнула, когда он обернулся на ее прикосновение:

— Ого, как ты посмотрел! Прости, мне не стоило, — косые глаза зигзагами поползли в ноги.

— Ты гонишь, что ли? — гоготнул Влад и тут же осекся. Это дурацкое слово «гонишь», как какой-то паразит, вечно вылетало невпопад. И сейчас показалось особенно неуместным.

Помолчали. Потом Дуня гоготнула, очень похоже изобразив Влада, и обхватила подругу за талию. Крошечные ноги поднялись над зазеленелым тротуаром.

— Сама мелкая, а сиськи на крепкую тройку, — неожиданно констатировала Дуня. Косая покраснела и, кажется, стала еще меньше:

— А ты же с Гошей-регбистом тусишь? — поинтересовалась она у Влада, возвращаясь на землю.

Влад неопределенно кивнул, и все трое двинули вдоль дома. Потом прошли через бывшее летное поле, ежась от ветряных укусов, и попали в старый город с мрачными трехэтажками. За все время девчонки перекинулись только парой слов. И поначалу Владу было неловко от их молчания. Он даже открыл рот, чтобы продекламировать еще какой-нибудь идиотский стишок, но вовремя хлебнул морозного воздуха и заткнулся.

Меньше всего ему хотелось знать, куда они идут. Хотелось просто идти рядом.

— Может, в подъезде немного потусим? — предложила Дуня. — А то так окуклиться недолго. У меня, кажется, уже борода растет от всего этого говна...

«Ты гонишь!» — едва не вылетел смешок у Влада, но тут с крыши сорвался ледяной осколок и шархнул ему прямо по носу. Девушки увидели это и забеспокоились, поторопились внутрь старого дома. Влад, потирая нос, удивлялся такому удачному стечению обстоятельств. Казалось, само провидение помогает ему расстаться с девственностью в этот вечер. Волей-неволей юношеские мысли потекли именно в это русло.

В старом подъезде пахло плесенью.

— Я Лукерья, кстати, — представилась Дуня, усаживаясь на подъездный подоконник.

— А я думал, Дуня... у тебя же еще прозвище такое... прости, может, ты не любишь его.

— Ага, Ведуня. Потому и Лукерья. Хрен с чем срифмуешь.

— А ты реально будущее видишь?

— Блин, такие вещи неприлично спрашивать! Ну да, разок получилось кое-чего. Сказала одному болтуну технарскому, что его матери надо сдать анализы срочно. Я их на улице встретила. Он особо не поверил, а через месяц подошел и сказал, что у мамы рак яичников, третья стадия. Но это и так понятно было. Без анализа. Просто внимательнее посмотреть ей в лицо.

Лукерью почему-то разозлил этот рассказ, хоть Влад особо и не просил рассказывать. Она замолкла, раздув ноздри. Влад, помолчав несколько секунд, сказал:

— Ясно. А я — Влад... Владислав.

Подруги переглянулись. Лукерья прыснула:

— Ты гонишь! Ладно... Славиком тебя буду называть. Ты прикольный вообще-то, — она стянула шапку и, поправляя свои русые волосы, оглядела его щуплую фигуру. — Куртка немного стремная, правда. Цвет какой-то непонятный.

Этот комментарий смутил Влада. Зимняя куртка у него была одна, и купленная всего-то в прошлом году. Денег на новую не было. Да и цвет нормальный: темно-фиолетовый. Он пожал плечами, скользнув взглядом по пятнистым Лукерьиным угги. Но промолчал. Глянул в сторону второй девушки. Та поймала его взгляд и скосила глаза в пол. Поправила светлые волосы.

— А как тебя зовут... красotka? — Влад попытался звучать как можно тверже, но запнулся на «красотке».

Подруги снова переглянулись.

— Косая это, — ответила Лукерья. — Не обзывайся больше.

— Что? Я...

— Ну, вот так! Мы девки простые. Доставай уже сигареты из своих лиловых карманов!

— Это фиолетовый... я не курю.

— Прие-е-ехали! Как это мы так из вашей компании самого праведника подцепили? Может, и не пьешь?!

— Почему же... можно, — теперь Влад опустил глаза и пошарил рукой в джинсах. Девушки молчали. В кармане зашелестела вчерашняя стипендия. Двести рублей. — Чего купить?

— Ну, ты вообще наглый, — вдруг решила Лукерья.

Влад ждал продолжения. Поднял глаза и увидел, что подруги улыбаются. И эти улыбки отчего-то показались ему знакомыми. Это были те самые улыбки, которые появляются перед постельной сценой в фильмах. Вот сейчас одна из них шагнет вперед, стирая дистанцию. Нет, не может быть. У Влада вспотели ладони, запульсировало в висках.

Девушки молча улыбались.

— Купи «Отвертку», — это сказала Косая, теперь смотревшая на него в упор совершенно ровным взглядом.

— И презервативы, — добавила смешливая подруга и прикрыла лицо ладонью. — Ой, по Фрейду! Стаканчики, я имела в виду!

Косая при этом стала серьезнее.

— Может, лучше вина? — уточнил Влад.

— Эх, Славик, гулять так гулять, — Лукерья резко соскочила с подоконника и задрала пальто. Вытащила откуда-то купюру. — Держи полтинник. Мы дамы не гордые. Только не «Молоко любимой женщины». Ненавижу.

Влад стоял в нерешительности. Девушка подняла его ладонь и вложила в нее деньги:

— Ступай, Владислав! Твои верные спутницы ждут тебя!

Тут засмеялись обе. Ошарашенный, Влад сбежал по ступенькам.

В старом городе он знал только один магазин, а вернее, ларек на автобусной остановке, где продавался алкоголь.

Было всего пять или шесть вечера, но уже стемнело. Влад шагал по хрусткому снегу. У ларька копошился народ. Несколько мужиков о чем-то спорили. Владу даже почудились знакомые голоса. Он поглубже надвинул капюшон и стал изучать скудный ассортимент вин. Варианта было всего четыре. И даже это казалось успехом в такое время и в таком месте.

На полке под самым ларечным потолком виднелось то самое, которое братья запретили: ультрамариновая бутылка с надписью «Liebfraumilch». Влад никогда не пробовал этого белого вина, но решил довериться Дуниному вкусу. Рядом стояла, обмотанная мешковиной, «Душа монаха», красное. «Душа» и «Молоко» пользовались популярностью на семейных застольях, и Влад отлично помнил их этикетки с самого детства. А «Душу» даже пробовал пару раз из бабушкиного бокала.

Еще в ларьке имелся портвейн «777», с которым Влад был знаком уже поближе. Вместе с этим напитком он и попал в круговерть технарских пьяных будней, из которой начал выбираться только недавно. «Три топора» были востребованы в их компании едва ли не наравне с баклахой 2,25 «Очаково». Из-за схожести в цене — в районе полтинника.

А рядом с портвейном стоял... успех. Невесть как сюда затесавшийся, весь в пыли и потертостях: «Чёрный доктор». Крымское сладкое.

— Здравсти, дайте, пожалуйста, бутылку «Чёрного доктора».

Продавщица, рывшаяся в этот момент где-то под прилавком, подняла глаза на клиента и открыла рот, будто бы уточнить: «Мальчик, ты с дубу рухнул? Может, тебе реального доктора вызвать?» Но, видимо, женское чутье что-то прочитало в облике влюбленного юноши. Вопрос остался невысказанным.

— Двести рублей! Деньги вперед! — тело продавщицы вытянулось струной, локти со стуком опустились на прилавок: она не двинется с места без заявленной суммы.

— Вот, — Влад выплеснул ладонь из кармана и положил две сотни рядом, словно сдал карты. Месячная стипендия. Четыре баклахи. Двенадцать «Топоров». Все на красное... в «черном». Беспроигрышный вариант.

Через минуту он шел с бутылкой «Доктора» за пазухой. Народ по-прежнему шумел. Кажется, завязывалась драка. Влад не мог разглядеть лица людей в бликах зимних фонарей. Да и слов разобрать не получалось. Все орали наперебой. Было ясно только, что стороны неравны. Двое парней помоложе стояли чуть вдали от остальных, потирая лица, иногда огрызались. Их противники двигались суматошно, делая ложные выпады, выкрикивали ругательства на непонятном языке.

В целом могло оказаться и так, что виноваты эти двое, которые потише. Но сама манера поведения сильной стороны, их бороды, повадки и какие-то непомерно огромные головы... все это заставило Влада сунуть ладонь под куртку и сжать горлышко бутылки. Он только начал понимать кое-какие слова из спора, когда один из «сильных» выдал крюк кулаком. Долговязый парнишка дернулся, но не успел увернуться. Смешно вздрогнула его голова, похожая на орех кешью.

Влад узнал Митяя. И двинул к толпе. На глаза незаметно накатывала красная пелена, скрежетали зубы. Все люди вокруг перестали существовать. Осталась только кучка дерущихся. Остановившись в шаге от них, Влад заметил еще двоих участников. В сугробе под фонарем лежало грузное тело Гоши. И чуть дальше в окне трехэтажки качалась занавеска: какая-то бабка стояла на подоконнике, высунув голову в форточку. Кричала невнятное.

— Не надо так, ребят! — зачем-то Влад выкрикнул эту фразу, перед тем как «Чёрный доктор» опустился на голову самому агрессивному бородачу. Голова оказалась в каске. Получившуюся розочку тут же выбил другой бородач и сунул Владу свинцовый

кулак. Они все были в касках с капюшонами поверх. Влад понял это сразу, как получил в ухо.

Мир поплыл. В невредимом ухе завизжала милицейская сирена. Влад крутнул головой, неуверенно шагнул вбок. Упал на одно колено и увидел пятнистые угли перед носом. В башке пронеслось: «Надо бы ей полтинник вернуть».

Но выключили свет.

— Славик, ты что, закурил?

— О, привет! Нет пока, с Митяем вот сидим.

Ребята сидели на лавке в больничном дворе. Дуня пришла их навестить:

— А-а-а, это ты, Митяй. Стрельни-ка в меня палочкой здоровья.

Митяй весь скукожился от такой просьбы, впился в фильтр и чуть не прикончил сигарету одним вдохом.

— Остынь, Мить, — Влад толкнул друга локтем. — У нее все по Фрейду. Угости даму сижкой.

— А... вот, — Митяй отдал всю пачку PallMall. — Да я сразу понял, че вы?! Задумался просто... — Он провел ладонью по выгнутому черепу и снова повторил: — Че вы?!

Дуня и Влад переглянулись, сдержали смех.

— Менты приходили уже к вам? — поинтересовалась девушка.

— А то, — Влад кивнул. — Оказывается, это бригада рабочих из управы была. Все без регистрации. Кому теперь ремонт делать? Хотят нас припахать, отрабатывать привод.

— Ты гонишь! — Дуня затянулась и гоготнула, как Влад при их знакомстве. — У вас двоих сотрясения. Регбист ваш с поломанными ребрами, хоть и отказался сюда ложиться...

— Ого, я и не в курсе. Меня мать навещала — ничего не говорила про это, — Митяй кувыркнул бычок в урну. — А ты откуда знаешь?

— Так его Косая домой отвела. Она уже с утра позвонила и рассказала мне. Какие у него синяки на груди и губы все потрескавшиеся, царапаются... ой, ну ее на хрен! Затрахала! Ладно, сгоняю до уборной. Не разбредайтесь особо, — она вернула пачку сигарет и поспешила к больничному корпусу.

Парни и не собирались разбредаться. Смотрели Дуне вслед. На интенсивнодвигающийся низ драпового пальто.

— Затрахала? — ословело повторил Влад самое запомнившееся слово.

— Это ж Косая, — Митяй досмотрел, как девушка поднимается на крыльцо, и закурил новую сигарету.

— Да я ее знаю. Она парням в глаза боится смотреть.

— Ну-ну... парням. Это ты про себя?

— Типа того...

— У меня с ней на первом курсе было.

— Чего?!

— Блин, ты, конечно, правильно сделал, что бросил бухать, Владик. А то отупел совсем. Я-то думал, ты умный парень. До сих пор не понимаешь, что у тебя за подруги?

— Давай без этой херни, Мить! Объясни толком!

— С ними никто не тусит, потому что они обе испорченные. Каждая по-своему. Косая трахается с кем попало. Только ботаники да алкаши не при делах. Не в обиду тебе! Поверь, лучше не суйся. По опыту знаю! А Дуню отчим дома долбит. Причем во всех смыслах. Блин... блин, — Митяя передернуло. — Я думал, ты все знаешь.

Ты, может, их последней надеждой был. Хрен только знает на что! А теперь я тебе все рассказал...

— Ты гонишь, — пробубнил Влад. — Я с ней сам поговорю.

— Дурак ты все-таки... меня хоть не пали, — Митяй швырнул бычок под ноги, поднялся и, перепрыгнув лавку, пошел прочь. Заскочил на крыльцо через перила. Влад следил за ним, надеялся, что долговязый прыгун столкнется с Дуней. Не свершилось.

Еще долго пришлось сидеть на мерзлой лавке одному. Дуня вернулась примерно через час, когда уже стемнело. Вся изменившаяся, со стертой губной помадой и комочками туши по краям глаз, одно веко подрагивает. Она села рядом:

— Прости, Славик. Закопалась...

— Ладно. Ты как?

— Да норма-а-ально! — она улыбочиво скосилась на Влада и вдруг впиалась дрожащим взглядом. Это длилось несколько секунд. Как будто поняла, что здесь, на лавке, про нее говорили.

— Ясно, рад, что ты зашла, Лукерья...

— Называй лучше «Дуня».

— Хорошо...

— А еще скажи Митяю, чтобы анализы сдал. В нем что-то не так. Может, язва или...

— Да! У него язва! Он даже лечится.

— Серьезно? А курево с бухлом — это часть лечения?

— Вроде того...

— Ну... все мы помрем, конечно. Но ты ему передай, на всякий случай. Я ж Ведуня. Пусть проверится.

— Хорошо, Дуня! Береги себя!

— Ты про что?! — опять она уцепилась за него взглядом, сжала губы кривой чертой.

— Да я вообще...

— Слушай, Славик! Лучше не лезь ко мне в душу! Что он тут тебе наплел?

Она попала в самую точку. Должно быть, с ней это случалось уже не раз. И неудивительно. Люди вечно судачат о тех, кто не такой, как все.

Сидя на больничной лавке, Влад запоздало понял одну простую вещь: Дуня была не сдвинутой, не ведуньей, не изгоем, даже не жертвой. Впрочем, возможно, в ней и сочеталось все это и еще много чего. Но в первую очередь она была — *другой*.

«Она — другая», — именно это крутилось в юношеской башке. Он прочитал не так много книг в жизни и не знал, что эта фраза шаблонная и даже пошлая. Она — другая. Вот и все. Влад так и ответил:

— Ты другая. Вот что.

— Это Митяй так сказал?

— И он тоже, но другими словами. А вообще, это я говорю.

— Ну, даже не знаю, Славик... такая фраза. Как ее воспринимать? Я другая?! Ого! — девушка подняла руки и выпучила глаза. — Ну ладно, полетела-ка я к себе в галактику.

— Я не про это!

— Да понятно! Ты про другое. И другую. И куртка у тебя такая фиолетовая! Знаешь, это напоминает те фразы, что мне покойный батя по пьяни выдавал.

— Например?

— Бывало, звал меня на балкон. Там закуривал и, глядя вдаль, говорил что-то типа: «Не важно, кем ты уже стал — важнее то, кем ты становишься».

— Ясно... — Влад поерзал на лавке. — И кем ты стала... или, точнее, кем ты становилась?

— Хрен знает, мне было одиннадцать лет. Папа так и не объяснил. Умер от цирроза.

— А я своего батю вообще не знаю, — зачем-то ляпнул Влад и почесал лоб.

Они помолчали, наблюдая, как ветер гоняет бычки по сырому асфальту. В последние дни сильно потеплело. Намечалась весна. Владу захотелось обнять девушку. Он даже поднял руку, чтобы затем аккуратно положить ей на плечо. Но Дуня вдруг согнулась, схватилась за живот и принялась смеяться. Влад вернул ладонь себе на колено. Смотрел так несколько минут. Вся лавка содрогалась от хохота девушки, похожей на хрупкую птицу.

Потом она вскочила и убежала. Ни разу не обернувшись. «Улетела», — понял Влад. Он таки не смог ее удержать. От ветра слезились глаза.

Вскоре парни выписались из больницы. Близилась пора повинных работ.

Им не пришлось учиться отделять стены штукатуркой или выравнивать пол. Такую работу студентам никто не доверял. После технарских пар нужно было только таскать горы строительного мусора из точки в точку. Для этого достаточно иметь много здоровья, которого в молодости навалом.

Мал-помалу Влад снова втянулся в подъездные посиделки. Трудно было отказать старым друзьям, с которыми столько пережито. Конечно, драка с бородатыми в касках еще долго висела на языках. В технаре Влада даже стали называть Чёрным Доктором или просто Чёрным, а их компанию четверкой мушкетеров. Тупое юношеское тщеславие не давало выпрыгнуть из алкогольной рутины. И Влад угробил еще полгода жизни. Может, он бы так и помер от алкоголизма лет в сорок, если б не почувствовал себя однажды самым тупым на свете. Иногда полезно стукнуться о дно, чтобы начать всплывать.

В тот вечер они сидели не в подъезде, а в квартире. Редкое явление. У Михи родители уехали куда-то на похороны. Он даже пригласил знакомую девушку. Все выпивали. Почти все курили, кроме регбиста Гоши, который заверял, что бросил Косую, а вместе с ней и курить, но при этом выпивал больше обычного. Влад тоже не курил. Эта дурная привычка была для него закрыта из-за отсутствия денег.

— Эй, зацените, народ! — девушку звали как-то сложно. Вроде Анжелики или Вероники. Она курила на балконе и решила вернуться в помещение через форточку. С фигурой одутловатой груши, она имела неплохую пластику и ладонью сумела дотянуться до оконной ручки. Затем уперлась в нее и просунулась всем телом через узкий квадрат. В конце пути она едва не свернула шею, поскользнувшись на подоконнике, но все пришли в восторг. Особенно Гоша:

— Это мне напомнило Булгакова, — внезапно выдал он то, чего никто от регбиста не ожидал. — Все же читали «Мастера и Маргариту»?

И все закивали в ответ на это. Даже парень, обнюхавшийся клеем, которого Влад видел впервые. Кивали все. Кроме Влада. Гоша не обратил внимания на замешательство друга и продолжил:

— Там момент был, когда к Берлиозу в кабинет лезли какие-то упырихи. И вот одна из них как раз что-то подобное сотворила. Там еще так это описано стремно. Про неестественно вывернутую руку, и все такое. Вообще, огонь книга!

— Это не к Берлиозу лезли! — вдруг поправил Митяй, еще глубже втапывая Влада. — Там другой какой-то мужик был. Берлиоза трамвай переехал в первой главе...

Гоша возразил что-то в ответ. Все остальные тоже вовлеклись в спор, зашумели. Тут Влад и понял, что пора что-то делать. Читать книги. Учить стихи. Заниматься спортом. Искать девушку.

Но первым делом: идти. И желательно вверх.

Остальные так усиленно спорили, что не заметили исчезновения Чёрного Доктора. А он все шел и шел. Вверх. По ступеням шестнадцатиэтажного подъезда. Ему просто хотелось подумать обо всем.

Пеший путь начинался с пятого этажа. Первые четыре он преодолел на лифте вместе с друзьями. С ними он пил и радовался тому, как легко катиться по жизни.

Тапки шаркали по ступеням. Под этот мерный звук хотелось считать. Все подряд.

Сколько это — пять из шестнадцати? Осталось пройти чуть больше двух третьих. Намного больше половины. Если ехать на лифте, то преодолеешь путь значительно быстрее и почти не запомнишь. Но на своих двоих быстро вымотаешься, и не факт, что вообще дойдешь до конца. Странное сравнение возникло в семнадцатилетнем мозгу: жизнь — как многоэтажка. Подъем должен быть трудным. А проскочишь на лифте — и не заметишь, как жизнь закончилась.

Подобной философии Влад за собой не припоминал. Это и радовало, и пугало. Может, не такой уж он и тупой.

Тапки мерно шаркали. На некоторых пролетах пахло мочой и сырыми бычками.

В этом доме этажей всего шестнадцать. А сколько их в жизни? И чем они меряются? Годами? Поступками? Успехами и неудачами?

Говорят же, что даже неудача — это опыт. Ты поднимаешься на следующий этаж, даже если обгадил все на предыдущем. Чем больше неудач — тем сильнее пухнет дом от зловонной массы твоего бессилья. И вот ты старик, наполненный всем этим говном.

Что тебе остается?

Влад знал, как выйти на крышу в этом подъезде. И знал, что там будет думаться лучше всего. А еще ему внезапно захотелось покончить со всем этим. Портвейн или непрочитанный Булгаков — трудно сказать, что явилось главной причиной такого желания. Пожалуй, что в семнадцать лет причин может и не быть. Р-раз и всё. Видимо, человек еще маловато прожил, и ему не жалко потраченного на жизнь времени. «Наверстаю в другой. А здесь я никому не нужен. Мама думает только о деньгах, работе и о том, чтобы меня не отчислили. Но не обо мне! Друзья думают о девках и бухле, — Влад приближался к краю крыши мелкими шажками. — Я тупой. Даже разговор толком поддержать не могу. И уже все сказал. Всем. Кроме...»

Причина жить в семнадцать лет находится так же быстро, как и причина умереть.

Промочив тапки на заснеженной октябрьской крыше, Влад вспомнил, что так и не передал Митяю слова Дуни о том, что надо бы провериться. А потом еще подумал, что мама будет плакать: мертвый сын хуже, чем отчисленный. Все же в техникум можно сходить-похлопотать за сынулю, а у смерти не похлопочешь. И Влад бежал, радуясь, что нашлись причины жить. И что в жизни, наверное, как и в любой другой многоэтажке, тоже можно вернуться назад, чтобы все исправить. Чтобы предупредить друга о том, что...

На пятом этаже столпился народ. Среди них — двое в белых халатах. На топот Влада обернулся только пьяный Гоша:

— О! Жаль, что тебя не было. Митяй так круто прыгнул через перила. Только приземлился неудачно.

От неудачного приземления открылась язва и дала кровотечение в желудок. «Скорая» приехала через десять минут, и врачи сработали отлично. Только Митяй почему-то не выдержал. Кто-то из преподавателей техникума потом сказал, что это алкоголь сыграл с веселой четверкой такую злую шутку. И что частые посиделки до добра не доводят. Никто, разумеется, его не слушал.

Даже на похоронах все говорили, что это несчастный случай. Роковое стечение обстоятельств. Нет. Влад считал иначе. Винил себя. В голове все, наконец, становилось по местам. А еще крутилась эта странная фраза: «Не важно, кем ты уже стал — важнее то, кем ты становишься». Казалось, что точнее сказать невозможно. Балконная премудрость бывает чище технического спирта. Митяй-то уже стал. Покойником.

Когда гроб друга полностью засыпало землей, Влад огляделся. Новость о смерти долгоязого парня собрала довольно много народу. Все толпились в узких проходах между кладбищенскими оградами. Внутри самого участка не поместилось и десяти человек. Пили финскую водку из пластиковых стаканчиков. Мать усопшего бесцельно сидела на лавке, качаясь взад-вперед. Вроде бы ей дали каких-то таблеток. Владу подумалось, что все совсем не так, как бывает в фильмах.

Вдалеке он увидел Дуню, то и дело поправлявшую прядь волос. Нужно было подойти. Сказать, что она опять оказалась права, что он не успел. Влад стал протискиваться меж людьми. Нужно припомнить, как она тогда смутила робкого Митяя, стрелнув сигарету. Узнать, как у нее дела, не обижает ли отчим? «Куда прешь, оболтус?! Человека хоронят!» Здесь были и бабки — Митяевы соседки по подъезду. К Дуне! Владу нужно было к Дуне. Он не видел ее полгода. Он еще все исправит! «Чёрный, скажешь за Митяя тост?» Скажет, обязательно скажет. Только дайте сначала поговорить:

— Привет, Лукерья!

— Вообще-то, Дуня... привет. Ну что, сам-то цел?

— Цел! А ты была права! Жаль, что я так и не передал твои слова Митяю...

— Я так и поняла! — Дуня прикрыла рот обеими руками, оставив Владу только глаза с размазанной тушью.

— Да, так странно. Я хотел сделать это в последний момент, но не успел.

Дуня промолчала, а Влад вспомнил еще кое-что:

— Знаешь, я, кажется, понял фразу твоего бати!

— Серьезно?! А что там?

— Фраза, которую он сказал тебе тогда на балконе. Помнишь?

— Серьезно?! А что там?! — она хохотнула сквозь перчатки, глаза ее забегали.

— Брось! Ты помнишь: «Не важно, кем ты уже стал — важнее то...»

— Серьезно?! — она перебила вконец надломленным голосом.

— Слышь, орел, отвали от нее! Не видишь, что ей херово совсем?! — позади Дуни все это время курил мужчина, теперь приблизившийся.

Отчим. Влад сразу понял, что это он. Глубокие залысины и близко посаженные глаза. На нем был камуфляж, толстая серебряная цепь и старые китайские кроссовки. «Вот как выглядят истинные подонки!» — пьяно рассудил Влад и приосанился:

— Она моя подруга. Я знаю, как ей помочь!

— Иди, давай! — отчим особо не церемонился, толкнул Влада в плечо. Тот завалился на ограду. Встрепенулся: не видят ли пацаны?! Нет, они разливали водку по стаканам.

Он поправил фиолетовую куртку, сжал худые кулаки до белых костяшек, попытался тверже упереться ногами в кладбищенскую грязь. Вот он и стал героем Булгакова: «темно-фиолетовый рыцарь с мрачнейшим и никогда не улыбающимся

лицом». И все же улыбка от этой мысли распорола мрачнейшее, но пьяное лицо. Его распирали гордость, что проглотил целую книгу всего за три дня. Хотелось героически подражаться.

— Стой! — вмешалась Дуня, дрожа всем телом. — Славик, ты прав. И папа мой прав. Ты пока не стал, но я вижу — становишься. Так и надо! Становись им!

— Кем им?! — не понял Влад.

Но Дуня снова закрыла руками рот и, густо покраснев, стала смеяться. Отчим закатил глаза и пояснил по-своему:

— Мудаком! Становись им подольше. Глядишь и проживешь побольше. Все, девочка совсем сдает. В больницу повезу. Бывай! То есть, становись!

— Спасибо! — буркнул Влад вслед и, машинально оглядывая красивую фигуру девушки, вдруг понял, что Дуня опять улетает. Может, навсегда. А он остается здесь среди бесконечных рядов могил с табличками. Влад обернулся на друзей: кто-то махнул ему рукой. Показалось, что они тоже уже среди мертвых, и вон там даже мелькнула голова, похожая на орех кешью. Может, они все померли еще тогда, в драке с бородатыми касками? А теперь вот девушка пришла навестить их могилы.

Влад осмотрелся и решил догнать Дуню с отчимом:

— Стойте! А что за больница?!

— Психиатрическая, — хмуро отозвался мужчина. — У нее очередной кризис из-за того, что гребаное пророчество сбылось!

— Зачем вы так?! — пьяные ноги заплетались и скользили, Влад снова завалился на ограду и проорал излишне громко: — Может, это ее дар?!

Дуня вздрогнула, но не обернулась. Отчим же притормозил:

— Ага, хорош дар! Она каждому третьему советует анализы сдать. В месяц по сто пророчеств. И вот... одно в год выстреливает. Евдокию это сильно впечатляет, — он достал пачку «Пегаса», закурил. — В такие моменты ей кажется, что она видит мертвых, что говорит со смертью, и еще... что я избиваю ее... даже насилую! Слышал такое? Это Евдокия своим подружкам рассказывает. Про отчима-упыря!

Влад неопределенно кивнул. Все странным образом совпадало, но никак не хотело склеиваться в задурманенном водкой мозгу. Он остановился, чтобы подумать среди мертвых.

А Дуня так и улетела. Навсегда.

Через месяц Влада отчислили из техникума за систематические прогулы. И вскоре призвали в армию. Мама поплакала, но хлопотать за сына не стала. Решила, что в армии станет хоть кем-то.

Съезживаясь на плацу под крик командира: «Становись!», Влад часто вспоминал фразу Дуниного отца. И становился. Вероятно, становится и сейчас. Где-то далеко или близко. Или мной. Или тобой. Будучи уже не парнем, а мужчиной или даже дедом. Ведь как сказал один балконный философ: «Не важно, кем ты уже стал — важнее то, кем ты становишься».

Не каждый найдет смысл в этой фразе. Да и не нужно. Можно найти себе любую другую, вложить свой смысл.

И становиться.

Юрий Каграманов

Время (и бремя) чёрных?

О новом витке расового вопроса

Готовит новые удары
Рой пробудившихся племён.

Владимир Соловьёв

Строки, вынесенные в эпиграф, взяты из стихотворения «Панмонголизм», где речь идет об угрозе, исходящей со стороны желтой расы. Угроза эта сохраняется и сегодня, но характер ее радикально изменился: вряд ли она имеет что-то общее с призраком монгольских орд времен Батыя. Угроза в другом: желтые опережают белых на путях приземленно-логического мышления — отсюда их успехи в науке и технологии. Там, на далеком Востоке, сегодня «дышит интеграл» (это уже из А.Блока).

Но другая угроза обозначилась: белой расе по-своему грозит черная.

«Негр поднимается с колен». Это действие, назовем его так, можно разложить на четыре эпизода. Первый из них — так называемое Гарлемское возрождение. В конце 10-х — 20-х годов Гарлем в Нью-Йорке стал центром движения чернокожих за психологическое «возвращение в Африку». Пока что оно ограничивалось музыкально-танцевальной частью. Наступал «век джаза» (сложившегося, заметим, не без влияния европейского мелоса), как его назвал Скотт Фицджеральд. Джаз покорила американцев, а за ними и европейцев; так же, как и новые ритмические танцы — ту-степ (Яшка-артиллерист в кинофильме «Свадьба в Малиновке» демонстрировал сельчанам некое подобие его), фокстрот и так далее. К тем годам относится замечание Честертона, что франты, отплясывающие чарльстон, скоро начнут чернить себе лица. Фигура негра становилась в глазах белых культурной величиной. Но это по-прежнему был негр-забавник, усовершенствованный вариант кривляки Джима Кроу, каким его знал старый Юг (даже знаменитый Луи Армстронг, по-своему обаятельный, вписывается с некоторыми поправками в образ Джима Кроу). Культурный «вес» негра пока ограничивался сферой развлечения.

Впрочем, не совсем так. Тот же Фицджеральд дал тонкое определение джаза: это состояние нервной взвинченности, похожее на то, что воцаряется в городах при приближении к ним линии фронта.

Следующий эпизод переносит нас в Париж 30-х годов, который был тогда, как и прежде, «лабораторией инноваций». Группа чернокожих франкоязычных поэтов, в которой ведущими были Эме Сезер и Леопольд Сенгор (будущий президент республики Сенегал), выступила с идеологической концепцией «негритянства», иначе *негритюда*. Эти поэты поставили мироощущение негров выше мироощущения европейцев. Негры чутки к голосу крови, к воспарениям земли, которую они ощущают «теплыми стопами», а европейцы, «всезнающие и наивные победители», по выражению Сезера,

выстроили себе культуру-тюрьму, из которой даже при желании не могут вырваться. *Негритуд* претендовал на то, чтобы стать универсальной философией; задача негров, писал Сэзер, в том, «чтобы ассимилировать (европейцев. — Ю.К.), вместо того, чтобы быть ассимилируемыми».

Успеху *негритуда* способствовало поражение, которое потерпела европейская цивилизация в Первой мировой войне (независимо от того, кто там в военном отношении выиграл и кто проиграл). Идеалы «прогресса» оказались полужатолены в море крови, пролившейся на полях жесточайших за всю человеческую историю сражений.

Успеху *негритуда*, даже среди белых, способствовал и тот факт, что он был отчасти созвучен некоторым течениям европейской мысли и искусства, поднявшим на щит интуитивизм, в частности «философии жизни» А.Бергсона (ценившего «жизнь» выше и материи, и духа) и особенно сюрреализму с его сновидческими изображениями окружающей жизни. Основоположник сюрреализма Андре Бретон назвал Сэзера и Сенгора «великими лириками современности». Поэты *негритуда* указывали, однако, и на то, что отличало их от европейских художников: у тех сюрреализм шел от личного поиска, а у негров это была коллективная интуиция, растворяющая личность в племени.

Доверие к интуициям низшего порядка можно объяснить некоторой высушенностью, избыточной заземленностью христианства в повседневном обиходе; лишенное мистики, лишенное «безумия», оно перестало «держат души». Это относится и к энтузиастам *негритуда*, и к художникам сюрреалистического направления, которых Гуго фон Гофмансталь, сам из породы декадентов, метко назвал «больными орлами».

В защиту *негритуда* выступил Жан-Поль Сартр в своем знаменитом эссе «Чёрный Орфей». Черные, писал Сартр, пристыдили белых, указав им на их «неполноценность». Подобно античному Орфею, спустившемуся в царство Плутона, чтобы увести оттуда Эвридику, черный поэт спускается внутрь себя, чтобы открыть там некую глубину. И что он там находит? «За пожаром объятых пламенем слов (негритянской поэзии. — Ю.К.) нам открывается великий идол, черный и немой». Здесь, между прочим, верно указано на религиозное измерение эстетики *негритуда*. Черный и немой идол наводит на мысль о том идоле, которому поклоняются последователи *вуду*, — дикого, анимистического культа, абсорбировавшего некоторые элементы христианства, искусственно к этому культу привязанного.

Можно в данном случае согласиться и с Дмитрием Быковым, усматривающим (в стихотворении «Бремя белых»)

....в черном лике идола
Самой природы лик незрячий.

Возвратимся в Америку. Энтузиасты *негритуда* мало интересовались политикой, полагая, что искусство важнее политики. Но политика требует своего. В 60-х годах в стране развернулась борьба за гражданские права негров, в которой широкое участие приняли как черные, так и белые. Борьба была праведной и в общем довольно успешной. Достойный вклад в эту борьбу на сей раз внес Голливуд, выпустивший ряд фильмов («Осквернитель праха», «Скованные одной цепью», «Не склонившие головы», «Посмотрите, кто пришёл» и другие), убеждающих, что черный — такой же человек, как и белый, нередко даже лучше белого. К концу 60-х с расовой сегрегацией практически было покончено, даже на Юге.

Но недаром говорится: дай человеку волю, он две возьмет. В негритянской среде появились агрессивные группы, которые, не довольствуясь успехами в борьбе за расовое равенство, стали устраивать мятежи и погромы. Ветер принес боевой клич из

Африки. В начале 60-х нигерийский писатель Воле Сойинка (лауреат Нобелевской премии по литературе за 1986 год) выступил с резкой критикой *негритюда*. С его точки зрения, Эме, Сенгор и их единомышленники проявили слишком большую лояльность в отношении *francité*, французской культуры (Сенгор, между прочим, стал одним из «бессмертных», членом Французской Академии). *Негритюд* слишком увлекся словесами, но теперь пришло время действовать. Тигр, писал Сойинка, не заявляет о своей «тигриности», он просто прыгает на своего противника и загрызает его. Свою позицию Сойинка обозначил, созвучно с *негритюдом*, но в пику ему, как *тигритюд*.

Призыв был услышан за океаном. Самая заметная из негритянских экстремистских группировок взяла себе имя «Чёрные пантеры». Пантера — вроде тигра, но тигр полосат, а пантера одноцветно черная и потому скорее подходит на роль символа для агрессивного «негритянства». Но «пантеры» тогда еще не нашли достаточно широкой поддержки среди негритянского населения и спустя энное количество лет были разогнаны полицией.

В 2013 году уроненное знамя «пантер» подняло движение BLM (black Lives Matter, «Чёрные жизни важны»). Так начался последний пока и, по хоже, роковой эпизод «поднятия негра с колен». *Негритюд* парижской выделки еще владеет умами черных интеллектуалов, но его оттесняет «брутализм», каковой демонстрирует BLM, а также близкое ему по идеологии и по степени революционного оголтения Антифа, называющая себя анархо-коммунистическим движением. В порядке курьеза можно назвать еще одну организацию — «Восстание мавров», требующую от правительства США (!) компенсации за то, что мавров изгнали из Испании в конце XV века.

В составе самого движения (BLM) и сегодня, по некоторым прикидкам, каждый третий — белый или, если угодно, «белый негр». «Новые сны веры Павловны», как выразился автор русскоязычного журнала «Kontinent. USA», овладевают их воображением.

В среде сочувствующих белых есть, вероятно, и такие, кто искренно, по-христиански — даже в отдалении от христианства — сочувствует неграм, болеющим за своих попавших в рабство предков (довольно уже далеких). Но тут к месту привести суждение Честертона: добродетели, выпавшие из христианства, — одичалые и порою вредоносные еще более, чем пороки.

BLM изначально возглавили три черные женщины (привет феминисткам!), которые заявили о себе, как об «образованных марксистках». Трудно представить, чтобы эти разбитные тетки штудировали «Капитал» или «Нищету философии»; вероятно, они воспринимают марксизм примерно так же, как воспринимал его Чепурный в платоновском «Чевенгуре», который, читая «Капитал», «ничего не понял», но «что-то чувствовал». Что можно почувствовать, читая Маркса? Или, спросим иначе, какие чувства внушает Маркс своим читателям? Ну, во-первых, праведный гнев (против капитализма и капиталистов), но с ним вместе злону против всех мыслящих и чувствующих хотя бы чуть-чуть иначе. О.Сергий Булгаков писал, что Маркс «заколдован злобой» и все его учение — инфернальное восстание против Творца и его творения.

Подобно русским и любым другим марксистам, BLM демонстрирует «отщепенство» от национальной истории и, если воспользоваться выражением П.Б.Струве, «секулярную неотмирность».

В точном соответствии с Марксом, BLM грезит о мировой революции; начавшись в Соединенных Штатах, она должна выплеснуться за их пределы. Для чего уже создана пропагандистская сеть, охватившая страны на всех пяти континентах.

Казалось бы, марксизм дискредитирован всем опытом Старого света, отчасти и Нового, но, как видим, выходят на арену истории новые поколения, запутавшиеся в марксовой бороде. Как это и прежде случалось, идеи Маркса в новой среде подвергаются рефракции. Не классовая борьба объявляется движителем истории, но расовая борьба.

Место угнетенного пролетариата в марксистской схеме занимает угнетенная черная раса (вместе с примкнувшими к ней «пробужденными» белыми).

Записавшись в марксисты, трудно «перепрыгнуть» через неомарксизм, выставляющий себя усовершенствованным вариантом теории Карла Маркса, поэтому BLM принимает гендерные новации, инициированные теоретиками неомарксизма. С некоторыми немаловажными поправками: разрушение семьи приветствуется не в пользу «раскрепощенного» индивида, а в пользу «большой семьи», племенной сплотки, растворяющей индивида в себе и растворяющей в себе то, что в Европе и Северной Америке называется нуклеарной семьей. Но замена угнетенного пролетариата угнетенной (или мнимо угнетенной) расой — патент на эту новацию принадлежит BLM.

Столь крутой поворот совершился под влиянием так называемой критической теории рас, возникшей в конце прошлого века и до последнего времени прозябавшей на страницах малоизвестных, академических по видимости журналов. Основоположителем ее явился гарвардский профессор Ноэль Игнатъев, потомок выходцев из России, троцкист, поднявший эстафетную палочку, выпавшую из рук великого и ужасного Льва Давидовича. Это он ввел различие Черных с прописной буквы, идеологических борцов, и черных с маленькой буквы, просто чернокожих. Одно время Игнатъев допускал, что Черными могут быть и люди белой расы, но затем пришел к выводу, что на роли идейных борцов они не годятся и их надо попросту убивать, всех подряд. Вот такой «обновитель марксизма» объявился в стенах почтенного, казалось бы, университета.

Сейчас критическая теория рас завоевывает — почти уже завоевала — статус официальной идеологии, принятой в университетах и школах, правительственных учреждениях и т.п. Это ей был дан толчок анекдотическим утверждениям, что негры первыми открыли Америку, что историю Соединённых Штатов надо начинать не с прибытия в Новый свет пуританских «пилигримов», а с завозом туда первых черных невольников, на спинах которых будто бы возросли могущество и слава этой страны, и т.п. Критическая теория рас утверждает, что «черное — это прекрасно», а сплюснутые носы и толстые губы красивее европейских прямых носов и тонких губ.

А так как мир художественных образов, в который с детских лет погружены американцы, это почти целиком мир белых людей, то их, точнее тех из них, кто более других пленяет воображение, спешно перекрашивают в черный цвет: так появляются на экранах и на сценических подмостках, на страницах книг для детей Белоснежка со своими гномами, Алиса в стране чудес, Снежная королева, Принцесса на горошине, Маленький принц, Том Сойер и Гарри Поттер — все черные, как вороны.

Самого Иисуса Христа изображают черным — те, кто еще верит в Него или пытается верить.

Сколько продлится этот театр абсурда, пока сказать невозможно. Пока он распространяется на другие страны, в первую очередь на родину «гордых бриттов».

Вообще говоря, расовый вопрос — предельно сложный. Существуют различные объяснения того, почему человечество поделено на расы. Среди них религиозное, особенно неблагоприятное для черной расы: негры — потомки Хама, проклятого своим отцом, Ноем. Интересно, что это объяснение приняла первая афро-американская поэтесса Филлис Уитли. В семилетнем возрасте она была привезена работоторговцами из Африки, но ей посчастливилось попасть в белую семью, сумевшую оценить ее необыкновенные способности и со временем отпустившая ее на волю. Стихи Филлис оценил сам Джордж Вашингтон, хотя большую известность она получила в Англии и Франции. Для нынешних черных революционеров Филлис — икона (современный ей художник донес до потомства ее милые, «боголепные» черты, но нынешнее ее «иконическое» изображение — свирепой воительницы, наподобие феминисток), но ее образ мыслей очень от них далек. Вот какие она писала стихи (даю подстрочный

перевод): «Помните, христиане, негры, чёрные, как Каин, // Может быть, мы исправимся // И присоединимся к поезду ангелов». Чтобы «исправиться», считала Филлис, негры должны презреть своего предполагаемого предка, Хама, так же, как он сам презрел своего отца.

В Европе вплоть до Нового времени преобладало религиозное объяснение происхождения черной расы. Это не значит, что отношение к неграм было однозначно негативным. С христианской точки зрения человеческое существо, заключенное в черную кожу, остается человеческим существом, способным и к взлетам (и, значит, к преодолению дурной наследственности, если таковая имела место), и к падениям. Характерно христианский взгляд выразила шекспировская Дездемона: «Лицом Отелло был мне дух Отелло». По крайней мере, на высотах европейской культуры это было очень понятно.

Но в Европе негр был довольно редкой фигурой; Папагено в моцартовской «Волшебной флейте» (1792), удивляющийся тому, что на свете есть черные люди, для своего времени достаточно типичен.

А в Северной Америке из-за систематического завоза рабов из Африки впервые белое население столкнулось в рамках одного общества с массой чернокожего населения — с расой, по своим внешним признакам диаметрально противоположной белой расе. Трудно было ожидать от массы белого населения, чтобы оно проявляло ту же высоту духа, на какую была способна европейская аристократия (духовная и светская). Вместе с тем эти белые демонстрировали инстинкт сохранения расы, который тоже имеет право на существование.

Граф Артур де Гобино, который считается основоположником расовой теории (в 2001 году на русском вышла его книга «Опыт о неравенстве человеческих рас») зря порицается за то злоупотребление, которое сделали из его трудов национал-социалисты (у одного автора я даже нашел утверждение, что Гобино был «почитателем Гитлера», хотя граф опочил еще в 1882 году). Он, действительно, считал белую расу образцом силы и красоты, но он не превращал ее в некий абсолют. У Гобино есть представление о «текучести» в расовой географии. Раса стремится сохранить себя, и это правильно, но это возможно лишь до определенного момента. Рано или поздно раса утрачивает силы сопротивления чужому и смешивается с другими расами. Складывается новая раса, с течением времени приобретающая «признаки чистоты». Более того, Гобино считал, что «цивилизация возможна только при смешении крови»; это, как мне представляется, спорное утверждение, но оно окончательно снимает с нашего француза обвинения в расизме.

Похоже, что в Соединенных Штатах белые утрачивают силы сопротивления черным и другим цветным. Критическая теория рас в содружестве с препарированным на новый лад марксизмом становится орудием ниспровержения всей евро-американской цивилизации.

Когда мы видим в голливудских фильмах, как иссиня-черный мужчина обнимает белую женщину или, наоборот, белый мужчина обнимает иссиня-черную женщину, не следует думать, что все американцы испытывают удовлетворение при виде такого рода картинок. Это — кинематографическое приношение критической теории рас. В реальности белые, особенно в сельской местности, инстинктивно сопротивляются расовому смешению. Призыв Трампа «Верните нам "Унесенные ветром"» (во враждебной ему прессе истолкованный как «верните нам унесенных ветром», что не то же самое) был услышан многими. И в среде чернокожих многим совсем не нравится та буза, которую подняли их агрессивные сородичи.

В целом политика синих (демократов) встречает сопротивление на местах. К примеру, две трети графств (всего их около трех тысяч), проигнорировав требования правительства, отказались сдавать оружие, находящееся в частном пользовании; в ответ на что президент Байден, хорошо не подумав, пригрозил им ядерной бомбой.

В ряде штатов приняты законы, запрещающие преподавание в государственных школах критической теории рас. Страну охватило движение разноуровневых сецессий, как их называют по образцу событий, имевших место в древнем Риме: отдельные городские районы отделяются от городов, с которыми они не хотят иметь ничего общего, города отделяются от графств, графства от штатов; и есть штаты, в их числе такие крупные, как Техас и Калифорния, которые подумывают об отделении от государства Соединенных Штатов.

Но, похоже, время работает против консервативной Америки. В жизнь входят поколения, прошедшие через «лагеря перевоспитания», в каковые ныне превратилось большинство школ; не говоря уже об университетах (нынешнее состояние образовательной системы характеризуют словами «второе убийство Сократа»). Таким образом год от года прибавляется «полку» радикалов. Кроме того, продолжается приток иммигрантов, с традиционной Америкой малознакомых и ей, как правило, чуждых.

И расовое смешение идет своим ходом, множится число мулатов, которые, возможно, и станут когда-нибудь большинством населения в Соединенных Штатах. Мулата всегда относили к числу негров, особенно на Юге, даже если он октерон (то есть имеющий в себе осьмушку негритянской крови). У Фолкнера мулат чаще всего — трагическая фигура: бурление кровей заставляет его чувствовать себя «ни в сих, ни в оных».

Ошибочно думать, что после национал-социализма о значении крови нельзя и заикаться. Кажется, Гёте принадлежит мысль, что любая идея, даже самая правильная, может быть доведена до абсурда. Так произошло у национал-социалистов с представлением о значении крови. На самом деле кровь для человека тоже важна: она несет в себе «иероглиф наследственности», родовую информацию, в определенных случаях побуждающую его поступать тем или иным образом, обычно бессознательно или полусознательно.

Между прочим, вопрос крови сыграл определенную роль и в Русской революции. На это обратил внимание Фёдор Степун: «Вопрос о незаконных детях, о г н е в н о й и н е р в н о й б а р с к о й к р о в и (разрядка моя. — Ю.К.) в жилах русских крестьян, лишь мимоходом затронутый Буниным в его "Суходоле", представляется мне, к слову сказать, как социологически, так и психологически, очень интересною темою большевистского бунта». «Полукровки», только не в расовом, а в социальном смысле, первыми побежали с фронта Германской войны, первыми стали громить помещичьи усадьбы, оазисы высокой русской культуры (как считают новые исследователи, усадебная культура была не дворянской, а дворянско-крестьянской).

Мулаты, беспокойная «прослойка» меж двумя расами, играют ведущую роль в «негритянской революции». Их фенотипическая близость к белой расе облегчает многим белым участие в BLM, куда «раскаявшихся» бледнолицых пока еще «великодушно» принимают; или, по крайней мере, сочувствие к этому движению. Поразительно, но по данным на 2017 год более половины белых американцев сочувствовали BLM! Потом, правда, после серии погромов, учиненных «черными марксистами», число сочувствующих снизилось, но все равно остается очень большим. В составе самого движения и сегодня, по некоторым прикидкам, каждый третий — белый или, если угодно, «белый негр».

Многим наблюдателям представляется загадочной поддержка, которую оказывают BLM элитные круги, в их числе финансовые воротилы Уолл-стрит и Силиконовой долины; перспектива «экспроприации экспроприаторов», по Марксу, о которой грубо напомнила гильотина, поставленная активистами BLM перед домом миллиардера Джефа Безоса, не может их радовать; равно как и призрак «нового Коминтерна». Полагаю, что главная причина такого странного поведения — страх: BLM овладела улицей и может сложиться ситуация, когда никакие заборы не остановят мятежников;

кадры из эйзенштейновского «Октября», где революционные матросы перелезают через какие-то ворота, ведущие к Зимнему дворцу, всем хорошо известны.

«Победители боятся побежденных» — ситуация, знакомая еще древнему Риму в его закатный период, когда раб на улице перестал уступать дорогу кому бы то ни было.

Но еще, возможно, элиты надеются овладеть движением: революция — это ведь «чертово колесо», по выражению Аркадия Аверченко: никогда не угадаешь, кто в конечном счете окажется наверху.

Пока что негр, «встающий с колен», принуждает опускаться перед ним на колени белых, включая самых важных персон. Вирус заискивания перед черными революционерами проник и в государственные структуры. Инфекция нового типа успешно распространяется и за пределами Америки. Постепенно вся мировая политика и особенно культурная политика начинает строиться по силовым линиям, отправляющимся от понятия расы. Американский «пожар» распространяется прежде всего в англо-саксонских странах, начиная с Англии. Пример подает Оксфорд, интеллектуальная столица англо-саксонского мира. На филологическом факультете Шекспир заклеен «расистом», прежде всего за его «Бурю», где в неприглядном свете выведен дикарь Калибан. В число «расистов» попала даже Джейн Остин только за то, что она любила пить чай с сахаром, а эти продукты попадали в Англию из колоний. На музыкальном факультете выступают с требованием запретить исполнение произведений, в частности, Баха, Моцарта, Бетховена только потому, что они создавались «во времена рабства», хотя эти композиторы не имели даже отдаленного отношения к работорговле; доходят до того, что требуют отменить нотное письмо, так как это знак «превосходства белых».

А в соседнем с университетом колледже учащиеся, при попустительстве начальства, сняли со стен портреты Елизаветы II и адмирала Нельсона и повесили вместо них портреты Греты Тунберг и какой-то «пакистанской активистки Малалы Юсафзай».

Уже добрую сотню лет говорят и пишут о «закате Европы» (европейской цивилизации, распространяющейся, естественно, на Соединенные Штаты), но т а к о г о скоропалительного заката не ждал никто.

Демографы предсказывают, что до конца столетия в Европу вселится один миллиард африканцев. И, может быть, с ним вместе проберется «кувырколлегия из экваториального террариума», пугавшая еще Леонида Леонова. Возможно, что приведенная цифра завышена, но даже сотня-другая миллионов радикально изменит лицо Европы, точнее, западной ее части. Психологически она к этому уже готовится.

На пороге XX века Киплинг в знаменитом стихотворении «Бремя белых» обратился к белому человеку (прежде других к американскому белому человеку) с императивным призывом:

Ты (о, на каком ветрище!)
Светоч зажжёшь Ума...

Сегодня ветрище задувает неверные огоньки «западного духа». Умственное хозяйство Запада пребывает в глубоком упадке; отдельные успехи не могут изменить общую неприглядную картину. И особенно это относится как раз к Соединенным Штатам.

В той перспективе, о которой здесь идет речь, Восточная Европа находится в относительно более выгодном положении. Россия и прилегающие к нам с запада страны не участвовали в заморской экспансии, поэтому мы экзотическим странам, слава Богу, «ничего не должны» (русская экспансия шла в южном и восточном направлении, и покоренные русскими малочисленные народы, даром что у некоторых

из них за плечами была древняя культура, никакого существенного влияния на русскую культуру не оказали, зато русскую культуру усваивали). А о том, к чему приводили редкие непосредственные контакты русских людей с Африкой, лучший пример показывает Николай Гумилѐв. Он много путешествовал по Африке, был впечатлен ее звуками и цветами, но на тайные «зовы» ее не поддавался, писал:

Там смотрит в душу чей-то взор,
Отравы полный и обманов.

Подобно крестоносцам былых времен, поэт оставался «одет в броню своих святынь».

Но Запад гипнотическому влиянию Африки поддался, а наши глаза и уши всегда были на Западе, и всегда была склонность к подражательным действиям.

Особенно молодое поколение склонно «хватать с ветра» многое из того, что приходит оттуда.

«Африканизация» Европы начиналась как будто с безобидного: негр заражал белого своей детскостью, непосредственностью, равно как и своей танцующей экзотичностью, контрастирующей с европейской «собранностью». Но чуткий Андрей Белый уже тогда, в 20-х годах писал: Африка «бродит и бредит» в крови западного человека «уродливо дикой фантазией, беспутницей плясовой, разукрашенной жизни; бытом, стилем и модами; и даже — манерой держаться». И далее: «Негр уже среди нас: будем твердо: арийцами». Опять-таки, ценность арийства не может быть присвоена национал-социализмом.

А подъем «почерневшего» марксизма в Соединенных Штатах приводит нас к удивительному заключению: «передовая» Америка повторяет зады русской истории. В самом деле, тон происходящих там событий сильно напоминает русскую катастрофу 1917-го и последующих лет, на что постоянно указывают американские авторы консервативного направления.

И тут возникает еще одна аналогия, указывающая на новую для нас опасность. Когда говорят, что Америка обращается «внутрь себя», это верно для настоящего момента. Но такое обращение внутрь себя грозит обернуться, уже оборачивается вывертом, который ничего хорошего не принесет. Потому что революционеры бээлэмовского типа, подобно большевикам, грезят о мировой революции. Но большевики, за редкими исключениями, не могли опереться на дипломатическую службу прежней России: посольства за рубежом вольно или невольно сохраняли лояльность в отношении временного правительства или даже свергнутого царя. «Черные» революционеры в этом смысле находятся в гораздо более выгодном положении: они пользуются поддержкой государственных структур. Так, в мае сего года Государственный департамент предложил всем представительством Соединѐнных Штатов за рубежом поддерживать пропаганду BLM. Отчасти благодаря их усилиям эта аббревиатура становится мировым трендом. Сам вице-президент всея Америки, заседавший в Белом доме, в иных случаях говорит языком BLM. Что не удивительно, если учесть, что среди сотрудников его аппарата немало сторонников этого движения.

Американский парадокс: происходит плавный переход от либерального государства к революционному, по сути своей антагонистическому в отношении этого государства. Пока, во всяком случае, так. Впереди неминуемые «овраги», в которых поломают ноги многие из тех, кого сегодня влечет, вольно или невольно, «светлая дорога в будущее».

Сторонники BLM есть и в армии. Новый министр обороны Ллойд Остин, чернокожий, успел провести чистку в армии, уволив генералов и офицеров, о которых известно, что они симпатизируют Трампу. А председатель Объединенного комитета начальников штабов (высшая должность в вооруженных силах) генерал Марк Милли,

безупречно белый, призвал всех военнослужащих изучать произведения Маркса и Ленина; имея в виду те их произведения, что адаптированы для нужд нынешних черных революционеров. Готовятся к мировой революции?

«Нами человечество протрезвляется, мы его похмелье» — мысль Герцена (цитирую его по памяти), как бы брошенная в наше время, только теперь обретает полноту смысла. Слово «похмелье» довольно точно определяет психологическое состояние нашего народа. И надо надеяться, что нового типа революция, разгорающаяся на Западе, не найдет у нас сколько-нибудь серьезного отклика. Тем более, что у нас практически нет физических носителей «негритянства». Ироническое «сожаление» А.К.Толстого:

Как жаль, что между нами
Арапов нет у нас...

(арапами тогда называли негров) мы и сегодня с облегчением можем воспринимать как шутку.

Путь нашего народа должен быть другой: консолидация над «важными гробами» (Пушкин).

Постскриптум. Когда я писал, что никто не ждал такого катастрофического заката, я не знал об удивительном пророчестве (быть может, самим автором его не осознанном как пророчество), какое содержит стихотворение Владимира Уфлянда «Меняется ли Америка», датированное 1958 (!) годом. Оно стоит того, чтобы привести его здесь целиком.

Меняется страна Америка,
Придут в ней скоро Негры к власти.
Свободу, что стоит у берега,
под негритянку перекрасят.

Начнут посмеиваться Бедные
Над всякими Миллионерами.

А некоторые
будут
Белые
Пытаться притвориться Неграми.

И уважаться будут Негры.

А самый Чёрный будет славиться.

И каждый Белый
будет первым
при встрече с Негром
Негру кланяться.

Пока еще не видно «самого Чёрного» — харизматической личности, которая возглавит «негритянскую революцию». А все остальное осуществилось или близко к осуществлению.

Олеся Николаева

«Россия, Лета, Лорелея»

Два портрета из будущей книги

ПОЭТ И КРАСАВИЦА:
«МОЛОДУЮ ДОГАРЕССУ СТАРЫЙ ДОЖ ВЕДЁТ»

Семён Кирсанов

1

Что-то такое мне недавно приснилось, и я, проснувшись, полезла смотреть ударение в слове «танцовщица». Ну да, конечно, на «о»: танцОвщица! У меня так и было в стихотворении, которое я написала лет в пятнадцать:

Так танцуй же, танцуй же, танцовщица,
Дрессировщица собственных ног!

Просто я некогда понесла свои стихи, в том числе и «Танцовщицу», «на суд» к Семёну Кирсанову, с которым дружили мои родители, и он сказал:

— Неплохо. Только ударение — танцовщица».

А если танцовщица, то сразу размер другой — все стихотворение ползет, а оно как раз мне нравилось своей дактилической рифмой. Короче говоря, я его взяла и выкинула. И уже ничего не помню, кроме этих двух строк. И вот, проснувшись поутру и все еще держась за обрывок сна, глянула: нет, все верно. Ошибся Семён Исаакович. Но в целом он меня одобрил, похвалил и написал рекомендацию в Литературный институт — в те времена туда нужны были две такие рекомендации членов Союза писателей, а иначе стихи на творческий конкурс не принимали.

Когда он меня похвалил, его жена Люся — потрясающая молодая красавица, которая, собственно, эти литературные смотрины и организовала, воскликнула:

— Надо выпить за это шампанского! Кирсанов, я в Смоленский сбегая, пока вы тут будете разговаривать!

Это была ее идея, чтобы Кирсанов меня послушал и сказал мне нечто как мэтр, как эксперт, как классик, но при этом она предупредила:

— Будем жестокими реалистами — он может быть и нелицеприятным. Он может начать яриться и выгнать вон! Будь готова и к жесткому его суждению.

Я, конечно, затрепетала. Но все повернулось иначе, и Люся надела оранжевое полупальто букле (явно парижское, таких при советской власти ни у кого не было), вытащила из-под воротника длинные золотые волосы и убежала.

А потом мы сидели вдвоем в кабинете Кирсанова, и я, как взрослая, пила шампанское и принимала участие в разговорах о поэзии, любуясь и дивясь. Было на что любоваться! Во-первых, Кирсанов, признанный поэт, младший современник Маяковского, сам такой красивый старик, словно сошедший с французского киноэкрана. Люся — я уже говорила — ошеломительная красавица, каких не бывает. И к тому же она красавица веселая и экстравагантная, у нее, выражаясь словами Заболоцкого, и «сосуд» изысканнейший, и «огонь, мерцающий в сосуде» волшебный.

Однажды (это уже было в другой раз, у нас дома, когда разошлись все гости), она врубила звук проигрывателя, скинула туфли, и мы с ней полночи отплясывали самозабвенно и лихо. На меня, подростка, это произвело впечатление, я навеки ее полюбила. И отрастила длинные волосы, чтобы хоть немного быть похожей на нее.

Итак, я любовалась. И кабинет был достоин восхищения. Во-первых, письменный стол. Покрытый зеленым сукном, старинный, с резными барьерчиками, вставками, бортиками и ящичками. Картины! Пиромани! Французские импрессионисты!

Обои, шторы, лампы, кресла... Бокалы, из которых мы пили... Такое невиданное в советское время эстетство, художественный вкус, парижский шик. Кирсанов так расслабился и умирался, что стал читать нам новые стихи. Написанные ромбом: «Бреду в аду». И «Эти летние дожди». А я попросила его прочитать «Мери-наездницу»:

Мери красавица
до конца.
С лошадей справится.
Ца-ца.
Водит конторщица в цирк отца.
Лошади фыркают: «фырк!» «ца-ца!»

Сказала, что хочу послушать, как это звучит. И он — прочитал!

Ваньки да Петьки в галёрки прут,
Титам Иванычам ложу подавай.
Только уселись — начало тут как тут.
— Первый выход — Рыжий! Помогай!

Мери на бок навязывала бант,
Подводила чёрным глаз,
А на арене уже джаз-банд
Рыжий заводит — раз!..

Ну вот. Так что танцОвщица все-таки! Но выброшенного стихотворения мне совсем не жалко. Особенно после его «Мери-наездницы».

2

С Кирсановым мы тоже отплясывали, аж искры из-под каблучков. В мрачные годы безвременщины бурно веселились, пили, танцевали, пели, ездили друг к другу — можно было среди ночи сорваться в гости из гостей «на чашечку кофе»: все были друг другу рады. К моим родителям так заваливались их друзья да еще и со своей компанией после полуночи — кстати, Люся Кирсанова часто, да не одна, а со свитой, с подругами, с Татьяной Самойловой, например, или с Татьяной Лавровой. Выхожу я как-то ночью на кухню, а там у нас Смердяков (артист Валентин Никулин) как ни в чем не бывало пьет из банки с солеными огурцами рассольчик. Это его режиссер Инна Туманян привезла. Слышен ее обаятельно-глуховатый голос.

Семён Исаакович, конечно, не мог в этих ночных путешествиях угнаться за своей красавицей-женой. Он звонил нам, отыскивая ее, и почти всегда находил.

— Кирсанов, — говорила она, переняв лексикон самого Семёна Исааковича, — не ярись! Не говори ерунду! Да, я сделала этот жест! Я готова бросить вызов этому миру! Ну что мы будем, как шерочка с машерочкой...

И она с раздражением кидала трубку, а он опять звонил, и там была какая-то драма, страсть, полыхал огонь, а ведь он был уже старик, к тому же безнадежно больной: все знали, что у него рак горла. Он любил, ревновал, страдал, умирал, бился со смертью, с воображаемыми соперниками, со всем, что могло разлучить его с Люсей, и писал трагические пронзительные стихи:

...Через дымную завесу
(где разбитый дот)
В тыл, к расстрелянному лесу,
Мокрый «Додж» идёт,
Парень держит пулемёт,
Дождь идёт, дорога к лесу.
Молодую догарессу
Старый дож ведёт. <...>
Он прижал к лицу ладони,
Мокрые от слёз.
Донна Лючия — в короне
Солнечных волос.<...>
Боже, свадебное ложе —
Тот же эшафот!
Додж идёт. В Палаццо Дожей
Хлещет пулемёт. <...>
С Моста вздохов по дороге,
Оскользаясь об лёд,
Поседевший, одинокий,
Старый дож идёт.

...Так он и шел со своей Люсей — Люси. Маленький, но величественный в своей седой шевелюре, безупречно элегантный, он вводил ее в партер, в зал ресторана, в комнату, где уже собрались гости, сам на полшага позади, и гордо оглядывал всех, словно желая прочитать на лицах восхищение: то вдохновенное «ах!», с которым встречали их появление. И церемонно раскланивался со всеми.

«Молодую догарессу старый дож ведёт»!

3

Как-то раз речь у нас с Семёном Исааковичем зашла о поэтическом переводе. Он сказал, что в поэзии есть такое вещество, которое почти неуловимо. Оно растворено в самом языке. И если можно перевести с одного языка на другой смысл, метафору, образ, то это вещество в переводе надо воссоздавать заново. Поэтому, прибавил он, у нас хорошо переведен Бодлер, с его зримыми образами, и так плохо Верлен, которого вернее было бы переводить по звуку, по составу воздуха в стихотворении.

И вот я, учившая в то время французский язык, стала читать Верлена в оригинале и сравнивать его стихи с переводами.

Например, вот это стихотворение «Chanson d'automne». («Осенняя песня»).

Les sanglots longs
Des violons
De l'automne
Blessent mon coeur
D'une langueur
Monotone.

Tout suffocant
Et blême, quand
Sonne l'heure,

Je me souviens
Des jours anciens
Et je pleure.

Et je m'en vais
Au vent mauvais
Qui m'emporte
Deçà, delà,
Pareil à la
Feuille morte.

А вот перевод известного поэта-переводчика Александра Ревича, который близок к тексту, но абсолютно далек по духу. Вместо плавных, каких-то «потусторонних» верленовских «эль» здесь словно прорывающие бумагу «дры», «скри», «всхи», «рдце»: И называется оно у него «Осень в надрывах»:

Осень в надрывах
Скрипок тоскливых
Плачет навзрыд,
Так монотонны
Всхлипы и стоны —
Сердце болит.

Поэтому мне понятен путь, по которому пошел Семён Кирсанов, когда переводил это стихотворение: по легкому и плавному «сновиденному» звучанию, не упуская гласные протяжные «о», хотя и жертвуя «картинкой» и заменяя ее другой.

Лес окрылён,
веером — клён.
Дело в том,
что носится стон
в лесу густом
золотом...

Так и Марина Цветаева писала, что переводит стихи «по слуху и — по духу».

4

Вообще в картине официальной советской поэзии 60—70-х годов Семён Кирсанов занимал особое место. Во-первых, он все-таки как-никак располагался возле «первого пролетарского поэта» — Маяковского. И на него падал отсвет этой идеологической благонадежности. Во-вторых, поскольку советское общество и писательское, в частности, было ритуализировано и формализовано, Кирсанову была отведена своя ниша, которую он и занял: он был поэт-формалист. Один! Был у нас, условно говоря, поэт-интеллектуал — Арсений Тарковский, поэт-фронтовик — Александр Межиров, поэт-трибун — Евгений Евтушенко, поэт-интеллигент — Давид Самойлов, поэт-лирик — Владимир Соколов, поэт-эстет — Александр Кушнер, поэт-бард — Булат Окуджава, поэт-лагерник — Анатолий Жигулин... А остальных в эти ниши не очень-то и пускали: не нужен был ни Олег Чухонцев — тоже «поэт-интеллигент», его и печатали с большим трудом, ни «поэт-лагерник» Борис Чичибабин, ни Евгений Рейн, не говоря уже об Иосифе Бродском...

Чуть отвлекусь: тогда же, на первом курсе, я отнесла стихи в «Юность», и редактор отдела поэзии Натан Злотников, встречая меня, каждый раз ласково улыбаясь, говорил: «Скоро напечатаем ваши стишечки!» Но прошло года два, и я сама заявила к нему в журнал.

— Олесюлечка! — как всегда уменьшительно-ласкательно поприветствовал он меня. — Ваши стишечки мне нравятся, но в этом году у нас план по эстетам уже выполнен: мы Сашеньку Кушнера печатаем. Так что ждите.

Кирсанов, повторяю, был официально признан как классик. И поэтому ему много чего разрешали. Ему официально позволяли быть непохожим на советского человека. Его выпускали за границу, и поскольку он говорил по-французски, он дружил с французскими коммунистами — Морисом Торезом, не говоря уж об Эльзе Триоле с Луи Арагоном, притворялся он и с Пабло Нерудой.

Его прямым поэтическим учеником и наследником был, конечно, Андрей Вознесенский, который много чего перенял в своей поэтике от Кирсанова, а после смерти мэтра советская власть отдала ему и саму эту опустевшую нишу единственного поэта-формалиста.

5

У больного раком Кирсанова все последние стихи об одном — о смерти. «Никто не услышал. / Никто не пришел. / И я умер». «Оттого что я / пять минут как умер.../ Смерти больше нет! / Больше нет! / Нет!»

Я помню, как эти стихи читал над гробом Кирсанова в Дубовом зале ЦДЛ Павел Антокольский. Сам уже на пороге небытия, маленький, с большой головой, лысый, задыхаясь, он повторял, как заклинание:

*Смерти больше нет!
Нет! Нет! Нет!*

А потом он сказал: «Но смерть пришла и сказала: “Я — есть!”»

И, как посохом, стукнул палкой в пол.

И все заплакали.

Вскоре мы так же стояли над гробом самого Павла Антокольского, а потом и Давида Самойлова, и еще многих, многих...

Семёна Исааковича и Люсю (о Боже, я ее до своих двадцати лет, пока не вышла замуж, называла «тетей Люсей», а потом она мне намекнула на некоторую неуместность такого публичного обращения к ней) по вечерам часто можно было встретить в этом Дубовом зале, в ресторане ЦДЛ. Незадолго до смерти Кирсанов, увидев там старика Антокольского, ужинавшего с юной светловолосой поэтессой, игриво ему сказал: «Павлик, не порти себе репутацию!»

А однажды он оказался там один, без Люси, и сидел, мрачный, за столиком,ковыряя вилкой в салате и попивая коньяк. К нему подошел Юрий Левитанский:

— Семён Исаакович, что случилось, почему вы такой печальный?

Кирсанов поднял на него глаза:

— Какать — а как? — ответил он на вопрос палиндромом, намекая на свою болезнь.

Левитанский задумался на секунду и выпалил симметрично — палиндромом же:

— Мастер срёт сам!

6

Мама моя любила Люсю. К тому же мы были связаны с ней через ее сына — Алёшу Кирсанова — он ходил в одну группу детского сада с моим братом Митей, и они дружили. Вот на почве детских праздников, дней рождения мои родители и подружились

с Кирсановыми и часто или ужинали вместе в ЦДЛ, или ходили друг к другу в гости, тем более что и жили на одном пяточке: мы — в доме напротив гостиницы «Украина» на Кутузовском, а Кирсановы — на Смоленской площади, в доме, где было известное ателье «Машенька».

И, конечно, после смерти Кирсанова мои родители продолжали дружить с Люсей. Буквально за несколько месяцев до смерти Семёна Исааковича Кирсановым дали новую квартиру — трехкомнатную вместо двухкомнатной — около зоопарка, напротив венерологического диспансера. Несмотря на то, что они в нее переехали, тяжелое состояние умирающего исключало возможность какого-либо воссоздания там былой элегантности или хотя бы мало-мальского комфорта. Еще и шторы были не везде повешены, и по вечерам, когда в доме напротив включали свет (а это была осень, и свет включали рано), можно было видеть, как в венерологическом диспансере осматривают пациентов.

Люсе, особенно после смерти Кирсанова, было там невыносимо. Мало того, что умер муж, который был ей и отец, и наставник, и лучший собеседник, но и дома как такового, в прежнем его понимании, не было: голые сифилитики в окнах. Она все время стремилась оттуда уйти, поехать в гости, чтобы не оставаться наедине с самой собой. Но! Что-то странное стало твориться в доме. Он словно не хотел ее выпускать: то дверной замок заклинит, то соседи сверху зальют как раз в тот момент, когда она, скромно-нарядная собирается «к Белке», или «к Ольге» (Окуджава), или к нам. А на сороковой день так и вообще — загорелся у нее рефлексор, она кинулась тушить, и огонь изрядно опалил ей длинные «солнечные» волосы и обжег руку до локтя.

Но она все-таки потушила пожар, забинтовала руку, надела кофту с капюшоном и приехала к нам.

— Это Кирсанов меня до сих пор ревнует и не пускает. Я чувствую его дух — он где-то близко!

Как бы то ни было, после сорокового дня (а Люся не отмечала ни поминки, ни девятый, ни сороковой день, считая это предрассудком) эти страсти в квартире прекратились. Однако она все равно продолжала верить в его духовное присутствие. В то, что он за ней приглядывает...

А в случае чего — может и по носу щелкнуть, и подножку подставить, и перцу задать. Как ни крути, а поэт — существо мистическое, и странные вещи могут твориться по слову его. Они и творились, ибо он ее — н е о т п у с т и л.

7

Потом с Люсей подружились уже мы — я и мой жених Володя Вигилянский, которого я возила к ней на смотрины. И так мы хорошо вместе проводили время, такие у нас были вдохновенные и захватывающие разговоры, что Люся «сделала жест» и подарила нам на свадьбу... стол Кирсанова. Вот так! Стол, старинный, с зеленым сукном! С резными барьерчиками! С деревянными вставками, с ящичками, с бронзовыми ручками!

— Державин передал Пушкину лиру, а я вам дарю письменный стол Кирсанова!

Но поскольку она сюрпризом сама доставить его к свадебному пиру не могла, она просто в самый день, в самое утро свадьбы, позвонила и — вуаля! — приезжайте и забирайте! А как? У нас через два часа — загс, потом ресторан. Мы и говорим: «Завтра! Завтра!»

А Люся, между прочим, до самого последнего момента не знала, придет ли она к нам на брачный пир или нет. А почему нет? Потому что у нее нет нового наряда. И всё зависело от того, успеют ли ей привезти из Лондона новое платье или нет. Потому что у нее был там поклонник — знаменитый врач, по виду — большой пижон (она к нам его привозила), и он так Люсю любил, что одаривал ее немислимо изысканными одеждами. А теперь новые-то и задерживались в дороге.

И вот мы сидим уже за длинным свадебным столом, за которым кого только не было: и друзья детства, и дружественные студенты Литинститута, и Евтушенко, и Ахмадулина с Мессерером, и Вильгельм Левик, и Михаил Павлович Ерёмин — профессор, и друг семьи граф Алексей Романович Семёнов-Тян-Шанский, уже и выпили по бокальчику-другому шампанского, и тут — звучат фанфары, двери распахиваются, и на пороге показывается — золотые волны по плечам — красавица Люси в новом обалденном лондонском платье! Ура! В руках она держит букет белой сирени (! — заметим, что это 20 декабря 1975 года) и шесть английских тарелок с желто-оранжево-голубыми цветками, которые передает нам, берет в руки бокал и возглашает:

— А еще я делаю этот жест, я бросаю вызов этому миру и дарю этим баснословным людям стол Кирсанова!

...Ну, на следующий день мы за столом не поехали... Знаете, много причин: и гости новые пришли, и на улице минус 25 — это ведь 21 декабря... И дальше — Новый год... А первого января Люся нас пригласила к себе на дачу в Пахру — ей там одной тоскливо было сидеть, а нам она могла бы рассказать свою «безумно интересную человеческую историю жизни», а мы — слушатели благодарные. К тому же сессия у нас — так мы там и будем к ней готовиться. Отправились мы туда втроем. Не время искать грузчиков, не до стола! И как мы провели почти месяц — это отдельная история.

И вот в феврале уже, ближе к весне, мы, получив стипендию, решили наконец-то забрать стол.

Звоню я Люсе: когда ей будет удобно? А она как-то односложно и сухо мне отвечает. А потом как резанет:

— Знаете, будем жестокими реалистами, я тут обиделась на Женю (это моя мама) и решила стол вам не дарить. Но и дома держать его мне было неудобно — я купила новую югославскую мебель, и стол к ней совсем не подходит. Я его отдала за три копейки, я не фетишистка!

Тут у меня аж дыхание перехватило.

— Да, я сделала этот жест! Я бросила вызов этому миру.

Буквально через несколько дней я встретила в гостях у Давида Самойлова Виктора Сергеевича Фогельсона, его родственника, а заодно и редактора издательства «Советский писатель», где у меня готовилась к изданию первая книга стихов. Виктор Сергеевич общался со многими писателями, обедал в ЦДЛ и был осведомлен о многом из писательской жизни. И он, не зная предыстории, возьми да скажи:

— Был тут на днях в комиссионке и вижу: стол Кирсанова продается. Пятьсот рублей. Я Люсе позвонил, не ее ли стол, не украли ли его. А она говорит: да, мне вдруг так захотелось, я человек импульса, жеста!.. Могу музыкантам в ресторане за понравившуюся песню десять рублей швырнуть!

Я, услышав это, хотела было мчаться за этим драгоценным столом, но... пятьсот рублей! Пятьсот рублей...

— Думаю, его купили уже, — словно угадав мои мысли, сказал Фогельсон.

И какая из этого следует мораль? Может быть, надо сразу брать то, что сваливается как дар? Может быть.

Бывает, что тебе предлагают нечто, и это предложение однократно. Все, второго раза не будет...

А если промешкаешь, то, в лучшем случае, у тебя останется своя «безумно интересная непростая жизненная история».

Да, между прочим, выяснилось, что моя мама никаким образом Люсю не обижала. Это она просто так бросила вызов и сделала такой жест. По настроению.

...Одна из шести подаренных Люсей нам на свадьбу тарелок осталась у меня до сих пор. Остальные пять разбились, ведь все-таки минуло с той поры сорок пять лет. А декабрьскую белую сирень я так больше никогда и нигде не видала, хотя на свете с тех пор появилось много диковинок.

8

Итак, той холодной-прехолодной зимой, сразу после свадьбы, мы с молодым мужем переехали к Люсе в Пахру. Эта дача больше напоминала прекрасный замок — ее строили и обустраивали по замыслу Кирсанова, и получилось произведение искусства.

Бедой была в том, что от мороза там полопались трубы, и находиться можно было лишь в одной комнате — небольшой каминной, естественно, с изящнейшим камином, в котором мы постоянно поддерживали огонь. Каминная соединялась стеклянными дверями с огромной залой, где теперь было невозможно холодно и прекрасно: она выходила одной прозрачной стеной в лес, отчего казалось, что и сам лес просится в дом.

Прекрасная хозяйка этого замка с распущенными волосами и в легкой меховой накидке выскакивала на мороз за хворостом и веселая, «раскрасневшаяся», вбегала в дом, бросая в огонь корявые сучья и ветки, царапавшие ей руки. И мне так нравились ее кураж, ее свободная отвага, с какой она ныряла в сугробы и приносила полные сапожки снега! В каминной стояли диван и кресла из карельской березы, но мы, с пледами на плечах, рассаживались на ковре, поближе к огню, вокруг стола, на котором всегда стояли бокалы, графин с красным вином и кое-какая пища — так, поклевать...

В поселке то и дело вырубали свет, и мы сидели при свечах, в отвесах пламени, разговарившегося от оттаявших и высохших прутьев.

Момент в жизни Люси был драматический: у нее кончились деньги, и она решила продать дачу. И покупатели нашлись. Но она все не могла выбрать, кто же окажется достойным поселиться здесь после Кирсанова. Не могла же она допустить, чтобы *в его доме* водворился какой-нибудь вахлак, барыга! Некоторым искателям она отказывала буквально в последний момент, накануне сделки. Один из претендентов был моим добрым знакомым — первая валторна России! И я уговаривала Люсю продать дачу именно ему. Она то соглашалась, то вдруг вовсе отказывалась от идеи продажи, утверждая, что уж лучше будет питаться котлетами за пять копеек и носить пеплос, чем расстанется со своим замком. Видимо, ей казалось, что пеплос — это какое-то презренное рубище. Мой муж не совсем тактично заметил, что вообще-то котлета стоит шесть копеек, а не пять. Но Люся тут же отмахнулась:

— Ах, не говорите ерунду! Не будьте таким приземленным! Таким презренным практиком!

И она принималась снова и снова читать стихи Кирсанова и описывать историю их знакомства, приключений, путешествий. И тут слово за слово — мы заикнулись о том, что неплохо бы нам хоть немного поготовиться к экзаменам в Литературном институте, все-таки зимняя сессия! Люся вдруг вспомнила, что Кирсанов когда-то вел семинар и что где-то оставалась стенограмма его занятий. Взяв свечу, мы отправились на обледеневший чердак и среди множества бумаг и рукописей обнаружили папку с записями. Расположились вокруг камина...

Как это было интересно! Какие точные определения, замечания, рассуждения! На одном из занятий студенты отвечали на вопрос: «Почему в строке Блока “Ты в синий плащ печально завернулась” плащ именно синего цвета?» Кирсанов выслушивал их, а потом давал несколько своих интерпретаций. Одна из его интерпретационных версий удивила меня: оказывается, в культуре Средневековья «синий плащ» был знаком измены.

Меж тем мороз, как говорится, крепчал! Четыре зажженные кухонные конфорки в сотрудничестве с горящей духовкой еле-еле обогревали кухню, куда мы выползли приготовить расстегаи, которыми гостеприимная хозяйка непременно желала нас угостить. Рядом с кухней — через стенку — находилась ванная, и Люся, чтобы создать дополнительный источник тепла, включила горячую воду, поставив газовую колонку

на максимум. Колонка располагалась на кухне, благодаря чему тепло распространялось и здесь, где раскатывалось тесто и готовилась начинка, но шло и от наполнявшейся горячей водой ванны.

Люся рассказывала нам, как угощала гостей Эльзы Триоле и Луи Арагона в Париже. Она повязала голову косынкой, стянув ее узлом на затылке, чтобы ни один волосок не осквернил подошедшее тесто, надела длинный фартук и лихо на четырех сковородках одновременно нажарила целую гору золотистых блинов, которые с пылу с жару и внесла в гостиную, полную гостей. Они не обратили на нее никакого внимания, приняв за кухарку, и сосредоточились на блинах, тем более что к ним прилагались и икра, и соленая рыба, и домашний сыр, который также был мастерски изготовлен Люсей. Люся незаметно удалилась в отведенную ей комнату, принарядилась, раскидала по плечам волосы и явилась во всей красе. Французы были поражены, когда опознали в ней скромную, затянутую в фартук прислугу.

Бездетная Эльза Триоле настолько ее полюбила, что предложила удочерить. Но Люся ответила с благородным достоинством:

— У меня есть мать!

За ужином в каминной мы бурно обсуждали стенограмму семинара и раздумывали о том, где бы это можно было издать. Не забывали и согреться глинтвейном. Станным показалось только то, что у нас вдруг стало щипать глаза. Ну, да ведь третий час ночи! Спать пора! А характерный запах... А дымок...

— Люся, кажется, мы горим! — осторожно сказал мой муж.

— Ах, не говорите ерунду! Где? Где вы видите огонь? Какой вы, Володя, трусишка! Нельзя же быть таким малодушным! Вы ведь еще так молоды, а боитесь, словно вы какой-то старикашка! Стыдитесь! Сделайте какой-нибудь жест! Бросьте вызов этому миру! — отчитала его прекрасная Люси. — Ну, хорошо, хорошо, если вам кажется, что у нас дурно пахнет, я сейчас это исправлю.

И она извлекла откуда-то пульверизатор с освежителем воздуха и несколько раз прыснула из него, делая волнообразные движения:

— Запах альпийских лугов! Мы купили это с Кирсановым в Швейцарии! Идите спать и ничего не бойтесь! Альпийские луга! Альпийские луга!

Пристыженные, мы прямо в одежде залезли под несколько одеял и заснули.

Наутро мы с мужем отправились на экзамен, а Люся осталась хранить огонь в очаге. Удивительным образом в тот же день Володя встретил какого-то литературного человека, критика, которому рассказал об идее книги. А тот как раз участвовал в издании серии «Мастера о мастерстве», как-то так. Надо было теперь перепечатать записи, отредактировать их и отдать в издательство.

Переночевав в Москве и накупив продуктов, радостные, мы отправились с добрыми вестями в Пахру. Но Люся встретила нас мрачно и, ни слова не говоря, провела на кухню.

— Вот, — промолвила она, указывая на проломленную стену, на которой еще день назад висела газовая колонка. — Когда вы уехали, так стало дымить, что я позвала соседа, а он взял топор, рубанул по стене, и из нее вырвался огонь. Оказывается, нельзя было, чтобы колонка так долго работала на полную мощность — от нее стала тлеть стена. Теперь мы без горячей воды и в разрушенном доме. Ну, что вы там привезли?

И мы опять расселись возле камина, разложили по тарелкам закуски, разлили по бокалам вино. Володе не терпелось сообщить ей хорошую весть — вот, есть издательство, где с радостью издадут книгу Семёна Исааковича! Уже ждут.

— Что за издательство? — строго спросила Люся.

— Издательство «Советская Россия», серия «Мастера о мастерстве».

— Фи! — сказала она. — Пусть лучше я буду есть котлеты за пять копеек и носить какой-нибудь пеплос! Пусть лучше эта рукопись вовеки не увидит света, чем она будет издана в «Советской России»!

Кажется, так и случилось...

9

Люси была на тридцать два года моложе Семёна Исааковича, к тому же последние годы он был уже смертельно болен. Несмотря на то, что она его почитала («Кирсанов — гениальный человек! Можно быть гениальным поэтом, гениальным художником, гениальным архитектором, но важнее быть гениальным человеком!») и часто объяснялась с миром на языке цитат из него, подсознательно все же она готовилась к его смерти. А когда он умер, она все еще храбрилась и ожидала, что не все для нее кончено. Кто-то ей нагадал, что в сорок лет у нее начнется в жизни «самое главное». И она как-то к этому «самому главному» готовилась. Ну что — она в ту пору необыкновенно хороша собой, экстравагантна, артистична и изящна в быту — у нее и художественный вкус, и великолепные кулинарные способности, которые она развила под руководством Кирсанова. Она легка на подъем, остра на язык. И вообще у нее великолепная речь — невозможно было отвлечься, когда она говорила. Сын ее уже вырос. Казалось, ничто не мешало ей начать новую жизнь, тем более что и поклонников — людей незаурядных и вполне порядочных — оказалось у нее предостаточно.

Например. Популярный в СССР американский певец, необыкновенно обаятельный и красивый... Всеми любимый телеведущий программ для детей... Знаменитый скульптор, лауреат всех премий, богач... Но американский певец уехал, телеведущий оказался для нее «мелковат» и не смог включиться в экстравагантную реальность прекрасной Люси, путающей день и ночь и не знающей удержу в своих вдохновенных словесных полетах. А со скульптором вроде все шло отлично, и она вроде бы согласилась выйти на него замуж, но тут он взял да и помер.

— Интересное дело, — говорила она недовольно. — Хороша бы я была, если бы сейчас осталась еще и его вдовой!

Нашлись у нее и еще какие-то искатели: капитан дальнего плавания, который, по ее словам, взял ее на корабль, и они достигли фантастического острова Пряностей. И она стояла на палубе в белых брюках... Но его шансы оказались равны нулю, когда выяснилось, что он пишет стихи и делает орфографические ошибки. Потом пытал счастья какой-то среднестатистический советский писатель, прибившийся к ней в ЦДЛ. Но и он не подошел ни по человеческому, ни по профессиональному калибру. Так что, вопреки ожиданиям, все претенденты проходили мимо ее сердца и жизни. У нее началось то, что называется «комплексом вдовы».

О чем бы она ни говорила, обязательно ссылалась на покойного мужа. При встрече всегда читала его стихи. И — непременно — рассказывала «свою безумно интересную историю», даже если это было не вполне уместно. Ее словно больше ничего не интересовало — собеседник существовал для нее лишь как слушатель, которого она посвящала в подлинную жизнь, одаривая своими рассказами и призывая его склонить голову в безмолвном восхищении. Я и восхищалась.

И при этом — долгое время после смерти Кирсанова ничего из его литературного наследия не было опубликовано: Люсе казалось, что журнал или издательство, которые просили у нее разрешения, — какие-то не те, недостойные того, чтобы прикоснуться к стихам ее гениального мужа. И она всем дала от ворот поворот.

— Я не фетишистка, — говорила она. — Я не стремлюсь к тому, чтобы хоть где-то «тиснули» стихи Кирсанова. Будем жестокими реалистами — мне не все равно, рядом с кем он окажется в этом журнале или книжной серии: шерочка с машерочкой!

Замышляла она провести и литературный вечер в его память и тщательно к этому готовилась, придирчиво перебирая кандидатуры выступающих. Обратилась и ко мне.

— Но, если ты скажешь то, что мне придется не по вкусу, я выйду из зала, громко стуча каблуками!

Она меня запугала, но этот вечер так и остался в ее воображении.

Последний раз я столкнулась с ней в поликлинике Литфонда. Она, всегда носившая шикарную «женственную» одежду, теперь была в лихих потертых джинсах, свитере и кожаном пиджачке, длинные волосы сменились короткой стрижкой, и выглядела совсем не плохо, моложаво, но уж, конечно, той ошеломляющей и вдохновляющей красоты больше не было...

Мы поцеловались, и я спросила:

— Люся, а что вы здесь? Вы не болеете?

— Я к зубному, — сказала она и прикоснулась к щеке.

И друг, словно ее пронзила какая-то неприятная мысль, переменялась в лице и махнула рукой:

— А впрочем, ерунда! Не стоит мне туда идти! Все у меня с зубами в порядке! Я не фетишистка!

И она развернулась и зашагала вниз по лестнице к выходу.

Возможно, ей пришло в голову, будто бы я подумала: «Ах, как она постарела! У нее уже и зубы крошатся да ломаются!» И она решила не показывать виду: «Ерунда! Все мои зубы в целости и сохранности, а я просто так сюда забрела!»

При всей нелепости подобного предположения это было похоже на Люсю.

Несколько раз я ей звонила, и она в очередной раз что-то мне рассказывала про свое путешествие в белых брюках, про то, что она не собирается делать реверансы этому миру и что она бросает ему вызов. Я это слышала от нее уже тысячу раз. Но на предложения встретиться она не откликалась.

А жаль.

* * *

Ты выше ценишь не изделие,
А ткань, состав и вещество,
Прочнее камня, легче гелия
И тоньше света самого.

А я — представь — любуюсь формой,
Такой симфонией чернил,
Как будто с партитурой горнею
Художник вымысел сроднил.

Такой — Платона — взгляд понравится
Старухе дряхлой без лица:
Но образ — цел! Она — красавица!
И Муза, Муза до конца!

В небесных списках так и значится.
А что потрескался фарфор,
Мех вытерся, а тень корячится,
Так не о том и разговор.

Кого встречают там на лестнице?
Не бабку ведь — живот раздут...
Нет, руку подают прелестнице
И в сад под музыку ведут!

10

Между прочим, Люсины «безумно интересные жизненные истории», которые она, повторяя их на разные лады, могла рассказывать часами, то поднося к губам бокал красного вина, то красиво затягиваясь сигаретой в тонких нервных пальцах, были увлекательными.

Скажем, она уверяла, что познакомилась с Кирсановым, еще будучи студенткой, в очереди за свежими огурцами. И он увлек разговором, пригласил ее с подружкой к себе на дачу в Пахру и долго их мистифицировал: дескать, он лишь шофер хозяина этого замка, приглядывает за хозяйством в его отсутствие, и долго еще разыгрывал перед ними эту роль. Но Люся и в шофере увидела человека необыкновенного.

А история с кольцом вообще потрясала воображение. Люся отправлялась на практику, кажется, на Алтай. Училась она на гляциолога, и поэтому их геологическая экспедиция перебиралась с места на место по горным кручам и стремнинам. Накануне ее отъезда Кирсанов подарил ей чудесное кольцо с бриллиантом, которое она увезла с собой. И вот как-то раз, моя посуду в горной речке, она сняла кольцо, положила его на камень, а оно возьми и соскользни в воду. Просто — кануло! Как ни пытались его найти, все было безуспешно. И Люсе увиделся в этом знак: не надо ей связывать свою жизнь с этим экстравагантным стариком!

Через какое-то время экспедиция переместилась на другую стоянку, и Люся отправилась осматривать окрестности. Прошлась и вдоль речки. И вдруг видит: на коряге, торчащей из воды, что-то блестит. Она нагнулась, протянула руку, и... в ладони у нее оказалось то самое кольцо! Его унесло вниз по течению, доставило как раз туда, куда прибыла его владелица, и тут задержалось в ожидании ее появления. И Люся приняла это как провиденциальный сигнал. Коль скоро в дело вмешались такие силы, она согласилась стать женой Кирсанова.

11

Но по великому закону искусства союз дожа с догарессой был заранее обречен.

*В голубом эфире поля
Ходит Вечер золотой,
Старый дождь плывёт в гондоле
С догарессой молодой, — начал Пушкин.*

А Майков продолжил:

Догаресса молодая
На супруга не глядит,
Белой грудью не вздыхая,
Ничего не говорит.
Тяжко долгое молчанье,
Но, осмелясь наконец,
Про высокое преданье
Запевает им гребец...

Есть и еще зловещие продолжения пушкинского зачина и версии, вроде вот этой, принадлежащей чужому перу:

Догаресса молодая
На подушки прилегла,
Безучастно наблюдая
Танец лёгкого весла.

Что красавице светила?
Что ей ход небесных сфер?
Молчалив супруг постылый.
Безутешен гондольер...

Но Кирсанов перебивает их и заговаривает судьбу, пытаясь отвести в сторону гребца-певца с его горестными звуками «Баркаролы заказной».

Дождь идёт, дождь идёт
Молодую догарессу
Старый дож ведёт.
Через душную Одессу,
Полумёртвый порт
Молодую догарессу
Старый дож ведёт.
Через дымную завесу
(где разбитый дот)
В тыл, к расстрелянному лесу
Мокрый «Додж» идёт
Парень держит пулемёт,
Дождь идёт, дорога к лесу.
Молодую догарессу
Старый дож ведёт...
Он прижал к лицу ладони,
Мокрые от слёз.
Донна Лючия — в короне
Солнечных волос!
По разбитым бомбой рельсам
Пулковских высот
В гимнастёрке догаресса
Через дождь идёт.
Боже, свадебное ложе —
Тот же эшафот!
«Додж» идёт. В Палаццо Дожей
Хлещет пулемёт.
Парни в вымокшей одежде
«Додж» ведут на дот.
В золотой собор на мессу
Молодую догарессу
Старый дож ведёт.
Это с ними или с нами
Долгий дождь идёт
Беспорядочными снами
Войн и непогод...
С Моста вздохов по дороге,
Оскользаясь об лёд,
Поседевший, одинокий
Старый дож идёт.
«Боже! Свадебное ложе —
Тот же эшафот!»

12

Один раз я видела, как Кирсанов «ярился».

Был такой чудесный, «длинный летний день», когда мы поехали в Пахру на дачу к Кирсановым: мои родители, мой младший брат и я. Мальчикам было тогда лет по шесть, мне — одиннадцать.

Я играла с мальчишками в индейцев, а Кирсановы с родителями сидели в саду за бокалом вина и беседовали. Потом нас позвали обедать. Мы сели за прекрасно сервированный стол, Люся разлила по тарелкам суп, и вдруг Алёшка сказал:

— Тюп ти мяти!

И они с Митькой захохотали.

— Ни ду-ду! — прибавил он.

Они покатались от смеха.

— Что такое? — строго спросил Кирсанов.

— Это значит... суп с мясом, — задыхаясь от хохота, произнес Алёшка и прибавил: — тюп ти мяти! Ни ду-ду!

И они зашлись от хохота.

Почему-то это Кирсанова ужасно раздражило. Он покраснел и прикрикнул:

— А ну прекратить.

Они на минуту смолкли, еле сдерживаясь, а потом Алёшка снова брякнул:

— Тюп ти мяти!

И оба просто забулькали, захрюкали от восторга.

И Кирсанов прямо побагровел, аж задрожал от гнева.

Если б не Люся, он, наверное, дал бы Алёшке в лоб, но она тихо засмеялась, и он сразу пришел в себя. Кашлянул и продолжил разговор.

Алёша по природе был художник — совсем детские его картины замечательны. Он все время рисовал одно и то же: клоунов. Но эти клоуны были такие выразительные, пластичные и такие непохожие: в каждом было характерное и узнаваемое скрытое движение! Казалось, вот-вот — и любой из них начнет выделять всякие смешные шутики.

Потом, через много лет, его художественный талант воплотился в дизайнерское искусство: в начале 90-х он занялся квартирным бизнесом, скупал квартиры в Москве, с тем, чтобы их перестраивать, ремонтировать по своему вкусу и продавать. Купил он квартиру и в соседнем с нашим, писательском доме — в Безбожном переулке. Там я его и встретила. Он сидел в шикарном лимузине, пригласил и меня посидеть с ним и предложил выпить за встречу коньяка из машинного бара: бар этот был размером с моего «жигулёнка». Меня это впечатлило. И сам он выглядел как красивый и благополучный бизнесмен. Я как-то перед ним ступевалась.

А через несколько лет я узнала, что он застрелился в Мадриде. Влез в долги, не смог вернуть, скрывался, его выследили, и — вот!

...Вспомнилось, как он, подросток, когда умер его отец, все не мог найти себе места — влезал в темные истории. Один раз они с приятелем по кличке Рыба совершили аферу: разрезали пополам фирменные американские джинсы, разложили по двум пакетам и продали у гостиницы «Украина» азербайджанцам. И их поймали! Люся, а также отец и отчим его приятеля, люди известные, еле замяли это дело, откупившись и от милиции, и от азербайджанцев.

Но помню я и записки, которые Алёшка писал матери. Люся нам их читала. Они были трогательные, грустные и нежные. Что-то такое: «Мама, прости, мне было так печально, и я зажег твои любимые витые свечи. Сидел при них весь вечер один, и они сгорели».

Так жалко этого красивого, талантливого мальчика! Вскоре после его смерти я написала стихи, в которых изменила место его гибели. Чтобы никто не понял, о ком это. Ведь тогда еще была жива его мать.

Смерть в Монако

Этого Алёшеньку я знала великолепно. Он
когда-то прекрасно рисовал клоунов: у каждого — попугай и собака...
А потом — вырос, сделался коммерсантом, сбежал за кордон,
там обанкротился и застрелился в Монако.

Впрочем, кажется, в этом ему помогли. Тоску
объясняли потом невезеньем, сплошной непрахотой.
...А когда-то, чтобы свободно бегать по потолку,
он мечтал стать бабочкой, мотыльком, мухой...

Сын красавицы и поэта. То франт, то аскет.
Кажется, мать спилась. Не знаю, право, жива ли.
А отца и вовсе забыли, как будто его и нет.
А ведь даже на улицах узнавали!

Ничего не осталось! Никто не видел тот край,
куда они ухнули... И лишь с улыбкой широкой
на ватмане ветхом клоун, собака и попугай
клянутся, что — ни при чём, ни с какого бока!

Да вольные мухи гуляют по потолкам,
как ни в чём не бывало, да день не жалеет глянца!
...Монако глядит на море, гадает по облакам.
Наверное, на статного чужестранца.

...Всё это так нелепо! Ну, просто, как туп ты мяти! Как ни ду-ду...

13

Недавно я узнала о том, что Люся Кирсанова несколько лет назад умерла. А вчера
мне сообщили, что убил ее Зелёный змий...

Я много лет не видела ее, и она не желала встречаться со мной. Ей не хотелось,
чтобы я видела ее постаревшей, ведь она знала, как я восхищалась ее ослепительной
и в то же время обаятельной красотой. Думаю, она с некоторых пор и сама не хотела
видеть себя...

Вот, она смотрит в зеркало и — не узнает... Потухший взгляд, носогубные
складки, мешки под глазами, морщина между бровей, седина, короткая стрижка.
Кто ты, темный двойник, карикатура, путающая право и лево? Ты — это не я, не я,
рождавшая в людях своим появлением онемевший восторг! Отважная, никогда не
холившая себя, не считавшая нужным себя беречь, вся — свободная и естественная:
мягкая волна золотых (солнечных!) волос, спадающих с плеч, стройная гибкая фигура,
и то ярко-голубые, то бирюзовые, то зеленые глаза, в которых то свет, то кураж, то
огонь.

Кто ты, сумрачная, сгоревшая женщина неопределенного возраста, но явно не
молодая, стоящая в очереди в гастрономе высотки на площади Восстания? С квитками
у окошечка ДЭЗа? Ждущая дребезжащий лифт образца 1960 года? Вперившаяся в
телевизор?

Никто больше не задерживает на тебе взгляд, никто не оглядывается на тебя. Не
осталось больше на свете людей, готовых выслушать твои истории, поверить им или
хотя бы понять их. Некому показать старые фотографии, рисунки Алёши, черновики
Кирсанова... Да никто уже и не знает, кто это такой... Нет больше и построенного им

замка в Пахре. Уже и тот музыкант — первая валторна, который мечтал когда-то купить его, давно умер. Нет и котлет ни за пять, ни за шесть копеек! Тебе больше некому бросать вызов и делать жест.

Так и ты забудь о себе! Вот ты наливаешь себе пьяное зелье, оно облегчает боль. Вот ты добавляешь — оно расслабляет мышцу на лбу. Вот ты делаешь еще глоток — и тепло разливается в груди, где-то глубоко разгорается костерок. Ты снова подносишь к губам утешительное питье — и оно дарит власть ничего не чувствовать, раствориться в пространстве, все позабыть.

Ты печально заворачиваешься в синий плащ. Он почти что пеплос. Почему он именно синий? Вот ведь главный вопрос! Как там было у Кирсанова о блоковском плаще?

Измена, траур, покой, синее море, штиль, слияние с Вселенной, единение с Сущим, растворение в вечной Истине, покров Девы Марии, небо, бесконечное небо, от которого ты уже неотличима, донна Лючия...

ЛОВЕЦ ПРОСТЫХ СЕРДЕЦ

Евгений Евтушенко

1

Мне только-только исполнилось двенадцать. Мой брат Митя снимался в то лето в «Бриллиантовой руке», где играл сына Никулина, пуляющего мороженым в физиономию Миронова. Съемки проходили в Адлере, там же в гостинице и жила съемочная группа вместе с моим семилетним братом и мамой. А папа купил для нас с ним путевки в дом творчества «Гагры», чтобы быть поближе и в свободные дни ездить друг к другу на электричке.

Я блаженствовала: во-первых, с папой всегда было легко и весело, он меня ничем не донимал, а, напротив, давал полную свободу. А во-вторых, я вообще там жила, как взрослая: мы ходили в кафе пить кофе по-турецки, а иногда и в городской ресторан есть чачапури.

Собственно, вся моя свобода сводилась к тому, чтобы плавать до посинения в море и читать книги из богатой библиотеки дома творчества, сидя в лодке, которая стояла на причале возле самого корпуса, где мы жили. И вот туда-то я и принесла «Огонёк» со стихами Евтушенко, который кто-то оставил в столовой дома творчества. И они меня поразили настолько, что я тут же выучила их наизусть: «Проклятье века — это спешка» и «Каинова печать».

Года за два до этого я уже написала стихотворение, которое положила считать «первым» и запомнила наизусть, хотя мною было к этому времени сочинено несколько страниц будущих романов из жизни английской аристократии восемнадцатого века. Я определяла хронотоп, расставляла героев — все они были многочисленными родными братьями и сестрами, примерно моего возраста, от восьми до десяти лет, давала им имена, которые казались мне дивными и экзотическими, описывала их внешность, характер, привычки, и после этого мне становилось неинтересно: я принималась за новый роман. Но и стихи я писала в те поры, хотя процесс мне нравился куда больше, чем результат, и я их выбрасывала. А это, «первое», было о знаменитом краковском трубаче, который предупредил город о нашествии монголо-татарского войска, и звучало оно так:

Трубац трубит, трубит, трубит.
Монголоид за ним следит.
Но не успел он до конца пропеть, который час, —
Монгола ловкая рука и острый узкий глаз...
Стрелой откинул епанчу
И прямо в горло трубачу!

Поэтому интерес к стихам Евтушенко был у меня уже пристрастный: я начинала чувствовать свою причастность к этому искусству, к этому «духу музыки», который сама еще не могла ни постичь, ни выразить.

Через год я увидела и его самого в Коктебеле — это был август шестьдесят восьмого: события в Чехословакии. Помню, как они сидели с Аксёновым на пляже, вытянув ноги до самой линии волн, отдельно от всех, и что-то углубленно обсуждали с видом заговорщиков. Конечно, можно теперь догадаться: все вокруг явно и тайно обсуждали ввод советских танков. Именно в эти дни Евтушенко послал свою протестную телеграмму в ЦК. Потом я об этом много раз и слышала, и читала, и особенно было интересно сопоставлять аксёновскую «Таинственную страсть», где он пишет о тех коктебельских разговорах и переживаниях, с собственными впечатлениями: я, тринадцатилетняя, была где-то рядом, наблюдая со стороны за этими молодыми щеголеватыми богемными людьми. Мне тоже хотелось быть такой.

Впрочем, родители были знакомы с Евтушенко и как-то между делом меня с ним познакомили. Я робела, ведь он был уже знаменит, и скандальная слава возвышала его в моих глазах. Потом какой-то провал, пауза. И сразу после нее — воспоминание о том, как мы с друзьями как-то по-свойски посмеивались над ним, именно как над хорошо знакомым человеком, в связи с его сорокалетием, которое отмечали в Театре на Таганке.

У него был розовый костюм с начесом — шикарный, что называется «глубокий импорт», особенно по тем временам — шел 1973 год. И он в этом костюме читал со сцены стихотворение с рефреном: «Когда мужчине сорок лет...» («Ему пора держать ответ», «То снисхожденья ему нет», «Он должен дать себе совет» и т.д.). И вот он в очередной раз произнес это «Когда...» — и кто-то из зала громко выкрикнул: «Он хорошо уже одет!» И все покатались со смеху.

Примерно в это время Евтушенко после выступления пригласил нас с Александром Буравским, который тогда писал стихи, а потом стал известным сценаристом, режиссером и продюсером, в гости к своей подруге — американке Джейн Батлер, будущей третьей жене. И мы приехали с ним куда-то на окраину, в маленькую квартирку, где читали стихи. Саша был в те времена влюблен в некую прекрасную даму и читал стихи о влюбленности. Но Евтушенко ему сказал, что в момент апогея сильных чувств ничего писать о них не стоит, поскольку в это время в восприятии поэта слова увеличивают смысловую нагрузку и кажутся ему самому более весомыми и значительными, чем получается на бумаге: для читателя они порой звучат как банальность.

Еще помню, как Евтушенко собрал нескольких молодых поэтов на сцене Большого зала ВТО (там был тот же Александр Буравский, еще Марина Кудимова, остальных не помню) и представлял нас публике. В первом ряду сидел Олег Табаков, зал был полон. Ну, и я таким образом как бы попала в круг «учеников» Евгения Александровича. Мы с Мариной так и называли его, правда, с легкой долей иронии — «Учитель». И при этом значительно переглядывались, улыбаясь.

А потом у меня была свадьба, которую мои родители решили отпраздновать на ресторанной веранде Дома Литераторов. Приехали туда, а из Дубового зала выходит Евтушенко. Пригласили и его. Он оказался как бы таким «свадебным генералом».

Но всё было не так просто. За несколько месяцев до этого мой молодой муж Владимир Вигилянский напечатал в альманахе «Поэзия» статью о поэзии Евгения

Александровича, где критиковал его последние стихи. Притом убедительно и тонко. Евтушенко и так в ту пору многие ругали, но то были претензии с политической и идеологической окраской, а Володя подходил исключительно с эстетическими и этическими критериями. Эта статья произвела впечатление на литературный мир и больно уязвила Евтушенко, когда он наконец ее прочитал. Но, от души поздравляя молодоженов, он и не подозревал, какого дракона сладкоречиво чествует.

Потом, конечно, это открылось, и с тех пор, встречая нас в ЦДЛ, он неизменно пускался в длинные объяснения с моим мужем, патетически восклицая, как он нас всех защищает и от цепких лап советской власти, тянущихся к нашему горлу, и от КГБ, принимая удар на себя.

Так, в очередной раз, случайно встретив мужа в баре ЦДЛ, он преградил ему путь и вновь принялся выяснять с ним отношения, повторяя, как он грудью отражал нападения госбезопасности, которые могли сокрушить наше поколение, и отстаивал свободу слова.

— Да как вы могли вообще такое написать? — распалял он сам себя. — Надо же учитывать обстановку в стране, контекст. Получается, что вы примкнули к моим гонителям — ретроgrадам, которые выступают против всего прогрессивного и демократического!

Мимо, в Дубовый зал, проходил в это время Андрей Битов. Евтушенко подключил и его:

— Вот ты скажи. Имел он право писать обо мне разгромную статью?

Битов посмотрел на Евтушенко, посмотрел на Вигилянского, усмехнулся и произнес:

— Имел.

Такова была драматическая завязка отношений Евгения Александровича с моим мужем.

Всё осложнялось еще и тем, что Евтушенко в это время разводился со второй женой Галей, и она на суде представила эту статью как свидетельство поэтической и душевной деградации супруга: ее адвокат зачитывал цитаты оттуда.

Но я старалась не влезать в их споры. Мне Евгений Александрович был очень симпатичен, встречи с ним были в радость, и, когда я глядела на него, мне всегда хотелось улыбаться. К счастью, вскоре ветер переменился, и беззлобный и незлопамятный Евтушенко уже вполне дружески общался с нами. Мне казалось, что ему хочется понравиться не столько мне, сколько Володе. Это ведь всегда бывает заметно. Он был такой искатель любви — от всех поголовно встречных и поперечных, знакомых и незнакомых, даже идеологических противников и врагов.

Однако в его обширном окружении — ближнем и дальнем — почему-то считалось хорошим тоном над ним снисходительно подтрунивать и панибратски называть Евтух. Хотя — это было видно — им льстило быть или просто воображать себя с ним на короткой ноге.

2

У меня четыре года лежала моя первая книжка стихов «Сад чудес» в издательстве «Советский писатель», еле-еле двигаясь по издательским планам к своему выходу в свет, а тут всё вдруг застопорилось. И её редактор Виктор Фогельсон сказал мне: «Хорошо бы кто-нибудь из влиятельных написал о тебе Егору Исаеву» (тот был в издательстве главным по поэзии). Я, по счастливому стечению обстоятельств, встретив едва ли не на следующий день Евтушенко (он пришел в Дом железнодорожника, где я читала стихи), попросила его заступиться за мою книжку. И он сел в фойе и чуть ли не на коленке написал записку: вроде того, что стихи хорошие и «спокойные». Последнее, думаю, в политическом смысле.

У Евтушенко была репутация защитника. Известно, что он участвовал в судьбе Бродского, пока тот находился в ссылке: писал письма итальянским коммунистам, с которыми водил дружбу, добивался, чтобы они воздействовали на верховных советских функционеров, и лично приложил руку к досрочному освобождению опального поэта, помогал ему и деньгами, и вещами. В результате этой «мягкой силы» тому сократили срок ссылки. Поддерживал он и молодых поэтов — например, Дениса Новикова. К нему нередко обращались за помощью в тяжелом материальном положении как к благодетелю и «народному заступнику». Как-то раз я выхожу из калитки в Переделкине (это было в середине восьмидесятых годов), и стоит целая группа людей, спрашивают: «Где дача Евгения Евтушенко?» Я показала, заметив, что он сейчас в отъезде. «Как жаль, у нас на него была такая большая надежда!» Оказалось, это отказники, которые хотели эмигрировать в Израиль и решили попросить помощи знаменитого поэта в получении разрешения на отъезд: они знали из своих источников, что он многим уже помог в подобной ситуации.

Да и я ему подкинула на подпись три коллективных письма, два из которых он подписал, а третье — отказался.

Это — третье (а на самом деле, первое) — письмо должно было лечь на стол и в Союзе писателей, и в ЦК, и, возможно, еще где-то, в самых верхах: этим занимался Лев Копелев, и было оно — в защиту «метрополцев», на которых начинались гонения, в большей или меньшей степени жесткие. Евгения Попова и Виктора Ерофеева исключили из Союза писателей, что вызвало возмущение в писательской среде. Юнна Мориц, как уверял Лев Зиновьевич, во всеуслышание заявила в кафе ЦДЛ, что если их и правда исключат, то она первая положит на стол свой писательский билет. Копелев решил обойти писателей, у которых были или могли быть подобные настроения, и предложить им подписать письмо в поддержку гонимых. И мне предложил разделить между нами тех, к кому стоило обратиться. Сам он пошел, кажется, к Борису Можаяву и Олегу Васильевичу Волкову, а мне выпало идти к Юнне Мориц и к Евтушенко.

Мы с Юнной Мориц жили тогда в одном доме в Астраханском переулке, и я, договорившись о встрече, тут же отправилась к ней. Но она письмо подписывать отказалась категорически и развернула передо мной конспирологический сюжет, по которому вся история с созданием и печатанием «Метрополя» за границей оказывалась спецоперацией КГБ. А если она подпишет письмо, говорила она, и, если что, лишится писательского билета, то некоторые темные силы этого только и добиваются: будут потирать руки.

Потерпев фиаско, я, уложив детей, отправилась на ночь глядя в Переделкино к Евтушенко и в одиннадцатом часу позвонила в его калитку. Он был заинтригован. Пригласил меня в дом, усадил в кресло, налил вина и устроился поудобнее, собираясь выслушать мое дело. Но стоило мне заикнуться о «Метрополе», он вскочил, замахал руками и стал обвинять Аксёнова в том, что тот накапливает свой «символический капитал», чтобы отправиться с ним в эмиграцию, а остальных просто использует в темную. По его обмолвкам и интонации я вдруг поняла, что он обижен — его не позвали, не предложили, оставили на обочине... И вот теперь хотят воспользоваться его именем. В общем, и здесь меня ждал облом.

Другое письмо, которое я носила Евтушенко на подпись, было в защиту земель вокруг переделкинского Преображенского храма. Ко мне обратился его настоятель архимандрит Владимир Зорин с просьбой обойти насельников городка писателей, желательно «с именами». И мы с ним отправились к Вознесенскому, потом к Битову, а потом уж и к Евтушенко. И вот произошла чудная сцена. Только мы вошли в дом следом за хозяином, как отец Владимир, оглядевшись, вдруг продекламировал:

— Проклятье века — это спешка,
И человек, глотая пот...

— По миру мечется, как пешка,
Попав затравленно в цейтнот, — подхватила я.

И далее мы уже читали хором, наизусть:

— Поспешно пьют, поспешно любят,
И опускается душа,
Поспешно бьют, поспешно губят
И также каются спеша...

И так — до самого конца. Надо же, с двенадцати лет я это, оказывается, помнила...

Евгений Александрович буквально остолбенел, изменился в лице, расплылся в улыбке, порозовел. Да и мы сами были поражены этому внезапному экспромту, исполненному весьма эффектно.

Никак не могли его убедить, что мы специально не договаривались, не готовились, не репетировали. Он качал недоверчиво головой и, подмахнув письмо, усадил нас пировать, потребовав при этом вызвать к нему на дачу и моего мужа.

Ну, и еще одно письмо было в защиту Павла Проценко, которого посадили в тюрьму на Украине за то, что собирал материалы о новомучениках. Евтушенко его подписал вместе с другими защитниками, и Павла вскоре освободили.

Потом возникла такая ситуация, когда нам надо было достать подложный паспорт для одного монаха-бедолаги, проводшего детство и отрочество в скиту, в Кавказских горах, и вынужденно спустившегося в мир уже совершеннолетним и беспаспортным. История эта довольно известная: я описывала ее в своих книгах, у меня был роман в стихах «Августин», который публиковался множество раз, а кроме того, этот сюжет был описан еще и в книге архимандрита Тихона «Несвятые святые», вышедшей баснословным тиражом.

Итак, я позвонила Евгению Александровичу и попросила его о встрече. Он тут же откликнулся, однако сказал, что у него есть единственный вечер, потому как он уезжает в дальние страны. Но и этот вечер, в принципе, у него занят, поскольку он принимает в ЦДЛ классика английской литературы Грэма Грина.

— Но, — сказал он, сделав паузу, — я и тебя могу туда взять. Там и улучим минутку, поговорим.

Это меня более чем устраивало, к тому же хотелось познакомиться со знаменитым писателем, чьи книги я читала по-английски, когда училась в английской школе, где у нас в течение трех лет были уроки английской и американской литературы, по два в неделю. Он провел меня в знаменитую комнату номер восемь, где обычно проходили обсуждения поэтов, прозаиков, критиков. Она располагалась над Дубовым залом ресторана ЦДЛ, и на сей раз ее длинный стол был накрыт скатертями и уставлен яствами и напитками. Это была официальная встреча, и поэтому там присутствовали незнакомые официальные люди, сопровождавшие иностранного писателя. Произошел какой-то приветственный разговор, все выпили за литературу, закусили, и я рассказала Грэму Грину, как тщательно мы разбирали его «The Quiet American» в классе, кажется, в девятом. Сопровождающие лица поначалу дернулись и напряглись, но постепенно расслабили мышцы лица: все-таки в моей речи были нотки патриотизма, пусть косвенного, — мол, вот что изучают в наших советских школах! Вот так, господин писатель, не лыком шить! Он очень учтиво меня выслушал и совсем уж неучтиво отвернулся от своей спутницы — венгерки, которую привез с собою в Россию: всякий раз теперь, когда он брал слово, обращался ко мне.

Но делу время, потехе час, и я сделала знак Евтушенко, что пора бы нам и

поговорить. Спустились в бар, сели за маленький круглый столик, и я рассказала ему вкратце о беспаспортном монахе с Кавказских гор, и о том, что теперь, когда он попал в Москву, ему грозит и армия, и даже тюрьма.

— Помогите мне сделать ему подложный паспорт, — наконец, сказала я прямо.

Евтушенко взглянул на меня лукаво:

— У тебя что — с ним роман?

— Ну какой роман с монахом! — я возмутилась.

— А ты готова пойти на жертвы?

— Что надо сделать? Я готова.

— Тогда отдай свой паспорт моему водителю и сторожу, он его использует в изготовлении нового — для твоего монаха. Ну, в принципе, я нечто подобное от тебя и ожидал.

Но потом оказалось, что это так — трёп, блеф: он просто меня испытывал. И правда — если бы у его водителя были такие знакомства и возможности, то зачем бы ему понадобился мой паспорт?

Был, конечно, у нас еще один путь — попытаться сделать это через цэдээльских прибалтийских бильярдистов, которые играли каждый день там же, в подвале, но мы решили для спасения монаха пойти другим, менее криминальным путем.

Как я уже говорила, была такая манера среди писательской и околосредств массовой информации публики — во-первых, панибратствовать с Евтушенко и тыкать (но к этому, кстати, он сам располагал: «Зовите меня просто Женя»), а во вторых, — говорить о нем если не пренебрежительно, то с ироническими подмигиваниями и насмешками, а то и поругивать, втайне тщеславясь знакомством с ним. Это придавало веса. В Пёстром зале ЦДЛ, среди многочисленных рисунков и надписей на стенах была и такая: «Я сегодня, ев тушенку, вспоминал про Евтушенко».

Но он видел в этом близость к разным слоям советского общества — получал удовольствие и от компании вышеупомянутых бильярдистов, и от общества библиотекарей ли, шахтеров или военных — от всей читательской публики. И вот это «вась-вась» с ними казалось ему залогом их любви к нему.

Честно говоря, и я с юными друзьями-поэтами этого не избежала, хотя мы с моим приятелем по Литинституту Андреем Богословским во времена нашей ранней юности ходили на поэтические вечера Евтушенко, смотрели «Под кожей статуи Свободы» — спектакль по его стихам в Театре на Таганке. Но, снобы, — всё это как бы свысока... А уж над его участием в фильме про Циолковского, чью роль он исполнял, расхаживая по экрану с трубой около уха, по причине глухоты своего героя, потешались вовсю. Особенно смешил нас поэт Виктор Гофман, который похоже изображал Евтушенко в его новой ипостаси. Ходили слушать и Вознесенского в Большом зале ЦДЛ, тоже с какими-то кривенькими улыбочками. Но они оба оказались куда великодушнее нас, хотя бы в искреннем расположении, а потом и дружбе.

К концу 80-х Евтушенко собирался снимать фильм «Похороны Сталина» и увлеченно — захлёб — рассказывал об этом. Он почти уже написал сценарий, сам назначил себя режиссером и самому себе дал роль скульптора, который всю жизнь лепил-лепил усатого вождя и, в конце концов, разбил молотком собственные поделки. И, репетируя, показывал нам, как он будет их рубить, взмахивая воображаемой кувалдой. На роль английской журналистки была приглашена знаменитая Ванесса Редгрейв, да и актерский состав производил впечатление: Алексей Баталов, Майя Булгакова и Савва Кулиш.

Пригласил он сниматься и нашу семью — в эпизодах, в массовке, разумеется. Мой муж изображал там сына Сергея Прокофьева, который был похоронен в один день со Сталиным, я стояла на могиле композитора в облике монашки — в черном пальто и платке, а наши дети играли детей репрессированных. Младшая — трехлетняя

Настя — получила реплику в сцене, когда приходят в коммунальную квартиру арестовывать ее отца. Она выходит навстречу энкавэдэшникам и произносит трудно артикулируемую фразу:

— А вы его уже арестовали!

Как мы ни убеждали Евтушенко, что ребенок не может такого сказать, если взрослый насильно не вложит ему это в уста, он настаивал на своем.

Поскольку все цветы в этот день предназначались исключительно почившему вождю, маме Евгения Александровича — Ольге Ермолаевне, которая исполняла роль матери Прокофьева, было предписано принести и поставить на могилу сына цветочек в горшке.

Таким образом, все мы поучаствовали в этом действе, картина была готова, смонтирована, и Евтушенко пригласил нас на ее прогон. По сути, это был самый первый просмотр.

Я поехать туда не смогла, но вот мужа Евтушенко забрал с нашей дачи и обещал собственноручно доставить обратно.

Надо сказать, что в это время мы уже крепко подружились: старые обиды были позабыты, мы поселились в городке писателей и оказались рядом с ним, поэтому часто ходили в гости друг к другу, молились за его семью во время крещения его сына Жени в здешнем храме Преображения Господня, потом все это широко отмечали и праздновали. И складывалось такое впечатление, что Евгений Александрович (уже просто — «ты» и «Женя»), настолько упоен дружбой с Вигилянским, что не может жить без него. Да! Володя тогда работал в «Огоньке», где Евтушенко публиковал свою «Антологию русской поэзии», и тот часто заезжал за ним, чтобы вместе ехать в редакцию. И вот в этот идиллический период они и отправились на прогон фильма.

Вернулись глубоко за полночь. Как мне показалось, Евтушенко был нетрезв, если не совсем пьян, и выглядел обескураженным, а Володя был мрачен и безмолвен.

— Нет, ну ты скажи, скажи ему, что он молчит? — с этими словами начинающий кинематографист обратился ко мне. — Он после просмотра не сказал мне ни единого слова!

Вигилянский выглядел подавленным.

— Может быть, он поражен до глубины души? — осторожно предположила я и, чтобы немножко разрядить напряг, который сгустился так, что сам воздух стал тяжелым, быстро накрыла стол.

— Мы после банкета, — вздохнул Евтушенко, тем не менее, разливая вино по бокалам.

Просидели так полчаса, я постаралась говорить на отвлеченные темы, Евтушенко вяло вставлял свои реплики, муж продолжал молчать как партизан. Расстались уже к раннему июньскому рассвету.

— Ужас, — сказал Володя, как только за Евтушенко закрылась дверь. — Я и правда — потрясен. Никогда не видел ничего подобного!

— И что? Ты не мог сказать что-нибудь утешительное? Подбодрить художника?

— Не мог.

Но Женя оказался благородным, решил впредь не показывать виду, что он обиделся, и выкинул прочь эту черную кошку, пробежавшую между ними.

3

Этих кошек было много. Во-первых — давняя статья моего мужа. Во-вторых... Впрочем, надо об этом рассказать.

В середине и конце восьмидесятых в Переделкине была совсем иная жизнь, не такая, как теперь. Она бурлила, она радовала сердце, она завязывала дружбы; во всех смыслах — закручивала романы; слагалась, как стихи: чем случайней, тем вернее;

склоняла к авантюрам; провоцировала скандалы и дуэли; тянула в лес и на святой источник; располагала к метафизическим полетам и созерцанию. Все были живы, в переделкинском Доме творчества проводили дни и ночи Евгений Михайлович Винокуров, Михаил Рошин, Инна Лиснянская, Семён Липкин, Анастасия Цветаева с Евгенией Куниной, Арсений Тарковский; пребывали на дачах Александр Межиров, Фазиль Искандер, Олег Васильевич Волков, Андрей Битов, Андрей Вознесенский, Вячеслав Всеволодович Иванов, Евтушенко, семья Асмусов, Георгий Гачев и Светлана Семёнова, разводил кур Егор Исаев...

Приехала из Тамбова Марина Кудимова, пришла к нам со своей подругой — красавицей-актрисой Мариной Ливановой, с которой они решили нас разыграть. Актрису Марину представили нам как австралийскую журналистку и переводчицу. Она говорила с легким и милым акцентом. Но мы как-то быстро утратили к ней интерес и принялись с Кудимовой обсуждать текущие литературные дела. И Марине Ливановой стало скучно притворяться, она призналась, что расхотела продолжать этот розыгрыш. Ну и ладно, посмеялись и забыли.

Почему-то решили пойти в гости к Межинову. Мой муж обещал тоже прийти туда после работы — попозже. Словом, отправились к Александру Петровичу вдвоем, три грации, причем обе Марины решили для интереса разыграть и его. Все-таки с австралийской журналисткой интереснее. Он обрадовался, поставил на стол бутылку водки, а закуски у него никогда не было. Внезапно на дачу ворвался всклокоченный Егор Исаев.

— Дивчата, парни, — выкрикнул он с порога. — Вы не видали тут Колю Воронова?

Он принялся искать его, заглядывая под диван, отодвигая стулья, едва ли не выдвигая ящики.

— Коля Воронов, отличный прозаик, — пояснял он. — Видели его?

— Не-ет, — робко отвечали мы. Межиров наблюдал с интересом за этим таинственным действием.

— А приходите ко мне. У меня огурцы, как дубки, — вдруг предложил Егор Исаев и для наглядности показал нам кулак. — У меня и куры-несушки!

Впрочем, он тут же и удалился столь же стремительно, как и появился.

Вторым действием здесь было появление Евтушенко, «Учителя». Увидев такое общество, он вернулся домой и принес с собой вино и кое-какую снедь. Особенно его заинтересовала наша австралийская Марина: красивая и обаятельная иностранка, которой он захотел понравиться. Она к тому же обнаружила завидное знание его стихов, обещала их перевести и пригласить в Австралию. Кстати, Евтушенко всегда так реагировал на новых для него людей и пытался их сразу обаять. А мы с Мариной Кудимовой были ему уже давно известны и не так интересны. Он знал, что наши сердца уже завоеваны им.

С губ Александра Петровича, который наблюдал этот легкий флирт, не сходила чуть заметная улыбка. Возможно, он разгадал нашу мистификацию и готов был участвовать в ней, пользуясь доверчивостью Евтушенко. Я вспомнила, как он рассказывал при Евгении Александровиче о труде Отто Вейнингера «Пол и характер», а Женя потом обратился к Вигилянскому, интересуясь, нет ли у него самого или не может ли он достать заинтересовавшую его книгу «Полухарактер».

И тут вечер перешел в свою финальную фазу, ибо наконец появился мой муж.

— Вигилянский! — с удовольствием произнес Евтушенко, тут же переключая внимание с прекрасной австралийки.

Усадили его за стол, налили, и Женя тут же вскочил на любимого конька. Снова заговорил о том, как он нас защищал, расчищал путь к демократии, отстаивал свободу слова... Выпили, кстати, уже немало, да еще с хилой закуской. Он был на взводе. Володя сказал что-то в пику ему. Он взвился. Тот, отвечая что-то запальчиво, махнул рукой, случайно задел пустую бутылку, она упала со звоном рядом с ногой Евтушенко.

— Видите, видите, — вскричал он. — Вигилянский хотел меня ударить!

Он схватил отбитое горлышко — «розочку» и выскочил с ней на улицу. Встал перед открытым окном, у которого мы сидели, и принялся вызывать оппонента на дуэль. Но Володя и не подумал сдвинуться с места. Конечно, он был тридцатипятилетний молодой человек, во цвете сил, а противником его становился пятидесятичетырехлетний «старик», как ему, да и нам с Маринами тогда казалось.

И тут Александр Петрович, глядя чистыми прозрачными глазами, проговорил:

— Пойдите, пойдите! Он вас зовет. К тому же — вот, забыл здесь очки, отнесите ему.

То есть Межиров попросту провоцировал драку. Тонкая улыбка играла на его губах.

— Не ходи! — дружно попросили мы с Маринами.

Но Володя взял очки и двинулся к двери. Мы следом. Евтушенко стоял, всклокоченный и бурлящий, размахивая «розочкой». Мы с Маринами облепили его со всех сторон, умоляя пойти домой.

Кудимова сказала:

— Пойдем, мы тебя уложим спать!

Но он все еще кричал что-то о свободе, вырывался из рук. И на следующий день его соседка спросила меня:

— А что это было прошлой ночью? Зачем вы обижали Евтушенко? Он так отчаянно вопил! Я посмотрела — было уже три часа!

Видимо, Евгений Александрович слишком переволновался: наутро у него появилось на ноге рожистое воспаление. Мы отправились к нему навестить и помириться, но он по-настоящему болел, страдал, не хотел никого видеть. Тогда я написала ему письмо — мне казалось, оно было трогательным. И лишь после этого он сдался, мы посмеялись над произошедшим, и тогда уже началась настоящая любовь.

Как только он поднялся с одра болезни, он заехал за Вигилянским и позвал его на футбол. Оба, как заправские болельщики, в кепках, отбыли на стадион, где простояли в очереди и купили билеты. Причем мужики, стоявшие с ними, узнали знаменитого поэта:

— Ты, что ли, Евтух? А это — что, сын твой? Похож! — показали они на Вигилянского.

Женя потом возмущался этим.

— А что тут возмущаться? — удивилась я. — Меж вами разница в девятнадцать лет! Вполне нечто такое могло бы быть!

Он согласился.

Ну, и всякий раз, когда он появлялся, происходил какой-то театр. Например, настал такой момент, когда нам, переделкинцам, стало не без оснований казаться, что нас всех вот-вот выпрут из городка писателей. И мы решили все вместе помолиться, прося Бога и покровителя этих мест — митрополита Филиппа (Колычева) нас защитить. Когда-то здесь были владения бояр Колычевых, чей род, по преданию, истребил Иван Грозный, как известно, прозванный за свою свирепость Васильевичем. Вот и митрополит Филипп принадлежал к этому славному роду.

Вигилянский уже стал священником, и мы решили, что все соберемся на молебен у нас дома — перед нашей чудотворной иконой «Всех скорбящих Радосте» и иконой Святителя Филиппа. Пришли Олег Чухонцев с Ириной Поволоцкой, Марина Кудимова с Надей Кондаковой, Инна Лиснянская, философ Светлана Семёнова, еще кто-то. К концу молебна появился и Учитель, по летнему времени в ярких трусах, расписной майке и молодежной бейсболке, а в руках — теннисная ракетка. Все мы были ему хорошо известны, а вот Светлана Семёнова оказалась для него «на новенького». После молебна сели за стол праздновать нашу встречу, а Женя принялся, заигрывая, пикироваться со Светланой. Наконец, она сказала ему:

— Евтушенко, вы для меня то же, что и Жириновский в политике.

И в этот момент ножки стула, пластмассового, принесенного с веранды, под ней подломились, и она оказалась на полу. Что ее ничуть не обескуражило. Как ни в чем не бывало она продолжала:

— Вот вы — публичный человек, и вас бы это сконфузило, а я очень просто к такому отношусь!

Она вполне убедительно показала, чем настоящий философ отличается от поэта.

И пораженный Женя переключил внимание на моего мужа:

— Вот ты мне скажи, отец Владимир, почему мне не дают читать стихи в православном храме? Я читал в католических соборах, протестантских кирхах, в синагоге, в буддийском дацане, а меня, православного человека, не допускают к чтению стихов в моей родной церкви?

Тот стал ему объяснять, рассказывать про богослужебные тексты, про святость храмового пространства, но он не унимался. Кажется, это уязвляло его почти до конца дней. Наконец, когда он снова завел об этом речь, я ему сказала:

— Женя, а напиши акафист или канон, тогда, может, и тебя там прочитают.

Но, честно говоря, сомневаюсь, чтобы он знал, что это такое...

4

Стихи, чтение их на публике, поэзия — было, несомненно, главным делом его жизни. Затертый от употреблений мем «Поэт в России больше, чем поэт» составлял для Евтушенко «Символ Веры», который не потерял своей значимости в его сознании даже тогда, когда он прилетел из Америки в начале 90-х и устроил свой вечер в Большом зале ЦДЛ. Пригласил и нас, причем приманил тем, что привез для меня Антологию русской поэзии, изданную по-английски, где были и мои стихи. Я вошла в зал и — о Боже! — он был заполнен едва ли на треть. А где толпы поклонников? Где конная милиция былых времен, наконец?

Женя, как всегда, прекрасно и выразительно читал стихи, но зал, погруженный в полумрак, молчал. А если и раздавались вдруг какие-то хлопки, они были жидкими и рождали лишь досаду. Наконец, он кинул в зал что-то такое: почему не реагируете, не хлопаєте? А оттуда раздался голос: а нам это уже неинтересно — все это «Танки идут по Праге», мы это проехали. Отправились наши танки давным-давно в утиль.

Он возмутился, вызвал обидчиков на сцену, на словесный бой: выходите сюда, если не трусы! Никто, конечно, не вышел, не оживил этот вечер внезапным театральным экспромтом. Так все и кончилось — темно и вяло. Я пришла к нему за сцену, и он вручил мне роскошный том в красной суперобложке.

— Что у вас тут происходит? — спросил он строго. — Что, поэзия уже больше никого не интересует? Или — пришли иные времена, возшли иные имена?

Я промямлила что-то в ответ.

Потом мы встретились с ним на Кубе на международном фестивале поэзии. Я прилетела ночью и, едва продрав глаза, спустилась к завтраку, чтобы залить в себя изрядное количество кофе. А тут — бац — по дороге к кофемашине — Евтушенко. И сразу быка за рога, без «здрасьте», без «привет»:

— Где у твоего Фета о крестьянских бунтах?

Я даже вздрогнула. Это, по-видимому, он прочитал эссе «Поэзия как энергия» — мою речь на вручении премии «Поэт», где я говорила и о Фете, о том, что «не жизни жаль с томительным дыханьем», «а жаль того огня». Мысль медленно, как тяжелая рыба, ворочалась в моей голове.

— Где у него о соляных бунтах? — наступал на меня Евтушенко. — Где о бомбистах? Где его Лиссабон, наконец? Ты знаешь, что писал Достоевский? О том,

что, если бы во время Лиссабонского землетрясения поэт написал стихотворение «Шёпот, робкое дыханье», — это было бы актом безнравственности!

Сказал, сверкнув очами, и отошёл в сторону, направляясь к шведскому столу за омлетом и колбасой.

А я так и осталась стоять с полуоткрытым ртом, бессмысленно лупая глазами. Потом напилась кофе, вернулась в гостиничный номер и выдала стихотворение по горячим следам.

Поэты

Знаешь, мне жаль поэтов:
многие из них сбиваются с панталыку,
заболевают, сходят с ума.
Повторяют со значением:
«Лето» и — прислушиваются,
а потом тянут: «Зима».
Мёртвых на чёрных погостах расспрашивают
о тайне славы, призывают к ответу.
Воздух-оборотень их морочит:
шарф, капюшон, пальто...
И они клянутся, что наконец-то поймали ЭТО:
Бог весть кого, Бог весть что.

Вот и поэт Женя в нищей Гаване
повёл на меня полки, снарядил легион:
— Где у твоего Фета о крестьянских бунтах?
Где у него о бомбистах?
И где его Лиссабон?
Так перессорились поэты Юра и Саша
из-за Некрасова — того еще, который Н.А.,
разгородились стеной.
В восемьдесят восьмом,
в Париже, в гостях у Лосских.
Один говорил: «Он прекрасный!»
Другой: «Ужасный! Дурной!»

А потом, уже ночью, вернувшись с выступлений, ему вдогонку:

* * *

— Вы верите в литературу? —
спрашивает молодой стихотворец.
А сам, как видно, сильно поиздержался, бедняга,
поистрепался, устал.
— О, — отвечаю, — я никогда её не поставлю на пьедестал.
Идола из неё не сделаю, ладана не воскурю,
не зажгу восковой свечи,
буйну голову за неё не сложу в чистом поле,
душу не заложу в ночи...
Ибо я насмотрелась на ваалов её и астарт,
как пожирает она живьём,
смотрит осоловело с окаменевшим на плече соловьём.
С потрохами заглатывает всё, что дают, с требухой,
и из всех сточных потоков всегда выходит сухой.
А подступится к ней новобранец,
одной рукой пистолет сжимая, другой — тербя ус:
«А ну отвечай, старуха,
что там за правила у тебя и секреты,
какие-такие тройка-семёрка-туз?»

Так она надвинет на лоб чепец, задрожит,
сделает вздох глубокий
притворяясь, что — угадал: мол, именно так и то...
И он потом всю жизнь собирает текущие строки
в дырявое решето.

5

Он уже сильно хромал, но все еще держался с куражом. Читал стихи в Гаване в недействующем католическом соборе, бегло говорил по-испански, явно щеголяя этим передо мной, потом повез меня в пампасы — в какую-то деревню, где, оказалось, его ждали высокопоставленные кубинские лица. И он там снова читал стихи.

Его любовь к поэзии, к стихам была беспримерна. Он любил страстно и бескорыстно. И в поэзии он разбирался, понимал ее, чувствовал, если обнаруживал хоть какие-то ее признаки у кого-то, пусть и в зачаточном состоянии — хотя бы в одной строфе, в одной строчке. А иной раз он запоминал наизусть стихотворение целиком, даже когда его автором оказывался совсем не известный человек (стихотворец, поэт), и так искренне радовался этому открытию, читал всем, кто оказывался в тот момент рядом. Более того, он мог оценить тех поэтов, с которыми у него были напряженные отношения и которые его самого, мягко говоря, не почитали, а то и вовсе не признавали. Но он был способен подняться над своими житейскими чувствами, симпатиями и антипатиями и оценить эстетическую, художественную сторону произведения своего оппонента, а то и ненавистника. И эта идея — составить «Антологию русской поэзии», которой он занимался на протяжении последних чуть ли не тридцати лет, — была ему, конечно, и по душе, и по плечу.

Я хорошо помню, как однажды позвала его к себе на семинар в Литературный институт. Он мне сказал:

— Я к тебе приду с одним условием: я почитаю немножко, а потом пусть мне почитают твои студенты.

Я это студентам передала, сия весть разлетелась. В конце концов собрался весь институт, студенты, аспиранты, преподаватели да еще с друзьями — набился полный актовый зал. Евтушенко читал свои стихи щедро — часа два с половиной, а потом попросил, чтобы ему в ответ почитали свои, а также, чтобы отдавали или присылали рукописи для антологии. Все наперегонки ринулись читать, он с большим интересом слушал, и вообще всё это действо, которое началось в час дня, продлилось до позднего вечера. Я, надо сказать, более трезво и с небольшой долей иронии, а то и тоски, воспринимала иные стихи — там было много сырого, неумелого. А он с энтузиазмом забирал листки, их накопилась уже целая стопка. Кроме того — поручил мне привезти ему то, что передадут для него позже те, кто не успел это сделать в тот вечер. И уже через неделю я выгружала у его дома из своего багажника коробки с рукописями, в которых составитель антологии надеялся отыскать меж плевел добрые злаки.

После этого семинара мы поехали с ним к нам домой:

— Я хочу видеть твоего мужа, вези меня к нему! Вези меня к батюшке!

Поехали по заснеженной Москве, остановились у винного магазина в высотном здании гостиницы «Украина», пробыли там еще минут сорок: Евтушенко ведь не мог просто так пройти куда-то и выйти незамеченным. Нет, он перевернул весь винный отдел, его узнали, повели в подсобку, вывели с бутылками какого-то австралийского вина (французское не годится, у них там, оказывается, полегла лоза, они вместо неё посадили другую, привезенную чуть ли не из Крыма, и выдали за свою, прежнюю). Читал им стихи, а как же без этого? Провожали его все — вместе с грузчиками: народная любовь!

А ведь и правда. Сидели мы как-то летом у нас на веранде в компании поэтов — и местных, и приехавших из Москвы. Даже гитара была у Ефима Бершина. И увидели, как по дорожке к нам приближается Евтушенко. Кто-то затыкнул, Ефим тут же подыгрывал на гитаре:

— Бежит река, в тумане тает,
Бежит она, меня дразня...

И все подхватили, хором:

— Ах, кавалеров мне вполне хватает,
Но нет любви хорошей у меня!

Заканчивали уже вместе с Учителем:

— Ах, я сама, наверно, виновата,
Что нет любви хорошей у меня-а-а-а!

...А я-то думала: народное! Слова народные, музыка народная... Ан нет. Это — наш с Кудимовой Учитель!

Доехали, наконец, до дачи: наша кибитка медленно продиралась сквозь буран. Выгрузили покупки, а дома не только Вигилинский, но и старшая дочь Александрина — «новый человек»! И Евтушенко почувствовал себя в ударе, стал рассказывать о своих любовных похождениях и о том, что его всегда в них останавливало: если у прекрасной женщины какой-то паршивенький муж, дурной человек, то она уже в его глазах теряла часть своей прекрасности. И наоборот: если муж — прекрасный и достойный, ему становилось стыдно даже мысленно приближаться к ней. Хотя — случалось...

Это оттепель его юности и молодости размыла все берега, это она позволила не только не стесняться своих любовных походов, но и овеяла их романтическим флером. С этих пор перестали считаться зазорными всякие адюльтеры, но «харрасменты» с «абыюзом». Напротив, влюбленным сочувствовали, приветствовали, покрывали их связь, даже если она была сопряжена с изменами, разладами в семье и разводами.

(Помню, как старик, заслуженный литературовед, ушел от своей жены, пожилой, но еще вполне миловидной, с которой прожил лет сорок, к престарелой и довольно страшенькой вдове прозаика. Их приютила у себя актриса, уезжавшая на гастроли. И многие из тех, кто прослышал об этом, говорили с одобрением, окорачивая возможные ханжеские комментарии: «А если это любовь?» Однако, если это и была любовь, ей не суждено было продлиться более дней десяти, поскольку вдова прозаика не умела готовить хотя бы яичницу и кормила своего избранника бутербродами, в то время как он привык к роскошному борщу своей жены, запах которого разливался аж за пределы квартиры, по лестничной площадке...)

Поэтому, я думаю, и Евтушенко не видел ничего зазорного в рассказах о своих любовных победах.

Потом вдруг, смущая мою дочь, поведал какую-то дурацкую историю, как у него в молодости был роман с юной американской студенточкой, отдавшей ему свою девичью честь, а потом он узнал, что она стала главой феминистского движения в Америке.

— Женья! — завопила я. — Что ты с ней в таком случае сделал? Во что превратил юное существо, до чего довел?

Александрина предпочла отправиться спать, а мы просидели, уже по обыкновению, почти до утра, благо мужу не надо было на следующий день служить в храме. На прощание договорились, что отец Владимир освятит Евтушенко дачу, в которой был ремонт, а теперь еще и появилась новая пристройка. Так и договорились — в первый день Рождества Христова.

6

Дом Евтушенко — его переделкинская дача — всегда был гостеприимен: самые разные встречались там люди. Бывал там смотритель его дома в Сухуми — Автандил, симпатичный интеллигентный грузин. Во время грузино-абхазской войны ему отрубили голову и выставили ее на шесте на месте бывшего евтушенковского дома: сам дом сожгли дотла. Бывал священник — иеромонах Вадим из переделкинского храма: это он крестил сына Евтушенко и его последней жены Маши. Бывали художники, писатели, журналисты, дипломаты, американцы с американками, все ели-пили за этими пиршественными столами. Про одну из своих американских подруг Женя сам потом рассказывал с беззлобной усмешкой.

— Мы всегда стараемся их здесь у нас как следует принять, накормить. Моя американская гостья каждый раз мне говорила: ой, я после этих возлияний у тебя потом несколько месяцев сижу на диете! А когда я приехал в Америку и пришел к ней в гости, она произнесла извиняющимся голосом, поставив передо мной плочечку с орехами:

— Прости, у меня ничего больше нет, я — на диете!

Я не удержался, сказал ей:

— Но я-то не на диете!

Пировали у него и поэты — разные: известные и не очень, старые и молодые. Один из них жил в Переделкине в отсутствие хозяина едва ли не полгода, опустошив при этом подвал с запасами вина.

Блок, конечно же, преувеличивал, говоря, что «друг к другу мы тайно враждебны», но к Евтушенко это ни в коей мере не относилось. Была у него одна болевая точка, которая все время напоминала о себе, — Иосиф Бродский. Но и его чувство к Бродскому было не враждебным, это было страдание от глубокой обиды. Абсолютно незаслуженной и неожиданной от автора замечательного стихотворения «Благодарность»: «И пока мне рот не забили глиной...»

Бродский, можно сказать, его на дух не переносил. («Если Евтушенко против колхозов, то я — за колхозы».) Эта активная антипатия скорее выдавала черты самого Бродского, чем говорила о Евтушенко. Один уважаемый литературовед, лично знавший персонажей, предположил, что причиной была застарелая юношеская травма: папа Бродского, еще когда тому было лет восемнадцать, пенял сыну:

— А ты не можешь писать, как Евтушенко?

Несмотря на то, что Евгений Александрович участвовал в облегчении его судьбы, Бродский не просто публично его поносил, но написал, по сути, донос, когда Евтушенко хотели пригласить читать лекции в американском университете, «просигнализировал» администрации, и Евтушенко отказали. Он страдал, быть может, не столько от этого отказа, сколько от этой энергии беспричинной ненависти, исходящей от того, кого он считал собратом.

А я чувствовала к нему нежность. Что-то в нем было от большого нарциссического и в то же время простодушного подростка. Какие-то его немотивированные импульсивные реакции, непосредственность, и если не глубина и высота, то стремление к честности и справедливости. А главное — к любви! «Любите меня!» — доносилось из потайных недр его души. «Любите меня», — читалось на лице.

Это не значит, что он не мог вдруг накинуться на собеседника, как некогда штурмовал моего мужа или вызывал на словесный бой из зала, в котором читал стихи, зловредного слушателя, не желавшего аплодировать. Или вот как в последний год жизни, приехав на конгресс Достоевского, проходивший в Питере, уже на прощальном банкете, он вдруг разразился филиппикой в адрес мирного и доброго человека — писателя Алексея Варламова, который всего лишь выразил сомнение в том, что писатели могут

меж собой замирились настолько, чтобы влиться в единый Союз писателей. А Евтушенко как раз призывал мир повернуться к согласию и примирению.

Есть такое искушение — обольститься жизненной полнотой своей собственной души. Оно рождает в человеке непонимание: как же окружающие люди этого не замечают, не чувствуют, не ценят, когда это так очевидно! Посмотрите на меня! Я сейчас скажу вам такое, что вы не сможете отвернуться, не сможете не согласиться со мной, у которого так много всего!..

7

В какой-то момент у Евтушенко появился интерес к Церкви. Но шестидесятники — люди с особым внутренним миром, который слишком привязан к земному и социальному и который, в принципе, нерелигиозен. Нельзя сказать, чтобы они не любили Христа, но Он для них оставался человеком — и только. Это люди по ментальности скорее «горизонтальные», чем «вертикальные»: по преимуществу экстраверты. Представления Евтушенко о Церкви были своеобразными. Ему было непонятно, почему он не может вписаться в храм и читать там стихи с аналоя. «Ведь в них много христианского», — добавлял он.

В нем жило христианское зерно: он был милосерден, добр, нелицеприятен. Но он чего-то принципиально важного и главного не понимал, притом что к Церкви его тянуло. Помню, он в очередной раз приехал из Америки в Россию, пришел к нам и требовал, чтобы отец Владимир написал письмо Патриарху, а Патриарх... наладил работу почты в Переделкине. Просто потому, что он, как считал Евтушенко, — вообще самый главный.

Меня поражали в нем его понимание своей профессиональной деятельности как служения — и поэтического, и гражданского, и социального, а также его витальность, его повышенный жизненный тонус: он мог, расставшись с нами ночью, написать к утру стихи или статью. И этим же утром, неутомимый, поехать по разным делам — на радио, на съемки, на выступление, на встречу с друзьями... Он как бы распространялся по горизонтали вширь — стихи, выступления, статьи, лекции, кинофильмы, фотографии, — стараясь захватить собой пространство и время и присвоить их.

И в этой логике понятно, почему он счел чуть ли не насмешкой, когда я ему сказала, что мне нравятся его строки, которые я ношу с собой и все время повторяю:

— Что за строки? — заинтересовался он.

— Простая песенка Булата
Всегда со мной.
Она ни в чём не виновата
Перед страной.

— Как? И всё? — спросил он разочарованно.

— Нет, не всё, — ответила я, порывшись в мешке отроческой памяти, — еще вот это, «Каинова печать»:

— А ветер хлестал наотмашь
невидимой кровью намокший,
как будто страницы Библии
меня
по лицу
били.

Он махнул рукой:
— Старье!

Уже будучи больным, немощным и далеко не молодым человеком, претерпевшим ампутацию ноги, он героически продолжал и писать, и выступать, и ездить по городам России, где его ждали читатели.

Приезжал он и на форум Достоевского в Сосны, где мы с ним встретились едва ли не в последний раз. Он был уже в инвалидной коляске, но с неизменным интересом прикатывал на лекции, на круглые столы, выступал, пускался в полемику, отстаивал собственное мнение. Вигилянского встретил с распростертыми объятьями:

— Мой духОвник!

Именно так — с ударением на «о». И всем потом объяснял:

— Это мой духОвник!

...ДухОвник его и отпел через несколько месяцев в новом переделкинском храме святого Игоря Черниговского и послужил панихиду на его могилке возле Пастернака и Чуковского — среди своих.

Но, стоя у гроба, меня поразила еще и история, которая закончилась (или не закончилась?) здесь.

Когда-то давно в Евтушенко насмерть влюбилась прекрасная юная девушка, которая, как это называлось в старинные времена, подарила ему свою девичью чистоту. А потом она ему надоела, и он перестал ее пускать в дом. Но она все время находила лазейку. Влезет через окно, спрячется за дверь, он приходит, а она ему:

— А я здесь!

Он ее уговаривал оставить его в покое, упрасивал, но она проявляла чудесную изобретательность и упорство. И когда он, вернувшись домой, открыл шкаф и обнаружил ее внутри, то совсем потерял терпение и просто ее грубо выгнал. Но она продолжала его любить. И хранила ему верность всю жизнь.

И вот здесь, в храме, я вдруг увидела ее, худенькую, постаревшую, с букетом прощальных цветов. Она встала у гроба, застыла и простояла так несколько минут, но вся ее фигура — поза, осанка — словно выдавали прощальные слова любви всей ее жизни, обращенные к тому, кто уже предстоял пред порогом в чертоги Божьи.

Он был человеком уникальным, штучным. В нем не было фальши, не было лести, и в каком-то смысле он напоминал евангельского Нафанаила, в котором «нет лукавства». Но возможно, он слишком долго прятался под смоковницей, которой для него были слава, любовь к людям, к жизни, к поэзии, к России, к себе самому — вернее, к словесному дару, к его музыкальной энергии, к мажорной тональности, которые застили ему любовь к Богу.

Я надеюсь, что Господь его под этой смоковницей заметил. Заметил то детское, радостное и порой наивное, что виделось в нем нам на протяжении сорока лет и что мы в нем особенно любили и любим поныне.

ХУДОЖНИК ЧАРЫ МУХАМЕДОВ



Дождь



Беседа



Дестан (Сказание)



На берегу



Вечер



Сон



Портрет девушки



Девушка с дутаром



Три подруги



Полдень



Создание кошмы



Дома

Евгений Абдуллаев

Не премиальте

Некоторые колхозы учредили литературные премии, в иных совхозах работали авиамодельные и конноспортивные секции.

Борис Штейн. Уходит век

Их много. Их очень много. Их настолько много, что можно уже составлять по ним справочник; он будет толстым и увесистым. Но составлять его никто не будет: это неинтересно и бессмысленно.

В титрах какого-то старого советского фильма (30-х годов) после имени одного персонажа стояло: «Орденосеи». Звучало гордо. В начале 80-х, когда я этот фильм смотрел, это вызвало только усмешку. Орденосеи учреждено и вручено было уже столько, что они не означали почти ничего. За исключением, может быть, нескольких, вроде «Золотой Звезды» героя. Они хоть что-то еще значили.

То же самое случилось сегодня и с российскими литературными премиями.

В девяностые премий было немного. Возможно, именно столько, сколько и должно быть. Были традиционные журнальные премии. Был «Русский Букер». Был созданный в пику ему «Антибукер». Были Премия Аполлона Григорьева, литературная номинация «Триумфа», Премия Андрея Белого. В самом начале нулевых добавились еще две, жанровые: Белкина и Казакова.

Все это что-то значило. Пусть не так много: в конце концов, главное — текст, а премии и прочие аксельбанты — так, для «встречи по одежке», краткой строки в сведениях об авторе. И все же «лауреат “Русского Букера”» как-то звучало. «Лауреат премии журнала “Знамя”». «Лауреат премии имени Юрия Казакова».

Звучит ли — и как — это сегодня?

Были тогда, конечно, и какие-то локальные: премии местных союзов писателей (журналистов) или имени местных литературных знаменитостей. Некоторые — вполне достойные, вроде питерской «Северной Пальмиры». Но все это помещалось во втором, третьем ряду. Ощущения премиального перепроизводства не порождало.

Бурным потоком премии хлынули где-то с середины нулевых. Под конец 2000-х все оказались лауреатами чего-нибудь. Одной, двух, четырех премий. Писатели и поэты стали ходить, издавая неслышное позвякивание, как медале- и орденосеи брежневских времен. (У меня самого такой «пиджак с висюльками» в шкафу.)

В 2010-е литераторы уже не довольствуются ролью пассивных получателей. Зачем ждать, если можно самим засветиться в роли «раздатчика слонов»? И закатыва рукава принялись за дело.

Литература наполнилась премиазмами.

Только за последние год-два премий возникло с десяток. Обзавелись своими премиями журналы «Воздух» и «Юность» (соответственно — «Вавилон» и премия

Катаева). Обе, правда, заявлены не как журнальные, а как «вообще». Впрочем, «Вавилон» уже получила постоянная авторесса «Воздуха» Лида Юсупова. Почему бы нет? Дело не в *кто*; дело в *зачем*.

Не отстают и сетевики. Не успел просуществовать и пары лет телеграм-канальный «Метажурнал», и — тоже уже, ура, со своей премией. И страсти вокруг нее кипят нешуточные.

Особенно старательно обкладывается новыми премиями молодежь. Национальная молодежная литературная премия, учрежденная Роскультицентром. «Всероссийская поэтическая премия имени Андрея Дементьева» для молодых поэтов. Еще и «Цикада» для них же. Притом что молодежный «Лицей» тоже никуда не подевался; продолжает торжественно вручаться.

Не то чтобы между ними не было никакого различия. По имени советского поэта-песенника в названии одной из них легко догадаться, какая поэтика ею будет поощряться. «Коллективный есенин / провинциальных сборников» — как написал когда-то Алексей Колчев. Точнее, «коллективный дементьев»... А «Цикада», судя по большинству текстов ее финалистов, — это такой «коллективный драгомощенко»... И тоже по названию премии можно было предвидеть. Довольно неприятное на вид, если кто встречал, насекомое, издающее громкий скрежет. Но дело опять же не в этом. Пусть хоть цикада, хоть муха-цокотуха. Проблема в том, что всё это дикое размножение — действительно, с какой-то насекомой скоростью и плодовитостью — литературных премий обесценивает сам этот институт. Остаются буквально несколько премий (вроде звезд Героя), которые еще имеют не отдельно-взято-тусовочный или отдельно-взято-провинциальный вес. Не в последнюю очередь, благодаря своему «стажу», превышающему *хотя бы* десять лет.

Уточню. Премия обязана жить долго. Пусть даже вырождаясь, закосневшая, впадая в легкий маразм, как нынешняя Нобелевка. Но — долго: возраст премии (как и журнала, фестиваля, любого другого литературного института) крайне важен для ее репутации. Американской Пулитцеровской премии — более ста лет; другой, Национальной премии США в области художественной литературы — более семидесяти. Гонкуровская премия скоро отметит свое 120-летие. Ведущим итальянским премиям — «Багутта» и «Виареджа» — тоже почти по сто лет.

У нас же премий все больше, и живут они все меньше. Особенно возникшие в 2010-е. «Нонконформизм» — девять лет. «ЛитератуРРентген» — семь. «Белла» — пять. «Различие» — пять.

Нет, премии с коротким пробегом бывали и прежде. «Антибукер» просуществовал шесть лет, Премия Аполлона Григорьева — восемь. Но они хотя бы затевались основательно: с прописанным уставом, с серьезным жюри, с солидным матобеспечением...

Из названных же выше основательно, насколько могу судить, делалась только российско-итальянская «Белла». «ЛитератуРРентген» возник в качестве «вишенки» на торт одноименного фестиваля (и тихо исчез вместе с ним). А «Различие», вообще, как заметил Дмитрий Кузьмин, было учреждено «“на коленке”, чисто приватным образом»¹. Так, «на коленке», недолго и просуществовало.

Впрочем, и солидный премиальный фонд сегодня тоже уже никого особо не впечатляет. У премий-близнецов «Поэт года» и «Писатель года» (тоже, разумеется, «национальных»), учрежденных — официально — Российским союзом писателей, а фактически — «Стихами.Ру» и «Прозой.Ру», фонд очень даже неплохой. Улучшает ли это их репутацию?

¹ Кузьмин Д. От различия к различению // Сайт «Colta.ru». 13 марта 2013 г. (<http://archives.colta.ru/docs/16167>)

Остается надеяться, что нынешнее премио-изготовительное безумие вскоре схлынет. Само. Как исчезло размножение литературных альманахов в 1820-е, над которым иронизировал Пушкин. Как схлынула эпидемия отмечания литературных юбилеев, высмеянная Леонидом Андреевым («Всероссийское враньё»). «В настоящее время юбилейное дело поставлено так широко...»

И широко поставленным премиальным делом тоже переболеем.

Усталость уже ощущается. Ворчат критики. «Премий стало нынче много: за стихи, за прозу, за драму, за критику, даже за открытый рот» (Сергей Морозов, 2019)¹. Задумались книгоиздатели. Задаёт вопрос на своей страничке в ФБ Юлия Селиванова «в связи с медиаданными для магазинов»: «Насколько сейчас вообще продает книгу блерб “Лауреат такой-то премии”? И почившего в том числе, например, “Русского Букера”?» (18 июня 2021 г.). Судя по ответам, не очень-то продает.

Литературные премии — кто спорит? — нужны.

«Вообще-то уже хотя бы по нынешнему писательскому безденежью и издательскому потоку, в котором все тонет, — дело полезное. С обесцениванием — согласна. Вопрос экспертизы и критериев», — написала Наталья Игрунова, когда мы обсуждали тему этого «барометра». Да. Нужны и как навигатор, и как поощрение, как инструмент структурирования литературного поля. Вопрос не в них самих, а в *количестве*. Которое обесмысливает качество.

Премиальное поле можно было бы частично «разгрузить» за счет развития института литературных стипендий, — о чем я писал почти десять лет назад («Знамя», 2012, № 1). Как это, опять же, давно и достаточно успешно делается в других странах. Но стипендии дело длинное, хлопотное, скучное. А скучать у нас не любят.

Так что подождем, когда все премиотворцы, наконец, натешатся и наиграются. Пока же предлагаю, в духе Маяковского, создать и вручать ежегодную литературную премию всем организаторам литературного дела, удержавшимся от создания литературной премии. С большим жюри, большим фондом и большим литературным обедом. С обязательной речью лауреата, как он мучительно боролся с желанием создать еще одну литературную премию. И как это желание в себе победил.

¹ <https://voplit.ru/column-post/o-literaturnyh-premiyah/>

Андрей Пермяков

Постапокалипсис без апокалипсиса

Юлий ГУГОЛЕВ. Волынщик над Арлингтоном: 2019—2020. — М.: ОГИ, 2020.

Совсем недавно, 22 мая 2021 года, фотограф и обозреватель Алексей Наседкин написал в своем блоге по поводу вечера, состоявшегося в Сахаровском центре: «К своему стыду, я вообще не знал, что Гуголев пишет стихи. Да еще такие убойно-талантливые, с довольно сложными строфическими конструкциями. Видел его только как гастрономического обозревателя на ТВ. В общем, обязательно почитайте»¹. Тут впору было бы вспомнить шутку начала века про блондинку и Макаревича: мол, этот телеведущий еще и песни поет? Только не хочется. Тем паче, Андрей Макаревич тоже участвовал в том вечере.

Подойдя к делу серьезно, можно посетовать на фрагментарность пейзажа и сбой всех фокусировок, когда даже заинтересованный, не чуждый поэзии человек, разбирающийся в ритмических конструкциях, коллега Юлия Гуголева по медицинской стезе, блогер², интересующийся разными аспектами современного искусства, весьма странно отражает роль автора в актуальной культурной ситуации. Притом — автора, только что получившего весьма значимую и даже нашумевшую премию «Поэзия».

Но лучше вспомним другое: формальный дебют Гуголева, состоявшийся двадцать лет назад благодаря книге «Полное. Собрание сочинений», дебютом в полном смысле не был. Автора к тому времени хорошо знали, журналы публиковали его стихи более десяти лет, и сборник лишь зафиксировал литературную состоятельность поэта. Спустя шесть лет вышли «Командировочные предписания», получившие большую премию «Московский счёт», еще через четыре года — весьма замеченный критикой «Естественный отбор», а после наступило книжное молчание на десять лет. То есть автор не старался мелькать в медийном пространстве. Скорее, наоборот.

Зато в 2019—2020 годах Юлий Гуголев выпустил сразу три новинки. Собрание палиндромов, озаглавленное «252»³, мы на сей раз оставим вне пределов рассмотрения, а две другие книжки прочтем внимательно. Особенно, конечно, свежайшую: «Волынщик над Арлингтоном». Но сначала обернемся во времени чуть назад.

Нечастый выход книг, не слишком регулярные публикации в «Журнальном зале» давали возможность внимательного наблюдения за текстами поэта и фиксацией перемен. Думаю, не для одного меня очевидными те перемены стали с выходом стихотворения «Не дверцу шкафчика, но в целом Сандуны...»⁴. Именно за него

¹ <https://nasedkin.livejournal.com/2442563.html>

² Само по себе понятие «блогер» имеет, согласимся, странный статус, хотя по некоторым версиям, этот подвид деятелей культуры уже лет десять как стал наиболее влиятельным среди прочих.

³ 252 / Художник Олег Добровольский. — М.: Воймега, 2019.

⁴ Юлий Гуголев. «Не дверцу шкафчика, но в целом Сандуны...» — «Интерпоэзия», 2015, №3.

Гуголев несколько позже получил премию «Поэзия», но дело не в этом. Дело в том, сколь интересно новый текст сразу и взаимодействовал с одним из самых известных стихотворений автора «Папа учил меня разным вещам...», и сущностно контрастировал с ним. По этому поводу я написал отдельную заметку¹.

Вкратце ее содержание было таковым: и мир советского детства, и последующие эпохи всегда представляли в стихах Гуголева изрядно перекошенными, но все искупала совершенно раблезианская витальность, дававшая премногие надежды к исправлению сущего. В рецензии на самую первую книгу поэта Данила Давыдов писал: «Лирический герой Гуголева — тело, но это тело лишено каких-либо низких значений, оно самоценно и самодостаточно»². А много позже Мария Ватутина сказала, что о войне Гуголев говорит «...через непритязательный диалог оставшихся в живых косноязычных хмельных дембелей, недобрым словом вспомнивших товарища, отлынивающего от застолья... А о жизни и смерти через полную физиологическими подробностями историю про выезд наряда "скорой помощи" к старушке, к которой, казалось бы, автор и не собирается вызывать сочувствие... А получается из этого: баллада о хрупкости мира и неразумных воинственных детях этого мира (Что тебе еще надо? Что вам/ всем ещё надо?! Какой защиты?); ностальгия сына по отцовскому присутствию в жизни; рассказ о телесном пребывании человека на земле; горькие слезы над безвестной умирающей мученицей и ее беспомощными и не менее несчастными врачами. Здесь усматривается следующий прием: желаемого смысла и эффекта автор достигает через обратное, через заземление повествования...»³.

Соответственно, стихотворение «Папа учил меня разным вещам...» Ватутина в той же рецензии весьма точно охарактеризовала как попытку «вырастить колосок путем вытягивания ростка из земли»: мол, папа допускает педагогические ошибки из слишком косных убеждений и чужих установок, однако ошибки те не фатальны и вообще — жить можно. В «Сандунах» же весьма неприятно выглядит сама условная «земля». То есть человеческая почва, откуда произрастают отношения и взаимодействия. Дело, упаси бог, не в физическом убожестве. Оно нормально, стандартно, нестыдно. Стыдной вдруг делается система общения, построенная на обмане, практически не осознаваемом носителями этого общения, людьми, весьма близкими лирическому герою — хотя бы по праву родства:

<...>
они сидят на влажных простынях,
раскинувшись, как баре на санях,
рвут плавничок, сдувают пену ловко
среди багровых и счастливых рож.
— Эй, Юликатый, ты чего не пьешь?!
И дед Аркадий, тяпнув «Жигулёвского»,
знай себе крикает. И миром правит ложь.

Половинка строки из этого стихотворения дала название следующей книге Гуголева: «Мы — другой»⁴. Естественным было искать в сборнике развития мыслей и общего настроения, возникшего в тексте про знаменитые на всю Москву общественные бани, однако все оказалось иначе. Настрой «Другого» вполне соответствовал устоявшейся стилистике Гуголева. Разумеется, с нюансами, обертонами, развитием. Но это были, скорее, перестроения из ряда в ряд, чем резкий поворот. Мир все так же изобилует странноватой пищей и детскими бедами — в том смысле, в каком все беды детские.

¹ Андрей Пермяков. О двух стихотворениях Юлия Гуголева. — «Вопросы литературы»: «Лёгкая кавалерия», 2021, № 1.

² Данила Давыдов. Немоты полночное пение. — Vesti.ru, 30.05.2020.

³ Мария Ватутина. Переворот: О поэзии Юлия Гуголева. — «Октябрь», 2008, №3.

⁴ Юлий Гуголев. Мы — другой. — М.: Новое издательство, 2019.

То есть, неизбывные и навеки. Тем более, идиотизмы советского детства вполне реальны; они весьма шокируют даже по нынешним не самым человечным временам:

Манная — на завтрак. Рыбный — на обед.
 Что-нибудь творожное — на полдник.
 Тех, с кем это жёвано, рядом больше нет.
 Может, вам о чём оно напомнит.

<...>

Мама дорогая, видишь из окна,
 что твой сын не прятался в сугробе,
 и теперь Анфиса Владимировна
 бьёт его при всех по голой попе.

Смейтесь, Вова Зинин и Митя Грамаков!
 Смейся с ними, Лёша Харитдинов!
 Будто вы не знаете, этот мир каков,
 детства не прожив до середины.

<...>

.....
 Вы ж всё время думали, что я вам про еду.
 Я и жил, во всём вам потакая.
 Я ж не про еду. Я ж вам — про беду.
 Ай, беда-беда-беда какая!

Вроде и больно, а вроде и привычные чебуреки, и «пирожок Налётовой Милены» опять дают надежду на *относительно бесконечное* продолжение банкета. Особенности и тонкости сборника «Мы — другой» заслуживают разговора, но все-таки «Волынщик над Арлингтоном» вышел позднее, автор включил в него стихи, написанные совсем недавно, в 2019—2020-м годах, хотя раньше подобной скоростью публикаций не отличался, и, главное, — контраст с предыдущим творчеством оказался почти разительным.

Много лет назад в рецензии на книгу «Естественный отбор» Кирилл Корчагин писал: «...само переключение из комического регистра в трагический (или трагикомический) характерно вовсе не только для Гуголева. Но здесь интересна связь "взрослого" мира с угасанием, полностью отсутствующая в стихах о детстве. С другой стороны, движение времени оказывается циклическим: умирание само оказывается связано с детством — и действительно, едва ли парадиз возможен на земле. Так и смерть обращается к человеку с подчеркнуто отеческой нежностью»¹.

А теперь все стало как-то жестче, быстрее и необратимей:

* * *

Ни предьяв, ни мольбы, ни укора
 затаённого хамства в душе.
 Просто чувство такое, что — скоро,
 ощущение, что вроде — уже.

Ни обиды, ни слёз, ни упрёка,
 вот активы твои и счета,
 только что в них теперь тебе проку,
 утекает сквозь пальцы тшета.

Ты всегда говорил, так бывает,
 и условия эти просты:
 в нек'т'ром смысле вина убывает,
 если ты в нек'т'ром смысле — не ты.
 <...>

¹ Кирилл Корчагин. Эсхатология шашлычной колбаски. — «Новый мир», 2011, №1.

Что там шьёт на суровую нитку,
оверложит гнилые края?
Я бы рад прекратить эту пытку,
но и я в нек'т'ром смысле — не я.

Беспокоиться вовсе нет толку:
как-нибудь, потихоньку, то-сё.
Просто чувство уже, что — недолго.
Ощущенье такое, что — всё.

В той же рецензии Корчагин упоминал некоторые истоки гуголевской поэтики и положение носителя этой поэтики среди коллег: «Еще в восьмидесятые поэт был близок к московскому клубу "Поэзия", объединявшему авторов самых разных направлений в диапазоне от Игоря Иртеньева до Нины Искренко. В очень условном смысле Гуголев занимает промежуточное положение между этими двумя фигурами».

Разумеется, поэт обитает не в одномерном пространстве, расположенном вдоль некоторой оси, векторов движения много, в значительной мере автор сам порождает их. Но относительно упомянутых собратьев-поэтов сдвиг в сторону Иртеньева очевиден. Знакомая вполне личина усталого и сущемудрого циника. В чем причина? Проще всего, конечно, связать перемены стиля с изменениями авторской личности и несущего ту личность организма:

* * *

То тут кольнёт, то там стрельнёт,
то вдруг не к месту вздыбится,
а в результате через год
покатится, посыпется,

серьёзный примет оборот,
совсем другим окажется...
А говорили, что пройдёт,
забудется, уляжется.

Вариант с переносом в строки личных бед и страхов автора хороший, но уж слишком наивный. Тем более, в другом тексте Гуголев пишет:

В этом смысле я не ах,
хоть и с виду сокол,
не увидишь на руках
палочек и стёкол.

Вообще-то уже из процитированных строк мы видим, сколько в новой книге «прежнего» Гуголева: фонетические просторечия, контракция согласных, скрытая цитатность и центонность. Игра с медицинскими терминами: «палочки и стекла» — симптомы сердечных и прочих неполадок. А еще — традиционно много посвящений, много разной еды, вкусной и не слишком. Много образов, связанных со взаимным пожиранием и поглощением:

У волка тамбовского окорок
тамбовского волка в зубах.

Мрачновато? Так у Гуголева и медицинские образы часто были профессионально-фатальными. Таковыми и пребывают:

Эх, вы мои трупы-трупы-трупки.
В животах всё бинтики да трубки.
На котлетах ромбики да кубики.
Капельки воды на мясорубке.

Нет, все это, в сущности, осталось привычным. Изменилось другое. Из малозначительного — чуть менее разнообразными сделались ритмы и не раз уже помянутая строфика. Но это явление сиюминутное: стихи, вошедшие в книгу, были написаны сравнительно быстро, а любому автору, даже самому искусному, свойственны периоды, когда пишется именно вот так, а не иначе.

Принципиально иное: жуть поселилась в звуках мира. Даже в пении синичек.

Кстати, синички населяют книгу весьма плотно. Они тут — из главных персонажей. Наряду с таджиками, комарами и сочетанием звуков «тщ»: вотще, тщета, тщание. Как в следующем сонете:

* * *

Радость, тщета и тщание
ревности и отваги, —
иллюзия содержания
слов на листе бумаги.

Разве имеет значение
во тьме среди снов летящих
иллюзия назначения,
раз опускают в ящик.

Фамилия, имя отчество,
даты рожденья и смерти,
всё остальное — прочерк,

иллюзия одиночества
письма в земляном конверте,
лежащего среди прочих.

А еще в книге живет очень много масок. Понятно откуда: перемены в пандемию коснулись всех, и чем насыщеннее были прежние дни, тем тяжелее переносить вынужденную остановку жизни. И жизнь эта, оказывается, очень даже конечна по своей сути. Оттого синяя медицинская маска делается (или хотя бы кажется) маскою смерти.

Кроме того, на фоне общей вынужденной приторможенности, очевидней делаются явные патологии. Оказывается, в автобусе маршрута М8, Дангауэровка — Китай-город, регулярно ездят «Чокнутый» и «Чокнутая» из одноименных стихотворений. Эти ненормальные там, в транспорте, конечно, присутствовали всегда, но их не замечали в общей суете. Сразу возникает законный вопрос: а была ли прежняя жизнь так уж хороша? Вернуть ее, безусловно, хочется, но дальше что? Опять все по кругу?

* * *

Господи, когда же это кончится,
эта жизнь, повернутая вспять?
Никого расстраивать не хочется,
но боюсь, придётся нам опять

вспомнить, как же это было здорово:
шашлыки, подвыпивший народ.
Да, конечно, но боюсь, что скоро вам
станет ясно: это всё пройдёт.

Все пройдут, мертвы и безязыки,
канут, как истлевшие года.
А таджики? Ну а что таджики?
Даже и они не навсегда.
<...>

Так давай, синичка, там, на деревце,
песенку нам крайнюю готовь,
пой о том, что не на что надеяться.
Всё пройдёт и всё вернётся вновь.

Как-то не слишком оптимистично звучит обещание в финальной строке. Что вернется-то? Правильным ли был мир «старой нормальности» при взгляде на него чуть издали?

Словом, не в пандемии, разумеется, дело. Нечто переменялось в мире чуть раньше и гораздо радикальней. Одно из лучших стихотворений книги, наполненной отличными стихами, — об этом.

* * *

Что случилось в это лето,
я и сам не знаю,
но пластиночка «жиллета»
изогнулась с краю,

изогнулась, притупилась,
ржавчиной покрылась.
От чего, скажи на милость,
это приключилось?

Может, стал я реже бриться
и седины красить...
Да ведь юные девицы
смотрят не на нас ведь.

Им-то ведь плевать по ходу
на тревоги-беды,
что всё глубже год от года
сон после обеда....

Стихотворение напоминает начало триллера вроде «Матрицы»: отчетливо представляешь, как в кадре само собою изгибается лезвие.

Жутковато.

Есть разница с фильмом: базовые перемены коснулись не физических законов мира, а биосоциальных. В какой-то момент видимая часть Ойкумены оказалась переполнена витальностью настолько, насколько ею были переполнены прежние стихи Гуголева. Жизненная энергия в своих разных видах была ключом, а счастья не было. Очевидно, настало время остановиться, оглянуться.

Лет пять назад сделалось весьма известным философское движение «спекулятивного реализма». Точнее прочих упомянутое явление определяет такая емкая цитата: «За этим термином стоит множество философов и философий, порой довольно сильно разнящихся, но имеющих общего противника — философскую традицию, восходящую к Иммануилу Канту и связывающую воедино человеческое сознание и окружающую действительность: одно невозможно представить без другого, и человек замкнут в этом круге»¹. То есть человек, приученный семьей, социумом, интернетом, бизнес-тренерами, корпоративной рекламой и всем окружением к мысли, что он равноправная часть вечной ризомы, вдруг задумывается в очередной раз: а если мир без меня существует? а может, и я тогда настоящий? и умирать придется не в компьютерной игрушке, а насовсем?

¹ Стас Наранович. Тенденции-2016. Спекулятивный реализм. — Горький медиа, 26 декабря 2016 г. <https://gorky.media/context/tendentsii-2016-spekulyativnyj-realizm/>

Бывают такие периоды, когда хорошо известные человечеству вещи, повторенные на новом витке цивилизации, приобретают характер откровения.

Реакция может быть самой разной. Близкий к идеям спекулятивного реализма философ Бен Вудард написал книгу «Динамика слизи»¹. Посвящена та книга «грибовидному ужасу жизни». Именно жизни как факта. Жизни в своей первичности. Того, чем века три подряд было принято восхищаться, как «высшей формой организации материи». А теперь всё не так. Тут опять лучше цитатой: «... случилось нечто весьма отвратительное — гадкая штука под названием “жизнь”. Нечто такое, что будет заполнять пространство, пока космос не остынет настолько, что всякая новая связь станет невозможна. И тогда — жизнь найдет свое завершение в океане гниения, который изольется в безграничную пустоту угасания»².

Конечно, мысль не самая оригинальная. В исторически обозримом прошлом сходные идеи высказывал биограф и во многом — идеолог обэриутов Леонид Липавский. О параллелях его книги «Исследование ужаса» и удардовой «Динамики слизи» пишет, к примеру, Антон Заньковский³.

Разумеется, я не говорю о прямом (обратном, взаимном), непосредственном влиянии перечисленных в предыдущих трех абзацах идей и персон на поэтику Юлия Гуголева. Но умные мысли, правда ж, приходят сразу во многие умные головы. И чувства, видимо, тоже.

Напомним: той самой примитивной, неприглядной, в каком-то смысле исходной, слабой и откровенной жизни Гуголев в стихах не избегал и не избегает. Изменилась символика образов. Их эсхатологический потенциал, если так можно сказать.

Как ни странно, такие перемены не только интересны, как интересна авторская динамика в принципе, но еще и весьма оптимистичны для читателя. Раз уж упомянули обэриутов, вспомним: их «веселье висельников», их выходки, «как в последний раз», предшествовали войне и были современниками террора. А когда есть возможность спокойного, трезвого взгляда на действительность, пусть взгляда и не слишком веселого, — так отчего бы такой возможностью не воспользоваться? В конце концов, «сколько на свете кромешного ужаса, /каждый решает сам», как написал Гуголев в прочитанной нами книге.

¹ Бен Вудард. Динамика слизи. — Пермь: Гиле Пресс. 2016 — 84 с.

² Алексей Бородин. Гадкая штука под названием жизнь. О книге Бена Вударда. — Сигма. 16 декабря 2016 г. <https://syg.ma/@alexey-borodkin/gadkaia-shtuka-pod-nazvaniem-zhizn-o-knighie-biena-vudara-dinamika-slizi-zarozhdeniie-mutatsiia-i-polzuchiest-zhizni>

³ Антон Заньковский. Онтологическая революция слизи. — «Логос», 2018, Т. 28, № 2.

Ольга Бугославская

Без анестезии

В конце восьмидесятых, когда вновь открыто заговорили о сталинском терроре, ожидалось, что общество ужаснется и предпримет все усилия к тому, чтобы обезопасить себя от подобных угроз в будущем. Но реакция была, как принято говорить, неоднозначной, никакого решительного осуждения не последовало. Теперь, спустя тридцать лет после распада СССР и шестьдесят пять — после XX съезда, сформировался запрос вовсе не на очищение и самозащиту, а на так называемое примирение со своим прошлым. Попытки такого примирения выражаются в нескольких расхожих идеях: жертв террора было не так уж и много, в основном советский народ жил вполне счастливо; не все жертвы были безвинны, многих наказали за дело; народ заплатил высокую цену, но зато построил индустриально развитую страну — и так далее. В литературе этот тренд проявился в целом ряде произведений, которые предлагают публике свои варианты утешения. То промелькнет мысль о том, какой прекрасной была идея воспитания нового человека и как интересны и сильны были люди, воплощавшие ее в жизнь (роман «Обитель»). То возникнет тема вины, которая якобы лежала на самих жертвах репрессий и настоятельно требовала искупления (роман «Авиатор»). То страшная жизнь в ссылке окажется всего лишь продолжением не менее страшной жизни в патриархальном доме (роман «Зулейха открывает глаза»). Большую роль в создании комфортного мифа о прошлом сыграла и старая-добрая сказка про «любовь, которая

преодолеет все преграды». Так что в целом картина сталинских лет получилась вовсе не безнадежной. Именно эта утешительная и духоподъемная нота во многом помогла снискать всем этим произведениям популярность. Недавно вышедший роман Виктора Ремизова «Вечная мерзлота» — книга совсем с другой полки. Автор не оставляет никакого места для приятных заблуждений и незаметного ухода в сторону.

Виктор Ремизов один из других разрушает успевшие укрепиться бастионы. Первый из них — представление о том, что сталинская власть была пусть и крайне жесткой, но зато сугубо рациональной и эффективной. Все события в романе разворачиваются на фоне грандиозного строительства Великой Сталинской Магистральной: «Полторы тысячи километров железной дороги предстояло проложить по Полярному кругу, соединяя Северный Урал с низовьями Енисея. Все ресурсы, вся тьма стройматериалов, техники, продуктов, еды, людей, конвоя для людей и надзирателей над людьми были расписаны народно-хозяйственными планами по годам, выделены и двигались, стекались со всей страны к месту назначения». В качестве рабочей силы использовались преимущественно заключенные. Стройка имела колоссальный размах и успела съесть огромный объем ресурсов и финансовых средств. Но погоня за показухой привела к тому, что строительство стало быстро превращаться в потемкинскую деревню, возводимую лично для вожда: «Ленточки разрезали, ура прокричали, шапки в воздух, в Москву рапорт: проложены первые километры по нехоженной тайге!.. Замерзли болота, сверху и положили! И ни один проектировщик никогда

не посмеет сказать правду». Сразу после смерти Сталина стройку сначала законсервировали, а потом полностью остановили и бросили. Иллюстрация весьма наглядна: система управления страной при диктаторском режиме постепенно настраивается на достижение одной-единственной цели: угодить тирану, и ее задачей становится имитация успехов.

Что же касается рационализации действий ОГПУ — НКВД — МГБ и внутренней политики Сталина, которая, собственно, и действует как успокоительное лекарство, то она рассмотрена в романе на двух уровнях: государственном и личном. От имени государства здесь говорит сотрудник органов. Его тезис хорошо известен и весьма популярен: в России иначе нельзя. Сталину «надо было управлять огромной страной! Необразованной, никогда не знавшей, что такое самодисциплина! Что такое ответственность за себя, за свое поведение! Страной, завистливой к чужому богатству, ленивой, живущей в грязи и впроголодь, совсем не знающей высокой культуры! Как только можно было ей управлять? Только страхом! Веками барин управлял розгами, и другого ничего русский мужик не знал и не хотел понимать! ...Хозяин, как опытный врач, вводил точечные дозы страха! В одну отрасль, в другую! Небольшие, чтобы не забывались!» По признанию того же спецслужбиста, держится такое устройство не столько на карательных органах, сколько на готовности большинства населения пожертвовать меньшинством «ради общего блага». Такое понимание вещей, ставка на дикость и отсталость порождают фатальный порочный круг: страна, толком не знавшая законов прежде и вновь управляемая с помощью грубой силы и страха, не развивается, а еще глубже погружается в беззаконие.

На персональном уровне реализация этой установки подробно описана на примере двух главных персонажей: отбывающего двадцатипятилетний срок геолога Георгия Горчакова и молодого енисейского капитана Александра Белова. Это, собственно, и есть те люди, управлять которыми, по мысли офицера МГБ, можно только розгами.

Горчаков — когда-то заслуженный геолог, доктор наук, а к моменту начала действия уже бывалый зэк, человек, внутренне сломленный и давно поставивший на себе крест. От внешних проявлений отчаяния его спасает

что-то вроде душевного наркоза, в который он смог сам себя погрузить. В Москве у него осталась семья — жена и двое сыновей. Будучи уверенным, что никогда больше не вернется на свободу, Горчаков принимает решение порвать все связи с родными и пишет жене письмо, в котором просит забыть о нем и по возможности выйти замуж за другого. Трижды судимый Горчаков свой первый срок получил, когда наверху решили, что свою порцию страха должны получить геологи — разработчики рудных месторождений в Норильске, которые буквально только что считались героями труда и авангардом строителей коммунизма. Совершенно произвольно была отобрана группа «вредителей», внутри этой группы так же произвольно были назначены «инициаторы» и «исполнители», а затем, как в лотерее, розданы приговоры — от десятилетних сроков до высшей меры. Горчаков в доверительном разговоре рассказывает об этом Белову: «— На суде меня назвали членом фашистской террористической организации и обвинили во вредительской деятельности по сокрытию месторождений полезных ископаемых. Всё обвинение держалось на показаниях одного человека, мы с ним даже не были знакомы. Он оговорил многих, на очной ставке ни говорить, ни стоять не мог, только кивал, его всего трясло — страшное было зрелище. ...Суд надо мной занял меньше десяти минут. ...Мне дали десять лет, а девять человек из шестнадцати были расстреляны. Расстрелянные ничем не отличались от приговоренных к срокам, я не знаю, почему убили именно их...»

Жизнь или смерть — орел или решка.

Но самый тяжелый груз в романе ложится на плечи второго главного персонажа — капитана речного буксира Сан Саныча Белова. С ним связаны две ключевые темы книги. Во-первых, его опыт позволяет показать читателю цену фатальных заблуждений и нежелания признавать очевидное. Работая на Енисее, встречая заключенных и ссыльных, зная об их судьбе, прямотдушный и наивный капитан Белов тем не менее долгое время остается верным сталинцем, верящим в гений вождя и величие его целей. Эту веру укрепляет высокая правительственная награда, врученная Белову в Москве. Все меняется, когда он сам оказывается в застенках тюрьмы, где его бесчеловечно унижают и пытаются, выколачивая признание в участии в выдуманном заговоре

и принуждая дать обвинительные показания на близких и дальних знакомых. «Вечная мерзлота» — трудное чтение. Автор погружает читателя в воссозданную им реальность и медленно проводит по всем кругам ада, через допросы, издевательства, угрозы, избияния и инквизиторские пытки, давая отчетливо понять и представить, как должен был внутренне меняться подвергавшийся всему этому живой человек. И главное — писатель не дает забыть о том, что и допросы, и пытки, и надругательства не преследовали никакой иной цели, кроме масштабной фальсификации. От верховной власти исходил запрос на разоблачение крупных заговоров — органы откликались и спешно надували еще один огромный пустой пузырь-симулякр. Пустой, но при этом пожирающий людей.

Во-вторых, история капитана Белова в качестве одного из элементов включает в себя архетипический фаустианский сюжет, хорошо помогающий осмыслить реальную жизнь сталинских времен. Белов проходит через отказ от сделки с дьяволом, то есть от сотрудничества с органами в качестве стукача. Этот отказ превращает его в объект особенно жестокого и мстительного преследования. Существенно, что к отказу он приходит через первоначальное согласие, продиктованное все той же наивностью и нежеланием признать черное черным. Он попадает в сеть незаметно для самого себя. Никакого отчетливого момента выбора в его жизни не было. Выбор между ролью доносчика и неминуемой гибелью встал перед героем романа позже, когда он уже был в лапах сатаны. В этом романе человек, сталкиваясь со злом, не видит всей картины, не отдает себе отчета, с чем имеет дело, и от этого его положение становится все страшнее и опаснее. Герои Виктора Ремизова часто оказываются в абсолютно безвыходном положении, когда нет большего и меньшего зла, когда беспросветное зло окружает их со всех сторон.

Теперь о спасительной любви и ее силе. Напомню: у Горчакова в Москве осталась жена с детьми. Белов влюбляется во француженку по имени Николь, которая по недоразумению оказалась среди ссыльных из Прибалтики. Обе женщины проявляют и настоящую любовь, и нечеловеческую стойкость, и героическую решительность. Но обе истории любви в романе — это трагедии. Из длинной череды

потрясений, потерь и несчастий все герои, и мужчины, и женщины, выходят настолько изломанными, обессиленными и искалеченными, что их финальное воссоединение выглядит робким проблеском счастья на фоне тотального торжества злого и упрямого абсурда над нормальной жизнью.

Действие романа охватывает последние годы сталинской эпохи. С нашей сегодняшней точки зрения может показаться, что людям тогда должно было потихоньку становиться легче, поскольку период террора подходил к концу. В романе же мы видим, что каждый день стоил кому-то жизни. Один из финальных эпизодов романа — кровавое подавление лагерного бунта: «И тут загрохотали пулеметы. Горчаков вздрогнул от неожиданности. Со стен лагерных бараков летела щепа, звенели и сыпались окна. Стреляли с вышек и с крыш домов дивизиона охраны... Пулеметы легко прошивали стены, людям было не спрятаться». Так что нет, легче не становилось. Тирания — такая болезнь, которая может только усиливаться.

Какой изображена в романе прижизненная судьба «врага народа»?

Человек, не только не виновный, но во многих случаях заслуженный, сделавший что-то для всех очень полезное и важное, выхватывается железными когтями из привычной жизни и отправляется в пыточную. Там из него выбивают признания собственной вины, а также показания на кого-то из знакомых или даже вовсе не знакомых ему людей: цепочка террора не должна прерываться. Его семья, даже оставшись на свободе, тоже оказывается в положении «врагов» со всеми вытекающими последствиями. Если обвиняемому везет, то пройдя через пытки и «суд», он отправляется не к стенке, а в заключение. Но условия заключения таковы, что живые подчас завидуют мертвым.

Какова же посмертная судьба такого человека, что о нем говорят и думают потомки?

А потомки либо тоже посматривают на него с подозрением, либо отворачиваются, либо искренне не замечают. Ради собственного спокойствия и сохранения позитивной картины мира новые поколения, глядя в прошлое, продолжают себе лгать. Но это уже проблема новых поколений. Однажды их взгляд в прошлое может оказаться взглядом в собственное будущее, а дальше — кому как повезет. Орёл или решка.

Дмитрий Артис

Жизнь в обратную сторону

Новое поколение авторов постепенно берет в руки формирование современного литературного процесса. Близкие к преклонным годам примеряют статус свадебных генералов. Пятидесяти-плюс-минус-летние отходят на задний план и, забившись в свои собственные миры, преимущественно с иронией наблюдают за суетливой жизнью молодых, обреченных стать в будущем такими же никому не нужными, как они сами. В лучшем случае, такими же, как сидящие во главе стола нынешние свадебные генералы, в общем-то, в силу возраста далекими от современной поэзии. Печально, конечно. Тем не менее все это жизнь, бесконечно повторяющая себя, копирующая порой не самое лучшее, но все же прекраснейшая, волнительная и для каждого из нас — единственная. А вот бы повернуть ее в обратную сторону. Стремиться не к будущему, а к прошлому.

Иван Купреянов — выпускник бауманки (2009), воспитанник литературной студии Елены Исаевой и Леонида Костюкова — вошел в пул «Журнального зала» с подборкой стихотворений в красноярском журнале «День и ночь» в 2015 году. В том же году был награжден литературной премией «За верность слову и Отечеству» имени Антона Дельвига, а уже в 2021 году как закрепление успешного продвижения в литературном пространстве у него вышла именная подборка стихотворений в журнале «Дружба народов». Стоит отметить также, что этим летом Иван был удостоен, наверное, самой престижной (и дорогой, что естественно) литературной премии для молодых авторов (до 35 лет) — «Лицей» имени Александра Пушкина. Успел вскочить

в последний вагон, что называется. В следующем году он уже не прошел бы даже в номинанты. По причине возраста.

С книгами все тоже очень хорошо — не частит, но и не отстает от коллег по цеху: «Априори» (2010), «Перед грозой» (2014) и «Стихотворения 2010-х» (2020). На последней книге хотелось бы остановиться чуть подробнее.

В комплиментарном предисловии Елена Исаева, зацепившись за первое предложение первого стихотворения книги — «Я — древность...», характеризует авторскую «мудрость» эпитетом «эмоциональная». Здесь я бы поспорил, чтобы хоть как-то увлечь читателя. Даже не с тем, что мудрость сама по себе скорее уравновешенна, выдержанна и спокойна — на грани снисходительности и холодности, чем «эмоциональна», а с тем, что вообще можно применить слово «мудрость» к автору, который в тридцатилетнем возрасте называет себя древностью. Впрочем, это не столько попытка придраться к Елене Исаевой, сколько желание отметить несочетаемость юношеского максимализма Ивана Купреянова. Именно он — юношеский максимализм — с недавних пор привлекает меня в авторах нового поколения. Наверное, потому что его очень мало. Устаешь от прокачанной продуманности, сегментации лирических текстов, будто авторы относятся к ним точно так же как «эффективные менеджеры» к продуктам рыночной экономики — заранее предполагают и просчитывают свою аудиторию. Лирика ведь на то и лирика, что она неподконтрольна разумению. Со всеми остальными эпитетами предисловия тысячу раз согласен, даже порой казалось, что Елена Исаева снимает их у меня с языка: «Нет "умственной запрограммированности" текстов, лишаящей их поэтического обаяния, есть свободное дыхание, несмотря на

Иван Купреянов. Стихотворения 2010-х: Стихотворения. — М.: Изд-во «У Никитских ворот», 2020.

сложную систему образов, легкую игру символами, говорящую о человеке начитанном и владеющем искусством разговора с собратьями по перу — в пробор, непринужденно...»

И это всё — притом что Иван Купреянов, как шепчут биографические справки, занимается еще и продюсированием: он один из основателей арт-проекта «Мужской голос», автор (совместно с Эдуардом Бояковым) серии спектаклей «Сезон стихов» на третьей сцене МХАТ им. Горького. Но в этом «продюсировании» мне видится все тот же юношеский максимализм и пока еще горячее желание быть на вершине литературного (да какого угодно!) процесса, нежели продуманность и расчетливость «эффективного менеджера». Чего греха таить, сам в годы своей безбашенной молодости занимался тем же. Каждому возрасту свои привязанности.

Совершенства не нужно. Смотри,
как прекрасна по-своему
на засохшую ветку надетая майка воды.

Прекрасно, по-моему, да?

Книга «Стихотворения 2010-х» — это почти двести страниц плотных текстов, с кондачка не осилишь. Есть перебор и неумение автора отфильтровывать лишнее. К слову сказать, было бы лучше, если бы год в названии был написан словами, а не цифрами. Цифры — удел бухгалтеров, сводящих дебет с кредитом. В словах было бы больше лирической составляющей, показывающей попытку преодоления условного рубежа и авторское желание выйти на новый этап, уровень... Подведение итогов, а не выступление на отчетно-выборном собрании.

В безымянные воды плывёт именной
теплоход —
просто мысль, метафора,
запись в моём дневнике.

Стихи датированы: число, месяц, год. Дневниковое построение книги. Только не от прошлого к настоящему, а, наоборот, от настоящего к прошлому. Жизнь в обратную сторону. От автора, которого мы видим сейчас, к автору, который был на десять лет моложе.

Кто не понял, уже ничего не поймёт.
Кто нам выстроит прошлое, если не сами?

Сейчас: разговор о себе через местоимение «я», порой даже «мы» — от лица всех. Всё тот же нескончаемый юношеский максимализм и подача авторского «я» как центра вселенной. Десять лет назад: рассказ о себе через местоимение «ты», будто обращаясь к кому-то другому, рассказывая о ком-то другом:

Настаёт расставаться момент.
Обнимаешься с каждым.
Обещаешь увидеться и не жалеешь похвал.
Говоришь, говоришь, говоришь.
Говоришь аж до жажды.
А потом понимаешь, что кто-то тебя обокрал...

Получается, что на сегодняшнем этапе у Ивана Купреянова появилось больше смелости. Исчезла мальчуковая стеснительность. Уже не прикрывается вымышленным персонажем — каким-нибудь Карлсоном, который умер, или Бобо, которая мертва, — когда говорит о наболевшем. Это, пожалуй, самая важная и значительная деталь, если отмечать взросление автора. Опять же, есть страх, что уже близко к перебору, что автор в скором времени начнет «загоняться», но будем надеяться, что этого не случится.

Карлсон умер. Сегодня хороним.
Озорной человек-вертолёт.
Карлсон умер, какая ирония:
тот, который на крыше — живёт.
/.../

Самолёт в небесах над погостом
тянет белую-белую нить.
Да. Спокойствие, только спокойствие,
как любил кое-кто говорить.

В остальном, как мне показалось, стихи за десятилетний период одинаково ровные, обаятельны, чисты и наполнены. Детальность, близкая к прозаическому повествованию, восхищает. Множество отсылок и неявных намеков на классические образцы отечественной да и мировой литературы.

То ерунду выдавали замуж,
то хоронили постмодернизм.

Мир, который видит автор и в котором автор живет, богат на предметы, события, персонажи. Лишен повторений. Дыхание текстов глубокое, даже можно сказать, глубин-

ное. Общее настроение: разговор по душам после очередной рюмки на брудершафт со случайным попутчиком. Автор не садится на вдруг понравившийся звук и не пляшет от него (или за ним), как многие сейчас любят. Все больше по существу, по делу, без «вокруг да около». Хотя «вокруг да около» тоже хватает, но это, скорее, относится к «экспозиции», к декорациям текстов, к антуражу, в котором были бы понятны передаваемые читателю мысли, эмоции, чувства.

Стихи предполагают читателя. Но здесь не

сегментация аудитории, о которой я говорил чуть выше. Другое. Адресность, подкрепленная точной датой, будто тем самым дающая ключ к расшифровке имени человека или события, которые вызвали к жизни то или иное стихотворение. К примеру, в апрельских текстах обязательно встретим Гагарина, как дань Дню космонавтики. Даты видятся мне финальной точкой каждого стихотворения. А если опираться на построение книги — «жизнь в обратную сторону», — то зачином.

Дмитрий Стахов

Мемуары романиста

Практически каждый писатель в какой-то момент творческой карьеры испытывает желание поделиться с читателем своим опытом. Тем, что видел, что слышал, что пережил. Историей семьи, тем, что происходило с родственниками. Собственно, такое желание свойственно очень многим. Кто-то ограничивается лапидарными байками под рюмочку, кто-то и в самом деле исписывает сотни страниц тем, что невозможно читать. Писателю же проще — в силу своей профессиональной оснащённости — сделать это так, чтобы вызвать интерес у читателя.

Конечно, делился он и прежде, в прозе: «рассказ автобиографичен», «роман основан на реальных событиях, произошедших с автором в 18.. году, в Баден-Бадене». Иногда делал он это подсознательно; даже как бы против воли в его текстах, романах и повестях проявлялись воспоминания прошлого, скрытые мотивы, потаенные желания. Проявлялись через устойчивые образы, характеры. Иногда, не лукавя, писатель искренне удивляется, если кто-то указывает на

отчетливую связь между персонажем его романа и, скажем, его двоюродным братом, известным автогонщиком, химиком, бизнесменом.

Авто-фикшн — отнесем подобные писательские мемуары к этому жанру, но на термине вовсе не настаиваем, — вызывает особый интерес как у читателей, так и у критиков. Особенно если повествование преимущественно посвящено детству и юности. Становлению личности.

Таковы «Секретики» Петра Алешковского. Именно — «секретики». Больших секретов — а они несомненно, как у всех, имеются, — Алешковский не раскрывает.

Опыт у многих читателей «Секретиков» совпадает с опытом Алешковского. Не буквально, конечно. Ясли, детсад, школа, пионерский галстук, первая любовь, неуспеваемость по физкультуре. Нам любопытно, что и как происходило у тех, кто тоже прошел эти ступени. Мы соотносим наш опыт с похожим опытом человека известного, владеющего словом, писателя.

Автобиографическая проза обладающих опытом другим — даже если она представляет собой точное и четкое, без вымысла, изложение событий, — нечто иное. Если же говорить об

опыте уникальном, можно сказать — экстремальном, — то он воспринимается всегда как художественная проза, причем эффект её усиливается при возрастании простоты изложения, как минимум внешней бесхитростности. Поэтому воспоминания воспитанного волками или автобиографическая проза Ежи Косинского (вот уж у кого экстрим так экстрим) — совершенно иной жанр. И — возможно, это будет совсем банальным утверждением, — но чем интереснее писатель, чем образнее его язык и чем сильнее его романический дар, тем сильнее и глубже будут его мемуары.

Вот только важно отметить — с автобиографической прозой последнее время что-то происходит. Она захватывает всё большее пространство. Нон-фикшн, куда автобиографическое формально можно включить, теснит фикшн. Причем на фоне сжимания фикшн нон втягивает в себя близкие жанры, прорастает в те, где раньше царствовал вымысел. Хотя следует иметь в виду, что проверить авто-автора на правдивость чаще всего не представляется возможным. Да и не нужно. Даже если он вольно обращается с широко известными фактами, главное, чтобы делал это красиво. Такому прощаются неточности.

Собственно, «Секретики» — это подробное описание детства и отрочества, пришедшихся на 60–70-е годы прошлого века и бывших для автора исключительно безмятежными и счастливыми. Детали иногда даны с легкой иронией. Например, мемуарист пишет о своем рождении, упоминая особый шик факта появления на свет в знаменитом роддоме им. Грауэрмана на Арбате, где в те годы — в конце 1950-х — родилось подавляющее большинство нынешних московских знаменитостей (не пора ли выдавать ордена «Рождённый на Арбате» как минимум нескольких степеней), и отмечает, что присоединиться к соискателям ордена ему не удалось — его рожали на Пироговке. Или пишет о том, как его укладывали спать в коляске, стоящей во дворе Третьяковской галереи (где работали дед и бабушка, искусствоведы), и в коляску залезал местный кот, громким мяуканьем сообщавший, что ребёнка следует перепеленать. Дальнейшее, наполняясь собственными ощущениями и видением, позволяет автору сделать вывод, что «детство — наш потерянный рай, лишенный одной из главных составляющих времени — прошлого, которое незаметно, но упорно

наполняет кладовые памяти». И что мы, «повзрослев, обретаем прошлое <...> Без такого осмысления невозможно по-настоящему научиться страдать и противостоять страданию».

Свои «Секретики» Алешковский наполняет предельно точными, живописными деталями. Всё, что он описывает, выпукло, зримо, главное, — со знанием дела. Почему-то вспоминается сильная вещь Алешковского «Жизнеописание хорька», где детали жизни странного, пугающего персонажа даны с такой подробностью, что начинаешь думать — автор не просто знает то, о чем пишет, он в этом живет, его знание сопряжено с действием. Так и в «Секретиках». Алешковский пишет о грибах, и читатель понимает — это не городской собиратель, сомневающийся над каждым грибом, — не ядовитый ли? Автор видит и знает цветы, птиц, деревья, чувствует природу, а это в наше время становится редкостью; знание, почерпнутое посредством идентификации снимка в смартфоне — не в счет. Причем знание автора демонстрируется не напоказ, он никак не стремится поставить себя над читателем. Поэтому в тех местах, где мемуарист пишет о древних рукописях, археологических находках и археологии как таковой, о рыцарских доспехах и оружии — это отдельная страсть автора, — он, обладающий профессиональным знанием, выстраивает отношения с читателем на равных. Хотя профессиональный археолог, в «мемуарном» времени ездивший в археологические экспедиции, вполне мог встать в позицию ментора. Однако повторим: складывается впечатление, что подлинных секретов, глубинных, оказавших формирующее личностное влияние, в книге нет.

Там же, среди секретиков, и внутренний протест против занятий музыкой, когда, уступив настояниям отца (это очень трогательный образ в тексте), будущий мемуарист идет на прослушивание к отцовскому другу, музыканту и композитору — на самом деле он ни за что не хотел бы променять жизнь во дворе на каждодневные занятия виолончелью: «Мы до одурения резались в пинг-понг...»

Повторим, что секретов глубинных, оказавших формирующее влияние, в книге нет. Возможно, потому что автор не ставил перед собой такой задачи — поделиться потаенным, а возможно, потому что Алешковский просто более закрытый человек, чем другие мемуаристы.

Впрочем, того, что «рассекречено», по Алешковскому, достаточно. Там ровно столько, сколько в игре в секреттики, ныне, видимо, канувшего в Лету занятия по созданию коллажа из накрытых кусочком стекла важных предметов, расположенных в одном из закладчиков известном месте, тщательно при этом замаскированном.

Иногда память подводит Алешковского. Хронология сбивается. Вот он описывает экскурсию с классом в Петрищево. «Подвигами пионеров-героев нас так перекормили, что все их терпеть не могли. <...> Под дождем со снегом около петрищевского монумента было скучно и неуютно, про подвиг Зои все уже тысячу раз слышали и читали в учебнике. Мы переминались с ноги на ногу и тихонечко пели: *"Hey, teachers, leave those kids alone!"*» Знакомое очень многим состояние, особенно прошедшим испытания идеологизированной советской школой. Вот только действие происходит в начале 1970-х, за несколько лет до того, как Роджер Уотерс из Pink Floyd начал в 1976 году работать над этой песней (*Another Brick in the Wall*, точнее — второй её частью) для знаменитого диска *The Wall*, выпущенного в 1979 году.

Но далее Алешковский своеобразно это компенсирует. Он описывает, как школьники выпивают припрятанное спиртное, как один из них чуть не замерзает насмерть, как его, пьяного, лупцует по щекам испугавшаяся учительница, и рассказывает, что упившийся почти до смерти школьник в будущем выигрывал олимпиады по математике и физике, окончил МИФИ, защитил в двадцать три года кандидатскую диссертацию, но все-таки спился в тридцать лет с небольшим. Такие неуправляемые гении были в друзьях, знакомых, одноклассниках у многих.

Вот этот прием — передать известное многим через собственный уникальный опыт — удается Алешковскому блестяще. Как в случае со Шведом (тот самый любящий выпить одноклассник), так и в истории с другим соучеником автора по кличке Киска, сыном полковника милиции, ставшим фарцовщиком. Алешковский как бы пробуждает память читателя, что особо ценно в мемуарной литературе.

По мере взросления автора пинг-понг во дворе и школьные проблемы уходят в сторону. Необычайно трогательно, личностно звучат страницы, посвященные болезни отца и его смерти, но дальше юноша уже занимается

практически взрослыми делами. По примеру многих родных увлекается археологией. Его описания внешне просты, но зримы, осязаемы для читателя: «Кроме бесконечных грузиков и тонны черепков грубой лепной керамики, мы нашли на городище фигурку рыбы с симпатичными губками, вырезанную из берцовой кости быка. Кость, как водится, была полая, так что рыба получилась с широко открытым ртом. Но больше мне запомнились ночные купания в Москве-реке, шатания по Бронницам, огромная церковь с высоченной колокольней на въезде и надгробие декабриста Ивана Пущина в церковной ограде. Мы любили пройти через весь вытянутый вдоль Рязанского шоссе город, чтобы потом возвратиться в лагерь на позднем автобусе».

Книга завершается окончанием школы и описанием смерти отца, попавшего под поезд: из-за, к сожалению, обычного для советского времени отношения к людям он был отпущен без необходимых для него лекарств из больницы, где лежал в состоянии тяжелой депрессии (больница закрывалась на ремонт). Дальше у автора-героя другая жизнь, университет, другие друзья и обстоятельства.

Конечно, нон-фикшн побеждает. Конечно, визуальность так же идет впереди. А тут еще аудио-книги... Вспоминается эпизод из одного очень хорошего фильма: «Судя по твоим поступкам, ты не читал Библию! — Не читал. Я жду экранизацию!» Неизвестно, как экранизировать подобные книги воспоминаний. Однако очевидно — когда они написаны хорошим писателем, получается хорошо: «Если посмотреть на солнце или на лампочку, а потом сильно зажмуриться, перед глазами остается яркое оранжевое пятно. Оно постепенно растворяется в темноте, но никогда не истает до конца. Я люблю перед сном, закрыв глаза, следить за исчезновением оранжевого круга, высматривать в черноте оставшуюся от него светлую точку. След той школьной любви хранится в моей памяти и не угасает, как и все секреттики, что я попытался здесь откопать и раскрыть, начиная с грибной молитвы — первого моего потрясения от невероятного чуда жизни. Возможно, я переложил ярких безделушек и переборщил с серебряным дождем (меня всегда тянуло на дешевые эффекты). В конце-то концов, мы делали их не только для себя, но и для всех, кто станет их рассматривать. Мне и теперь кажется, что это в них было самым главным».

Геннадий Кацов

«менестреляный воробей...»¹

Поэтическая книга Александра Габриэля «Чёт и вычет», шестая по счету в его библиографии, сочетает в себе несочетаемое (вычет) и находится одновременно в нескольких актуальных средах/мирах (чёт). Если провести аналогию с точными науками, то в физике это называется «корпускулярно-волновой дуализм», едва речь заходит о квантовой механике. В нашем случае речь не идет о многоплановости и многожанровости, полистилистике и полифонии, метафорике, физике и лирике в поэзии Габриэля. Вернее, так: это характерные, «козырные» и узнаваемые ее черты, что еще до меня критиками и литературоведами отмечено, но поскольку мы здесь — о конкретной книге, то речь не только об этом.

Настоящий сборник — некий итог, избранное в масштабе четырех последних лет жизни. Они отмечены автором текстами, в которых высказаны не столько какие-то конкретные события, обстоятельства и вехи, сколько переживания, впечатления, мысли и настроения, им сопутствовавшие. Читая в фейсбуке регулярно выставляемые Габриэлем одиночные стихотворения, я воспринимал его нередко как поэта сатирического, даже юмористического. Однако, ознакомившись с корпусом его текстов одновременно, пришел к выводу, что автор скорее поэт трагический, а характерный сарказм — от осознания всей глубины трагедии, которую цивилизация сегодня переживает.

Александр Габриэль. Чёт и вычет: Стихотворения 2017—2021 гг. — М.: Изд-во «Формаслов», 2021.

¹ Из стихотворения А. Габриэля «Воробьи и люди». В дальнейшем все приведенные цитаты — из сборника «Чёт и вычет».

Свое недокричав и недоколобродив,
в азарте не успев нажать на тормоза,
нестройная толпа голосовавших «против»
разгромлена толпой голосовавших «за».

В названии — 2017—2021 годы, хотя последний еще длится. Александр Габриэль живет в США, в массачусетском Бостоне, с 1997 года. Если на виртуальную чашу весов положить предшествовавшие 2017-му двадцать лет, а на другую — последние четыре американских года, то еще неизвестно, какая чаша перевесит — по накалу страстей, поляризации социума и предчувствиям гражданской войны. Напомню, что 20 января 2017-го — день инаугурации 45-го президента, которого ненавидела половина Америки, а 20 января 2021-го — день инаугурации 46-го президента, кого не переносит вторая половина. Плюс нарастающее напряжение между этими датами.

Ни того президента, ни другого в книге «Чёт и вычет» вы не встретите. Но те или иные знаки исторической четырехлетки разбросаны по строчкам, а на реальных опасениях, летальных предчувствиях, парадоксах и вывихах настоящего времени, со всеми муками, которые они нам несут, эти строки настояны.

Габриэль известен четкой позицией по части нынешних катастроф в США — пандемия, импичменты, расовые «мирные протесты» летом и ранней осенью 2020 года, — и он нередко выступает как политический и социальный аналитик на своей странице в фейсбуке. Так что все те беды, с которыми столкнулась страна (и он, ее гражданин-поэт) за эти четыре года, не могли не отразиться в его поэтических текстах — и в самом интонационном строе стихотворений, в их пессимистических, в основном, настроениях. И в их проблематике, с соответствующими

аллитеративными, напрягающими слух, не дающими расслабиться, рядами; и сплошь и рядом безальтернативными сюжетами.

И ты, и я — мы персонажи Босха
с его картины «Двадцать первый век».

Казалось бы, ничего необычного в этом нет — социальная лирика, высокого литературного градуса лирика гражданская, с определенным риском для пишущего впасть в пафос, которого автор избегает, ограждаясь где сарказмом, а где иронией, — кабы не важная биографическая справка: Александр Габриэль родился и до эмиграции больше тридцати лет прожил в Минске, столице Белорусской ССР — советской республики со всеми типичными для отношений союзных республик и Центра проблемами, возвращенными политикой имперского превосходства метрополии в ее отношениях с «младшими братьями», включая проблему национальной идентификации, дискриминацию, неравноправие в репрезентации русскоязычной культуры и культур других народов и прочие «параколониалистские» практики. Москва и после распада империи считает это пространство зоной своих интересов.

Верь лишь тому, что скажет диктор
в «Новостях»,
пока для всех — от землепашца до бомонда —
идёт концерт ансамбля танца
на костях
ещё не втоптанного в землю генофонда.

Стихотворение называется — «Беларуси».

Оказалось, опыт проживания в тех, советских, условиях помогает понять, что происходит сегодня в погрузившихся в политкорректность США, с их темой репараций чернокожему населению, которое наравне с индейцами, коренными жителями, рассматривается сегодня как колонизированное. По логике либеральных кругов белые работодатели и рабовладельцы и их потомки должны за это ответить. Белые — *должны*. История и настоящее, рассматриваемые через эту призму вины (если вернуться к сравнению с Россией — вины и коллективной ответственности всех русских перед народами бывшего СССР), предстают с непредставимым ранее искажением.

И смотряся в небо набрякшие веки могил,
ответы потеряны в майской улыбчивой сини...
Прими же вину на себя, как в теракте — ИГИЛ
(закон заставляет сказать: запрещённый
в России).

Из такой предпосылки сегодня прорастают и прочие цветы зла: ложные науки, вроде этноматематики; убого-вульгарные взгляды на справедливость и равноправие; унижающие журналистику фейк-ньюс; однобокость при подходе к первой поправке к Конституции США; попытки обвинить, унизить большинство, навязав ему чувство вины по отношению к безупречным меньшинствам... Ощущение конца здравомыслия, формальной логики, света — один из основных мотивов этой книги Габриэля.

Слово будет в конце — и бесстрастно уйдет
в тишину,
открывая страницу в науке апокалипстик.

Для поэта-лирика немалый риск — отход в сторону внешних, казалось бы, малых и больших трагедий, но весь поэтический строй книги «Чёт и вычет» убеждает, что и эти темы могут быть интимными, если не сказать глубже — исповедальными.

Уже вполне вероятно, что нынешнее поколение американских людей будет жить при таком либерализме, что мало не покажется. Оснований так думать предостаточно, ведь история повторяется, и расклад сил в США напоминает бунт городов против системы феодальных отношений в Средневековье. И как в свое время в Англии «овцы съели людей» (у Габриэля: «И доподлинно известно: где когда-то жили люди —/ игроки, фанаты квеста, подсудимые и судьи,/ солдафоны и толстовцы изливали жёлчь и душу —/ там сегодня блеют овцы, доедая волчью тушу...»), так и в современной западной экономике крупные корпорации постепенно выигрывают конкуренцию у мелких бизнесов, а средний класс нищат с перспективой исчезнуть совсем. Все это сплетается в один клубок с пандемией, расовыми и гендерными проблемами, естественно, отцов-детей, бедных-богатых, умных-дураков и т.д. И если поэту удастся все это объемно увидеть и осознать, поняв корень проблемы и пропустив ее через свои поэтические интуиции, то это — невероятная

историзма либо американского нынешнего
ситуационизма, судите сами:

Жизнь, по сути, как жизнь. Но сварганена
слишком пресно.
Описать на бумаге — и скучно, мой друг,
и просто.
Не хватает безумного вуду из Порт-о-Пренса
и размашистых ярких рифмовок
из «Окон РОСТа».

Позабыв о проросшем в миндалины
чувстве меры,
по земле-кабаре словно Лайза б лететь,
Минелли.
И, придумав новейшую письменность,
как шумеры,
окончательно выйти из гоголевской «Шинели».

Выплывать изо всех берегов, изменяя русло,
чтоб спадала с души привычивость,
как короста.
Чтоб романы, которые пишешь,
затмили Пруста.
Чтоб поэмы, которые пишешь,
затмили Фроста.

Но куда — взамен Грета Тунберг
и рэпер Хаски,
и потрёпанный бриг еле входит
в проливчик узкий...
До чего же ты, Оле-Лукойе, горазд на сказки!
Всё бы слушал тебя да пил,
обходясь без закуски.

Остаётся мечтать. И, по слухам —
весьма недолго:
не сулит ничего хорошего бабка Ванга...
И доносит легко свои тёмные воды Волга
до тебя, рядового сотрудника «Абырвалга».

Еще одна абберрация: сотрудник «Абырвалга»,
в контексте книги Габриэля, волею
разыгравшегося воображения воспринимается
уже как работник Абырвалага. Почти незаметная
глазу перестановка букв — и читатель
оказывается в одном из лагерей ГУЛАГА.
Простите за капслок. И за столь мрачное
путешествие во времени.

Закрыв книгу Александра Габриэля, можно
только догадываться, кто в результате победит
в игре («чёт» или «вычет»), где, с одной
стороны, правила определяет поэт, а с другой —
в роли судьи выступает государство.

И самое отвратительное, если «победит
дружба».

Похоже, автор так не считает, поэтому в
завершающем книгу стихотворении «Музыка»
заключительные строки наводят на мысль
о лучшем:

И неважно, какой нынче день или год
и какое столетье, пока неустанно
поднимаются ввысь иероглифы нот
по причудливой лесенке нотного стана.

Александр Евсюков

Билингва любви и отчаяния

«Краешек этой нити зарыт здесь, детка.
Куда бы они ни поехали, как бы ни запутались,
все равно вернуться», — так утешает и
напутствует свою грустившую о родителях
внучку дед на первой странице этой книги, в
рассказе «Последний ремонт». Эти слова на-

писаны по-армянски, и эта нить фантомной
боли проходит сквозь все дальнейшие исто-
рии, которые образно и увлеченно рассказыва-
ет нам молодая писательница, фотограф и
переводчица Сати Овакимян.

«Последний ремонт» — страстное проща-
ние с Арменией как со страной детства, сокро-
вищницей родного языка, эпилог одной жиз-
ни и одновременно пролог следующей. Аллю-

Сати Овакимян. «Созвездие эмигранта»: сборник рассказов. — М.: Формаслов, 2020.

зии к ветхозаветному Эдемскому саду здесь, конечно, не случайны: «Крошечный, размером с ладошку, садик на задворках с парой-тройкой фруктовых деревьев, виноградных лоз и цветов — точная копия рая». Да, там не всегда были райские отношения, но даже когда «бабушка называла меня „дурехой“, я, не понимая смысла слова, наполнялась теплом и радостью». Зияющий эмоциональный контраст подчеркнут параллельностью двух времен действия: *раньше и сейчас*. Человеческими руками, управляющими неумолимой техникой, рушится эта миниатюрная копия рая, и вернуться туда при всем желании уже невозможно.

А дальше начинаются эмигрантские сюжеты, знакомые автору не понаслышке. «Кто я?» — спрашивает себя героиня и тут же отвечает: «Обычный эмигрант, начинающий писатель, посылающий свои рассказы в бесчисленные редакции и ожидающий спасательного круга от эфемерного издателя». Разумеется, далеко не все герои и героини сборника — писатели, но многие из них столь же наблюдательны, остры на язык и при этом обладают тонкой душевной организацией. Впрочем, сюжет — при явном умении его убедительно выстроить — для Сати Овакимян не всегда самое главное. Порой куда важнее оказывается жизнь души, приоткрытая через моментальные, но глубокие впечатления, через обновления привычных нам наблюдений с помощью иной оптики (как, например, в рассказе «Эмигрантка»). Здесь перед нами оказывается другая Москва, только что увиденная влюбленными глазами, полными боли, и именно такой будто бы впервые запечатленная.

Рассказ-судьба, рассказ-случай, рассказ-характер и рассказ-анекдот — таковы варианты малого жанра прозы по классификации одного из лучших специалистов-практиков в этой области Василия Шукшина. Если принять именно ее, то пока писательница больше всего тяготеет к яркому случаю или же к анекдоту. Случаи в рассказах «Дела сердечные», «Хлеб насущный» или «Дни в шейнике» по существу гораздо более серьезны, но и в них едва уловимо проскальзывает авторская ирония. Другие истории, такие, как «Попрошайка», «Любовь» или «Формула счастья» более анекдотичны по своей фабуле, однако благодаря

всего нескольким точным штрихам они приобретают черты притчи.

Вот новый «Нос» — казалось бы, какая самонадеянность после шедевров Гоголя и Акутагавы употреблять то же самое название! Но Сати Овакимян удается найти и свой убедительный ракурс, и свою тему. Или «Созвездие эмигранта» (впервые опубликованное в «Дружбе народов»¹) — заглавный и самый большой рассказ, который занимает без малого четверть книги. При этом в нем, помимо того самого умения выстроить сюжет, сконцентрирован энергетический потенциал целого романа. Здесь обозначена глубокая социальная проблематика, выраженная смешением натуралистичных подробностей, детективной и любовной линий. Вынужденное лицемерие оправдывает изощренную жестокость, а осознанный контраст утонченной лиричности с грубой физиологией только усиливает произведенный эффект.

Складывающиеся в единый ряд короткие рассказы Сати Овакимян — самобытное продолжение традиции европейского экзистенциализма. Выхваченные острым пристальным взглядом, самые болевые точки современной жизни раскрываются через драматичные ситуации. Это многослойные произведения, внимательно читая или перечитывая которые, обнаруживаешь дополнительные смысловые измерения, неожиданные переключки и аллюзии. Символов здесь также немало, однако символизм в этих рассказах, как правило, не кажется нарочитым, не выпирает из текста, а естественно произрастает из ситуаций и переживаний.

«Биограф красоты, летописец ощущений, Сати создает текст как горельефную эмблему преизбыточного мира, переполненного штучными деталями. В ее рассказах читатель живет полнокровными чувствами, дышит, радуясь картинам ее щедрого кино», — справедливо отмечает прозаик и редактор Елена Черникова. В самом деле, это редкая книга — такие вещи точно не пишутся в теплостудном состоянии с самодовольным профессионализмом. А рождаются они только у человека с наэлектризованными нервами и с упрямой верой в волшебную способность настоящего, неподдельного творчества поменять чью-то жизнь.

¹ См.: «ДН», 2019, № 9.

Эту книгу можно назвать редкой еще и потому, что она написана автором сразу на двух языках. Таким образом, кроме фактической эмиграции персонажей на наших глазах происходит также лингвистическая эмиграция из одного языка в другой. Два финальных рассказа уже не переводные — они созданы сразу на русском. При этом отмечу, что «Обертон одиночества» тематически ближе к предыдущим историям, написанным по-армянски, а вот «Без любви» освещает ту самую новую карантинную ситуацию, в которой мы вместе со всей планетой оказались в прошедшем году.

«Без любви» показывает нам ситуацию пограничья, сюрреализма, видений и снов более реальных, чем явь с надломом внутри, когда счет дней потерян, а карантин уже кажется дурной бесконечностью. «Когда пятеро взрослых и один малолетний встречаются вечером, после работы — это ничего, но сейчас мы вынуждены видеть друг друга с утра до ночи, днем и вечером, каждую минуту, секунду встречаться взглядами, слышать, взрываться, орать, ненавидеть и показывать свое отношение друг к другу. Я хочу ускорить это чертово время, хочу утопить все маски, павильоны новостей, откуда бесконечно передаются слова „карантин“, „пандемия“, „коронавирус“».

Один из важнейших сквозных образов всей книги — голубь (вновь отсылка к Библии) — намертво впечатывается в память именно в финальном рассказе. И какая отчетливая закольцованность композиции: бескрылая курица, запеченная в первый день карантина, — и крылатый голубь, который прилетает как добрый вестник к окну героини и тоже оказывается отнюдь не в безопасности!

Творчество кажется последним прибежищем и спасением. Иллюзорным ли или же настоящим — нам, увы, не дано знать заранее. «Я продолжаю писать. Литература — самый приятный наркотик, оправдывающий существование таких самоизолированных, как я. Наша жизнь находится на грани снов. Это немного страшит, так как сейчас на нашей планете все до единого видят один и тот же сон. Это как если в темном зале кинотеатра включить фильм определенного жанра и заставить всех смотреть именно этот фильм. Я так и не полюбила кино. Моя любовь — театр, порывистый и искренний, без лживых монтажей, сцен, снятых общим, средним и крупным планом», — очевидно, что это признание не только героини, но и автора (кстати, театроведа по образованию). Искренний порыв оживляет каждый, даже самый короткий из ее рассказов. Вместе же рассказы создают цикл ярких осколочных изображений, так что жанр всей книги я бы определил как «повесть-мозаику», посвященную сладостным мытарствам и горьким обретениям.

«...Еще много всего предстоит сделать», — таковы последние слова в этой книге. Но, определенно, не последние в творчестве Сати Овакимян. И я не сомневаюсь, что благодаря многогранному таланту, упорству и пристальному вниманию как к сокровенным особенностям внутреннего мира, так и к наиболее важным тенденциям мира внешнего, многие ее интереснейшие творческие открытия ожидают нас в будущем. Возможно, уже в самом скором.

Борис Минаев

Куклы Резо, или Проблема снятия

Тбилиси вспоминается как какой-то сон.

Ходил по городу как зачарованный, смотрел в старых районах практически на руины, но при том совершенно живые, очаровательные, полные загадок и тайн. Хотелось прикоснуться буквально к каждому камню, каждой трещине в стенах с облупившейся штукатуркой. Потом были новые открытия — мы проехали Кахетию, отправились в горы... Я почему-то все время думал о том, что и природа соразмерна и созвучна старому Тбилиси — город словно вырастал из грузинского языка, из природного ландшафта, из характера нации, я такого вообще нигде прежде не видел.

Особенно усилилось это чувство, когда мы добрались до театра марионеток Резо Габриадзе.

...Удивительным показалось, кстати, что сами тбилисцы не очень-то представляли, где находится театр Резо. Башню с куклами знали, часы знали, а вот про театр — нет. Переспрашивали, отправляли нас в драматический имени Руставели, пожимали плечами, хотя мы стояли в ста метрах. К тому моменту театр Габриадзе находился на Шавтели, 13 — уже больше двадцати лет. Но для Тбилиси он был слишком новым, еще непривычным. Тбилисцы продолжали жить в своем *мысленном*, воображаемом Тбилиси, где у улиц по-прежнему старые названия и *ничего плохого* еще не случилось.

Зная, вероятно, об этой черте горожан: жить в своем мысленном Тбилиси (он, кутаисец, правда, и сам был таким), — Резо выстроил вокруг своего маленького театра целую инфраструктуру, наставил опознавательных знаков. Кафе с удивительным интерьером (кстати, в Москве тоже есть кафе с интерьером, который Резо оформлял лично, своими рисунками и инсталляциями), волшебная башня странной витиеватой конструкции, как будто вылепленная ребенком из пластилина, на ней крутятся его персонажи, бьют волшебные часы с золотым ангелом — все это должно притягивать вас сюда. Вокруг башни всегда собираются люди с детьми, но вот, поди ж ты, многие так и не замечают, что тут же, совсем рядом, в маленьком подвальчике находится театр.

Все, что тут им сделано, обладает этим качеством скрытности, запретности, тайны, как в детской сказке, как в театре Буратино, за маленькой волшебной дверью в стене.

Совсем иначе было в Москве. В 90-е и нулевые годы спектакли театра марионеток Резо Габриадзе становились оглушительными сенсациями, на них невозможно было попасть. Люди готовы были платить страшные деньги, стоять в очередях (в наше-то время), чтобы увидеть эти почти «детские» кукольные спектакли. Если бы театр Габриадзе располагался в Москве, билеты, я уверен, пришлось бы покупать за год, за два, не меньше.

Мне кажется, Резо имел все возможности перенести свой театр в Москву. Но не стал. Напротив, — он распорядился так, чтобы гастроли театра всегда оставались чудом, волшебным подарком. И никогда не превращались в рутину.

Вообще для всех нас это было важно не только эстетически. В любви интеллигентных москвичей к Габриадзе выражалась, конечно, и какая-то форма протеста. Внутреннего, невысказанного протеста против новой агрессивной и страшной эпохи разрыва. Помню, как в августе 2008-го мы с женой были потрясены обрушившейся на нас из всех эфиров грубой антигрузинской пропагандой, самим фактом войны, самой истерикой войны — и не нашли ничего лучшего, чем пойти в старый грузинский ресторан, что-то ели, довольно свирепо, а потом вдруг заиграли на сцене «Сулико», и это был, конечно, горький обед — обед сквозь слезы отчаяния. Еда была горькой, а слезы сладкими.

Габриадзе всегда как-то по-своему отвечал на эту боль разрыва. Он ее очень чувствовал.

В работе он был, насколько мне известно, человеком крайне упорным, дотошным, скрупулезным, и поскольку речь шла о вещах воистину «ручной работы»: куклах, рисунках, декорациях, фильмах, — то «вылизывал» каждую мелочь, доводя своих сотрудников порой почти до бунта. Но именно эта тщательность давала потом ощущение легкости, беззаботной импровизации, гениальной случайности.

Была в его популярности еще одна особенность, которая редко артикулировалась. Габриадзе, мне кажется, был первым, если можно так сказать, «грузинским грузином», который стал настолько популярен в Москве и вообще в России. Людей с грузинскими корнями и фамилиями здесь всегда было немало, но одно дело, например, Булат Окуджава, который даже на родном языке-то не говорил. Или Данелия, — снимавший чудесные фильмы о Грузии, о грузинском характере (кстати, по сценариям Габриадзе) — но все-таки и он всегда оставался «московским грузином», все его корни были в русской культуре (недаром Евгений Леонов — любимый актер).

Так вот Габриадзе был первым «грузинским грузином» (хотя и много жил в Москве), который эту невидимую грань переступил.

Вторым таким человеком был, конечно, Зураб Церетели, но они настолько противоположны, настолько различались по типу своего творчества, что вот сейчас, когда я думаю об этом, меня мучает «смутная догадка» — в том, как далеко разошлись монументальная безвкусица у одного и громадное художественное обаяние крошечной миниатюры, совершенство детали у другого, видится нечто парадоксально-связывающее их обоих.

...У него, в его спектаклях, книгах, рассказах, рисунках — был странный дар «снятия». (Снятие — *Aufhebung* — понятие в философии Гегеля, обозначающее

момент развития, «в котором соединены как отрицание, так и сохранение, утверждение»).

Что я имею в виду? Самые страшные, тяжелые исторические реалии, от которых невозможно избавиться, невозможно их вытеснить из сознания, — он превращал в свои «диалоги для марионеточного театра», по сути дела — в легкие истории, почти анекдоты. Самый возвышенный пафос снижал. Самый железобетонный конфликт «добра со злом» — именно что «снял», превращал в шутку и иронию. Железобетонный, жуткий, состоящий из колючей проволоки и нищеты мир 40-х и 50-х — война, разруха, гибель миллионов, Сталин и ГУЛАГ — приобретал в его творчестве черты мифа, мифа о победе над временем, над этим страхом.

Мне кажется, именно это умение «снять» наш страх перед историей, перед пропастью большой истории — лежало в глубине его творчества.

Так вот, о «снятии». Габриадзе ведь был не просто «сценаристом» или «художественным руководителем театра марионеток города Тбилиси», он был писателем прежде всего. Великим писателем, пусть недопроявленным, чуть-чуть застывшим в некоем облаке, хаосе творчества, с этими своими образами, шутками, скетчами.

Кстати, его «Рамона» была напечатана именно в «Дружбе народов».

В 2019-м он стал лауреатом премии имени Бабея (присуждается в Одессе) за лучший рассказ на русском языке. Рассказ назывался «Топиарное искусство» — в общем, тоже как бы пустяк, шутка, мелочь: про то, как в городском парке искусный садовник подстриг один куст под профиль Ленина, а другой под профиль Сталина. И вот начальство напряженно думает, что делать с этим патриотическим произведением — палкой снег сбивать нельзя, подстригать ножницами тоже, в общем, страшное дело. А дальше, как пишет Габриадзе, случилось вот что:

«Дожди, а за ними солнце сделали чудеса! Вегетация поразила вождя! Природа победила вождя! Посаженные рядышком растения, нужные для сходства, распустились в своем естестве! Борода Владимира Ильича зацвела отдельным кустиком, и из нее дрожали лютики! С затылка к темечку убежали нежные нарциссы! Лицо Ильича еще читалось. Из носа вождя выглядывала жантильная кокетливая мимоза! На лбу Ленина чубчиком висели гиацинты! Два равносильных ветра развернули меня и, крутя, понесли в темноту, где гудел Сталин! В его трубке цвели алые розы. На щеке Сталина лежала белая чашка магнолии в богатом платье, порочно раскрыв всю себя! Агрессивные солнцелюбящие лианы оторвали от головы Сталина маршальскую шапку, и она ходила в небе точно в приветствии с трибуны мавзолея!»

Так работало это «снятие» в творчестве Габриадзе. Не он придумал этот прием, — но у него он достиг совершенства. Смеяться, улыбаться, иронизировать над эпохой, в которой было столько крови и столько жертв — это требует особого вкуса и особого мужества. У Габриадзе они, конечно, были. Стальному пафосу «великой эпохи» он сумел противопоставить не перечень страданий, не ненависть, не гнев или отмщение, — а именно освобождающий смех. Наивысшего пика это чувство достигло в анимационном фильме «Знаешь, мама, где я был» — по рассказам и рисункам Габриадзе, где смешные, нелепо торчащие и шевелящиеся усы Сталина — «снимают» не только страх, но и фальшивое, дутое «величие» той эпохи.

На это «величие» он смотрит глазами простого горожанина, обывателя, маленького человека — и оно рассыпается в прах. Справедливости ради надо сказать,

что Габриадзе умел «снимать» любой пафос: в «Сталинграде» это пафос войны, в «Рамоне» — пафос «великой любви», в «Бриллианте маршала де Фантье» (именно его мы и смотрели в Тбилиси) — пафос «национальной гордости», в его рисунках к книге Андрея Битова о Пушкине — пафос «великого русского поэта». Он никогда не спорил с содержанием пафоса, с самими «высшими материями». Но он смеялся над их раздутой до самолюбования формой.

...Габриадзе нечем заменить, потому что он был рожден как ответ на вызов времени, вновь заболевшего «величием». Ответ был дан, но эпоха по-прежнему упрямо смотрела в другую сторону, по-прежнему вынашивая свирепые планы реванша.

Но сам Габриадзе — остался.

На его «башне» в Тбилиси будет по-прежнему появляться золотой ангел и отбивать часы, и будут кружиться его кукольные персонажи. И перед ней будут собираться люди с детьми. Башня вроде бы падает, но никогда не упадет — в отличие от царств, империй и идеологий, потому что она стоит на чувстве юмора и волшебной легкости бытия.

Язгуль Туркишова

Мир, в который хочется войти...

Природа таланта Заслуженного деятеля искусств Туркменистана, художника Чары Хуммедова сложна, его дар — поэтически метафоричен, созерцательно глубок. У него свой художественный почерк, который не перепутаешь с манерой другого художника. Живя вдалеке от центров культурной жизни, Чары Хуммедов сформировался как самостоятельная творческая личность, черпая темы из окружающего его мира, из традиций народа, из его повседневного быта и философии. Через них раскрывает себя мировосприятие художника — постижение красоты и одухотворенности человеческого лица, пластики и движения тела, игры солнечного света...

Эти темы продиктовали и особую стилистику картин с их крупными планами, приближенностью персонажей к зрителю, широким мазком, приглушенным колоритом. Его неповторимый почерк: — напряжение цвета, плотность или прозрачность фактуры краски, выверенное движение мазка — был выработан кропотливыми поисками мастера.

Основа его творчества — фундаментальная школа. Годы учебы в Московском государственном художественном институте имени В.И.Сурикова запомнились как самые счастливые, хотя часто бывало, что юный художник замерзал от московских морозов. Но в кармане лежал студенческий билет, который был пропуском во все музеи российской столицы, и это согревало душу. В Москве он самозабвенно постигал тайны живописного мастерства, но все эти годы сердцем был дома. В краю, где приветливые люди и высокое, чистое небо, бескрайние пески и щедрые сады, а еще — круглый год яркое солнце....

Запечатлеть мгновение, обращающееся вечностью, — один из главных смыслов творчества Чары Хуммедова. Как в поэзии необходима предельная верность ритму слов, так и в живописи нужна максимальная точность композиционного ритма, преобразующего многомерную полифонию времени в сжатую визуальную метафору холста. Работы художника сюжетно традиционны, но обогащены величием русской и европейской классической живописи. Взгляду мастера доступны различные степени постижения смыслов, разная скорость проникновения в сущность формы, это взгляд человека, чувствующего ответственность за характер отображаемого им мира. Оттого и образы его почти всегда чувственно пластичны и осязаемо возвышенны.

Чары Хуммедов, как правило, немногословен, задумчив, закрыт. Но если вам удастся его разговорить, то станет понятно, как рождаются образы, откуда они приходят, как просятся на холст и как мастер дарит им жизнь. «Не нужно ждать, когда придет вдохновение. Мир наполнен этим волшебным состоянием, — рассказывает художник. — Когда я пишу, я живу! Порой кажется, что меня вдохновляет все, что окружает. Вдохновляет очарование окружающего мира, красивая музыка и поэзия, молчание ночи, трепет ветерка, шелест листьев, рябь воды и звонкие голоса детей... Мир настолько прекрасен, что даже великие художники его лишь цитируют». Мне кажется, именно в этих словах стоит искать ответы на вопросы, чем живет мастер. И еще одно качество Чары Хуммедова, о котором нельзя не сказать: его скромность, искренность, какая-то особая внутренняя чистота и просветленность.

В его мастерской можно увидеть портретные циклы, пейзажи, натюрморты, графические серии и этюды. Зритель имеет возможность увидеть мягкие, тонкие и вместе с тем пронзительные образы, воплощенные на его полотнах. Все произведения, как части мозаики, складываются в наиболее полную ретроспективу творчества мастера и отражают многогранный талант художника, которому подвластны и акварель, и карандаш, и темпера, и масло, и смешанная техника. Здесь сразу попадаешь под обаяние гармонии и деликатности колорита представленных работ. На его полотнах нет буйства красок, но в то же время от них не веет холодной суровостью или безразличием. В работах Хуммедова зрители открывают для себя неповторимую эстетику формы и цвета, где восточная созерцательность как магнит притягивает к картине.

Художник прекрасно знает и чувствует народные традиции, быт, нравы и особенности национального характера. Он с огромным уважением и вниманием относится к людям, которые являются главными персонажами его картин. Готовятся ли они к свадьбе, работают ли в поле, ткут ли ковер, слушают ли с благоговением рассказывающего какую-то удивительную историю старика или делают первые в своей жизни неуверенные шаги, заботливо и бережно поддерживаемые руками матери, — все эти незатейливые сюжеты звучат в произведениях художника на высокой ноте.

Знакомясь с его работами, ощущаешь, насколько в руках и мыслях художника сильна генетическая память образов, мотивов, знаков, стилистики традиционной культуры. Близки и понятны многим мотивы его картин, взятые из детских воспоминаний и переплетенные с коллективной памятью народа, его историей. Большинство работ художника — плод его творческого мировосприятия, стусок накопленных переживаний и впечатлений из детства и юности.

Особый источник его вдохновения — женские образы. Его картины и есть симфония любви к женщине. В них передана одна-единственная исповедь мастера — признание в любви к жизни, которая, в облике маленькой девочки, мечтательной девушки или умудренной и усталой женщины предстаёт перед зрителями.

Произведение «Дождь» особенно дорого художнику, с ним его связывают особые отношения. Когда-то так называлась дипломная работа Хуммедова. В том, самом первом «Дожде», было стремление прорвать «границы», найти новый язык искусства, отличный от реализма, уже исчерпавшего себя, попытка отойти от «достоверной» интерпретации действительности. В этой работе воплотилось первозданное восприятие мира, исполненного жизни, мира, эмоционально родственного людям. Потом были десятки «Дождей», художник возвращается к этой теме вновь и вновь, будто желает

вернуть воспоминание или что-то пережить вновь... Что такое дождь? Противостояние? Соединение? Надежда? Или радость обновления? Мы свободны, открыты, мы перед распахнутой дверью...

Хуммедов не перегружает композиции излишней пояснительной символикой, для него важнее эмоциональная передача темы, то, что можно прочесть «между строк», то, что чувствуешь, не дотрагиваясь. Художник не вдумывается в эти определения, он просто творит.

«Не всегда реалистичен натурализм, нет надобности в скрупулезной передаче всех элементов действительности, — уверен мастер. Более того, такие работы зачастую бывают просто безжизненны, лишены души. Реалистична правильно поднятая тема, то, что по-настоящему близко всем и каждому, а не сама форма подачи этой темы».

Сегодня большой и гостеприимный дом Чары Хуммедова, где живет его многочисленная семья, полон детских голосов и смеха, здесь часто звучит красивая музыка. А сам художник напоминает могучее дерево с раскидистыми ветвями. Он полон планов и увлечен работой. В его новых картинах самым удивительным образом переплелись современные темы, идеи, образы и древнейшая философия Востока, в основе которой лежат верность идеалам, поиск своего жизненного пути, стремление человека к самосовершенствованию и гармонии. А главное, у художника есть свой мир — чудесный мир, в который хочется войти. Здесь каждый зритель сможет открыть что-то близкое себе, истинное и понятное.

Zhenya Dekina. Kropal

This novel is a cut of today's social underworld, the history of one kilo of hashish making its way from the manufacturer in the Chui valley to the consumer in Moscow. Everyone of those who are trying to make money from the forbidden potion is sure he doesn't do anything bad, he's just got nailed and this is his chance to escape, his ticket to the better life. But in reality everything turns out to be a tragedy.

Poetry

The poetical cosmos of Vyacheslav Shapovalov extends in time and space from the first words of Adam to the silence of the "tailstorage". Lyubov Kolesnick states that "Man is labour to a man". Variations on the theme of our contemporaries' being are picked up by Aigerim Taji and Anna Gedimin's lyrical memories about her precious loved ones.

Yourij Kagramanov. The Time (and the Burden) of the Black?

In his deliberately provocative, politically non-correct essay the culturologist Y. Kagramanov, basing on the American, Western European and Russian (including the Russian bolsheviks) historical experience, meditates on the new spiral turn of the racial question in the USA.

Olesya Nickolaeva. Fragments of the future book

In this issue we present two portraits from the future book by O. Nickolaeva "Russia, Lethe, Lorelei": of the "formalist-poet" Semen Kirsanov and the "tribune-poet" Evgenij Evtushenko.

Evgenij Abdullaev's personal heading "Literary Barometer"

"Erstwhile the words "order bearer" sounded proudly. Now it often only causes a grin. So many medals has been established and conferred that they mean almost nothing now. With the exception of a few like the Golden Star of the Hero", — recalls E. Abdullaev and bringing us back to the site of today's literary process observes: "The same thing takes place now with the Russian literary awards" and invokes: "Don't litter with the awards!"

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Журнал «Дружба народов»

можно выписывать с любого месяца во всех отделениях Почты России.

Подписной индекс в каталоге «ГАЗЕТЫ. ЖУРНАЛЫ» — **70250**

Подписной индекс в зеленом каталоге «ПРЕССА РОССИИ» — **91826**

Электронную версию «ДН» можно купить на <http://дружбанародов.com>

Журнал продается в московских магазинах:

«**Фаланстер**» (Малый Гнездиковский пер., 12/27)

«**Бункер**» (Покровка, 17; ежедневно с 12 до 22)

Также журнал можно приобрести через интернет-магазин **Лабиринт.ру**
в любом городе страны.

Вёрстка: Елена ЖИРНОВА

Корректурa: Елена ЛАПШИНА

Дизайн обложки: Степан ЛУКЬЯНОВ



ИЗДАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНО ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО ФОНДА ГУМАНИТАРНОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ СНГ
И ФОНДА «РУССКИЙ МИР»

**9/2021****Читайте:****Лиана Шахвердян. Роман «Руки — реки»:**

«— Гурджиева всегда тянуло на породистых... — задумался Сталин, глядя в сторону окна. Неожиданно заметил: — Мы с Гурджиевым учились в одной духовной семинарии: наверняка пересекались. — И как бы на что-то намекая, продолжил: — Подобные пересечения остаются на всю жизнь... Дружья детства, юности знают о тебе больше, чем кто-либо... А ведь с тех лет прошло полвека! — Таких, как она, у Гурджиева было много, — не понимая, к чему клонит вождь, заметил Берия. — Похоже, что у него к ней был другой интерес... — У тебя есть основания так думать? — Нет, но... — начал было Берия. — Не надо, Лаврентий... Не забывай, что Даниел Александрович годами ходил под царской охранкой. Он что, по-твоему, настолько глуп, чтобы не понимать, что за ним будут следить? — Он не понимает, за что его посадили, Иосиф Виссарионович... — Не понимает. Что ж, на суде он все сказал... Дотянул... Как он, кстати? — Плох. Не жилец. — Не жилец... — повторил Сталин, пыхнув трубкой. — Можно сказать, что земной суд он выдержал, так сказать, — прошел. У смерти — лицо предателя... Ну что же? Его все предали... Ведь так, Лаврентий? Нам ничего не остается, как передать его другому суду... Думаю, там... его ждет большая удача! Берия поспешно кивнул в знак согласия, хотя решительно ничего не понимал...»

